Надежда
КОЖЕВНИКОВА
Гарантия
успеха
повести
и рассказы

SHOUT
SHARE
IT

- Надежда Кожевникова
  -
  - КОЛОНИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
    - Путешествия
    - Jean
    - Cartes postales
    - Под шелест «зелёных»
    - Щепки
    - Болеро
    - О, море-море!
    - Микки
    - Dignit
    - Чем лучше, тем хуже
    - Сплошные прелести
    - Жизнь-смерть, день-ночь
    - Будни
    - Голубая мечта
    - Ностальгия по папе-доку
    - Гаити. Не путать с Таити
    - Вуду
    - Исправные прихожане
    - Да, из такого сора, да, и не ведая стыда
    - Делай так, делай с нами, делай лучше нас!
    - Свобода как осознанная необходимость
    - Зима. Крестьянин торжествует
    - Пианино
    - Соотечественница: дом на холме
    - Месье Изя
  - ВНУТРЕННИЙ ДВОР
  - В ЛЕГКОМ ЖАНРЕ
  - ШУРА И НАСТЕНЬКА
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
  - ЛОДКА НА ТИХОЙ РЕКЕ
  - ЛОВУШКА
  - МИККИ ВТОРОЙ
  - ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА
  - ГАРАНТИЯ УСПЕХА

- 1. Детский праздник
- 2. Консультация
- 3. Экзамен
- 4. Быть талантливым — здорово!
- 5. Рыженький
- 6. Володя
- 7. Родители
- 8. Зяма
- 9. Сольфеджио
- 10. Летние развлечения
- 11. Софочка
- 12. Маришино пианино
- 13. Капа Вихтяк
- 14. Дмитрий и Нина
- 15. Маша
- 16. Татьяна Львовна
- 17. Приближение
- 18. Отступление в будущее
- 19. Адик
- 20. Соната старого аббата
- 21. Гриша
- 22. Самый длинный автомобиль
- 23. Буба — и опять отступление в будущее
- 24. Ве-е-ес-на!
- 25. Выпускные экзамены
- 26. Экзамены вступительные

○ ЗОЛУШКА

Надежда Кожевникова
Гарантия успеха

Повести и рассказы

КОЛОНИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Путешествия

Мне повезло. Лет с двадцати я стала регулярно ездить в командировки по необъятным, как говорилось некогда, просторам нашей родины, что воспринималось довольно-таки буднично. Редакционное задание получено, и завтра ты, допустим, в Бухаре, или в Сибири, на Юганской Оби, в отряде мостостроителей, или в Казахстане. Трудно было представить, что и республики Средней Азии, и Прибалтика, Армения, где я особенно любила бывать, Грузия окажутся «заграницей», и поездки туда станут считаться путешествиями в другие страны.

Выпадала и «всамделешная» заграница. Индия, Африка, сказочный Непал, в период правления молодого, очкастого короля Бирендры, недавно покинутый хиппи и еще не затоптанный западными туристами.

Надо сказать, что в те годы экзотика меня привлекала сильнее Европы. Но я не догадывалась насколько поверхностны мои впечатления. И не только из-за краткости, всего-то месяц, пребывания в том же Катманду, но и по той причине, что советские граждане, даже если где-то жили подолгу, обязаны были следовать жестким инструкциям, ограничивающим, а порой и не допускающим контактов с внешним миром, и что, как могли узнать о реальной жизни в стране запертые в посольских резервациях?

Послам знание иностранных языков в обязанность не вменялось — главное бдеть — зато власть давалась абсолютная, как африканским царькам. Любознательность строго наказывалась. В Индии я познакомилась с девушкой, референтом в нашем посольстве, осмелившейся брать уроки танца у местного, индуса, за что ее в срочном порядке отозвали в Москву, и карьера ее на дипломатическом поприще, едва начатая, на том и захлопнулась.

Еще была ну очень назидательная история, передаваемая из уст в уста, случившаяся в Бурунди. Компания, возможно, навеселе, отправилась — тут главное, что не спросив начальства — искупаться в речке, и одного съел, а другого надкусил крокодил. Вот так, чтобы другим неповадно было. Мораль: а не ходите, дети, в Африку гулять.

Да что Африка! В сердце Европы, в Швейцарии, средоточии международных организаций, маршрут следования в отпуск на родину наших граждан утверждался парткомом представительства СССР в Женеве. Через Австрию, с остановкой в Вене, разрешалось, а через, Бельгию, скажет, — нет. В Италии,

желающих взять круиз по Средиземноморью, на теплоходах, разумеется, тоже только отечественных, именуемых либо «Мария Ульянова», либо «Феликс Дзержинский», либо вот так же славно, допускали в Венецию, а вот Рим посещать запрещалось.

Естественно, в Рим страстно хотелось, до дрожи в поджилках. И однажды наша семья решилась нарушить запрет.

В Европе ведь все так близко, на поезд сели- и вот он, Рим. Как воры, туда- сюда оглядываясь, взяли такси и помчались. Фонтаны, площади, дворцы — кино! Но как же не заглянуть в Ватикан? Держали машину, счетчик работал, марш-бросок, пьета — чья, Леонардо, Микеланджело? Всматриваться времени не оставалось, после по книжкам сверим, и вот на выходе уже лоб в лоб сталкиваемся с соотечественниками, нашими же, женевскими, пассажирами с того же теплохода «Ульянова-Дзержинский-Вася Самокруткин-Илья Муромец». Немая сцена. Скульптурная группа, глаза выпучены, челюсти отвисли. Так ни слова и не проронив, бросились в разные стороны. Мы — к такси.

На поезд едва успели. Едем, заходит контролер, проверяет билеты.

Выясняется влезли не в тот, не по чину вагон, тут первый класс, а у нас на два разряда ниже. Действительно, как же мы не заметили! Кресла-то синего бархата, дама напротив, в бриллиантах, шампанское пьет, и смотрит на нас сощурившись.

Надо доплачивать, поезд-то уже тронулся. Муж, кряхтя, достает купюры — расход непредвиденный — ну и на всякий случай интересуется когда будет в Падуе остановка. Контролер, квитанцию выписывая, отвечает: в Падуе остановки не будет, поезд движется в обратном направлении.

Мы: а-а?! Дама в бриллиантах бесплатное развлечение получила, наблюдая как двое спятивших, с малолетним ребенком, вопя, заметались среди бархатных кресел не иначе как собираясь выбрасываться на ходу под колеса. Ду-ра! Не представляла даже, что может ждать нарушителей парткомовских инструкций: на теплоход опоздаем- все, нам конец!

Пронесло, в последний момент, но успели. А вот пережитое, унизительное, чисто совковое, не забудется никогда.

Собственно, только в Гаити, одной из беднейших стран в мире, куда муж получил назначение в качестве главы делегации Международного Красного Креста, мы оказались избавленными наконец от опеки родного государства. Из соотечественников там не бывал никто, никогда, ни до нас, ни после.

Jean

— Jean, est-ce que tu m'entends?

— Jean! — зову, обернутая полотенцем, в клочьях шампуньевой пены, стоя на площадке второго этажа, держась за перила лестницы темного мореного дерева — добротность, основательность предметов в сочетании с непредсказуемостью здешней действительности меня уже не удивляет. — Jean!? Il n'y a pas d'eau!

— Il n'y a pas d' lectricit non plus!

Безответно. Дверь, ведущая в коридор без крыши, отделяющий господские покои от помещения для челяди, плотно прикрыта: что ли еще спит?

Про господ и челядь упоминаю без смущения — констатирую то, что здесь, на этом острове в Карибском море, даже не обсуждается И не нам, временным тут постояльцам, выказывать несогласие с местными правилами. Поначалу пыталась застилать свою постель и встретила явное недоумение. Ну и не надо, не буду свои привычки навязывать. Жан, ты где? Нет воды! И нет электричества!

— Oui, J' coute, madame, — доносится наконец абсолютно невозмутимое.

Слава богу, значит, услышал, и надо ждать, когда заработает генератор.

Почти ритуал. Утром гляжу на головку душа с уверенностью, что вода не польется или же прекратится, лишь я намылю голову. Мои влажные следы на плиточном полу из ванной к лестнице повторяются как путь муравья. Вопль «Жан!», его «oui, madame», вслушивание, когда генератор взревет — это все неизбежно, неизбывно, как бесконечное, кому-то по незнанию представляющееся райским, здешнее вечное лето.

При изученности, назубок, до малейшего шороха, скрипа, всхлипа здешней звуковой палитры, закипание, еще далекое, влаги в кранах, пронзает каждый раз предвкушением блаженства. Не важно, что вода ледяная, зато льется!

Действительно, роскошь, доступная тут немногим. Ее завозят в цистернах — в стране отсутствует водопровод — но большинство, то бишь 90 % жителей, стоят в очереди у водонапорных колонок с пластмассовыми канистрами.

Цена автоцистерны девяносто американских долларов, а годовой доход на душу населения в среднем составляет двести пятьдесят «зеленых». Так что тем, кто стоит у колонок с канистрами, приходится решать, что важнее, насущнее. То ли суп

сварить, то ли постирать, то ли еще что.

Стирают здесь как в Африке, сидя на корточках перед тазом с отрешенными застывшими лицами. Для просушки белье раскладывают на камнях или нацепляют на изгороди. Беда, если ветер — беги, лови.

Наши отношения с Жаном начались с конфликта именно из-за воды. Когда он увидел, что я, волоча шланг, поливаю не только пыльные деревца, кусты, но и пожухлую траву, и даже землю, спекшуюся от жара, глаза его округлились от ужаса. Причуд прежних хозяев навидался, но от моего святотатства пришел в шок: «Мадам… ты что, что ты делаешь!» Местный креольский — упрощенный, искаженный французский — обращение на «вы» не предусматривает, и Жан, во всем остальном четко соблюдавший дистанцию, говорил и мне, и Андрею «ты».

Так вот, с рождения приученный экономить воду, он воспринял мое расточительство как варварство, а садоводческую активность посягательством на его должностные обязанности: если я намерена сама справляться, не грозит ли ему увольнение, потеря места?

Маленький, тщедушный, он походил на подростка, и мы удивились, узнав, что ему уже за тридцать. Ноги-руки как палочки и несоразмерно крупные, выпирающие колени, локти, будто свинтили его из деталей, предназначенных другим людям, прилепив большие мясистые уши к круглой детской головке, а весь взрослый опыт вместив в глаза.

О причине его заторможенности мы лишь потом догадывались: с появлением нас, новых хозяев, его парализовал страх остаться без работы. И при первой встрече так долго не мог справиться с засовом на железных воротах, что Андрей, с обретенным в африканских командировках жестким опытом, произнес тихо, бесстрастно: видимо, надо его будет менять. Жан не только услышал, а, показалось, понял фразу на русском, и выражение его глаз помню до сих пор.

С того момента он стал моим любимцем. Но я у него доверие не вызывала, особенно после того, когда с секатором ринулась в чащу бугенвилии. Уж такой подлянки он от меня не ожидал. Наблюдал, обдумывая, верно, как реагировать на мое коварство, и наконец решился: предложил свою помощь. Я стригла, он сухие ветки оттаскивал. Совместная наша работа продолжалась до вечера. Но на следующее утро меня ждал сюрприз. Встав затемно, Жан проявил инициативу.

Цветение пенное бугенвилии изничтожено было зверски, деревья казались обглоданными. Я онемела. А он явно ждал поощрения. Но победное торжество гасло, сползало с его лица.

Ничего, Жан, я сказала, это моя вина, не сумела тебе объяснить задачу. Но по взгляду его поняла: откровенный разнос перенести ему было бы легче.

Там, на Гаити, я в самой себе обнаружила свойства, о которых не подозревала и не поверила бы, услышав, что смогу опуститься до склок с прислугой. При всех своих недостатках, грех мелочности, бабьей вздорности, считала, меня не коснулся и не коснется. Между тем, замены одной домработницы на другую все учащались, расставания проходили все с большим ожесточением, при чем каждая новая оказывалась хуже предыдущей. Хотя все являлись с образцовыми рекомендациями, одна уверяла, что у посла Италии работала, другая, что была поваром в фешенебельном ресторане, но выяснялось, что и яичницу сготовить не могут. Стирка сводилась к тому, что свалив в таз белье и насыпав гору стирального порошка, ждали сутки, двое, когда грязь раствориться вместе с тканью: вот рубашка, узнаете?

Умение рачительно вести хозяйство не причислялось к списку моих добродетелей, но уж таких разгильдяек встречать прежде не приходилось. Зато, их распекая, усовершенствовала свой французский. В Женеве на дипломатических приемах предпочитала молчать, чтобы не оскандалиться с произношением, ошибками в грамматике и не уронить мужа в глазах коллег. А тут нечего, некого было стесняться, и меня прорвало, языковой барьер исчез: за два-три месяца достигла больших успехов, чем за годы жизни в Швейцарии. Хотя бы это утешало.

Но стычки с прислугой продолжались, и я отдавала себе отчет, что меня затягивает омут праздности — рассадник всех пороков.

Только уже ближе к отъезду дошло, что они-то, местные, старались и рады были бы угодить, но когда голова отучена думать, то и руки дырявы. Хотя Гаити освободилось от угнетателей-французов почти двести лет назад, оказавшись первой «черной» республикой, рабская психология не изжилась, застряла в менталитете нации. Так может быть поторопились скинуть оковы колониализма? А то бы, глядишь, чему-нибудь бы и выучились у белых хозяев. А то ведь чего добились: безграмотность почти поголовная, убожество, нищета, и кучка своих же богатеев, наркодельцов, грабит страну почище иностранных эксплуататоров. Слово «свобода» зазывно звучит, но, ею, свободой, надо еще и уметь пользоваться.

Мое покровительство Жану имело подоплеку: неловко было признаться, что узнавая изнанку «экзотики», все труднее дается

справляться с разочарованием и в здешних людях, и в стране. Клише, что бедность заслуживает снисхождения, понимания, деликатности, крепко всадилось с сознание. Уцепилась за Жана из желания найти себе оправдание: вот ведь, сужу объективно, Жан хороший, а Магда-Илона-Барбара-Матильда дрянь!

Что ему в тягость мои обласкивания не приходило в голову. А ведь хозяйский любимчик — клеймо, позорное среди своих. Предательство общих, классовых интересов. Покидая нашу, барскую территорию, он беззащитным оказывался перед глумлением соплеменников. Но терпел. Готов был вытерпеть все.

В его скрупулезной честности я не сомневалась. А вот попалась как-то одна ну очень сообразительная, и когда ей сообщили об увольнении, в тот же день слямзила мою золотую цепочку, массивную, но фальшивую. Я после злорадствовала: цена — двадцать швейцарских франков. А полагала должно быть, что на всю жизнь себя обеспечила. Интересно, уже знает, что обмишурилась или спрятала где-нибудь, зарыла бижутерию как клад?

Веселилась я нехорошо, с отдышкой злобы. Ожесточилась.

Униженные-оскорбленные исчерпали запас к ним сочувствия. Врали и крали, и при явной оплошности насмерть стояли, но никогда не признавали своей вины.

Жан и вправду был среди них исключением.

Ни днем, ни ночью он не покидал арендуемого нами дома — нес вахту, но раз в неделю преображался. Кроссовки, почти новые, вместо опорок из резины, брюки, рубашка, а не обноски, давно потерявшие и форму, и цвет, на голове бейсболка с рекламой швейцарского пива «Кардинал» — наш «дар» — которой он очень гордился. Сиял. Мы уже знали, что его так окрыляет: свидание с сыном, росшим на окраине, среди лачуг, к которым ни на каком транспорте не подъедешь. Средневековье: ни электричества, ни водоснабжения. Пища готовится на древесных углях. Вот она — другая сторона экзотики, о которой не ведают залетные туристы, доставляемые в резорты с бассейнами, ресторанами, к пальмам, закатам, морскому бризу. Но есть и то, что остается за кадром, чтобы не портить отдых. За кадром — куда в свои выходные спешил Жан. Ради чего он жил. Сказал как-то с несвойственной ему доверительностью: я на все готов, понимаешь, ведь иначе моему сыну нечего будет есть.

Спустя год, когда наши чемоданы уже были спущены к воротам, шофер ждал, чтобы вести нас в аэропорт, я заглянула в сад. Не верилось, что мы в самом деле отсюда уезжаем. Наконец-то. Закончено испытание. Но вот ведь как вымахали бананы и

даже стали плодоносить. Бугенвилия встала плотной, сверкающей пышными красками стеной. После, в Америке, я буду покупать их в горшках, за двадцать долларов жалкий кустик, и, при всех стараниях, от чахлой ублюдочности не спасу. И не смогу увести результат своей одержимости, близкой к маниакальности — коллекцию ракушек, собираемых, как грибы, на прибрежном песке и ныряя в маске за особенно соблазнительными. Привозила их с пляжа мешками, мыла, сушила на солнце, потом сортируя добычу. Знала, что когда уеду, все это сочтут мусором и выбросят. Но так отмеряла прожитое здесь время, как мальчик- с-пальчик пройденный путь. Разве что возвращаться сюда не хотела, насытилась сполна. Откуда же грусть? Или так бывает всегда, при любом расставании?

А ты возьми что-нибудь на память, — услышала за спиной, — вот эту, розовую, и эту тоже. — Жан присел рядом на корточки. — И эта красивая.

Мы обнялись. «Il n' y a pas d'eau» — я сказала. «Il n'y a pas d' lectricit non plus» — добавил он. Машина отъехала, я обернулась: Жан стоял у ворот и глядел нам вслед.

Cartes postales

Первым нашим пристанищем на Гаити стала гостинца «Монтана». Шикарная.

Шик, бьющий в глаза, верный признак того, что в стране есть что скрывать.

Нужна маскировка, пышно расписанная декорация, парадная вывеска, за которой визитерам ничего тайного может так и не открыться, если желания нет вникать, недосуг, поджимает время.

Фонтаны с подсветкой, искусственные водопады, резная мебель, картины, скульптуры, горничные в наколках, охрана в форме с галунами. В ресторане лобстеры, выбор вин отменный, сплошное «шато». С террасы открывается дивный вид. Вот оно, и как близко, море!

Правда, только мы в номер вошли, пошатнулась и грохнула тяжеленная дверца резного шкафа, но успели отскочить Над кроватью висел свернутый коконом, белый, нарядный, ну прямо свадьбешный полог, как выяснилось, от москитов. Они, не медля, начали нас жрать. Андрею сошло, а у меня расчесы загноились. Нашего пса, миттель-шнауцера, обычно спящего на постели у нас в ногах, обнаружили утром в ванной на кафельном полу: бедняга ошалел от жары, не остывающей и ночью.

Андрей отбыл на работу, а мы с Микки стали обдумывать серьезный вопрос: где собаке справить нужду? Прямо перед входом в гостиницу неудобно. Миновали будку с охраной но оказалось, что дальше нет ничего: обрыв, обвал. Ни дорог, ни жилья. Сплошные рытвины, ямы, ухабы, как застывшая лава после извержения вулкана. На легковых машинах их было не одолеть, только на джипах. Они и неслись, как тараны, на бешеной скорости. Пешеходы не предусматривались. И вот тут я затосковала.

Значит, жить предстоит взаперти. Прогулки исключаются. А я по природе своей ходок именно, а не ездок. Приучена с детства, папой, шагать и шагать вглубь переделкинского леса. В местности, в городе ориентируюсь с помощью ног, ступней, меня, куда надо, выводящих. И что же, выходит в тупик уперлись мои дорожки?

Когда Андрей вернулся, лежала, запутавшись в противомоскитной сетке, как малек, которым побрезговали рыбаки. Услышала: Надя, встань. И я встала.

Сезонный, прохладу не приносящий, шумливый попусту ливень заглушил то, что он мне сказал, а я ему.

На следующий день скупила в гостиничном киоске пачки

открыток, cartes postales, выражаясь по-французски, с роскошными видами — пальмы, закаты, восходы и прочее — и принялась сочинять послания оставшимся в Женеве друзьям.

То, о чем я живописала, можно было бы почерпнуть из рекламным проспектов, заманивающих клиентов-туристов. А я больше ничего и не видала, не успела узнать. Не рассказывать же, что сижу в гостинице, как узница в темнице. Но должно было настать воскресение, когда Андрей свезет меня к морю: не на этой неделе, он будет занят, но непременно на следующей. И я — да, увижу прозрачные сапфировые лагуны, ступлю на золотистый, бархатный, шелковый песок, дары моря протянутся нам на подносах, мол, вкушайте. И усмехнусь: да, ребята, в Европе вам о таком и не мечтать!

Понесло… Уже изготовилась изругать Лазурный берег за дороговизну, скученность, суетность. На очереди была Женева, пресно-прилизанная, где только коренные швейцарцы соль земли, все прочие второй сорт, основная святыня — счет в банке, а доносительство возведено в гражданскую доблесть.

А мерзкий женевский климат, то фены, то бизы, в результате которых натуры чувствительные — ну вот как я — страдают головными болями и упаднническим настроением. Хотя про климат, пожалуй, не стоит. К здешнему, гаитянскому пеклу, говорят, потом приспосабливаются. Но поначалу, пока Микки писает на агавы, у меня ощущение, что сунулась в раскаленную духовку.

Невозможно дышать, голова будто обручем стиснута, в глазах багровые всполохи. Нет, совсем не уверена, что смогу тут выжить.

…Но ведь выжили, мы оба. Вставали в пять утра по будильнику, без пятнадцати шесть, с теннисными ракетками в руках уже в полной боевой готовности ждали на корте тренера. Он всегда чуть запаздывал, полагаю, не случайно: элемент воспитания. Кто бы мы ни были в другой жизни, на кортах, он, Эдуард, главный. Ас, теннисный виртуоз, несравненный учитель. Пятеро его сыновей, им же выученные, во Флориде, Майами, за ту же работу получали в двадцать раз больше. Но для него, верно, почет, уважение, были важнее заработков. На Гаити он — знаменитость, понятно? Да, амбиции, но и еще что-то, что труднее объяснить, а в пафос впадать не хочется.

И уж как он, Эдуард, нас гонял! Пот струился ручьями, моя белая теннисная юбка мокрой тряпкой свисала. Спасибо, Эдуард, большое спасибо!

Ваша требовательность, строгость вбивались каждое утро как железный стержень, не дающий лужей растечься.

Андрей потом уезжал на работу, а я еще плавала с час в

бассейне, туда-сюда. Одна. Привыкала, а, привыкнув, поняла, что одиночество одолеваемо, если его не стыдишься. Не ерзаешь в беспокойстве о мнении окружающих. Какая разница, что они домыслят. И те, кто рядом, и те, кто далеко.

Главное — продержаться. Сомерсет Моэм, в своих книгах, как оказалось, документально точен. В странах, где он побывал, к ужину переодеваться, расставлять вазы с цветами, зажигать свечи, не ради гостей, а так — не блажь, а способ себя отстоять. Собственное отражение в зеркале не должно вызывать омерзения. Иначе можно обрасти шерстью, обзавестись когтями, клыками и перегрызть горло себе же.

И давно любимый фильм «Из Африки» с Мэрил Стрип и Робертом Рэдфордом воспринимаю теперь иначе. Кавалькады, банкеты, гольф, наряды и парады — это не голливудские выкрутасы, а свидетельства эпохи. Плантаторы англосаксы создали колониальный стиль, блюдя себя, свои представления о том, чем человек цивилизованный отличается от дикаря.

Речь, конечно, не о фасонах одежды, не об интерьере, а о неукоснительных правилах, соблюдая которые рассудок спасали от помутнения.

Хотя даже стальной каркас иной раз не выдерживал: завсегдатая клуба, вернувшегося после коктейля, находили в петле или с перерезанным от уха до уха горлом. Идиллия не получалась, цивилизация белых отторгалась местными условиями. Первопроходцев, преобразователей, миссионеров поглощала пучина дикости. Африка на своей территории побеждала Европу.

Стиль оказался прочнее идеологии. Собственно, даже не стиль, а опыт: в людях заложено больше ресурсов, чем они сами полагают, находясь в привычных условиях.

Под шелест «зелёных»

Дом для аренды мы начали искать сразу же. Стаи риэлтерш, пугающе энергичных, рвали нас, клиентов, друг у друга из рук, с алчным блеском во взорах. Ситуация напоминала постсоветскую Москву, когда соотечественники, впервые после победы советской власти, оказавшись и осознав себя хозяевами собственного жилья, получили право его сдавать, да еще за валюту, да еще иностранцам! Когда в чью-то квартиру вселялся, к примеру, англичанин, это считалось столь же «престижным», как в былые годы защита докторской диссертации. Образ жизни рантье, когда денюжки капают, а ты и палец о палец не ударяешь, оказался вожделенным для вчера еще скромно-покорных, выдрессированных на черствой пайке социализма граждан. Загнанное в подкорку рвануло динамитом: захотелось сразу всего, шмоток, жратвы, при чем именно заграничных.

Отмененные привилегии партократов перешли, казалось, в руки тех, кто имел жилплощадь в центре, лучше всего в пределах Садового кольца: там селились представители западных фирм, расплодившихся как грибы. Ну и другие, из новостроек, спальных районов, не унывали: торговцы-челноки из азиатских стран, да и из ближнего зарубежья, тоже, как стало принято, расплачивались «зелеными», пусть и в значительно меньших суммах.

Маниакальная погоня за жильцом-иностранцем являлась в сущности отражением намерения, возможно, подспудного, вот так же «сдать» и страну.

Мечта обывателей, чтобы постоялец-чужеземец еще бы и ремонт на арендуемой площади сделал, а, значит, когда съедет, сантехника импортная останется, плита в кухне новая, а может быть даже и холодильник, во всей своей простенькой житейской выгоде отвечала национальному менталитету: вот кто бы кто со стороны порядок у нас навел!

Порядка, видимо, дожидаясь, съезжали на дачи, у кого они были, или в сараи, в коммуналки, даже — была не была! — на тещину территорию. Подобное «переселение народов» всегда, во все времена, свидетельствовало о неблагополучии, но в России начало девяностых воспринималось с ликованием, эйфорическим, безумным.

Атмосфера возникла такая, когда каждый рассчитывал надуть, обжулить другого, хотя бы на мелочевке, в ажиотаже не замечая, что обманули, и уже по крупному, всех. И, вместе с тем, все, что случилось тогда, что происходило на наших глазах, при всем своем сумасшествии, абсолютно логично проистекало из

нашего общего прошлого. Парализованным лагерной дисциплиной анархия праздником возомнилась, всеобщим, всенародным, площадным. А пока толпа веселилась, «деловые люди» отменно поработали. Результаты теперь известны.

Но удивления достойно, что так долго даже тень подозрения не возникала в сознании обобранного, замороченного, на дешевых подачках купившегося большинства.

Гаитянские риэлтерши, повадками, обликом, за исключением, понятно, цвета кожи, тоже напоминали московских: и те, и те, силились выглядеть независимыми, респектабельными, чуть ли не бескорыстными, но, лишь только клиент начинал колебаться, отчаливал, сделка лопалось, флер с них мгновенно слетал. Улыбки гасли. Этот род бизнеса на Гаити, как и в России, был преимущественно женским. В России я знала его подоплеку. Мои приятельницы, с кандидатскими степенями, в него ринулись отнюдь не ради развлечения: статус добытчиц, кормилиц к ним перешел от потерявших работу, спивающихся мужей. А бабы — родившимся в СССР, хоть тонну косметики на себя наложи, хоть до пупа укороти юбку, женское предназначение оставалось незнакомым, украденным раз и навсегда — стояли насмерть, как последний форпост. Они, мои сверстницы, врачи, филологи, переводчицы, инженеры в секретарши-любовницы патрона-ворюги уже не годились, но такие словечки как «крыша», «плечевые» вошли и в их лексикон. И они «отстегивали», не только владельцам контор по недвижимости, при которых состояли. Дипломы университетские, интеллигентность, культурные, так сказать, запросы использовались как маскировка в реалиях, когда любую из них могли «кинуть», как продавцы, так и покупатели. Никто никому не доверял.

На таком фоне честность, прости, Господи, обнаруживали лишь отпетые бандиты.

В связи с этим вспоминаю смешной эпизод. Мы вторично тогда в Швейцарию уехали, а дачу немцу сдали, как он нам сказал, представляющему фирму «Фольксваген». Солидно? Проверять, подтверждения, документы испрашивать даже в голову не пришло. Спасибо, что согласился! Мы торопились, муж получил контракт оттуда же, где до того работал, Международного Красного Креста, и нас не столько цена за аренду интересовала, сколько гарантия, что дачу не разорят, не разворуют. Оставили все, как есть, посуду, белье, картины-корзины-картонки, короче, весь скарб, все нажитое. В надежные, как представлялось, руки. Уж немцы-то славились своей аккуратностью.

Детали не интересны, но в результате немец съехал, не

заплатив, да еще прихватив не только наш телевизор, кое-что из мебели, но и «Волгу», оставленную в гараже. Компенсация за ее пропажу — вот что действительно незабываемо.

Немец исчез, испарился с концами, а я, приехав из Женевы в Москву, как ни старалась, трезвоня туда-сюда, не добилась ничего. Пока вдруг в нашей квартире в Сокольниках телефонный звонок не раздался. Внятно, жестко: «Как думаете, насколько ваша „колымага“ тянет? Ей ведь вообще-то на свалку пора. Если на два „куска“, ну с половиной, согласны, получите. Сегодня, в семь вечера. Давайте адрес».

И ровно в семь открываю дверь. На пороге двое, в одинаковых черных, застегнутых наглухо, длиннополых пальто. Один ростом под притолоку, другой ему по пояс, а физиономии как у близнецов.

Я: проходите, пожалуйста… Идиотизм свой не комментирую. Он рефлекторен, получен с генами, не контролируем и неизбывен: пришли убивать? — хотите чаю? С сахаром или без?

Коротышка: спешим, пересчитайте. И сует пачку денег. Соображаю: «зеленые» Суетясь: что вы-что вы, полностью вам доверяю. Слышу: ну нет уж, пересчитайте, при нас.

Вот это было мерзко и хочется забыть — как у меня тогда тряслись руки.

Даже не из-за страха, а от угодливости. Они ждали. Развернулись одновременно широченными спинами, как по команде, шагнув к лифту. Я осталась стоять в дверном проеме с «зелеными» в руках.

Соседи по коридору высыпали, с причитаниями: «Наденька, родная, живая, счастье какое, пронесло! Мы так волновались…» В отличие от других этажей, на нашем шестнадцатом коллектив дружный сложился. Звали друг друга в гости, подарки дарили. Но, конечно, если бы меня тогда убивали, никто бы не высунулся.

Рынок жилья на Гаити, впрочем, от отечественного отличался. Дома, что нам демонстрировали, казались ожившим текстом романов Габриэля Гарсиа Маркеса: один фантастичнее другого и один другого запущеннее. Ощущение завороженности, заколдованности. Комнат уйма, можно заблудиться, и столько всего наворочено — галереи, балконы, террасы, залы с высоченными, как в соборах, потолками, бассейны, в которых, правда, нет воды, теннисные корты, но заросшие сорняками, без сеток. На одном из участков павлины разгуливали: их тоже сдавали? Другой раз, внезапно, сквозь стену, проступил силуэт старухи, явно безумной, в кружевах, бусах, блестках и с цветком за ухом.

Цветок сшибал пряным ароматам, его только что отломили с

куста, а старуха — мертвая, чуть только тронутая тлением, у рта и у глаз багрово-сиреневые наплывы, но в целом хорошо сохранившаяся, хотя для показа клиентам явно не предусматривавшаяся. Успела издать клекот приветствия на креольском, прежде чем подоспевшие хозяйки вогнали, вмазали ее обратно в облупившуюся штукатурку. Мистика, кабала, ведьмы, двор чудес из «Собора Парижской Богоматери», в замесе с отвратно-обворожительным зюскиндовским «Парфюмером».

Внятный шип разъяренных владелиц: сгинь старая задница. Все было очень знакомо.

По слухам, большинство здешних дворцов возводилось на деньги, полученные от наркобизнеса, которым занимались почти в открытую при попустительстве полностью коррумпированных властей. А вот жить гаитянские мафиози предпочитали в Майами, их дети учились в американских университетах, ну да, по все той же схеме. Кстати, первых ласточек российской мафии я узрела воочию не где-нибудь, а в Женеве, знаменитой, но маленькой, где все у всех на виду.

А уж при специфической внешности «новых русских» явление их не могло остаться незамеченным. Я-то их просто узнала — вот ту парочку в черных, застегнутых наглухо длиннополых пальто, что наведалась в нашу квартиру в Сокольниках, вручив мне пачку «зеленых». Теперь их будто клонировали, запустив в Швейцарию через аэропорт Cointrin, где, при частых командировках Андрея, я дежурство несла, то встречая его, то провожая.

Удивление вызвал не столько шкафообразный десант, сколько почетный эскорт, его встретивший. И все это были наши знакомые, сотрудники международных организаций. Не выдержали, выходит, бесхозности? Приученные лебезить перед партийными боссами, советскими чинами, угождать кинулись теперь уже новой власти, денежной. И уж не по бедности, ооновских окладов хватало на все. Потребность, значит. Зов души. Рефлекс шавок, хвостом вилять перед начальством, выхватывать чемоданы, ублажать, кормить-поить, слету схватывать любое пожелание. А все потому, что рожденные в СССР никогда в себе самих не уверены, без покровителей не могут обойтись. Опыт диктует: услуга за услугу, взятка, подкуп, блат, свои люди — сочтемся — вот на чем все зиждется. Хотя вроде бы как, каким образом «шкаф», миллионами набитый, можно было подкупить-расположить? А просто: предоставить свой банковский счет для отмыва, крутежки «новорусских» немереных накоплений.

Правда, в период свой вахты в аэропорту Cointrin я была далека от подобных прозрений. Не до того. Тревога за мужа,

отсылаемого постоянно в «горячие точки», то в Карабах, то в Руанду, Гому, Бурунди, за дочь, заканчивающую в Нью-Йорке Французский Лицей, одиночество, в такой мере не ведомое, не испытанное, до волчьего воя — вот что держало меня в клещах.

Гаити, беднейшая из самых бедных стран в мире, предстала раем, избавлением.

И вот там я уже окончательно излечилась и от иллюзий, и от искушений, так называемой, экзотикой.

Основное различие между дикостью и цивилизованностью, дремучестью и культурой — соседство, лоб в лоб, неслыханной роскоши с беспросветной нищетой. Прослойка, даже тонюсенькая, отсутствует. К виллам гаитянских богатеев подступали вплотную лачуги, как волны к острову. Такого я и в Калькутте не видала: жилища, слепленные непонятно из чего, с провалами то ли дверей, то ли окон, куда заползали, как в норы, чтобы, верно, только переночевать. Днем же все выплескивалось наружу: приготовление пищи на древесных углях, стирка, торговля чем Бог послал, а чаще, как правило, ничегонеделание. Прострация. Оборванные, истощенные, рассаживались на пыльной земле, застыв, не сводя глаз с железных ворот, с лязганьем отворяемых охраной, выпуская джипы хозяев жизни.

Процесс поиска подходящего дома потому у нас так затянулся, что условие, мною выдвинутое, в тамошних обстоятельством оказалось невыполнимо.

Не соблазняли ни мраморные полы, ни хрустальные люстры, когда к окнам даже приблизиться нельзя: взглянешь — и отпрянешь. Одна из риэлтерш не выдержала: либо привыкайте, либо уезжайте. Но я не уехала и не привыкла.

Хотя мои капризы, разборчивость, имели и другие мотивировки. Вслух это не обсуждалось, но висело в воздухе. Томас Вульф назвал один из своих романов «Домой возврата нет». Лучше не скажешь.

В делегации Международного Красного Креста здесь, на Гаити, возглавляемой Андреем, семейный пост был только у него. Я догадывалась, что ни французу Жану-Люку, ни голландцу Брэгу, ни испанцу Филиппу, Кэти — ирландке, сенегалке Сильвии, входящим в состав миссии, не понятно, странно зачем их шеф жену сюда приволок. Все они были нас с Андреем моложе, командировки в страны типа Гаити и в их понимании, и на самом деле обычно содействовали карьерному взлету, но для Андрея, до того занимающего в Женеве должность заместителя генерального секретаря одной из крупнейших в мире благотворительных организаций, подобное назначение выходило разжалованием, ссылкой.

Если бы даже возникла такая потребность, вряд ли можно было бы им объяснить, что в понижении статуса, профессионального, материального, Андрей лично нисколько не повинен. Никаких ошибок в работе не допустил, напротив, когда в девяностом году подал рапорт о добровольном уходе с поста, провожали его с почестями, вместе с недоумением.

Впрочем, к сотрудникам — гражданам СССР их коллеги в международных организациях, при внешней любезности, относились отстраненно: лучше, мол, не влезать, не вникать. Парень хочет вернуться на родину, там быть полезным? — пожалуйста, ради Бога. Тем более там у них, говорят, «перестройка». Ему видимо, что-то пообещали, посулили, так скатертью дорога.

Вот мы и уехали, а через три года вернулись обратно в Женеву. Опыт Андрея учли, но и другое тоже: развал прежде «могучего-нерушимого». Какие претензии, коли держава, империя больше не существует, за спиной не стоит?

Продвижение соотечественников на посты, с интересом, престижем отчизны связанное, чиновников МИДа уже не тревожило. Учуяли «новые веяния»: всем на все наплевать.

А мы, наша семья, оказались невосприимчивыми к витающим в воздухе переменам. Только прибыв на родину, Андрей первым делом отправился в финотдел МИДа, сдав именной чек на 300 тысяч швейцарских франков — свой, полагающийся при уходе из международной организации, пенсионный фонд. Как после

выяснилось, деньги ухнули с концами, кем-то из правительственного руководства под шумок прикарманенные. Воровство перестало быть уголовно наказуемым, напротив, свидетельствовало о сообразительности, расторопности, а таких, как мы, причисляли к дуракам.

Выбора не оставалось. В новой России мы явно не прижились, и Андрей, получив в Международном Красном Кресте контракт, дал согласие на «горячие точки». Три-шесть месяцев в Африке, короткие залеты в Женеву — такой ритм обрела наша совместная жизнь. Дочь в шестнадцать лет уехала одна учиться в Нью-Йорк, живя в английской семье. До того я встречала ее после школьных уроков, переводя через улицу, не разрешая одной ездить в лифте. И все.

Проводив ее в аэропорт, сутки выла, осипнув. Семья разлетелась, рухнул налаженный быт, дома не стало, лишь временные пристанища.

Но я все же пыталась сопротивляться разору. Возила с собой в ручной клади фотографии в рамках, семейные реликвии, тарелку эмалевую с драконом, купленную папой в Китае, каретные бронзовые часы, вазочку сине-зеленую с Мальты, цветную гравюру Женевы, врученную Андрею торжественно при его уходе с поста зама генерального секретаря.

И на Гаити эти вещицы меня сопровождали. Обживалась с ними в гостиничном номере. Вот тут и обнажилась моя ущербность. За всеми другими членами делегации стояли не только их страны, правительства, государства, но и семейные гнезда, традиции, родня. А за нами — никто, ничто. Еще не беженцы, но корни, оседлость уже утратившие. Отщепенцы. Потерпевшие кораблекрушение.

Случилось такое не вдруг и давно. В ту еще, казалось, безоблачную пору, когда выпала наша первая заграница, что, как окружающими, так и нами воспринималось выигрышем в лотерею: вот привалило… Обычно не везло, то бишь ничего просто так, без усилий, с неба не падало. И, видимо, в этом и сказывалось благоприятствование судьбы. Она нас хранила. От непомерных желаний, корчь тщеславия, укусов зависти, мук совести, ночных кошмаров, незаедаемой ничем горечь о навсегда утраченном.

Теперь знаю твердо: из России нельзя уезжать. Нельзя, если сразу каленым железом не выжжено намерение вернуться. Если дом остается там. Если свое отсутствие, сколько бы оно не длилось, воспринимаешь как нечто временное. Тогда изгойство, изгнанничество обеспечено уже до могилы. Встреча с родиной только усугубит, воспалит твои язвы. Это будет другая, чужая

страна. И ты от нее, и она тебя отвыкла.

А вот уже шаг за последний порожек: догадка, что любил ты не то, что исчезло, но и не существовало никогда. «Россия, Лета, Лорелея».

Жан-Люку, Брэгу, Филиппу, Китти в голову прийти не могло искать на Гаити то, что я, верно, спятив обрести мечтала: надежность. Да к тому же вид из окна! Может быть, еще и с родными просторами, полями, лесами, церквушками деревенскими? Посреди океана, на острове, где нога соотечественников до нас не ступала. Да, вот здесь, вот сейчас, потому что бежать, казалось, больше некуда.

Но помимо безумия, я обнаружила еще и хитрость. Смекнула: когда выбор дома будет сделан, мои «выходы в свет» ограничатся супермаркетом.

Щепетильный Андрей машину с водителем мне, жене, ни для каких других целей не даст. Пой птичка в клетке или визжи. Да хоть грызи стены. Никто не услышит, а если услышит-не поймет. Русская речь здесь до нас никогда не звучала. Край земли — вот где мы очутились.

Но все-таки жилье нашлось, не лучше — не хуже прочих, мною отвергаемых. Забор, поверх колючая проволока, железные, отворяющиеся с лязгом ворота, прицел темных глаз, лишенных, как у диких зверюшек, выражения, отношения, просверливающих нас сквозь стекла «Тойоты Ленд Крузера», как пулями, насквозь.

Там, в каменном доме, возведенном с претензиями на замок-крепость, однажды, после ужина, мы включили проигрыватель, и я в Андреевой майке, доходящей мне до колен, встала и обняла его. Мы, щепки, плывущие в океане, в пучине, вцепились друг в друга, слились, оба босые, то ли танцуя, то ли плача беззвучно. Так возник ритуал. Наши танцы в душной тропической непроглядной ночи.

А как-то вдруг за окном шорох. Я подбежала. И застала не успевшего отпрянуть соглядатая.

— Ты, Жан?

— Да, мадам. — Пауза — Приятно на вас смотреть, и хорошо, что вы не грустите.

Пропал во тьме. Тишина, чужие созвездья в небе. А вот люди, выходят, такие же, как везде? Или все же другие?

Болеро

Андрей говорил, что в любой, даже самой отсталой стране, есть ниши для местных богатых и иностранцев: рестораны, отели, с полным ассортиментом изысков, как на Западе, а бывает и покруче. И не соврал, повел меня в «Болеро», которым владел француз Робер, облюбованное сотрудниками международных организаций.

Робер за стойкой бара распоряжался, шутя, дымя сигаретой, ни на мгновение не умолкая, забавляя клиентов и себя самого — словом, француз взаправду. Подозвал усатого метрдотеля, чтобы нас усадил, назвавшегося Фернаном и оказавшегося уроженцем Невшателя.

Враз всплыло: невшательское темно-синее озеро, мимо которого столько раз проезжали, мощеные узкие улочки, средневековая Европа, сбереженная так тщательно, что островерхие, узкоплечие домики выглядят только что отстроенными, готовыми к заселению новоселами. Фонтаны украшены цветами, озвучены лепетом воды, длящемся века. Засосало под ложечкой: как это все далеко…

Куда только людей не заносит, вот Фернана, Робера. Неужели они, француз, швейцарец, места, получше Гаити, для себя не нашли? Стало тесно в Европе? Авантюрный характер? Или что-то в жизнях сломалось? Броски такие беспричинными не бывают, им что-то должно предшествовать, нестандартное.

Герои Карен Бликен, автора романа «Из Африки», искателями приключений сделались от уязвленности, по разному скрываемой, но с общей метой не баловней судьбы. Колониальный стиль вот такими и создавался, отщепенцами, изгнанниками, изгоями. За фасадом улыбчивости, у каждого своя боль. Фернан, что у вас? А у вас, Робер? А у тебя, Надя?

Когда мы вступили в частный клуб «Петионвиль», чтобы в теннис играть, бассейном пользоваться, обедать, ужинать среди, так сказать, себе подобных, этот райский уголок с цветами, полями для гольфа, служителями в белой униформе казался иной раз сном, вырванным из чужого подсознания. И когда там устраивались теннисные турниры, на трибунах, среди нарядных женщин в широкополых шляпах, загорелых, холеных мужчин, я, как и они, с бокалом вина в руках, не столько за происходящим на корте следила, сколько за ними, зрителями. Клан, сообщество или сборище одиночек? Элита здешняя или международное жулье? Ведь бизнесом занимаются в таких странах, как Гаити, в основном любители играть без правил. При ограничениях,

существующих в цивилизованном обществе, капиталы зараз не наживешь, а в Гаити — раздолье для тех именно, кто соблазном движим хапнуть поскорее и побольше. И с них не спросишь, с иностранцев, участвующих в ограблении им чужого народа, коли свои заняты тем же самым.

Колониальный стиль призван роскошью компенсировать издержки пребывания вдали от привычного. Штат обслуги при господах растет по мере нищания нации.

И можно не церемониться — вон сколько охочих. Кухарок, уборщиц, садовников, охранников, приученных к любым барским прихотям. И вдруг полоснет переполненный жгучей ненавистью взгляд.

О, море-море!

Свершилось! Андрей наконец выполнил обещание, и мы поехали к морю!

Удивило, правда, что до пляжа пришлось добираться чуть ли не два часа.

А представлялось — вот оно, так близко, с балкона гостиницы распахивалась синева. Уж я насмотрелась, намечталась: оно, море, надеялась, должно искупить все.

А едем-едем, как по пустыне, перемежаемой в кучи сбившимися лачугами, что даже деревнями не назовешь. Зелень отсутствует. Потом узнала, что все было вырублено, леса, сады, пущено на древесные угли для обогрева, приготовления пищи. Газ — роскошь, недоступная населению. Началась эрозия почвы, чтобы ее оздоровить нужны большие вложения, но их нет и, по всей видимости, не будет. Надо же, при райском климате, где воткнешь палку и она зацветет, такой унылый, безрадостный пейзаж создан руками самих граждан, которым и на свою страну, и на собственное будущее наплевать, лишь бы день прожить, не околев с голоду. Если бы кактусы удавалось сжевать, то бы и этой колючей поросли не осталось. Когда-то при колониальном режиме посаженные апельсиновые деревья выродились, превратились в дичков, и плоды их, твердые как камень, костистые, кислые, годились лишь на отжим. Но и купленная нами соковыжималка через неделю вышла из строя. После недоумевала как Жану руками, по виду вовсе не богатырскими, удается сок нацеживать: на два стакан уходило с десяток плодов. А яблоки из США импортировали. Я узнала этот товар по продолговатым наклеечкам: в постсоветской России им завалили киоски, рынки… Своего — ничего. Клубника в корзиночках пластиковых — пожалуйста, а даже морковь, на своей земле выращенная, дефицит.

Помню, в один из приездов, у метро, облепленном торговыми рядами, барахолкой, покупала что-то, путаясь в девальвированных в очередной раз купюрах, и в раздражении на собственную бестолковость, сказала: извините, я из другой страны. В ответ, ледяное: мы все — из другой страны. Да уж, чего не отнять у нашего народа — меткость формулировок. Парень, меня отбривший, был русский, курносый, чубатый. А страна вправду и мне, и ему чужая — такой ее сделали.

Но что потрясло на дорогах Гаити — не рытвины, нам и дома привычные — а вспученные, разлагающиеся трупы сбитых, бездомных собак. И даже ослов — местный, доступный

большинству населения транспорт. Для тех, кто сидел за баранкой, и человека задавить- пустяшное дело. Нечего было зевать. Шастают под колесами, но тротуары-то не предусмотрены.

И опять параллель: как-то, уже вместе с Андреем, пыталась пересечь московскую улицу по разметке пешеходной дорожки, но автомобили неслись сплошным потоком, не притормаживая. Я, по рефлексу на Западе обретенном, подняла руку, вперед шагнула. Андрей: с ума сошла, задавят, не поморщатся! И ведь прав. Водителя не накажут, даже не оштрафуют — за взятку блюстителю порядка сойдет все.

А на Гаити «блюстители» вообще отсутствовали. То есть формально они как бы были, и, видимо, им что-то платили, но столько, что наводить хотя бы мнимый порядок, напрягаться, не имело смысла. Поэтому каждый спасался как мог. Богатые нанимали охрану. У нас тоже была, в две смены, дневная и ночная. И жаль делалось парня, с деревянной дубиной, у ворот нашего дома дежурившего: по моей инициативе ему предоставили шезлонг, а лучше бы раскладушку. Он так трогательно храпел. А в ночи постреливали, где-то близко.

Зато я увидела звезды, другого, не нашего расположения. Когда Андрей уезжал в командировки, как называлось, в провинции, спать не получалось. В ногах кровати дрых, замаявшись от дневного беспрерывного лая, миттель-шнауцер Микки. Не желая его беспокоить, я осторожно выпутывалась из влажных простыней, спускалась в сад. Мое состояние тревогой не назовешь.

Обреченностью? Тоже нет вроде бы. Ограда виллы, что мы снимали, поверху была утыкана битым стеклом, плюс колючая проволока. Но это все ерунда, бутафория.

И я просто глядела в это странное небо, чужое, роскошное, изумляющее. Надо же, Бог так старался, а люди, ничтожные твари, замысел его испоганили. Строй моих мыслей, может быть, был таков. Но не ручаюсь. Признаться, что меня раздирали страхи?

Однажды в проеме двери возникла фигура. Ну что? Кричать бесполезно. И слышу:

— Мадам, что это ты тут?

— Да так, Жан. Красиво, звезды…

В ответ: я тоже люблю смотреть.

Французский я так и не постигла. В присутствии дочери, для которой французский, можно сказать, родной, и кофе, по-ихнему изъясняясь, не осмелюсь заказать. А вот искаженный, примитивный креольский — наследие колонизаторства — открыл глаза на многое. На Жана. Вот и сейчас вижу его мальчиковую,

подростковую худобу, глаза в пол лица, вопрошающие о чем-то.

Возможно, о главном, что забыто нами, так сказать, цивилизованными людьми.

… Ах да, море. Мы до него-таки доехали. Цвета сапфира, с песчаным искрящимся дном. Ни до, ни после мы такого не видали. И оно действительно скрасило нашу тамошнюю жизнь.

Микки

Когда мы только приехали на Гаити, проблема возникла с миттель-шнауцером, Микки. Он, к стыду нашему, оказался расистом. В России, где родился, не знал поводка. Трудный характер обнаружил сразу: не случайно выбирала щенка я. Он лег мне на грудь и всю изблевал на пути к даче. Хозяева объяснили: главное, не дать слабину, будет плакаться, а вы затворите двери и не пущайте, собака должна знать свое место.

Да, как же! Приперся со своей подстилки в коридоре не к комнате дочери — она у нас кремень — а к нашей. Скулил? Нет, скандалил, базарил. Требовал то, что в итоге и получил. Наглец. Засрал, описал, конечно, все. Метил не на газеты, которыми, как нас учили, мы расстилали, а аккурат мимо. Его младенчество — сплошное утверждение себя. Не места, а роли, главенствующей.

На карту — все. Готов был и помереть, измаял нас своими болячками, то понос, то рвота. Но своего добился, воцарился. А ведь были у нас и до него собаки, и в Андреевом детстве, и в моем, смышленые, верные. Этот же въелся в сердце.

Взял самую важную для их породы планку: член семьи.

Из Женевы приехал с нами в Нью-Йорк. У нас был трехдневный переход к Гаити: номер в шикарном «Нью-Йорк пэлас отеле», рядом с собором святого Патрика, у Пятой авеню. И на Микки надели намордник. Впервые.

Он шел по Пятой буквально на ногах, «руками» пытаясь содрать ремешки намордника. Народ столбенел. И это на Пятой, где голому пройтись — не заметят. Вслед нам — свист. Американская общественность раскололась. Одни: изверги, издеваются над животным! Другие: полицию надо вызвать, убрать зверюгу! Особенно после того, когда Микки, извернувшись, сделал пас к афроамериканцу на роликах. Но хуже всего оказались постояльцы респектабельного отеля.

Стою в холле, держу Микки за ошейник, они же, блажные, норовят мальчика потрепать за ушами. А у него клыки, руку прорежут насквозь. Кусанет — не откупимся, засудят. У него внешность обманчивая, немного крупнее болонки, бородка, челка — и лютый нрав.

Господи, молю, скорей бы унести отсюда ноги!

И вот рейс Нью-Йорк-Майами-Порт-о-Пренс. Сплошь черные, мы, двое, как пришельцы, инопланетяне. А Микки, в ящике, сдан в багаж.

Когда приземлились, аэропорт напомнил Адлер «доперестроечной» эпохи.

Никаких терминалов, кондиционеров: выгрузили среди летного поля, и, на раскаленном ветру, с ручной кладью, куда-то поволоклись.

Зато прибывших приветствовал оркестр, верно, чтобы компенсировать недостатки сервиса. Пассажиры сгрудились у короткой ленты транспортера, выхватывая гигантских объемов чемоданы, тюки, коробки, волоча их, обходясь, понятно, без тележек к выходу.

Так же страна моя, Русь великая, наезжала со всех концов в столицу за колбасой, с верблюжьей выносливостью на горбу тягая добытое в тамошних очередях. Ведь лишь в столице хотя бы что-то давали.

Пока Андрей отлавливал наши чемоданы, я уже поняла — куда мы вернулись.

У моих ног стоял ящик, сквозь зарешеченную дверцу я трогала влажный нос. У нас с Микки, догадалась, общее состояние: отупелой растерянности. Он прозрел предстоящее интеллектом породистой собаки, я — животным чутьем.

Но я-то была готова к компромиссам, а он- нет. Возненавидел! Горничные в отеле «Монтана» отказались наш номер убирать. Микки, запираемый на балконе, сообразил, что сетчатую, от москитов, дверь можно когтями поддеть и сдвигать Мне без него никуда уже стало нельзя отлучаться. Мы оба распластывались под гостиничным вентилятором, похожим на самолетный пропеллер, как Джек Никольсон в фильме «Профессия — репортер».

Вот что еще создало дополнительные сложности в поисках нами жилья.

Местные собак боялись пуще огня, и не без оснований, в бродячих шелудивых стаях часто случались эпидемии бешенства. Ветеринарная служба, вакцинация?

Да, для богатых. И салоны, где мыли, стригли счастливцев, тоже пожалуйста.

Но, одновременно, тучи бездомных, голодных, в болячках на впалых боках.

Каков народ, таков и скот. Я, с детства приученная руку протягивать, в знак дружелюбия, любой твари, тут стала шарахаться. С низкой посадкой, растопыром вялым ушей, повадками мародеров, они шастали повсюду. Подбирались и к нашему дому, норовя в ворота проскользнуть. Микки визжал яростно. У него не сложились отношения с собаками Евтушенко в Переделкино, но, думаю, осознал, что, по сравнению, то было беседой джентльменов. С отбросами общества он до того дела не имел, и его агрессивность наращивалась.

Когда переехали из гостиницы в дом, отработана была процедура знакомства Микки с прислугой, а так же с охранниками, доставляемыми по означенным адресам посменно, уж кто куда попал, и присутствие собаки, к появлению новых лиц отнюдь не безразличной, в расписании дежурств не учитывалось. Пришлось изобрести ритуал: охраннику, впервые у нас появившемуся, надлежало, когда Микки к нему выпускали, протянуть на ладони сухарь, не дергаясь, ни в коем случае не убегая. Происходило это, конечно, в нашем присутствии, но с риском, напряженными нервами. Нешуточные испытания.

Некоторые, кому надлежало нас охранять, защищать, при виде Микки чуть в обморок не падали, бледнели, покрывались испариной. И Жан спал с лица, когда Микки впервые стремглав него помчался. И вдруг, подпрыгнув, лизнул в лицо.

Жан расплылся в улыбке. Так началась между ними любовь. А когда пришлось расставаться, затяжно прощались, с надрывом. Микки лицо Жана до блеска вылизывал, а тот, сидя на корточках, все гладил, гладил его. «Му-Му», «Каштанка» — классика..

Dignit

Пляжи все, конечно, были платные. Если нет, туда не стоило и соваться: берег в завалах мусора, подъездов нет, людей тоже. И хотя морская синева тянулась вдоль дороги километрами, только редкие, на далеком друг от друга расстоянии участки имели обихоженный, благоустроенный вид. И даже шик.

При пляжах имелись рестораны, отели: служителей, официантов вдвое больше, чем посетителей — тоже одна из примет колониального стиля — но расторопностью они не отличались. До смешного: подскочат, выхватят из твоих рук сумку или чемодан — и все, исчезают с концами. Предложат напитки — опять схожий сюжет. В ресторане бегут к тебе со всех ног, усаживают как «свадебных генералов», а, получив заказ, куда-то будто проваливаются. Ждешь, ждешь — нету! Озираешься, пытаясь вспомнить приметы того, кто дотошно расспрашивал как именно лобстера желаешь откушать, сильно ли прожаренным, с каким гарниром. Да с любым! И не надо лобстера, согласны на любую еду, ау!

Потом, ставши завсегдатаями, научились не только все эти физиономии различать, но и по именам окликать. Не сильно помогало. Бернар, а где Оливье? Он апельсиновый сок час назад обещал. В ответ: а не знаю, может, куда отъехал…

Такую странность трудно было постичь. В условиях безработицы, на Гаити повальной, казалось, следовало бы за место держаться. Но так казалось нам, не им. Удивительное открывалось сочетание: обреченности, задавленности и непомерной, в готовности мгновенно взорваться, гордыни. Рабство, видимо, в своих отголосках приводит к повышенной эмоциональности, мутящей рассудок. В разных формах доводилось это наблюдать — мгновенные перепады от угодливости к бешенству. Притормаживаем, скажем, машину, отовсюду торговцы сбегаются, предлагая кто что, в основном бананы, благо их не надо выращивать, сами произрастают, или же апельсины, называемые по местному шадеками. Но если начнешь цену сбивать, ярость в ответ неадекватная, до испепеляющей ненависти, готовности стекла в нашей «Тойоте Лэнд Крузере» побить. Хотя мы единственные покупатели. Но пусть лучше сгниет товар, не уступят ни за что.

Dignit — достоинство по-французски, исказилось в здешнем менталитете до уродливости. Признать собственные ошибки они, гаитяне, просто не в состоянии. Для них нож вострый — извините, сказать, виноват. Разбита, допустим, фара на одной из

машин делегации или моя любимая английская чашка — никто никогда не признается. Намертво будут стоять, все, не моргнув отрицать, и не из страха перед наказанием, а именно чтобы сберечь свое dignit. Вот оно только и цветет пышным цветом на фоне всеобщего разора.

Больше того, вопиющей бестактностью, посягательством на все то же dignit воспринимаются попытки выяснить, разобраться кто все же совершил ту или иную провинность. Тогда сразу смыкаются ряды, демонстрируется братская солидарность: «врагу не сдается наш гордый „Варяг“!» А если «враг» заупрямится, проявит дотошность, да еще, ни дай Бог, улики найдет, предъявит их как доказательства, тут он уже серьезно рискует. Гнев народа разрастись может в ураган. Так что черт с ними, с фарой, с чашкой, прожженным утюгом платьем, жульничеством, воровством. Dignit — взрывоопасная штука. И об не следует забывать.

История Гаити — череда восстаний, бунтов, продолжающихся вот уже двести лет. Вдохновителем их считается Французская революция, с ее лозунгом liberte, egalite, fraternite, подхваченным рабами, перерезавших французов же в их колонии, называемой La Perle des Antilles, то есть антильской жемчужиной. Герои-освободители, гаитянские генералы, Дессалин, Петион, Лювертюр, Кристоф, соблазнились и формой французских военных, треуголками, лосинами, синими мундирами с золотыми эполетами. Их изображения украшают местные купюры — гурды, ну вылитые Наполеоны, разве что лица темные. По примеру Наполеона один из них, Кристоф, объявил себя императором. На этом, правда, сходство с vieille France заканчивается. С объявлением в стране республики La Perle des Antilles приказала долго жить.

Зато легенды, предания о преемственности французских традиций, культуры, живы в Гаити и поныне. Французов, не тех, коим перерезали горло, чьи поместья сожгли, а мифических, созданных пылким воображением, сродни нашему, отечественному, изобретшему лучезарные образы варяг, цивилизовавших дикую Русь, почитают лучшие, просвещенные слои гаитянского общества. Франция их маяк, звезда путеводная, жаль, что далекая, Штаты ближе. Неувязка получается: эмигрируют в Штаты, мечтая о Франции. Я, когда мы уже из Гаити уехали, читая в «Paris Match» статью гаитянского историка Жоржа Мишеля, приуроченную к двухсотлетию празднования освобождения Гаити, хмыкала чуть ли над каждой там фразой. Статья с реальностью гаитянской не имела ну абсолютно ничего общего. Расчет был, конечно, на тех, кто в Гаити никогда не

бывал. Но потом подумала: Жорж Мишель грезил, а не врал, и скорее заслуживает сочувствия, чем осуждения.

Чем лучше, тем хуже

Справка: за 70 лет до 1915 года в Гаити произошла 102 переворота. В 1915-ом страну оккупировали американцы, при президенте Вильсоне, продержались до 1934-го, сделав за это время дороги. Теперь они в ужасающем состоянии. Зато нет «проклятых оккупантов», а есть миротворческие силы США и ООН.

Вошли они в страну без единого выстрела, как заявлено, по просьбе правительства страны для восстановления демократии. Случилось это за три месяца до нашего на Гаити прибытия. По выходным дням у прибрежных отелей из автобусов высаживался десант бритоголовых, с татуировкой, как у воров в законе, парней, в бассейнах резвящихся, играющих в бейсбол, ловко, но если промажут, а ты не увернешься, расквасят запросто физиономию.

Представители же миротворческих сил Организации Объединенных Наций из Пакистана, Бангладеш еще меньше воодушевляли. Сии храбрые мужи, по зябкости, верно, окунались в море в майках, шортах. Решившись на парусниках прокатиться, надевали спасательные жилеты. Хотя вполне могли бы всплыть, как на пузырях, на собственных, выпирающих животах. Те еще защитнички! Многие, кто из начальства, с семьями явились, и подскочила плата за аренду домов, за все услуги. Бум! Гаити — страна, где иноземцев не любят, но в них нуждаются, от них зависят. Устроившимся при иностранцах, в любом качестве, все прочие завидуют, и те своим статусом весьма гордятся. Но вот при увольнении, от обиды, разочарования, выплескиваются уже другие эмоции: проклятые чужеземцы, убирайтесь вон из нашей страны!

В гневе забывают, что если «проклятые чужеземцы» действительно уберутся, по своим странам разъедутся, кому тогда дома в аренду сдавать, кого обслуживать? Бум сменится депрессией. Кстати, с 1994 года по 2001-й на помощь Гаити США, например, затратили 2,3 млрд. долларов. Кроме того, присутствие иностранцев, посторонних, задевая, возможно, патриотические чувства, является между тем гарантией от беспорядков. Характерно, увы не только для Гаити, что, празднуя освобождение, смену власти, режима, народ, ликуя, переходит к погромам. Обещанное же процветание почему-то не наступает. На Гаити сигнал к беспорядкам — подожженные на дорогах покрышки.

Нам это пришлось увидать. Розмон, шофер, нанятый из

местных в краснокрестную делегацию, объяснил: «Пока не беспокойтесь. Всего-то с десяток горит, вот когда сотнями запылают..»

Утешил. Да, выпал «курорт»! Андрей «ободрил»: «У нас по плану на эвакуацию будет двадцать минут, успеем.»

Сплошные прелести

Но по дороге к морю, хотелось отвлечься от всех тревог, и замечать, выискивать приятное, милое глазу. Алую юбку, вздутую живописно ветром, на франтихе, направляющейся на воскресную службу в церковь. А рядом другая, в платье до полу, с разрезом во всю ногу, да в шляпке с кружевами. Спутник, ей подстать, в светло-песочном костюме, с жилеткой, в манишке с оборками — загляденье. Умеют же принарядиться! И тут же в мусорном отвале роются черные свиньи, голопопый ребятенок бежит. Гроздья бананов вывалены у края дороги с торчащими, как слоновьи бивни, стеблями-креплениями. Андрей говорит: вот и бананы завезли. И сразу в памяти вспыхнуло: в Москве, куда их действительно завозили, продавали зелеными, твердыми, я, по чьему-то совету, прежде чем дочке, Вите, скормить, совала их по диван дозревать в темноте. Когда это было? Было ли? Вита в Канаде, в университете учится. И где реальность? В том, что было, или что сейчас есть?

Едим лобстеров в ресторане на пляже по баснословной, если с Европой сравнивать, дешевизне. Рядом французское семейство. По тому как они обсасывают панцирь, щупальца-усики, ясно, что лакомиться так им в новинку.

После будем их встречать на тупичках для белых. Освоятся. Все осваиваются, в любых условиях. Живуча человечья природа. Но вот каковы тут последствия предвидеть не дано.

Хотя лобстеры, креветки, вообще все морское поесть можно было только в ресторанах, и я поначалу не поверила, что в портовом городе свежей рыбы в магазинах нет. Обследовав супермаркеты, убедилась: и вправду. Кроме рома «Барбанкур», пива «Престиж» да курей, все сплошь импорт. А море-то кишит живностью. Почему же ее в Порт-о-Пренс не завозят, не поставляют? Не выгодно, волокитно? Ресторанная мафия противится? Супермаркеты держал клан сирийцев и один француз. У него к рождественской индейке даже традиционные для французской кухни каштаны нашлись, хотя и консервированные, в банках..

Спросили: а нет ли еще и трюфелей? К сожалению, нет, признался смущенно.

Ладно, обойдемся. Интересней было бы узнать каково ему здесь, чем отвлекается, как глушит себя? Поделился бы опытом. Но он откровенничать, понятно, не стал, а предложил ящик хорошего и не дорого вина. Так сказать, по знакомству.

Существование на Гаити реанимировало нашу хватку,

сфокусированную на бытовой сфере. Обстоятельства, когда все дефицит, нам, выходцам из СССР, были не внове. Привычка к швейцарскому изобилию отмерла при первом же посещении гаитянских промтоварных магазинов — точных копий отечественных сельпо. После эмбарго экономика страны так и не оправилась. В одной из лавочек вознамерились набор стаканов приобрести, так оказалось они не для продажи, а выдаются только на прокат, по торжественным, видимо, случаям.

Махровые полотенца, постельное белье — с накруткой втридорога, по спекулятивным ценам. Да и то без наводки, получаемой от местных, не знали бы куда и сунуться. С их подсказки обнаружились и первоклассные рестораны, парикмахерские с отличными мастерами, портнихи, маникюрши, массажисты, обслуживающие клиентов на дому, но без «волшебного слова», то есть блата, все эти прелести оставались бы скрытыми, как сокровища пещеры Алладина.

Возвращаясь после купаний мы высматривали по обе стороны дороги предлагаемый товар: фрукты-овощи, рыбу, связкой нанизанную, еще трепыхавшуюся. Вот мальчонка держит усатого лангуста, кажущегося крупнее, больше в детских руках. Спрашиваем: а еще есть? Оставив машину, спускаемся к морю. В прозрачно-синей воде покачивается садок- клеть, сплетеная из тростника, и там копошатся черно-чугунные крабы, лангусты, омары с толстой, короткой шеей. Продавец — он же охотник, ныряльщик — выкидывает их на берег.

Они тут, гремя доспехами, устремляются в родную стихию, к воде. Напрасно размечтались. Продавцу помогают голые, черно-эбеновые мальчуганы, и в голову им не приходит стыдиться своей наготы. Нет, как мы узнали, не сыновья.

Взгляд с прищуром: вам-то какая важность? Долго, подозрительно, надувательства опасаясь, мусолит свой куш, гаитянские гурды. Но со счетом, даже до десяти, у него не лады. Досадливо морщится: а, ладно, мол, проваливайте, жадюги!

Отъезжаем. Андрей: «Ой, сплоховал, без калькулятора не так подсчитал, переплатил, с нулями запутался, вместо двухсот дал две тысячи». Да ладно, его утешаю, спишем урон как благотворительность, признательности, разумеется не ожидая. И от этой иллюзии избавиться пришлось.

Жизнь-смерть, день-ночь

Только мы в доме обосновались, не выяснив да и не пытаясь, чем занимаются владельцы арендованных нами хором, влетает как-то ранним утром в слезах кухарка: отпустите на похороны, младшего брата хозяина убили!

Проломили голову, кто, за что, неизвестно.

Знакомое, «постсоветское». Переглядываемся. Андрей: ну что, на теннис поедем?

И едем. По кочкам, рытвинам, ухабам в тропических предрассветных сумерках: поздно светает. На мне белая юбка-плиссе, ракетки в чехлах на заднем сидении. Андрей: нда-а. Я, вторя, нда-а. Содержательная беседа.

По обочинам дороги в сполохах кострищ мечутся, как грешники, в аду, еле различимые силуэты. Старуха, похожая на ведьму, готовит варево в котелке, отгоняя тучи мух. Грязища, пылища, светофоров нет, поток машин еле движется, всюду пробки. Наконец подъезжаем к воротам клуба «Петионвиль», отворяемых охранниками в песочного цвета форме. И поражающий каждый раз перепад. Другой мир: аллеи, клумбы, белое здание с колоннами, бассейн, поля для гольфа.

Правда, Эдуард, тренер, быстренько отрезвит, начнет гонять, хлестать: двигайся, двигайся, не застывай, как корова. В выражениях не стесняется.

Мальчик, Жак, подносящий мечи, шепчет: мадам, не огорчайся, босс со всеми строг. Ему лет двенадцать, живет на чаевые, какая уж тут школа. Здесь, при клубе, если повезет, и состарится. Эдуард тоже начал так, подавая мячи игрокам. А вот теперь профи, хотя и самоучка. Взгляд цепкий, смышленый проницательный. И все же, когда он, отработав с нами положенное, уходит, сразу обмякнув, с сутулой спиной, грустно бывает. Как-то снял бейсболку: совершенно седая голова. Целый день на жаре на корте. Не железный ведь, однажды там и свалится.

Стою долго под душем и мечтаю: вот бы не утро, а сразу вечер. И спать, спать… Колониальный менталитет вползает в меня. Не длить хочу время, жизнь, мне отпущенную, а сжирать, сжигать, как тюремный срок.

После, когда будут случаться подножки судьбы, по макушке удары, вспомню себя, в андреевой, доходящей до колен майке, вниз по лестнице шлепающую, оставляя босые влажные следы, в сад, к кусту шиповника, мною реанимированного, цветением своим оглушительным доказывающим, что жизнь — это жизнь.

Море — это море. Туда, лишь бы момент не упустить, падает, гаснет, оранжевый шар. В тропиках нет заката, постепенности, трепетности.

Бац — и все. Резкая, жутковатая смена дня и ночи. Есть над чем задуматься.

Будни

Как-то с шести утра загудели вертолеты. Переворота опасались, поскольку президент Рене Преваль в Европу укатил. Обычное дело — скинуть правительство и поставить по сути такое же, но как бы другое. Уж до того свободолюбивый народ!

Предполагаемое событие хорошо сочеталось с отъездом Андрея а зону, где ожидался ураган «Берта», с последующим наводнением. Ну просто все к одному.

Ближайший прогноз предсказать могла безошибочно: всегда, только Андрей уезжал, выходил из строя генератор, соответственно, нет электричества, нет воды. Обещал подъехать Жан-Пьер, отвечающий в делегации за техническое оснащение, но не приезжал, машина его ломалась, а другие в разгоне.

Холодильник оттаивал, продукты — на выброс. Я в ярости металась, как тигра в клетке. Вопрос: какая из неприятностей самая худшая? Переворот, ураган, испорченный генератор? Да все! У-у поганая страна, проклятый колониальный стиль! Только на собственной шкуре осознается, что значит «экзотика», которой заманивают простодушных туристов.

Ведь и я, прилетев в Кению, в Найроби, на встречу с Андреем, возглавлявшим тогда миссию Международного Красного креста в Руанде — безопасность там не гарантировалась, поэтому члены семей навещали делегатов в Найроби — доставленная из аэропорта в гостиницу, выдержанную в британских традициях, с выдрессированной британцами же обслугой, ничегошеньки не поняла. После мы отбыли на сафари, опять в идеально отлаженную райскость, поселились в бунгало на берегу речки с залегшими на илистом дне гиппопотамами, и в окружении обезьян, постоянно занятых выяснениями отношений друг с другом. Блаженство, праздник каждый день. Организованные с проводниками туры по бескрайней, серебристой саванне. Жирафы с балетными головками, бородатые антилопы-гну, задастые зебры, разгуливавшие как бы в пижамных штанах, страусы, несущиеся с реактивной скоростью, и вдруг неизвестно откуда возникающие масаи, задрапированные в ярко-красные тоги, с патрицианским величием шагающие с длинными шестами в руках.

То, что у всей этой завлекательности имеется изнанка, в голову не приходило. Так не хотелось уезжать! В аэропорту Андрей вывернулся из моих цепляний, ушел, не оборачиваясь.

Теперь знаю во что он не хотел меня посвящать. В Заире, на границе с Руандой, делегаты жили тоже, как и в Гаити, в виллах,

на берегу красивейшего озера. Но охотников в нем купаться не находилось: на его глади всплывали трупы. В племенной вражде руандийцы методично вырезали друг друга. В лагеря беженцев, организуемых Красным Крестом, где кормили, лечили, попадали и жертвы, и убийцы. А кто их разберет? Они ведь сами не могут в себе разобраться.

У меня, признаться, возникла крамольная мысль: а надо ли вообще вмешиваться? Что, белым, европейцам, своих территорий мало? Распирает гуманизм? Хотят замолить грехи захватчиков-колонизаторов? Приключений ищут?

Раньше казалось, что те, кто отправляется в подобные экспедиции, в «горячие точки», в зоны бедствий, — герои. А если фантазеры, безумцы? В мозгах не хватает винта? Ведь те, кому они помощь оказывают, в упор их, бывает, расстреливают, подкладывают мины, выволакивают из машин, грабят, избивают, убивают. Да не нужны им, таким, ни демократические идеалы, ни, как считается, общечеловеческие ценности. Не прививаются они тут и не привьются.

Напрасные затраты, жертвы, риск.

Такие соображения впервые возникли, когда мы возвращались после сафари в Найроби, в джипе, взятом на прокат, вдвоем. В последний момент проводник из местных попросил его подвезти до города. Мы согласились, и нас это, верно, и спасло.

Саванна с животными, когда запретили на них охотиться, людей уже не боявшихся, спокойно позирующих перед фотообъективами, оказалась не столь идиллической, как представлялось на организованных для туристов экскурсиях.

Наш джип завяз, заехали в топь, серая масса сковала бока машины, подступая к окнам. И тут из зарослей появилась группа, человек десять, в габардиновых, палевого колера плащах, фасона начала пятидесятых, при их росте коротких, из-под полы которых торчали черные, тощие, как жерди, ноги: они, масаи. В руках мачете. Тростник, кустарник или же чья-то глотка таким орудием перерезается враз. Каменное выражение лиц. Не угроза, не дружелюбие — непроницаемость.

Наш спутник по-своему с ними залопотал. Мачете мгновенно нашли применение: сооружен был помост, машину выволокли, лица улыбками озарились, еще до того, как Андрей стал «зеленые» раздавать. Все довольны. Но у меня привкус остался, что ситуация могла обернуться и по-другому. Если бы мы, двое белых, без их соплеменника, одни оказались? Воображение не хотелось воспалять. Пронесло — и слава Богу.

Голубая мечта

Секретарша Эрмьен попросила у Андрея разрешения прийти на работу позднее, ей надо сына в Штаты отправить. Сыну три года, в Штатах его ждет отец, муж Эрмьен. И сама Эрмьен туда же собирается, у нее есть грин-кард, то есть вид на жительство. Родители давно уже в Штаты перебрались, когда Эрмьен была совсем маленькой. Отец один раз наведался, его здесь, в Гаити, обокрали, после чего он заявил, что больше сюда ни ногой. На вопрос, довольно дурацкий, почему она тоже решила уехать, Эрмьен ответила доходчиво.

В районе, где живет, прямо у их дома наркоманы собираются. Полиция бездействует. Недавно убили человека, так полицейские прибыли спустя час после вызова. А когда едут, включают сирену, специально, чтобы все, кому надо, успели, скрыться. «Не знаю, понимаете ли вы, — сказала Андрею, — но здесь страшно жить.»

Понимаем, очень даже понимаем, Эрмьен. Зимой, приехав в Россию, в нашей квартире в Сокольниках, на шестнадцатом этаже, я проснулась ночью от крика мужчины. Где-то поблизости его били, убивали. Долго кричал. И что я могла?

Был уже опыт, позвонила в милицию, там бросили трубку. Дома-башни вокруг тоже слышали, слушали, кому-то это мешало, а кому-то и не мешало заснуть.

Привыкли.

Здесь же практически у каждого продвинутого, так сказать, гаитянина имелись родственники за границей, в Штатах, как правило. Знак качества — гостить регулярно у американских сородичей, а уж высший пилотаж, уложившись в визовые сроки, там родить. Тогда ко всем удовольствиям от поездки еще и новоиспеченный американский гражданин прибавлялся. Расти, дитя, тебе, повезло, родители оказались не промах. Не упустили шанс.

И все без исключения состоятельные гаитяне отправляли своих отпрысков учиться либо в Америку, либо, реже, в Европу. В своей стране образования получить было просто негде, даже начальное, школьное, отсутствовало, не говоря уже о высшем, университетском.

Хотя и в будни, и почему-то даже в воскресные дни повсюду сновали желтые, опять же американского производства, автобусы с черной надписью SCHOOL BUS. Могло возникнуть впечатление, что учится вся страна. Но оказалось, это частный извоз, нечто типа маршрутного такси, используемое торговцами для доставки товара на уличные рынки. А школы, по той же схеме, как и

полицейская, таможенная, пограничная службы, как бы существовали, но фиктивно. Сразу, с первого взгляда не разберешься. Умиляли стайки детишек с ранцами, в гольфах, девочки в одинаковых клетчатых, или же одноцветных юбочках, мальчики либо в голубых, либо в белых рубашках.

Одна такая, с позволения сказать, «школа» находилась напротив дома, где мы жили. Я наблюдала за происходящим там из окон и, надивившись, обратилась за разъяснениями. Почему дети целый день толкнутся в школьном дворе, а в классы даже не заходят? Почему на школьной же территории под навесом сидит человек, что-то строча на швейной машинке? Кто он? Каковы его функции? И услышала: это учитель. Чтобы «школу» открыть не нужен никакой диплом, система образования приравнена к частному бизнесу. Родителям, разорившимся на школьную форму, учебники частенько оказываются уже по карману. Ну не сумасшедший ли дом? Или намеренное злодейство? Безграмотных, темных проще обманывать, обирать.

Кухарки, садовники, охранники, получая зарплату, вместо подписи ставили крестик. И стало больно, обидно, когда такой крестик тщательно нарисовал наш Жан. Какая же сволочная власть, а еще называется демократической! Поэтому все, кто может, оттуда бегут или же мечтает убежать.

Для воплощения мечты, помимо других, существует и самый простой, но и самый рискованный способ, используемый непродвинутыми и несостоятельными гаитянами, коих, как уже отмечалось, в стране большинство. Схема такая: в складчину нанимается лодка и набивается желающими до отказа. Пересечь собственную границу не составляет проблем, куда сложнее у той, вожделенной.

Нелегалов из Гаити в США отлавливают, отправляют обратно, но кое-кому удается просочится. Один, нам рассказывали, особо целеустремленный, предпринял аж девять попыток, на десятой исчез, ни слуху, ни духу. Утоп или может быть все же?… Согласно всеобщей мечте, хотелось надеяться, что затея ему-таки удалось. Но если и нет, других страждущих это не остановит. Бежали, бегут и будут бежать, что нисколько не удивительно. Недоумение скорее могли вызвать те, кто обосновавшись в другой стране и отнюдь там не бедствуя, все же решали вернуться. И хотя таких мало, о них стоит упомянуть.

Когда у Андрея сильно поднялось давление, мы обратились к врачу, пользовавшему делегатов международных миссий, на Гаити практиковавшему сорок лет. Позвонили, он сам взял трубку и лаконично, в подробности не вдаваясь, объяснил, что от дел отошел, так как месяц назад потерял жену: ее убили грабители в

их доме в центре Порт-о-Пренса. Порекомендовал своего преемника, образование получившего в Париже, недавно вернувшегося и принимающего пациентов в госпитале «Канапе вер».

Ехали мы туда в сумрачном состоянии, и не только из-за плохого самочувствия Андрея. Да уж, нравы! Сорок лет человек тут прожил, лечил, все его знали, но нашлись подонки, ценностей в доме не обнаружив, зверски убившие его жену. Никому, выходит, никаких гарантий. И эмблема Красного Креста на машинах делегатов не защита. Когда Кофи Аннан примет решение о закрытии миссии ООН на Гаити, после того как в августе 2000 года сотрудника, отвечающего за транспорт, выволокут из машины и расстреляют в упор, нас уже здесь не будет. Но сообщение корреспондента «Ассошиэйтед Пресс» не удивит.

К моменту посещения врача срок командировки Андрея подходил к концу: за год пребывания флер загадочности этой страны был изжит, мы научились ставить диагнозы, по точности близкие к медицинским.

С первых минут знакомства с новым врачом в его облике, обхождении почувствовалось явно нездешнее. Метис, с матово-смуглой кожей — кровь африканских выходцев подверглась сторонним вливаниями не в одном поколении — высокий, стройный, похожий на Алена Делона, но без слащавости, он, в чьем профессионализме и в первый, и в последующие визиты сомневаться не приходилось, задел в нас струну как бы сочувствующего родства. Хотя, объективно, ничего общего. Париж, где он долго прожил, а мы наезжали? То, что и у Андрея был медицинский диплом? Нет, не то. Он нам сказал, что вернулся после смерти отца, тоже врача, унаследовав его частную практику, добавив невнятное: ну и…

«Ну и…» — вот что нас сблизило. Словами не разъяснить. Порыв, тяга мощная, инстинктивная, туманящая разум: домой, домой! У нас был тот же опыт, комментарии не требовались. Он знал откуда мы родом. На вопрос, в сущности излишний, — не жалеете, что вернулись? — улыбнулся: «Пожалуй, это было не лучшее мое решение.»

Из Канады, и тоже незадолго до нас, на родину вернулся и президент Гаитянского Красного Креста доктор Клод Жан-Франсуа. Хотя тут были другие мотивы. Клод принадлежал к тем, кого преследовали при диктаторском режиме, за кем тонтон-макуты являлись ночью, и исчезал человек, после находили обезображенный труп — ну как у Грэма Грина в «Комедиантах» описано. С той поры много воды утекло, Гаити эпохи Дювалье

давно уже не существовало, страна считалась демократической, и туда потянулись изгнанники — политэмигранты.

Партия, к которой принадлежал Жан-Франсуа, являлась одной из разновидностей троцкизма, с подпиткой марксистских идей западным либерализмом, пышно расцветших, как известно, в тридцатые годы особенно в Латинской Америке, благодаря еще и присутствию там опального коммунистического вождя. Знакомство, общение с ним, Троцким сманило Сикейроса, Диего Риверу, Фриду Кало. Правда, и на Западе в интеллигентской, склонной к фронде, среде, нашлось немало его приверженцев, в последствии, кто дожил, разочаровавшихся и в троцкизме, и в коммунизме, и в марксизме, переживших глубокий духовный кризис. Но в Гаити, где ни одно название не отвечало содержанию, и троцкистская, изначально сомнительная, идеология получилась суррогатной смесью неизвестно чего с чем. Ее представляли члены партии Лавалас, в основном состоящей из эмигрантов, долго отсутствующих в стране, отвыкших от ее реалий, но имеющих претензии на влияние в обществе.

Гонения пережитые при диктатуре, иной раз измышленные, главное, что являлось их лозунгом. На этом основывалось и намерение прорваться к власти.

Ни о каком равноправии, братстве, солидарности речь не шла. Урвать свое — с этим явились в нищее, злосчастное, по определению того же Грэма Грина, Гаити, как еще одна разновидность кровососов, алча своей доли под прикрытием диссидентского, якобы, прошлого.

Прежние «левые», следуя канону, во-первых, симпатизировали СССР, во-вторых ненавидели империализм, что являлось ядром их сплоченности. Но к девяностым годам только психический изъян, либо откровенный цинизм мог сцепить, скрепить этих «соратников по борьбе». С чем, с кем сражаться — ушло. Осталось — зачем, обретя внятно меркантильный характер.

Важность имело лишь от кого, сколько можно взять, выкачать. Контакты с представителями международных организации осуществлялись ради отсоса денег, грантов, всего, что из щедрот благотворительности поглощал, как прорва, их собственный карман. Так называемые, «демократы», оказались мздоимцами, чьи аппетиты перекрыли держиморд деспотического режима. Брали все, брали все. В стороне, оказался, пожалуй, лишь доктор Жан-Франсуа, под крылом которого, «крышей», в Гаитянском Красном Кресте и собралась камарилья, как он, наивный, считал, единомышленников. Хирург, с дипломом бельгийского университета, втянутый в политические интриги, не просчитавший, что поставил на карту больше, чем надеялся

получить.

Семья его благоразумно оставалась в Канаде. Но затеяв строительство дома, с размахом, на Гаити принятым, верно, надеялся, что жена и дети хотя бы будут наезжать к нему погостить. Ждал их то к одним, то к другим праздникам, и был смущен так и не дождавшись. Зря оповещал. Холеный, барственный, с плотно облегающей массивную голову ярко-белой сединой, Клод на глазах сникал, обмякал. И костюм цвета сливочного мороженого, надеваемый по торжественным случаям, не гляделся, как прежде, парадным, нарядным, будто пожух одновременно с его обладателем.

Когда я на теннисе растянула межреберные мышцы и боль оказалась столь острой, что трудно стало вздохнуть, доктор Жан-Франсуа вызвался меня навестить. Тосковал, видимо, и по семье, и по пациентам, по своей профессии.

Но какой из него был политический деятель! Уехал из Гаити совсем молодым, жизнь прошла в Европе, потом Канада. За столько лет Гаити превратилось в мираж, «голубую мечту» наоборот — устремился туда, откуда бежали — и лучше бы он ее сохранил, сберег вдалеке.

После, когда я снова вышла на корт, он к нам зачастил: что называется, ехал мимо. О чем мы говорили? О музеях в Брюгге, собрании там картин Мемлинга, его изумляющих и по сей день находках радужного спектра в белом цвете, хрустальных высверках в белизне воротников, манжет, женских лиц, напоминающих лилии. О мидиях, только что выловленных из моря, приготовленных в белом вине. О Монреале, где на станциях метро звучит Бах, Моцарт, Верди.

Собственно, как и мы, он был здесь иностранцем, уцелевшим случайно обломком прошлого, персонажем романа «Комедианты».

В новой, постдювальевской реальности роль ему жалкая выпала, не достойная его седин. Марш-бросок во власть не удался. Отношения в семье дали трещину: уехав побеждать, вернется побежденным. Продаст дом, в спешке, за полцены. Все это предугадывалось, потому, мы сами схожее испытали.

Не случайно на стикерах у здешних машин часто встречалась фраза-призыв: ЛЮБИ ГАИТИ ИЛИ УЕЗЖАЙ. Можно добавить, а уехав, не возвращайся.

Предупреждению не внявший рискует дорого заплатить.

Ностальгия по папе-доку

Когда роман «Комедианты» стал доступен советскому читателю, я училась в школе. И даже при воспаленном воображении невозможно было представить, что окажусь там, где круглый год цветет бугенвилия, разрастающаяся в непроходимую чащу — примета запустения, как считал герой романа. Буду ужинать в отеле «Олоффсон» в центре Порт-о-Пренса — прообразе «Трианона», задуманного честолюбивым мечтателем Брауном как место встречи тамошних интеллектуалов: гостиница-люкс, и для гурманов, и для любителей местных обычаев не придумана Грэмом Грином, а достоверно им описана. Существовал на самом деле и suite с гигантской, вычурной, под балдахином кроватью, на которой умирала мать Брауна. И бассейн тот самый, на дне которого Браун высветил фонариком мертвое тело, тоже, как во времена, описанные в «Комедиантах», без воды.

В предисловии к роману Грин написал, что ни тогдашнее Гаити, ни диктатура Дювалье не являются плодом его вымысла. «Эту черную ночь невозможно очернить». И наверно очень бы удивился, если бы ему сказали, что спустя пару-тройку десятков лет многие гаитяне «эту черную ночь» вспоминать будут как эру благоденствия, процветания, а, главное, порядка.

От Билли Брандта, хозяина сети парфюмерных магазинов, так же являющегося вице-президентом Гаитянского Красного Креста, от Вилфрида Брауна, владеющего типографиями, полиграфическим бизнесом, да и не только от них приходилось слышать панегирики прошлому, по их словам не только не мрачному, а прямо-таки лучезарному. Как-то Билли, провожая нас после изысканного ужина со свечами от своего дома к машине, сказал, что прежде ни охраны не требовалась, ни заборов с колючей проволокой, безопасность гарантировалась, хоть шляйся по городу ночь напролет, хоть усни на скамейке в парке. (Неужели были и парки?!) И дороги в прекрасном состоянии, и экономика в полном порядке, и туристы валом валили, вообще — рай. На вопрос читал ли он «Комедиантов», скривился досадливо: да сочинить можно что угодно!

Ностальгия по прошлому, далеко не идиллическому, возникает при неудовлетворении, разочаровании настоящим, и мотивировки тут могут быть самые разные. Любые перемены кого-то всегда обделяют, оттесняют, порождая недовольство. Главное, каково соотношение обиженных и довольных. Вот это единственно объективный критерий, и как бы власти не

старались, опровергнуть его нельзя.

В Монреале я вместе Витой посмотрела документальный фильм о Гаити, снятый в 1957 году. Упитанное население, пританцевывая под карибские ритмы, собирает обильный урожай. Ну просто ансамбль Игоря Моисеева. Представители элитарных слоев в бальных туалетах, смокингах, танцуют, пьют шампанское, другие в бассейны ныряют, в которых, как ни странно, есть вода. Начиная с 1946 года, диктор вещает, туризм на Гаити развивается в геометрической прогрессии. Торговля идет вовсю, порт судами забит, и товар не только привозят, но и увозят, экспортируется не только традиционный, еще со времен французского колонизаторства, сахарный тростник, но и кофе, и фрукты, и много всякой всячины. Все кипит! Стилистика фильма, правда, напоминала наши отечественные «Новости дня», с той же победоносной дробью и всенародным ликованием. Но меня интересовали дороги: и вправду без ям, колдобин! Может тогда и порядок действительно был, а?

Вот только почему в некоторых странах исправность дорог возможна лишь при отсутствии свобод? И что ли для гарантии порядка в любой момент любого могут выволочь из постели и увезти в ночь, в смерть? А экспорт кофе, как и сбор урожая должен осуществляться под надзором тонтон-макутов? Ведь вот их смели, так и нет ничего. Ни балов, ни туристов. Мусор не убирается, разлагается, в нем утопает и центр, и окраины города. И порт пуст. Вода у берега загажена настолько, что даже мальчишки не решаются искупаться, рыба дохнет. Вообще Порт-о-Пренс и городом-то теперь не назовешь. Его захлестнула голытьба, а «чистая» публика селится либо в Петионвиле, либо ближе к горам, в Кенскоффе.

Смотрела фильм по роману Грина с Лиз Тейлор и Ричардом Бартоном в главных ролях, стараясь угадать где бы это могло происходить, их свидания, приемы, коктейли, на которых они встречались? Сцену, когда Бартон поджидает Тейлор в своей машине, и вот она подъезжает, пересаживается к нему, изучала многократно, останавливая, вновь запуская видеокассету. Неужели неподалеку от Марсового поля? (бредит Гаити Францией, но кроме имен, названий перенять ничего не удается.) Нет, не может быть, чтобы там! На пустыре, где во тьме наркоманы бродят, предаваться любовным утехам в машине с погашенными фарами, да еще умудриться уснуть, там, где и днем проезжать рискованно с заблокированными дверьми: сумасшедшие, они что ли, или…

Одна из граней такого «или» открылось после того как, мы, Андрей, Вита и я, отправились в Жакмель.

Жакмель находится на южном побережье. В тех местах Гаити напоминало Швейцарию: близко подступающие обрывы, крутые виражи и вдруг распахивающаяся панорама зеленых гор, с уходящими в синеву вершинами. А когда после очередного спуска по спирали за поворотом брызнуло море, тут уже как бы возникла Италия, если въезжать в нее со стороны туннеля Монблан. Ну и все.

На этом сходство закончилось. Мы оказались в Гаити периода «пост-Дювалье».

В справочниках, рекламных проспектах Жакмель назывался городом, начавшим расти, отстраиваться с 1492 года. А почему не в мезозойскую эру?

Полторы улицы, стиснутые барачного типа зданиями — вот, выходит, что успели создать за 500 лет. И руин древних что-то не видно, хотя несколько зданий стояли без крыш, зияя провалами окон, но неприятности с ними приключились явно не так уж давно.

Особые почести в рекламных проспектах воздавались отелю «Жакмельен», называемому «брильянтом архитектуры», который ну просто штурмом берут туристы со всего света, приезжающие сюда, чтобы — цитирую — «научиться искусству жить, искусству любить, избавляться от всех тревог под убаюкивающие волны прибоя.»

Прочтешь такой комментарий, находясь в номере «Жакмельена», и всерьез озаботишься, то ли у тебя с головой не в порядке, то ли у авторов путеводителя: где это все, что они живописуют, захлебываясь от восторга?

В «Жакмельене» мы, наша семья, оказались единственными постояльцами.

Хотя при регистрации нам туманно намекнули, что была-де группа, да только что уехала.

В предложенном нам номере оказалось потревоженным кошачье семейство, и мы поселились в соседнем, благо вся гостиница была к нашим услугам. Персонал ее как бы не мог поверить, что действительно к ним кто-то нагрянул, с ночевкой, и даже готов рискнуть поужинать.

Впрочем, желание рисковать все больше ослабевало. Мы отправились в Жакмель как в край, где процветают ремесленные искусства — так нам его рекомендовали. Воображались уютные пешеходные улочки, магазинчики, торгующие разнообразными поделками. Нам говорили, что яркие маски из папье-маше, расписные шкатулки, лаковые подносы с экзотическими цветами, попугаями, привозят именно из Жакмеля.

Но магазинчиков не обнаружилось. Подозрительного вида

чичероне повели нас в темные лачуги (электричество в это время суток в Жакмеле отсутствовало), где «предметы народного творчества» валялись в пыли, на полу и как-то не соблазняли.

Купание тоже не состоялось, хотя мы приехали на пляж, где, опять же по слухам, бодисерфинг практиковался. Но он был совершенно пуст, а путь к морю забаррикадирован горами мусора. Метрах в пяти от берега проржавелая полузатонувшая баржа стерегла будто свои владения от смельчаков, готовых, несмотря ни на что, кинуться в воду. Но, судя по всему, таковых не находились.

Вернулись в отель. Если бы уже не стемнело, мы, отказавшись от ночевки, пустились бы в обратный путь.

И все же чувствовалось: что-то здесь было. Когда-то. Отель «Жакмельен» задумывался интересно, со вкусом. Резные темного дерева двери, и ни на одной орнамент не повторялся, причудливые кованые барельефы на стенах, узорчатые балконы составляли многоярусные галереи. Остатки парка полузабытое навевали.

Вода в бассейне зацвела, побурела, но он был, в нем, некогда, верно, купальщики плескались. На террасе, над берегом моря, украшенной разноцветными лампочками, уставленной вазонами, нынче побитыми, с растениями, выродившимися, зачахшими, танцы-поди устраивались, пуншем ромовым гостей обносили, как когда-то в отеле «Трианон». Так что же случилось?

Один из жакмельских чичероне назвал причиной бедственного положения отсутствие туристов. А туристы не едут, потому что боятся. Никто ведь теперь за безопасность их не отвечает. «Ну а прежде, при Дювалье?» — спросили мы.

«При Дювалье, — он охотно объяснил, — тонтон-макуты строго за всем следили».

Интонациия, с которой это «строго» произнес, была явно поощрительная, уважительная. На наше — за всеми? — не отреагировал. Показал многоэтажное здание — как после пожара, от него осталась одна коробка: там был дансинг, принадлежавший тоже владельцу отеля «Жакмельен». «И много народа собиралось?» — «Ой, много!» — и он мечтательно прикрыл глаза.

Гаити. Не путать с Таити

Путаница происходит из-за схожести звучания, и особенно часто у моих соотечественников, запомнивших песенку, на расхожий мотив, про негра Кити-Мити и попугая Ке-Ке. Хотя единственное, что у этих стран общее — доступность бананов. Все прочее — абсолютный контраст.

Острова Полинезии, куда Гоген ринулся не за приключениями — их в его жизни было достаточно — а надеясь оправиться от финансового краха, расчетов его не оправдали, денег не принесли, зато увенчали бессмертием. В Арле, тоже дыре, он и Ван Гог перессорились, двум медведям тесно стало в одной берлоге.

Их там открытия — традиционно черные одеяния местных женщин, отливающие иссине-лиловым, лица, спекшиеся в сгустки желтка, раскаленное добела солнце юга Франции, съедающее, как хлорка, оттенки, полутона — шли практически параллельно. Вот что они не простили друг другу — ненужное ни тому, ни другому сближение в исканиях и их результатах. Гоген бежал, отступив перед фанатическим упорством Ван Гога, но после они сравнялись в славе, оба умерев в нищете.

На экспозицию картин Гогена в Нью-Йоркском Метрополитен музее собирались толпы. Хотя там были представлены и его ранние, интереснейшие работы, малоизвестная скульптура из дерева, майолика, акварели, графика, ажиотаж вызывал именно таитянский период. Пышнотелые, знойные, женщины с цветком у уха в таком количестве, честно сказать, утомляли, но Гоген привлекал не только ценителей живописи, но и любителей путешествий.

Когда-то затерянные в океане острова Полинезии нынче превращены в популярные курорты. Гогеновские, томно вкрадчивые обольстительницы встречают туристов в аэропорту, накидывая на шею новоприбывшим, как лассо, венки, сплетенные из причудливых, похожих на орхидеи цветов: всего-то пять долларов, ну кто может отказаться? Экзотика сразу, с порога забирает в плен, и нет смысла сопротивляться.

Гоген, правда, прежде чем навсегда улечься подле местной красавицы, уверив себя и нас, что обрел благодать, написал десятки призывных, отчаянных писем друзьям, близким, собратьям-художникам, кредиторам, но ни от кого не получил поддержки. В итоге придумал, создал на своих холстах рай, возможно, в отместку — завидуйте, предатели, негодяи.

Потом на его беде, судьбе, таланте расцвел туристический

бизнес, разрекламировав клишировав воспетое им. Впрочем, в атмосфере Таити, как и Гавайев, того же полинезийского корня, действительно присутствует удивительное умиротворение, и не только из-за благодатного климата, но и характера местных жителей. Доброжелательностью, приветливостью, деликатностью, они, люди, и создают шарм, ради которого стоит предпринимать такое длительное и довольно утомительное путешествие. Пальмы, бриз, песчаные пляжи можно найти и поближе, а вот такое душевное расслабление, пожалуй, больше нигде.

Тут есть объяснение. Народы Полинезии, то ли случайно, то ли по Божьему промыслу, избежали мясорубки рабства, которому подверглись Латинская Америка и Караибы. И там, и там, тоже как бы по райскому, первозданному образцу, созданы ниши для блаженства. Почти тоже самое, но именно почти. Они искусственны, как все резервации, в данном случае не для изгоев, а для привилегированных. Но кто еще не полностью очерствел, не могут не ощущать вплотную подступающие к туристским заповедникам голод, нищету, болезни, отсталость — язвы, причиненные рабством и так и не залеченные.

Когда мы, уже из Штатов, отправились в круиз по Багамам и прибыли в столицу Нассау, пассажиры с нашего теплохода устремились на главную улицу, где беспошлинно предлагались товары от «Гуччи», «Диора», «Феррагамо», а меня отнесло вбок, в проулок: там, среди до боли знакомых завалов мусора к автобусу, только что подошедшему, кинулась, давя друг друга, темнокожая толпа. И вспомнилось, мгновенно отрезвив, оно, Гаити, по официальным данным беднейшая в западном полушарии страна. Багамы, Ямайка, Доминиканская республика считаются, и справедливо, куда более цивилизованными. Но начинка у всех этих стран общая: туда свозили из Африки, в основном из Гвинеи и Бенина, черных рабов. Закованные в цепи, бесправные, продаваемые на торгах как скот, они передавали потомкам единственное, что нельзя было у них отнять — веру в свое. Одна из разновидностей таких верований, и поныне живучая, культ вуду. Зловещий, опасный, мутящий рассудок, волю парализующий, превращающий человека в зомби. Вудизм практиковался в Новом Орлеане, на Кубе, а на Гаити практикуется и по сей день.

Тем, кто путает Гаити с Таити, следовало бы поприсутствовать на вудистких радениях, и больше, уверена, подобных обмолвок у них бы не случалось. Если бы Гоген попал не на Таити, а на Гаити, как бы не ухищрялся, прообраз рая на своих полотнах он бы не создал.

Вуду

В Гаити власти то вуду покровительствовали, то яростно с этим верованием боролись. Генералы Лювертюр, Петион, Дессалин, чтобы показать себя, людьми просвещенными, старались его искоренить. Но как это обычно и бывает, вудизм лишь в подполье ушел, обретя еще более мощное очарование запретности.

При Дювалье вуду чуть ли не с лояльностью к власти отожествляли, и кто рвения на церемониях не проявлял, считался подозрительным. Но и насильственное внедрение не сгубило вуду. Выходит, и вправду — сила?

Теперь вудизм признан в Гаити официально. Первое ноября объявлено нерабочим днем: по вудистскому календарю это праздник, когда чествуют мертвых.

Культ смерти — одна из основ вуду, и в вудистких «святцах» его олицетворяет Барон Суббота в цилиндре на черепе с провалами рта и глаз.

Считается, что зомби — это подвергшиеся насильственному воскрешению «свежие» покойники, и гаитяне пуще всего боятся умереть «не совсем»: тогда, умеючи, можно завладеть их волей. Но кто умер «всерьез», тому почет и уважение. Покойника помещают в домик-склеп, украшенный лепниной, покрытый либо голубой либо розовой штукатуркой — такие веселенькие поселения мертвых вплотную подступают к лачугам живых и выглядят куда солидней последних.

В праздник первого ноября на кладбищах многолюдно, шумно. Тамтамы чуть не лопаются от оглушительной монотонной дроби, пляска длится часами.

Периодически участники «подогревают» себя кларетом, местным самогоном, но годится и ром. Все это преддверие. А вот чего именно, рая или ада, трудно определить. В вуду и рай, и ад в христианском понимании отсутствуют, а существует нечто иное, целостное, где парит, несется в воздушных потоках душа, не ведая ни добра, ни зла. Из чего следует, что она безгрешна. А коли нет понятия греха, то и каяться не надо. То есть простить можно все. Данный аспект сильно повлиял на менталитет гаитян. В сочетании с dignit гремучая смесь получилась.

Но до первого ноября надо было еще дожить, к нему готовясь я изучила книгу Альфреда Метро, считающуюся наиболее основательной попыткой проникновения в дебри вудизма. Там все расписано, и какой символ что означает, и все ритуалы подробно проанализированы. Это был, пожалуй, единственный

случай, когда я не из-под палки уселась со словарем.

Иностранные языки — не моя сильная сторона. Ловлю на слух, тем и удовлетворяюсь, лентяйка. Бедный мой дед, владевший свободно немецким, французским, знавший итальянский, греческий, читавший на английском, плюс латынь — опозорила я его память. Зато наша дочь спасла семейную честь.

Словом, теоретически в вудизме я подковалась. К тому же и до праздника мертвых автомобильное движение часто стопорилось, когда во всю ширь улицы двигалась похоронная процессия. Впереди ехал катафалк — у меня создалось впечатление, что один и тот же. Несмотря на торжественность, шествия эти по вычурности туалетов напоминали маскарад. Боже, откуда, из каких сундуков, они достали такие шляпы, как клумбы, цветами искусственными изукрашенные, опутанные вуалями, да в мушках, и с блестками! Подобное никто не носил никогда, нигде. И еще диво: процессия, под дробь тамтамов, двигалась, приплясывая. Выделываемые коленца, прыжки, кружения, взвихряющие длинные, до полу, юбки женщин, совершенно не сочетались со скорбно застылыми лицами. Это было настолько другое, чужое, что и отталкивало, и завораживало, притягивало. У меня стало, можно сказать, идеей-фикс, попасть обязательно на вудисткие радения.

Мечту свою я осуществила с помощью того же Жан-Пьера, что на мой SOS являлся — или же не являлся — налаживать у нас в доме генератор, периодически выходящий из строя. В его было власти оставить нас, в основном меня, в пене шампуня на волосах, в поту плавающей при отключенном кондиционере, дав почувствовать свою зависимость и лично от него, и от благ цивилизации, к которым зачем-то пристрастилась.

Держался Жан-Пьер любезно, но с дистанцией. Инженер по образованию, сгоревший после эмбарго на частном бизнесе, нанялся завхозом в делегацию Красного Креста и был доволен: там по крайней мере регулярно платили. У него было трое детей и неработающая жена, а два брата уехали в США. То есть он как раз подпадал под категорию продвинутых гаитян. Употреблял местоимение vous, не тыкал как простонародье.

Но в тот раз без воды, электричества я провела трое суток, и телефонная связь отказала. Андрей находился в командировке. Жан-Пьер нас навестил по наитию, впервые, пожалуй, меня пожалев. Обычно я возмущалась, срывала на нем свое раздражение, что он выдерживал стойко, с хорошо маскируемым презрительным равнодушием. Моя непривычная кротость, верно, его удивила.

Как только генератор вновь заработал, загудел, сотрясаясь — с этим грохотом я уже свыклась, как и с утробным воем кондиционера — помчалась в ванную, под душ.

Какая же малость, пустяк способны нас сделать счастливыми. Как-то Андрей взял меня с собой в командировку в Майами, где находился центр по отслеживанию ураганов, и в номере «Интерконтиненталя» меня ну просто заворожил забыто упругий напор воды. И ее цвет, не мутно-бурый, а светло-искрящийся. На попытки Андрея меня отвлечь, оторвать от такого блаженства, ответила грубым сопротивлением. Майами меня абсолютно не интересовало, ни в каком смысле, ни в культурном, ни в шопинговом, а вот щедро, расточительно, мощно льющаяся из кранов вода — да.

Когда воды вовсе нет, никакой, вожделеешь, мечтаешь даже о каплях, медленно, пыточно буравящих темечко из дырок проржавелой головки душа.

Восторг! Он в душе, тело может капризничать, зато дух ликует.

В халате, с мокрыми волосами, спустилась на первый этаж, обнаружив, что еще и голодна. Там меня ждал Жан-Пьер. Странно, почему не уехал? И тут я услышала: «Вы, Надя, (имя Надежда, сколько я уже болтаюсь по заграницам, никто никогда, без искажений, произнести не мог, с фамилией, Ко-жев-никова — вообще катастрофа) интересуетесь вуду, (ну конечно, прожужжала всем уши) так вот я могу организовать посещение церемонии, где посторонние — сделал паузу — не предусматриваются.» Какой же он, душка, готова была его расцеловать. Но неужели Жан-Пьер, по виду интеллигентный, бывает там, где как описывал Грэм Грин, в экстазе перегрызают глотку живым петухам, чья кровь, брызнув, окропляет присутствующих?

Жан-Пьер назвал приблизительное число, в конце ноября, а место встречи, сказал, уточним ближе к делу. И я стала ждать, в предвкушении небывалого.

Уж не знаю каких-таких откровений ожидала я от вудистов, но, помнится, с тем же энтузиазмом, возбуждаемая любопытством и риском, сильно, впрочем, преувеличенным, совалась на диссидентские посиделки, в командировках по Сибири пользовалась покровительством расконвоированных, свой срок отмотавших отнюдь не по идейным соображениям. Позднее внимание привлек продукт новой, постсоветской эпохи, воры в законе на «мерседесах», киллеры, как они хвастливо себя заявляли — молодые парни, прибывшие в столицу из провинции, селящиеся коммуной в однокомнатных квартирах спальных

районов, сдаваемых обнищавшими кандидатами наук, писателями, искусствоведами и прочими аутсайдерами, опрокинутыми непривычными условиями пришедшего в страну капитализма.

Удавалась мне в основном роль зрителя, наблюдателя со стороны, попутчика, собеседника, кому случайно, спонтанно сокровенное приоткрывали.

Так вышло и с Геной — таксистом, прибывшим в столицу из-под Казани, и на пути от Сокольников до Арбата, — я ехала в гости к друзьям — изложившим свою биографию, чуть ли не с момента рождения, а так же специфику основного занятия, с вождением такси мало связанного. Вместе с приятелями, бандитами, он обслуживал рэкетиров, выезжая по их вызову, как он выразился, на разборки. Равнодушно добавил, что троих из их команды уже убили, следующим может оказаться он.

В том, что он говорил, как говорил, была и бравада, глупое мальчишество, неосознаваемая жестокость, и вместе с тем он пробуждал к себе жалость. Друзья, узнав, что мы с Геной телефонами обменялись, возмутились моим авантюризмом и долго меня отчитывали. Представляю шквал негодования, если бы они узнали, что дала Гене не только телефон, но и адрес, пустила его в дом, и на кухне еще не проданной сокольнической квартиры, мы с ним провели целый вечер в задушевной беседе.

То есть в основном говорили он. О валенках, в которых ходили его сестры, другой обувки не зная. О том, что «гонорары» от «разборок» он отсылает в Казань, родне. Что однажды придумал сделать сестрам сюрприз, заплатив за проезд и достав билеты в Большой театр. И старшая, ей под тридцать, вернувшись после представления, рыдала, младшая в угол забилась, обкусывая ногти до крови. Стон! Корчи России, той, что коммунисты скрывали, а демократы, так называемые, плюнули в лицо.

О беде Гена не голосил, он с ней родился, спекся, и мне, случайной собеседнице, перечислил сухо некоторые подробности. Рефреном шло: ты понимаешь? Понимаешь, там в Большом театре, бутерброды давали с колбасой, ветчиной, икрой, сестры никогда прежде такого не видели, чтобы от жратвы буфетные стойки ломились, а потом еще та люстра, занавесь, ну и вообще..

Где он, Гена, сейчас? Возможно уже убили, сестры в Казани лишились кормильца, и что в таком случае делают, на что живут? Как, на что, каким образом полстраны вытягивает, постепенно вымирая? В Гаити хотя бы на дармовых бананах прокормиться удается, и бомжи в тропиках не околевают от холода, так что, можно сказать, гаитянам больше, чем россиянам, повезло. К тому

же у них есть вера в вуду, ну хотя бы во что-то. Вот бы увидеть живьем то, о чем написал фундаментальное исследование Альфред Метро.

Мы ехали на своей «Тойоте» следом за подержанным, побитым седаном Жан-Пьера, петляя по разбитым дорогам, но припарковаться удалось лишь за квартал от места действия, столько было машин, и многие с дипломатическими номерами.

Такое скопление белой публики прежде встречалось только в местном «Клуб Меде», куда на автобусах в воскресные дни доставляли «голубые каски», довольно жидко разряженные посольскими и представителями международных миссий. Хотя в «Клуб Меде» выдерживались принятые стандарты, с неограниченной выпивкой, поставкой продуктов из Франции, гольфом, теннисом, водными лыжами, виндсерфингом, охотников покупать туда туры находилось немного. Репутация Гаити доверия не вызывала. Зачем рисковать, когда сеть «Клуб Меда» раскинулась повсюду, и в странах куда более привлекательных, чем нищее, взрывоопасное, непредсказуемое Гаити. В период эмбарго гаитянский «Клуб Мед» пришлось закрыть, он прогорал, и было это сравнительно недавно.

Среди прибывших на эту сходку мелькало чересчур, подозрительно много знакомых лиц, из завсегдатаев того же «Клуб Меда», членов клуба «Петионвиль», посетителей «Болеро», «Виллы Креол», «Олоффсона», «Эль Ранчо», известного тем, что там останавливался бывший президент США Джимми Картер и описанного в тех же «Комедиантах». Выходит, надул Жан-Пьер, сказав, что на церемонию вуду посторонним проникнуть трудно. А кто ж эти все? Испанский посол, беседующий с первым секретарем посольства США, что ли вудизм исповедует? В присутствии стольких зевак, любопытствующих, о каком таинстве, сакральности могла идти речь? Типичная тусовка иностранной колонии. Но Жан-Пьер уже растворился в толпе, так что я лишилась возможности разочарование свое ему высказать.

Лупцевали по тамтамам, подвывая с приплясом, скорее всего нанятые для этого случая артисты фольклорного ансамбля, их густо черные лица казались загримированными, а в бутылках, к которым они, как положено по ритуалу, прикладывались, наверняка не кларет булькал, а кока-кола. Экстаза никакого не наблюдалась, в транс никто не впадал, живым петухам откусывать головы вовсе не собирался. Ну ничего зловеще чарующего — просто шоу от которого веяло скукой.

Участники похоронных процессий, из окон машины наблюдаемых, обнаруживали большее вдохновение, изобретательность, самоотдачу. И мы вскоре ушли. Жан-Пьер

оказался обманщиком. То, что он проявил осмотрительность, нас пощадил, предложив вудистскую церемонию в целлофановой упаковке, как дешевый, на потребу туристов, сувенир, дошло после, когда мы оказались свидетелями подлинных радений вуду неожиданно и того не желая.

Андрею понадобилось заехать в офис вечером, я за ним увязалась. Пока он в бумагах копался, заглянула из окна в соседний двор, не рассчитывая ни на что занимательное. И ошиблась. Андрея окликнула.

Из собравшейся в круг толпы, раскачивающейся из стороны в стороны под все убыстряющийся ритм тамтама, выбилась женщина, закружилась на месте, сдернула платок с головы, покачнулась, упала, разбросав в стороны руки, застыв так в прострации. Грозя ее затоптать, еще четверо в круг прорвались, крутясь волчком, раздирая ногтями лица. Хлынула кровь, что никто не замечал.

Массовый психоз, транс, осатанение. То один, то другой прикладывался к бутылкам, содержавшими уже явно не кока-колу.

Нечто подобное происходило в шестом-четвертом веках до Р.Х. в Элладе, когда у греков вошли в обиход дионисии. Доводили себя до исступления плясками, одурманиваясь конопляным дымком. Те оргии тоже воспринимались как приобщение к божественному. Так было и в России в секте хлыстов, о чем можно прочесть у Мережковского. Но прочесть и увидеть отнюдь не одно и тоже.

Заплакал ребенок, плач его поглотило неистовство тамтамов, нарастающий вой на глазах безумевших, теряющих остатки рассудка людей, близких к чему-то ужасному, отвратительному, запредельному.

Мы отпрянули от окна, погасили свет, в темноте спустились к машине.

Рванули с места, не оглядываясь. Своим подлинным ликом вуду вызывал омерзение. Интерес к местным «народным традициям» заметно ослаб. Но без вуду, вот именно такого, не напоказ, не туристического, Гаити не узнать, не понять.

Исправные прихожане

После подсмотренного шабаша, странно, неловко было наблюдать принаряженные толпы, устремляющиеся на воскресные проповеди в христианские храмы. Какой же сумбур творился в душах этих дисциплинированных, принявших веру Христа, прихожан, одновременно преданных и вуду? Патологическое лицемерие, предельная испорченность? А может быть нечто потустороннее, стихийное анализу не поддающееся, что сидит, затаившись, в глубинах нашей природы, вдруг задевая нутро, как поразившие меня в детстве удивительные стихи, цитируемые по памяти: «У этих цветов был неслыханный запах, они на губах оставляли следы. Цветы эти будто стояли на лапах у темной, наполненной страхом воды».

Между тем двоеверие не гаитянское изобретение. Оно встречалось в глубокой древности, к примеру, у израильтян: в народе Ягве, Бога единого, сосуществующего с ханаанеями, получило распространение и язычество — отступление на более низкую ступень. Хотя по словам Александра Меня двоеверие свойственно народам низкой культуры, воспринявшими высокую религию, и в таком случае пример Гаити классический. Вопрос только: действительно ли воспринявшими? Или всего лишь соблюдающими внешнюю, обрядовую сторону, в душе продолжая стоять на «лапах у темной, наполненной страхом воды»?

Однажды Розмон, один из водителей делегаций, рангом выше, чем уборщица, охранник, но уступающий в статусе, зарплате секретаршам, спросил была ли я в церкви святой Троицы? Нет. Зато посетила главный собор, слушала там «Мессию» Генделя, в исполнении столь дилетантском, что не стерпела до конца первого отделения. Не принадлежала, увы, к счастливцам, способным наслаждаться приобщением к прекрасному, не обращая внимания на фальшь солистов, разлад хора, оркестра. Благолепие, с котором заполненный до отказа зал этому безобразию внимал, зависть вызвало, пока, я, как паршивая, отбившаяся от стада овца, пробиралась, пригнувшись к выходу.

Что могла обещать Saint Trinit, в центре замусоренного, одичавшего Порт-о-Пренса, посещаемого три раза в неделю по необходимости, так как во Французском культурном центре я записалась на курсы французского языка?

Но меня, как цирковую лошадь, смирно, без взбрыков, обученную ходить по ограниченному ареной кругу, шанс, соблазн, чуть дернуться в сторону, взволновал, возбудил. Правда

после Жакмеля здешние достопримечательности доверия не вызывали. Убедившись, что Trinit закрыта, понуро поплелась к машине. «Погоди — услышала за спиной голос Розмона — поищу сторожа, у тебя есть два-три гурда? Если только доллары, разменяю.»

Свою шустрость Розмон успел не раз уже выказать. Забирая меня после занятий во Французском культурном центре соблазнял поделками из дерева, металла — гаитянские умельцы использовали кузова никуда уже негодных машин — любой ерундой, на которую я клевала. Мое природное мотовство в местной действительности тоже оказалось парализованным: нечего было брать, хватать, вожделеть, не раздумывая как, где, как это потом применять. Да в шкаф засунуть, под лавку: важен был миг удовлетворяемой страсти к обладанию. В детстве нянька, молодая, румяная деваха, выводя меня на прогулку, встречалась с кавалерами, мне купив в киоске открытки с кошечками, собачками, оставив в сквере на скамейке, погруженную в их изучение, а сама исчезала. Возвращалась, а я вся еще находилось во власти обретенного.

Родители прозвали меня барахольщицей. Я не обижалась: они были правы.

Вот прельстили попугайчики — неразлучники, но пока Розмон с уличными продавцами торговался, я, сидя в машине — Розмон убедил, что с «белых» трехкратную цену сдирают — успела к ним охладеть. Розмон, впрочем, компенсировал затраты времени, темперамента, всучив мне расшитый бисером коврик. Схема все та же: менял мои доллары и приносил сдачу в гурдах. Это его увлекало, а меня хотя бы тень, призрак свободы. Но раздавалось верещание радио-телефона, и голос Андрея: где вы, машина нужна?! Я: стоим в пробке.

Он: за полчаса доедите? Я, обреченно: думаю, да…

Местные безошибочно рассекают пришлых, особенно их слабости, и Розмон, ситуацию учуяв, нашел верный ко мне подход. Психология цветных куда изощренней менталитета белой расы. Белые менее наблюдательны, менее восприимчивы. Может быть обленились. А цветные, ждущие, жаждущие перемен к лучшему в своей судьбе тоньше, проницательнее, да и в итоге мудрее, несмотря на невежество.

Им есть куда стремиться — вот что главное. Это колоссальный потенциал, хотя результатов пока не видно.

Если обратиться к животному миру, ну скажем, к собакам, понятливее дворняжек никого нет. Я с вот такими здесь, в США, через забор общаюсь. У нас-то породистый, двенадцатилетний умница, но сволочного характера. Он, Микки, и провоцировал

соседских дворняжек, взятых из шелтера — приюта для брошенных, бездомных животных, к беспрерывному, непотребному визгу на всю округу. По имеющимся здесь, в Штатах, правилам нас ждали санкции, и ладно бы штрафы, но и изъятия его, нашего Микки, как нарушителя порядка.

Когда я пыталась оттащить его от забора за ошейник, он, извернувшись, меня укусил. И сильно. Ну ладно, любимые, любящие как раз раны самые глубокие и наносят, но что удивительно, разом, будто шокированные Миккиным поведением, смолкли соседские собачки. Заскулили, как бы меня жалея. Ну все, я оказалась в плену.

Хитрецы, не потому что голодны, скулить до сих пор продолжают при моем появлении, и не столько им лакомство нужно, что я протискиваю сквозь щели забора, а выказываемое к ним отношение. Кормежка, получаемая от хозяев, это одно, собаки знают — за что, а от меня — знак симпатии, между нами расцветшей. Скулеж их притворен, они явно лукавят, им нравится меня обманывать, взывать к состраданию, а то, что я поддаюсь, удовлетворение вызывает. День прожит не зря, печенье съеденное — доказательство их надо мной победы, продолжения игры, вносящей разнообразие в унылую жизнь взаперти.

Нечто подобное вышло и у нас с Розмоном. С одной стороны он удовлетворял мои прихоти, с другой, довольно нахально, прозрачно, обжуливал, и на этих обоюдных уступках держался наш сговор. Когда я уверяла по радио-телефону Андрея, что мы в пробке застряли, хотя на самом-то деле ехали, и в противоположную от офиса, где нас ждали, сторону, Розмон, по-русски, разумеется, ничего не понимая, улыбался с таким лукавством, что сомнений не возникало — он знал, что я вру.

Посещение Trinit я собиралась списать на все те же дорожные проблемы, а передвигаться по никак не регулируемым улицам Порт-о-Пренса действительно было весьма затруднительно, но Розмон-таки нашел сторожа, хромого, горбатого, как Квазимодо, и когда он впустил нас в церковь, я сразу и бдительность утратила, и ощущение времени.

Роспись внутри Saint Trinit вроде бы и соответствовала каноническим библейским сюжетам — Тайная вечеря, Распятие, Благовещение, Дары волхвов — но только на первый, наспех, взгляд. А шагнешь вглубь и, не давая опомниться, вступало в действие колдовство, ворожба, противостоять которым было невозможно.

Настенная живопись источала настолько ошеломляющее буйство фантазии, пиршество красок, что я, застыв, исторгла нечленораздельное: а-а, у-у, о-о!

Со стен выплескивалось синее-синее море, горы горбатились, по склонам которых мчались ярко-желтые автобусы, набитые людьми. Это было оно, Гаити, не приукрашенное, но преображенное веселым безумством гениального автора, чей исключительно самобытный почерк вычленял мгновенно его работу: вот этот кусок фрески он сделал, а этот уже кто-то другой.

«Что, кто?» — я выдохнула. «Дюффо, — Розмон отозвался. Он еще жив, остальные, кого здесь видишь, умерли».

Дюф-фо! В тот момент не могла я предвидеть, что с Дюффо познакомлюсь, и синее-синее море, зеленые горы, желтые автобусы протянутся вдоль стены нашего дома в Колорадо. И собрание альбомов по живописи в нашей библиотеке пополнится теми, где Дюффо представлен, что встречу его полотна в галереях Канады, Штатов, и что… Но об этом позднее.

Еще не очухавшись от потрясения живописью Дюффо, я утонула в зеленовато-зыбкой мгле соседствующих с ним фресок. Подумать только, в христианском храме нашли прибежище сцены вудистких церемоний! С петухами, правда, еще живыми, тамтамами, пляшущими людьми. Но и тут, как у Дюффо, неприглядное в действительности, обретало праздничное, ликующее звучание.

Причудливая роспись церкви Святой Троицы дышала, создавая невероятную для христианского храма атмосферу, противоречащую традиционному там богослужению, но без богохульства, взывая к чему-то другому, особенному, что, как ни странно, находило отклик.

Когда мы с Розмоном из Trinit вышли, меня слегка покачивало. И тут я поймала его взгляд, иной, без обычной хитринки. Серьезно, торжественно произнес: «Знаешь, я очень рад, что тебе понравилось». Выходит, этот прожженный Фигаро мог быть и искренним. Его черная физиономия лоснилась от удовольствия: ему было важно, что я иностранка, оценила у него на родине то, чем он сам гордился, мечтая тем не менее, я была в курсе, как большинство гаитян, уехать в Штаты. Но его ли вина, что превалировало на его родине другое, заслуживающее отторжения? И мне ли было его судить?

Возвращались мы молча, молча стояли в пробках. Вдруг я заметила ускользающее до того: среди трущоб проступил архитектурный облик Порт-о-Пренса, задуманного до теперешнего экономического коллапса. Постройки с затейливой, как кружево, резьбой, нагромождением террас, мансард, балконов, башенок навеяли, казалось бы, совершенно далекие ассоциации: дачное, подмосковное, возводимое в тридцатых годах

в поселках типа Серебряный бор, описанное в повестях Трифонова, и тоже смятое, уничтоженное вместе с обитателями.

Отголосок родного в чужом возник после пережитого в Trinit. И хотя я после узнала, полюбила тоже очень талантливых гаитянских художников, Дюффо остался среди них ключевой фигурой.

Да, из такого сора, да, и не ведая стыда

Мир узнал о существовании гаитянского искусства недавно, в сороковые годы минувшего столетия, и началось это открытие с работ Гектора Ипполита.

Известность пришла к нему нежданно, мгновенно: картины враз расхватали по частным коллекциям, пошли выставки, но только прижизненный этот успех длился недолго: Гектор Ипполит умер на пороге славы, в 1948 году.

Над Гаити как бы рок висит: едва артист становится известным, с ним непременно что-то случается. Незадолго до нашего приезда убили восходящую звезду, Стивенсона Маглора. Говорят, что соседи. И — с концами. Никто наказание не понес. Цена человеческой жизни — копейка. И градация отсутствует — кого вдруг не стало. Ну подумаешь, художник! Да на Гаити чуть ли не каждый второй рисует.

Кстати, в «Комедиантах» упоминаются картины Ипполита. Посол, муж возлюбленной героя, показывает гостям коллекцию его работ, хвастливо, что, как и все в нем, героя, Брауна, раздражает. Ручаюсь, что для советских, да и российских читателей, имя Ипполита — пустой звук. Да и автор романа, судя по замечаниям о пронзительно ярком фоне, деревянных позах, к гаитянской живописи остался равнодушен. А вот Андре Мальро, посетивший Гаити в 1975 году, пришел восторг. По его инициативе гаитянских художников приглашали во Францию, где они жили, работали, выставляли свои работы. Перу Андре Мальро принадлежат многочисленные эссе о гаитянском искусстве, которым он пленился, не переставая дивиться: как, откуда, из ничего, можно сказать, в двадцатом веке вдруг возник этот причудливый, фантастический мир, созданный полуграмотными потомками черных рабов?

И почему, я спрашиваю, подобного больше нет нигде на Караибах? Вот рядом же, на том же острове, в соседнем Санто-Доминго, уличные торговцы пытаются сбагрить туристам какую-то мазню, так ведь никакого сравнения: халтура, грубая подделка, сляпанная как на конвейере, без вдохновения, без божества.

В работах же гаитянских художников, даже не самых знаменитых, помимо воображения, присутствует еще и мастерство, изысканная утонченность, сражающая знатоков: ну как это им удается, не имея профессионального образования, да и вообще образования? За исключением разве что Сежурне, родившегося в богатой семье, да Тига, долго в Париже жившего, периодически туда наезжающего, все они самоучки, самородки.

И жанр, в котором они работают, не так просто определить. Да, наив, но включающий в себя и модерн, и чистый воды авангардизм, и трагическое, и смешное, и божественное, и дьявольское, потустороннее, отчего вдруг мурашки ползут по спине, руки холодеют. Таково воздействие, к примеру, картин Проспера и Гурге — оба уже покойника. Проспера мы застали еще в живых. Он жил в Кенскоффе, куда мы к нему и отправились. Владельцы галерей скупали у него все на корню, продавая по взвихренным даже не в два, а в три-четыре раза ценам. Через месяц, как мы его посетили, пришло известие о его смерти: давно болел диабетом, впал в кому, а лекарств не нашлось. Галерейщики, украсив его работы траурными лентами, взвинтили цены так, что уже не подступиться. Рынок, бизнес. Как-то, в частном доме, нам показали картину Сежурне, изумительную, лучащуюся, светоносную, как у мастеров Возрождения, предложив ее уступить за всего-то семнадцать тысяч долларов. Ну да, прямо сейчас! Облизнувшись, мы удалились.

В книге американца Родмана «Где искусство радость», Проспер назван доминантной фигурой, а в книге Юрбона «Тайны вуду», его работы использованы как иллюстрации к этим тайнам. Просперовские «Близнецы» теперь висят у нас над камином. А репродукцию сходной с нашей по колориту картины Проспера увидали в «Paris Match», в том же номере, где я прочла упомянутую же статью историка Жоржа Мишеля. Да, нам, нашей семье, Гаити не забыть: в лучшем своем проявлении оно находится в нашем доме.

Иной раз кажется: это была судьба — оказаться там. Ведь дернуло же меня, давно, лет пятнадцать-двадцать назад, на книжном развале в Амстердаме приобрести антологию наивной или примитивной живописи, в ряду которой и Пиросмани, где в одном из разделов на обоих сторонах разворота пенилось синие-синее море, горы, по склонам которых катились желтые автобусы — вот когда, где он меня настиг, Дюффо! Разумеется, даже качественная репродукция — лишь эхо подлинного, живого. Так что, считаю, Дюффо я впервые увидела там, в Trinit, ради чего пришлось до Гаити, до Порт-о Пренса добраться. Теперь думаю: имело смысл.

Короче, я заболела страстью коллекционерства, и дальнейшее пребывание в стране воспринималось уже через эту призму. Все вроде бы оставалось по-прежнему: грязь, нищета, перебои с электричеством и водоснабжением, уроки тенниса, уроки французского, склоки с прислугой. Но появилось то, что удерживало меня на плаву, за что я благодарна гаитянским художникам, живым и мертвым.

Делай так, делай с нами, делай лучше нас!

Существует поговорка: если швейцарец прыгает на твоих глазах с десятого этажа, следуй за ним, не раздумывая. Каролин, уроженка Цюриха и Клаудио, из итальянской части швейцарии, из Лугано, оба были делегатами МККК (Международного Комитета Красного Креста, чьи функции разнились с Международной Федерацией обществ Красного Креста, где Андрей работал, хотя штаб-квартиры обеих организаций находились в Женеве, но не буду вдаваться тут в тонкости) познакомились здесь, на Гаити. Поженились, родили сына Николо. С ним, годовалым, Каролин носилась на машине с бесстрашной лихостью, на ходу, можно сказать, меняя ему памперсы, кормя из бутылочки. Мордочка Николо казалась осмысленной не по возрасту, и я бы не удивилась, если бы он вступил в беседу с удачной, остроумной репликой.

Каролин таскала сына с собой повсюду, и мне нравилось, что из своего материнства, довольно позднего, она не создает культа, с суматохой, квохчаньем, неловкого, обременительного для окружающих. Импонировало, что она не старалась произвести благоприятное впечатление, а у нее так получалось само собой, согласно натуре, деятельной, энергичной, широкой, что являлось редкостью для швейцарцев.

Впрочем, конечно же не типичные швейцарцы могли сделать такой выбор, как они с Клаудио, мотаясь по странам третьего мира, получая удовлетворение в отрыве от привычного уклада, традиций, комфорта, гарантий безопасности, на чем их соотечественники выстроили имидж своей страны, ее хваленый нейтралитет.

Колониальный стиль, при всех издержках, раскрывал в людях штучное, там, где они родились, возможно, и не выявившееся. Хотя само по себе нестандартное решение свидетельствовало о незаурядности.

Я обратила внимание на Каролин при топтаниях иностранной колонии на коктейлях в консульствах, посольствах, после которых люди опытные разбегались в разные стороны: зачем и с кем? Мы так вполне насытились, Каролин и Клаудио, видимо, тоже.

Зато наши встречи участились в художественных галереях. Одно из чудес Гаити: среди трущоб, самостийных, торгующих секондхэндовым тряпьем рынков, ниши существовали, о которых непосвященные не подозревали. Поднявшись по лесенке невзрачного здания, толкнув дверь, вы оказывались среди

нарядных людей, прекрасных картин, с бокалом вина, мгновенно вам поднесенного.

Вернисажи-презентации происходили постоянно — картинные галереи на пятачке Петионвиля гнездились как опята — но без пошло-обжорного привкуса: присутствующих объединял интерес к искусству. Хозяева галерей, конечно, занимались не благотворительностью, но в их деле не все только выгодой определялось. Те, кого я знала, начинали с коллекционерства, и собственно, коллекционерами оставались. Учитывая рыночную конъюнктуру, они еще и удовлетворяли собственную страсть. В книге того же Родмана среди репродукций представлены были картины из собрания Бурбон-Лали, начатого, когда она еще жила в Алжире. Заболев гаитянской живописью, эта француженка с Мартиники, замужем за англичанином, совершила поступок, переселившись в отсталую, подверженную смутам страну.

Галерею «Мопу» открыл, выйдя на пенсию, американский госслужащий.

«Иссу» держали выходцы с Ближнего Востока, развернув свой бизнес на индустриальной основе. У них был не столько художественный салон, сколько фабричный цех: принимался заказ, цена определялась не только именем художника, но и размерами холста. У «Иссы», в отличие от «Бурбон-Лали» никто никого не стремился очаровать. Дочка Иссы, Бабет, принимая деньги, заполняя бланки сертификатов, всех одаривала одинаковой, рассеянной улыбкой. Ее муж занимался упаковкой товара, доставкой его в гостиницу, а, если надо, в аэропорт. Семейное предприятие процветало, не нуждаясь ни в презентациях, ни в рекламе. Но качество гарантировалось. Своего первого Дюффо мы купили у них.

Галерея «Надер», напротив, походила скорее на музей. Роскошное, современное, в три этажа здание, огромные залы, и цены такие, что, верно, и не предполагали покупателей. Племянник Надера, лощеный, отлично владеющий и английским, и французским ливанец, встречал посетителей как экскурсовод. В его любезности сквозило понимание: визитеры пришли из любознательности, без намерения что-либо приобрести. Капиталы клана Надеров базировались на чем-то другом. Но у «Надера» действительно наиболее полно, в широком диапазоне, представлены были раритеты, образчики лучшего в гаитянском искусстве.

Владелец галереи «Монин», расположенной стык-в стык с «Бурбон-Лали» слыл непререкаемым авторитетом, экспертом, искусствоведом, чьи монографии, буклеты, ценились знатоками и в США, и в Европе. Его, уроженца Швейцарской конфедерации, в

Гаити привезли ребенком. Как в фильме «Nowhere in Africa», «Нигде в Африке», о евреях-беженцах из Германии, спасавшихся от фашизма и загнанных до края, до «нигде», в глухую кенийскую деревню, и семья Мониных, возможно, по той же причине оказалась в Гаити. Известно, что швейцарские власти, хотя и прикрывались нейтралитетом, по договоренности с гитлеровцами, отправляли эшелоны с еврейскими беженцами обратно, в смерть, в крематории. В ответ на закодированные счета в швейцарские банки поступало золото убитых и ограбленных.

Соседствуя друг с другом вплотную, Бурбон-Лали и Монин являлись соперниками, конкурентами, но когда я, нуждаясь в совете, привезла к Кристин Бурбон-Лали картину, как меня уверяли, написанную Стивенсоном Маглором, для ее атрибуции она попросила зайти Мишеля Монина.

Седой, взъерошенный, с затухшей сигаретой в углу рта, похожий по типу на артиста, певца, музыканта Сержа Гинзбура, едва на холст глянув, Монин отчеканил: подделка! Не поленившись, между тем, внятно, доступно разъяснить на чем, каких деталях, нюансах его позиция основывается. И не только я, начинающая, внимала ему с восхищением, но и Кристин тоже. Ее темные, оттянутые к вискам глаза по-кошачьи искрились. Она не завидовала познаниям Мишеля, а ими гордилась. В их отношениях присутствовало еще и товарищество, близость причастных к одному профессиональному цеху, где способность радоваться успеху другого важнее, продуктивнее укусов тщеславия.

Кристин, метиска, почти белая, по-креольски скуластая, высокая, статная, напоминала мне мою подружку Таньку, тоже помесь, от рыжей, веснушчатой, хрупкой, стопроцентной русачки мамы с папой туркменом-богатырем. Таньку я знала с юности, потом мы потерялись и снова встретились в Женеве, прибыв туда практически одновременно: ее муж, Женя, работал и работает по сей день в ООН. Там мы сдружились вновь и продолжаем дружить, хотя и на расстоянии. Танька, кстати, выкинула финт, при ее осторожно-опасливой натуре неожиданный, прилетев к нам в Гаити из Женевы и прогостив три недели. Привезла нам драгоценный гостинец — банку огурцов, засоленных ее мамой, Ольгой Митрофановной, с грядки дачной во Внукове, и проделавшей путь от Москвы в Женеву, через Майами в Порт-о-Пренс.

Танькин визит оказался не только приятен, но и полезен. Я обнаружила, что колониальный стиль не у всех вызывает отторжение, как у меня. Танька, правда, прожила в такой

обстановке недолго, но она вовсе не обращала внимания, не замечала того, что сразу задело, уязвило меня. На пути к морю, в рестораны, клубы, безмятежно щебетала, а дорога в ухабах, нищие толпы, горы зловонного мусора как бы и не существовали для нее. Мгновенно сжилась с той экзотикой, что обещала приятности. Плескалась в бассейне, ловко разделывалась с лангустами и, как я заметила, прислуга и в клубе «Петионвиль», и наша, домашняя, ей угождала с большим старанием, чем мне. У нее бы поучиться, а я забавлялась, а иногда раздражалась как увлеченно она изображает из себя «белую леди».

Впрочем, с ее способностью спать до полудня, в трепе за чашкой кофе проводить оставшуюся часть дня, следовало бы давно уже свыкнуться. В Женеве, будя ее телефонным звонком, слыша смущенный, спросонья, лепет, незачем было пригвождать к позорному столбу: не ври, знаю, что дрыхла, а представляешь который сейчас час?! И уж тем более не надо было, ее, гостью, в каркас всаживать своего жесткого расписания: она ведь приехала сюда отдыхать, а я — выживать. Задачи наши разнились. Но я все-таки гнула свое.

Когда после тенниса, уроков французского, к началу двенадцатого в дом возвращалась — язык не поворачивается сказать «домой» — заставала все ту же картину: Танька, лежа, доедала завтрак, поданный на подносе в постель, одновременно беседуя с нашей Жоржет, глядевшей на нее с обожанием. При моем появлении обе замирали, как соучастницы, застигнутые на месте уж-жас-но-го преступления!

Давясь смехом, я исчезала. Мне вслед раздавался притворно-испуганный Танькин вопль, через пять минут буду готова!

Наверно, если бы Танька рядом была, жила, четырнадцать месяцев на Гаити дались бы мне с меньшими затратами. Она и Женеву, где советская колония к доверию не располагала, скрашивала. Изображая общительность, там бдительность требовалась: соотечественники как раз и подставят, и оклевещут, и донесут. Мы с Танькой знали друг друга до того, а вот наши мужья долго принюхивались, прежде чем сомкнуться. Но с Танькой, в Гаити лишь залетевшей, я не могла, не имела право, расслабиться, поддаться сантиментам: а как потом, когда уедет? Лучше лед, чем лужа растекшаяся, которую разве что тряпкой собирать.

Да, общая, юность, Арбат, Коктебель. Ее, в пятнадцать лет, буйная кучерявость, стянутая от лба белой лентой. Наши дети родились в один год, и мужья одногодки, но к моменту ее приезда ничего не забылось — и все изменилось. При колониальном стиле день вмещает неделю, месяц — год, а после

вдруг время застывает, замораживается как труп в холодильнике морга.

Недавно совсем я завидовала стайкам француженок, канадок, тоже женам, тоже в Гаити чужим, тоже иностранкам, но нашедшим себе собеседниц, товарок, лепечущих на том же, их родном, языке. Но если и случались с их стороны зазывы, ощущение возникало, что меня, как в скафандре, оглохшую, заненемевшую, бездна утягивает. Давление в ушах, вот-вот потеряю сознание.

Точки соприкосновения между нами оставались лишь на поверхности, как поплавки-пустышки с оборванной леской у неудачливых рыбаков.

Я устала от имитации дружбы. Живя в гостинице «Монтана» познакомилась с канадкой Сесиль, и, пока мы с ней плавали в бассейне от бортика к бортику, все досконально узнала про ее мужа, детей, сродственников. При колониальном стиле человеческое общение, как полуфабрикатное блюдо в микроволновой печке, предполагало поспешное насыщение с последующим сытым равнодушием. Так же с Шанталь, у которой я, ну, скажем с натяжкой совершенствовала французский: мы провели вместе у нас в доме целый день, болтали-болтали и переусердствовали.

Ни я больше ее к себе не звала, ни она меня.

Такие случайные вспышки эмоций провоцировал, как курортный роман, наш отрыв от корней, родины, дома. Все мы тут тосковали и пытались, кто как мог, горечь эту заесть.

Танька застала меня в трудный, переходный период. Колониальная жизнь меня еще только взнуздывала, усмиряла. Возможно, если бы она приехала позднее, я бы уже находилась в другой стадии, но пока что боролась за прежнюю себя.

С одной стороны, Танька, совершив героически такой длительный перелет (а я знала как она, дочка летчика, первого пилота, боится самолетов), заслуживала всяческого ублажения, и я хотела, мне нравилось ее ублажать, но с другой стороны вызывало протест, что нашу тут жизнь она воспринимает как бесконечно длящийся праздник, неомраченный ничем. Спустя три недели, когда мы отвозили ее в аэропорт, произнесла искренне, убежденно: «Ну теперь я за вас спокойна. В Женеве так всем и скажу: Надька с Андреем живут как белые люди!»

Водила я ее и по галереям. С Кристин Бурбон-Лали они встретились как сестры, наглядно подтвердив угаданное мною в них сходство. Обе статные, высокие, ухоженные, вкрадчивые, что называется, светские женщины, умеющие везде, со всеми находить общий язык. Чаровницы!

Танька знала зачем пришла: в моей коллекции ей приглянулся натюрморт Лагера с золотисто-зелеными плодами, выполненный в редкой для Гаити реалистической манере, и бабочки с человечьими лицами Альтидора. Она хотела именно это, пусть не в точности, но в максимальном приближении. А если Танька что-либо захотела, никаких препятствий к желаемому существовать не могло.

Похожее, слава Богу, нашлось, и приступили к самому трепетному — обсуждению стоимости. Собственно, из взаимных уступок ритуал покупки и состоял. Но именно взаимных. Цену в два раза срубать — это уже чересчур.

Кристин уступала свою позицию пядь за пядью, как солдат, держащий линию обороны, но теснимый явно превосходящей силой противника. Я поймала ее молящий о поддержке взгляд и сделала вид, что интересуюсь каким-то пейзажем.

Имела опыт: если в такие моменты устремленности к возжажданному Таньке помешать, замельтешить у нее под ногами — затопчет в ярости. В ней сочетались томная нега Востока с предприимчивостью Запада. И Кристин сдалась. Картины еще следовало обрамить, Танька выбрала матово-серебристый багет, тут уж взяв Кристин голыми руками.

Простившись с ошарашенной Кристин сели в машину. Битва выиграна, но я уловила, что Таньку гложут сомнения. И оказалась права. «Все-таки дороговато»- выдохнула она сумрачно. Дальше наш диалог строился, примерно, вот так. Я: ты что же хотела вообще задаром? Она: ну не задаром… Я: по правилам, пятьдесят процентов от означенной суммы получает художник, остальное тот, кто его продает. Она, возмущенно: ничего себе, так наживаться! Я: так ведь галерейщик рискует, картины могут купить, а могут и не купить, а за аренду помещения платить надо, а за… Она, меня оборвав: так мы ведь купили, и она, Кристин эта твоя, сорвала хороший куш.

Так, значит, «моя»… Едем молча, нахохлившись. Танька, примирительно: я ведь к чему, Надь, здесь ведь галерей-то до черта, на каждом шагу, забиты картинами, с чего цены-то за них ломить как за дефицит, а? Я: если галереи не посещать, и ты, и я схватили бы с обочины, от уличных торговцев пару-тройку «шедевров» долларов по тридцать-сорок, и тем бы утешились, а в галереях мир другой открывается, там есть чему поучиться. Она: так уже обучилась, разбираешься, вижу, не хуже их. Я: у меня нет выходов на художников, тут тебе не Европа, их адресов, телефонов в справочниках не найдешь. Она: значит, как-то иначе надо искать, действовать, ты пыталась?

Если честно, нет, в голову не приходило. Единственное, на

что решалась, просила Кристин, Монина, Иссу попридержать для меня тот или иной холст, когда буду в состоянии их приобрести. Проснувшаяся во мне страсть к жанру примитивов основательно дырявила наш семейный бюджет. А ведь надо было платить за образование Виты в Макгилле, за ее проживание в Монреале. Другие, Сесиль, и Шанталь, сотрудники Андрея в делегации Красного Креста, я знала, экономили. Пребывание в таких странах, как Гаити, предполагало, помимо, других целей, еще и финансовые накопления, а не их разбазаривание. С моей же помощью и зарплата, и суточные, полагающиеся, в подобных, вредных и для здоровья, и для психики командировках, ежемесячно слизывались без остатка с банковского счета. Я украшала стены, не имея крыши над головой.

Внезапно как-то до меня все это дошло. Практичная Танька из дремы меня пробудила. И я себя устыдилась: эгоистка, нашла способ как здесь, в Гаити, спасаться от маяты, муторности бессодержательного, лишенного смысла существования, о будущем не заботясь. Андрей к моей слабости снизошел, но я ведь и его подставляла, и нашу дочь. Как выход нащупать, чтобы окончательно не сломавшись, не расстававшись с тем, что нечем тут заменить, все же траты на свою, допустим, блажь сократить как-то?

Танька уехала, меня разбередив. Но ее эстафету подхватила тоже, как выяснилось, сметливая, энергичная швейцарка Каролин.

Они с Клаудию пригласили Андрея и меня в гости, разумеется, при участии, очень активном, Николо, соску сосущего только для вида, на самом же деле серьезно, критически изучающего не только гостей, но и собственных родителей.

Нельзя сказать, чтобы Каролин изощрялась в кулинарном искусстве. Зато повела меня в комнату, где на кроватях, стульях, на полу даже, стопками, как блины, лежали холсты без подрамников: про запас что ли? Но если даже иметь два, три, четыре дома, личные нужды такое количеств картин явно перекрывало.

А не все ли равно? Каролин, ясно, во мне, как в сообщнице не нуждалась, просто хотелось ей поделиться, похвастаться, и было чем.

Узнать автора труда не составляло: Проспер. Не берусь судить чем уж я вызвала расположение Каролин, но она сказала: Проспер в Кенскоффе живет, если хотите, можем вместе его навестить. Ну конечно я хотела!

Дорогу в гору, с размытым после дождей гравием, вязкую, как русло обмелевшей реки, в сплошном тумане, вдоль края обрыва, без подсказок Каролин мы бы не одолели. Признаться, было

страшновато, даже Николо притих. Но время, проведенное с Проспером в его мастерской- ангаре, сверху донизу завешанном еще не просохшими холстами, искупило все неприятности пути.

Он, видимо, работал, как заведенный, что называется, «фултайм»: чувствовал близость смерти? Шел поток, но какое разнообразие приемов и виртуозность, с которой они выказаны. Холст иной раз казался кружевным, иной роз плотно, как гобелен, затканным. А что за краски! Какая отвага в их сопряженности. Желтый светится даже в темноте, лиловый с ним рядом бездонен, бесконечен, и клубящиеся, растекающиеся, подвижные как ртуть лики. То ли в облаках, то ли в космосе они зародились, и взирают сверху на нас. То ли это души умерших, отлетающие с последним «прости». А может быть порождение колдовства? Словом, загадочно и прекрасно. Каждый штрих по-снайперски точен.

В целом же впечатление создается завораживающей переменчивости, как в калейдоскопе. И ничего он, Проспер, не выдумывал, отражал свой внутренний мир.

После встречи с ним я приободрилась. На очередном вернисаже у Бурбон-Лали Каролин шепнула: посмотрите, справа, у окна, стоит, Тига, вот тот, с усиками. Я, рысью, к Андрею: подойди, поговори! Он умел. Мои помыслы, настроения, тут же на физиономии отражались: провалила бы «операцию». Андрей же по чистой случайности как бы вступил с Тига беседу: ах, неужели, вы тот самый?! Потешил авторское самолюбие, и выигрыш был обеспечен. Хоп — движение, шулерское, уж не знаю откуда у Андрея взявшееся, и в руке листок: Тига сам написал номер своего телефона и адрес. Если бы Кристин заметила, была бы недовольна. Зато я каждый раз взглянув на две картины маслом и два воздушных, чернилами, рисунка Тига, висящие у нас в спальне, испытываю чувство, как это называется, глубокого удовлетворения. Тига, расхваленный Андре Мальро, находившимся в тот период в апогее писательской славы, на посту министра культуры в правительстве де Голля, картины нам отдал практически за бесценок, а рисунки просто подарил. Я их нашла в углу его мастерской, среди подрамников, и он сказал: мне приятно, что вы это оценили.

А на Дюффо вышли вовсе дуриком. Мишеля Монина в его галерее не оказалось, к девушке, несшей дежурство, наведался ухажер, и, с ним воркуя, плевать ей было на посетителей.

В галерее сменили экспозицию, работ Дюффо на обычном месте мы не нашли.

Окликнули пожилого коренастого служителя в темно-синей блузе, что-то с балкона через зал на тачке везущего: простите, не знаете где Дюффо? И услышали: Я — Дюффо. Мы: вы?! Он: я, а

что?

Вернувшись, ликуя, позвонила Каролин: она нам Проспера, мы ей Дюффо. С того момента начались наши с ней регулярные нашествия в галереи, сувенирные лавки и даже — о ужас! — на бульвар Десалин. Вот на что она меня совратила, эта, казалось, благоразумная швейцарка!

Свобода как осознанная необходимость

Теперь я уже не зависела от Розмона, точнее, от его «босса», Андрея.

Каролин за мной заезжала, и мы втроем, с Николо, в детском креслице на заднем сиденье, пускались в странствие куда глаза глядят. Покупали у уличного торговца вяленые бананы, по вкусу напоминающие жареный картофель, на что прежде я не решалась, опасаясь заразу какую-нибудь подцепить. Но Кристин, будто и не родившись в чинном Цюрихе, лопала и подозрительные лепешки, изготовляемые на жаровнях у обочин дорог.

Она нравилась мне все больше, в ее присутствии замечалось смешное, местные, к примеру, модницы, воспринимавшие бигуди как украшение, во всяком случае гордо в них разгуливавшие. Другие использовали как головные уборы полиэтиленовые шапочки для душа, в основном почему-то голубые. Уличный парикмахер орудовал здоровенными, ржавыми ножницами над головой клиента, не смевшего шелохнуться, замершего с выражением безвинной жертвы. И чуть ли не каждая вторая тащила куда-то квохчущих курей, на продажу или для супа, прихватив их за лапы вниз головой, или сунув под- мышку небрежно, как дамскую сумочку: уже и не курица, а деталь туалета, положенная уважаемым членам общества. А одна, находчивая, надела прямо на голову банановую фигу, и казалось, что у нее такая затейливая прическа, как на картинах Джузеппе Арчимбольдо в Лувре — предвестника поп-арта.

На стоянке у супермаркета «Карибьен» нес вахту человек с ружьем. Когда мы подъезжали, вставал у нашей машины на караул. На мой вопрос — а ружье у него настоящее? — Каролин рассмеялась: не важно, зато какой сервис! Она источала то, в чем я больше всего нуждалась — свободу. Пусть мнимую, но даже призрак ее манил, навевая воспоминания о прошлом, о себе прежней.

Мы с ней совпали во влечении — роде недуга, к поделкам, предметам, как это в России называлось, народных промыслов. Обычно бесполезных, потому и чарующих. Помню чудовищные, вместительностью с ведро, чайники, размещаемые на полках ближе к потолку, в коконе пыли, паутины, поскольку их доставали, использовали крайне редко. Но пестрая роспись, варварски- жизнерадостная, задевала некие струны в душах, способных уловить слабый, дребезжащий зов оттуда, из самых недр. Из Тюмени я привезла домотканые, из лоскутков, коврики — зачем, не знаю. В Кении, ну чуть ли не валяясь у Андрея в

ногах, заполучила носорога, вырезанного из цельного куска розового дерева, размером с новорожденного теленка, которого, закутав в махровую простыню, чтобы не дай Бог не повредить трогательный, свернутый колечком хвостик, везла из Найроби через Франкфурт в Женеву. Мы назвали его Васей. Микки, Васю увидев, ревниво зарычал. И теперь, уже здесь, в Колорадо, опасливо на него косится.

Притяжение вот к такому, обманчиво безыскусному, на самом же деле питаемому многовековыми традициями, не только определялось вкусом, но и роком. Из Индии, Тривандрума, привезла в подарок отцу настенную резьбу с пляшущим Шивой. Наверно, подделка, хотя и купленная в антикварной лавке. Он, думаю, понял: я вернула, воздала то, что он во мне пробудил. В Китае начала пятидесятых, где они с мамой прожили несколько лет до ссоры Хрущева с Мао Дзэдуном, мама рачительно скупала «на всю оставшуюся жизнь» ватные одеяла, термосы, папа же мне в наследство оставил глиняные, деревянные фигурки, ценности на посторонний взгляд столь пустяшной, что их, пренебрежительно глянув, пропустила таможня в Шереметьеве. Они были обернуты в лоскутья с ободранными краями: танки из тибетских, сожженных китайцами монастырей. Мне досталось три, самая ранняя — тринадцатого века. Но именно она, невзрачная, потертая, с детства заворожила. Лапидарно, в три колера, красный, синий и белый написанный на шелке Будда, раскорячив колени, держит в ладонях сердце и, кажется, вот-вот его уронит.

За обладание «Будды с сердцем», как называлась танка у нас в семье, мы с сестрой жребий тянули. Досталось мне. Сестра сказала: ну значит он так хотел. А я и не сомневалась.

Довольно долго наши с Каролин вылазки ограничивались Петионвилем.

Прихватывали то коробочку из черепахового пятнистого панциря — в странах более цивилизованных охотиться на черепах запрещалось — то подтарельники из орголита, расписанные фантастическими, между тем в здешней природе произрастающими цветами. А еще меня окончательно свели с ума гигантские сундуки: на них стояла подпись тоже здешней знаменитости, Дюбика. Его работы купила мадам Миттеран, после чего он вертикально пошел вверх. Но меня даже не столько смущали цены, сколько размеры. Если бы я с такой добычей явилась, Андрей, пожалуй, со мной бы развелся. Ку-у-да? Мы же не знали в какие края нас после Гаити занесет. Поэтому, собрав остатки благоразумия, я на сундуки эти только облизывалась. Даже Каролин, обычно меня к подвигам такого рода

подначивавшая, сказала: ну это уже было бы чересчур.

А однажды предложила посетить бульвар Десалин, в центре Порт-о-Пренса: там-де все куда дешевле чем в петионвильских магазинах. Меня, признаться, нисколь туда не тянуло. Я спросила: а вы там бывали? Она подтвердила, что да, и не раз, покупала тапи-вуду (вудистские знамена), расшитые блестками, бисером, что в галереях стоили в три, в четыре раза дороже.

Я клюнула. Но поняла, что возможности свои переоценила, когда на этом, так называемом, бульваре, наша машина застряла в черной толпе, двигавшейся по проезжей части сплошным потоком. Господи, хватило же у Каролин ума Николо дома оставить! В окно машины с любопытством заглядывали. Вспомнила эпизод с масаи, появившимися вдруг из чащи, где мы застряли, в габардиновых, чуть ниже бедер плащах и при мачете.

Только с намеренным издевательством место, где мы оказались, можно было назвать бульваром. Ни одного деревца, даже кустика, даже травки. И смрадные мусорные завалы.

С трудом припарковались. Мне не хотелось выходить, но ничего не поделать, рухнула за Каролин, как в прорубь, в людскую гущу. На рынке под навесом предстал уже подлинный ад: жара, духота, теснота. Каролин шла впереди, я же, как к магниту, прилипнув к ее затылку, пробиралась следом: потеряю ее из виду — пропаду.

И тут меня паника охватила. Почудилось, что мы отсюда не выберемся, захлебнемся, нас, как трясина поглотит месиво тел. Издав вопль, ринулась к выходу — только где он?

Каролин продиралась за мной, я слышала ее голос: да успокойтесь, чего вы испугались… Но, ополоумев, я уже не соображала ничего. Нас до машины преследовал торговец, судя по закрученным в спирали куделям, из Ямайки, предлагавший тапи-вуду, за которыми мы сюда и приехали. «Отдает за пятьдесят, — Каролин сообщила, — нам повезло».

Повезло?! Еще не отдышавшись, хотя и находясь уже в относительной безопасности, в машине, посмотрела через стекло на его товар — и как прозрела. Барон Суббота в цилиндре на голом черепе взирал на меня пустыми глазницами, и передернуло от отвращения. Зачем мне, белой, христианке, это чужое, зловещее? Нет, не обладаю я, верно, ни широтой Каролин, ни ее бесстрашием. И не надо. Конкурировать в этом с ней не могу и не хочу.

После посещения бульвара Десалин мы с ней месяц не виделись.

Зима. Крестьянин торжествует

Ранним утром, только светает, сажусь в машину — и шалею. То ли еще не совсем проснулась, то ли плохо у меня с головой, потому что не может ведь такого быть! Чтобы прийти в себя, взглядываю в окно и снова на него, на Розмона. Нет, не бред, а явь: он сидит за рулем в лыжной шапочке, черных, щегольских, горнолыжных перчатках. Значит, он спятил, не я. Тоже нехорошо, но все же легче.

Молчу. С полоумными нельзя обнаруживать испуг. Розмон, говорю, как дела? Он: замечательно, лучше не бывает! Думаю: может быть надо сказать, что я-де что-то забыла, вернуться в дом и, сославшись на внезапное недомогание, поездку в Порт-о-Пренс на урок французского отменить?

Делаю все же еще попытку: ты чем-то расстроен? Тут уж он на меня с подозрением косится: с чего ты взяла? Я: у тебя голова болит? Он, напрягаясь, и я угадываю в нем свои же опасения: нет, говорит, у меня ничего не болит! Я: а зачем… Розмон, ты… Ослабшей рукой показываю на собственное темя и на кисти рук. Вижу: он вот-вот сбежит, но, совладав с собой, соболезную, спрашивает: ты о чем, Надя?

Тогда решаюсь: с какой стати ты шапку напялил, перчатки? И он начинает заливисто хохотать. Долго, неуемно, во весь оскал зубастой, сверкающей белым на черном, пасти: «Да ты что не заметила?! Холодно ведь. Декабрь уже, зима».

А я действительно не заметила. Так, значит, у них это называется зима…

Приехав в Гаити в мае, в самый пик жары, когда ноздри, легкие обжигало зноем, мозги плавились, потребность в них исчезала, одно лишь желание оставалось — дождаться шквального ливня, духоту не побеждающего, зато уже окончательно парализующего рассудок — и тогда лечь ничком, хоть на пол, в забытьи. Тропики — это не «Четыре сезона» сладкоречивого итальянца Вивальди.

Уж когда там дождь, так заливает до потопа, а если жара, так испепеляет насквозь.

Вначале по наивности, а, точнее, по глупости спрашивала Андрея: «И что, так будет всегда, целый год? И осенью, и весной? А зимой?» Он пробовал втолковать мною упущенное на уроках географии про климатические пояса и, где в какой точке земного шара мы находимся, но я в очередной раз интересовалась когда можно будет все же надеть чулки, и он отвечать перестал, в последний раз высмеяв: «Достань шубу, сапоги, раскрой

холодильник и так посиди, отдышись». Про шубу он зря. Я в самом деле привезла ее в багаже из Женевы, как и свитера, и твидовые костюмы — не выбрасывать же. Но не представляла, что и спать придется нагишом, простынь скидывая, мечась по постели, глотая ртом воздух, как рыба, бьющаяся в агонии на отмели.

Не я, конечно, не я когда-то, в далеком, утратившем реальные очертания прошлом каблучками цокала, натягивала перчатки под цвет сумочки, повязывала с форсом шарфики от Диора, не мысля, что судьба мне плавать в поту, босой шлепать, подставляя физиономию под лопасти вентилятора, нисколько не освежающего, вертящегося вхолостую. Не иначе как из мазохизма усаживала себя за компьютер: вентилятор, во всем остальном бесполезный, взвихривал со стола отпечатанные на принтере странички, гонял их по комнате, как прошлогоднюю листву, пока я не сообразила запастись ракушками с побережья, используя их как пресс-папье.

С перспективой когда-либо надеть чулки простилась, но из Женевы явилась не только с шубой, но и с коробкой елочных украшений — и уж тут не намерена была отступать. Прикидывала, какое из местных растений может приблизительно хотя бы сойти за новогоднюю елку. Не важно, пусть кактус, пусть пальму, шарами, гирляндами обряжу. К Рождеству мы ждали из Монреаля Виту. Хоть где, хоть в аду, нарушить традиции нашей совместной встречи Нового года я бы никому не позволила.

Воображалось, правда, с трудом как будут сочетаться апельсиновые, манговые плоды на деревьях, море, все такое же синее, теплое, и свечи, елка, подарки под ней, галстук-бабочка на Андрее, мое вечернее платье с блестками: спекусь от жары, но обязательно надену.

Так, выходит, скоро… Лыжная шапочка на Розмоне теперь умилила: Витин приезд близко уже замаячил, что, видимо, отразилось на моем, поплывшем от счастья лице. Розмон, как обычно, догадливый, предложил: хочешь, я тебе покажу какие у нас к Рождеству изготовляют игрушки? Я: конечно, хочу! Своих, привезенных, мне было мало.

Розмон-искуситель довел меня до того, что я в тот день пропустила занятия во Французском культурном центре. На обочинах дорог выстроились продавцы, держа в руках миниатюрные, картонные домики — точные копии старинных зданий в центре Порт-о-Пренса, внутрь которых вставлялась свечка.

Да что там стеклянные шары! Ничто и нигде с такой точностью не воссоздавало атмосферы «Щелкунчика». Впервые,

нарушив Розмонов запрет, я, в машине не усидев, сама выбирала-вырывала добычу у продавцов. Расплачивался, правда, он, весьма недовольный моим ажиотажем. После мне выговорил: цену можно было в два, в три раза сбить, но ты мне мешала.

Но где же елки? Там же, на обочинах дорогах, предлагались деревца, воткнутые для устойчивости в консервные банки, крашеные белой масляной краской: нет, не воодушевляло. Зато уже в магазинах мы нашли горшки с ярко-красными «рождественскими звездами»: в Гаити их называют «Манто Сен-Жозеф». Выяснилось, что они поставляются из Санто-Доминго. Почему, спрашивается, самим-то не выращивать, а ввозить от соседей как импорт?

Позднее, у нас же в саду обнаружила куст, одичавший, выродившийся «Манто Сен-Жозеф». Постсоветской Россией повеяло, хотя я не знала тогда, что к Новому году в столицу лужковскую елки из Норвегии привозят. Россия, твои леса… Одно из главных наслаждений детства — стряхивать снег с разлапистых елок, норовя деда, Михаила Петровича, с головы до ног засыпать. Такая была у нас игра. Он протирал очки, похожие на старомодный велосипед, пряча улыбку в усы: ну что ты озорничаешь, Надя.

Эти самые дедовы очки, с круглыми стеклышками, с пружинкой на переносье, я нашла, завернутые в платок, в тумбочке моего покойного отца.

Вот же ведь, берег, хотя с дедом они, казалось, не ладили — не ссорились, но держались отчужденно. Хотя что мы знаем, что понимаем даже и в самых близких людях, десятую, сотую, верно, долю того, что есть. Очки дедовы здесь со мной, в Колорадо. Одно стеклышко треснуло, Андрей отнес в мастерскую, где вставили новое, целое.

На мое шестнадцатилетие дед мне вручил обтрепанную, без обложки, книгу: приложение к «Ниве», с гравюрами, под заглавием «Девятнадцатый век». Я фыркнула: ну старье! Потом, спустя много лет, понесу дедов подарок в особняк напротив Ленинской библиотеки, на комиссию по экспертизе, заплачу в долларах, чтобы получить разрешение на его вывоз. Дед и представить себе бы не мог. А я по сей день стряхиваю на него снег с разлапистых елок, по сей день он протирает свои велосипедные очки, по сей день слышу: Надя, озорничаешь…

И сказка Гофмана «Щелкунчик» осталась от деда на слуху, когда я, еще грамоте необученная, готовила для кукол суп из заячьей капусты с белыми нежными соцветиями, а он мне читал Андерсена, братьев Гримм и прочее, иной раз моему пониманию малодоступное, Шекспира, стихи Верлена на французском,

периодически впадая в дрему, и тогда я сердилась, будила его, и он с виноватой улыбкой продолжал. А когда уже я читала те же сказки дочке, подражала невольно дедовым интонациям, и он стоял за моей спиной.

А, кстати, елки, натуральные, в Гаити тоже нашлись, по сто американских долларов за штуку. Для богатых здесь имелось все. Когда слышу от соотечественников, что-де московские магазины, бутики, рестораны ничем не уступают западным, вспоминаю Гаити: да, есть все, только в расчете на кого?

С Витой, прилетевшей из заснеженного Монреаля, мы справили в Гаити Рождество, а встречать Новый год отправились в Санто-Доминго. Пересекли границу, паспортный контроль и попали на другую планету. Похожее чувство возникало при въезде из Псковской области в Прибалтику. Но Прибалтика и Россия все же разнятся в своей основе, национальной, культурной, исторической, а тут один остров, и туда и сюда одновременно свозили из Африки черных рабов, ну разве что Гаити французы владели, а Санто-Доминго испанцы.

Рабовладельческий строй — темное пятно на совести человечества, но потому как отличаются бывшие английские колонии от бельгийских, португальских, французских, испанских, уровень цивилизованности, менталитет белых хозяев сказались на развитии подвластных им стран.

Британская империя из своих колоний не только отсасывала, но и давала.

Уйдя, англичане оставили много полезного: правовую, образовательную системы, демократические институты, свободный рынок. В Кении, например, англичан и теперь уважают. А Советский Союз развалился как карточный домик, в его бывших республиках искореняется даже русский язык — основная связующая нить еще недавно общего культурного пространства. Нигде в мире ненависть к проклятому прошлому не достигла, выходит, такого накала. В Африке, в Латинской Америке на язык, привнесенный колонизаторами, никто не посягнул, не вернулся к разноплеменной тарабарщине в подтверждение своей самостоятельности, независимости. И в Гаити, где восставшие рабы перерезали хозяев-французов, говорят на французском, в Санто-Доминго на испанском, хотя по жестокости испанские колонизаторы превзошли всех. Но остается загадкой как, почему расположенные на одном острове страны разошлись настолько, так резко друг с другом контрастируют, что сразу, при пересечении границы, бьет в глаза.

Поразили не столько пятизвездочные отели, выстроившиеся вдоль променада у берега моря, как в Ницце, не толпы туристов,

не торговые плазы, а высаженные повсюду на нашем пути саженцы деревьев, заботливо огороженные, с подпорками на период пока они приживутся, окрепнут. В то время как на Гаити зеленые насаждения, леса практически уже извели и остатки вырубать продолжают. Порт-о-Пренс маревом окутан, разъедающим ноздри, отравляющим легкие. В доме, сколько не убирайся, на всех поверхностях серый налет. К нам каждые две недели приезжала команда для дезинфекции помещений. Сад тоже опрыскивали. На Гаити свирепствовала и малярия, и лихорадка Денге, свалившая одного из делегатов Красного Креста, и когда спустя месяц он наконец оклемался, его трудно было узнать — тень прежнего себя.

А в Санто-Доминго с эпидемиями малярии, Денге, покончили. Дороги в порядке, полиция при деле. Андрей, отвыкнув в Гаити от светофоров, проскочил на красный, так сразу свист, штраф. Полицейский удивился с чего это мы, нарушители, радуемся, сияем: так ведь порядок! Оставив в отеле багаж, впервые за много месяцев, пешком отправились по улицам бродить, среди людей, местных, приезжих, не озираясь, ступая уверенно по тротуарам и ликуя как дикари.

В Новогоднюю ночь плясали в ресторане, потом до рассвета под оркестр на открытой площадке отеля «Шератон», где сняли номер. И звездное небо, и море, и климат были тут те же, что и в Гаити. При возвращении туда, ожидая очереди на контрольно-пропускном посту, сердце заныло: что ли Бог проклял эту несчастную, застрявшую, как в зыбучем песке, в нищете, невежестве страну?

Пианино

Практически в каждом сдаваемом в аренду доме среди описи имущества присутствовало: музыкальный инструмент, пианино. Впрочем, использовались инструменты в качестве мебели: брякнешь по клавиатуре, как о гроб, где кости давно истлели, и такое услышишь! После я уже к этим предметам «обихода» перестала подходить. В прошлом остался концертный «Стейнвей», унаследованный, когда моя музыкальная карьера закончилась, сестрой Катей.

Пианино гаитянами, верно, приобретались в том же оптимистическом порыве, что и моими согражданами в середине пятидесятых. Тогда, при Хрущеве, началось расселение обитателей коммуналок, подвалов, в новостройки-пятиэтажки, без лифтов, зато с собственной, малогабаритной кухней, ванной, и не важно, что повернуться там было негде — в сравнении с прежним, шипением соседских примусов, очередями в туалет, предел мечты. В грузовиках, перевозящих скарб новоселов, как олицетворение надежд, празднично сияло, искрилось лаком, пианино, изготовленное фабрикой «Красный Октябрь», с табуреточным звуком, но, опять же, не важно: может быть и собирались, но, как правило, на нем никто никогда не играл. Оно, пианино, служило символом, и грузчики с матюгами волокли его в светлое будущее — эхма, еще один лестничный пролет.

Пианино оказалась и там, куда мы вселились. Поначалу я его игнорировала, никакого, исходящего от него соблазна не ощущала. Да и неужто спустя почти тридцать лет с нуля начинать, убедившись, что все забыто, пальцы одеревенели, растяжка ссохлась, кисть не проворачивается, как старый проржавелый кран?

Правда, все эти годы во сне я играла, запинаясь в тех же местах концерта Шопена, си минорной фуги Баха, входящих в мою дипломную программу при завершении учебы в Центральной музыкальной школе при консерватории. На экзаменах в консерваторию провалилась, и больше клавиш не касалась.

И надо же, чтобы в Гаити снова попасться в сети, где пробарахталась с шести лет до восемнадцати! То, что сумела извлечь из этого, прости, Господи, инструмента, должно было меня повергнуть в шок. И умерла бы со стыда, если бы кто-либо мог меня услышать. Но вероятность такая исключалась: дом стоял на отшибе, при гудении генератора, рыке кондиционера наружу не просачивалось ничего.

Поэтому я осмелела. Откуда-то из закоулков памяти

выскребалось, казалось, забытое намертво, фразы, пассажи. Сама удивлялась, недоумевала, обнаружив, что оно возвращается. Не профессиональные навыки, на обретение которых угробились детство, юность, а им предшествующее: музыкальная, в зачаточной форме, одаренность — черта, где и следовало бы остановиться.

Бог дал, но не расщедрился. Для конкуренции с вундеркиндами — а наша знаменитая школа на них именно и рассчитывалась — я не годилась. Профессия, где девяносто процентов успеха зависело от технической свободы, без чего, будь ты хоти семи пядей, хоть лопни от «музыкальности», пробиться шансов не оставалось, в основе своей была не для таких, как я. Не для тех, кто на эстраду выходил как на плаху, лобное место, публичное поругание. В Малом зале консерватории в проходе между кулисами и сценой торчал пожарный кран, и всегда, только объявляли мою фамилию, я, дернувшись, об него ударялась.

Больно, с размаху.

Потом были годы блаженств, наслаждений тем, что умели другие.

Освободившись от зависти, ревности сравнений отнюдь не в свою пользу, я обжила и Малый, и Большой зал как дом родной, но уже в качестве благодарного слушателя. Собирала диски великих исполнителей, а моя нотная библиотека тоже была оставлена сестре.

И вот, столько лет спустя, в Гаити из Монреаля пришла посылка от Виты: простенькие пьески Скарлатти, сонатины Клементи, «Юношеский альбом» Шумана — азы, которые, при столь длительном перерыве, пришлось постигать заново, с трудом.

Но я увлеклась. Подпевала, глуша фальшь вдрызг расстроенного пианино, не заметив как дверь в комнату приоткрылась, на пороге возник Андрей.

Вернулся с работы раньше обычного, застав меня врасплох. Я вскочила, хлопнула крышкой: демонстрировать кому либо свои «успехи» вовсе не входило в мои планы. Но он сказал: надо позвать настройщика. Так у нас в доме появился месье Дорэ.

Пожилой, темнокожий, обидчиво-горделивый, скорбно-насмешливый, ну очень типичный для своего ремесла, а уж скольких настройщиков я повидала. Даже великий Богино мой «Стейнвей» навещал, он, в чьем ведении находились рояли Рихтера, Гилельса, Большого, Малого залов. Мною он, Богино, бывал не доволен, я струны зверски рвала, и, верно, думал: достался же недотепе такой благородный инструмент.

Месье Дорэ мои исполнительские способности абсолютно не занимали.

Сообщил, что придется фетр у молоточков менять, то ли от времени изъеденного, то ли поработали мыши. Интересно, как же они туда пролезли?

Месье Дорэ оживился: да запросто, и это-де довольно частый случай… В его французский вдруг прорезался одесский говорок. Сомкнулось: мое детство, Москва, зима, круглый стул на винте, скамейка у педалей, до которых не доставали мои ноги, том иллюстрированных сказок Пушкина, на котором я восседала, первая учительница Раиса Михайловна, повторяющая: круглее мизинчик, Надя.

Пока мы подвозили месье Дорэ обратно в центр Порт-о-Пренса, Андрей рассказал, что я 29 лет не играла, а вот здесь, в Гаити, снова села за инструмент, на что тот произнес с характерным гаитянским достоинством: «И вовсе не удивительно. Гаити — страна артистов, тут сама атмосфера к занятиями искусством располагает». В тот момент как раз объезжали очередной мусорный завал, машина ухнула в яму, но мы дружно закивали: конечно же, атмосфера, конечно же располагающая…

Когда месье Дорэ высаживали, к «Тойоте» со всех сторон устремились попрошайки, продавцы какой-то отравы, один чуть под колеса не угодил, Андрей хмыкнул: вот их сколько, артистов! Добавил: сплошные, ну сплошные артисты…

И я обиделась. Увидела себя частью этих потерянных, очумелых бедолаг, «артистов» — собратьев, ведь и меня тоже больше не кормит литературное ремесло, на гонорары теперь не прожить, из добытчицы превратилась в приживалку. Андрей рассмеялся: ну вот и ты действительно артистка, обязательно болячку найдешь и начнешь ковырять. Пропел: «Все они красавцы, все они поэты». Тут нас на ухабе так тряхануло, аж зубы кляцнули, и беседа на столь занимательную тему оборвалась сама собой.

Соотечественница: дом на холме

Дом казался необитаем. Стоял на холме, откуда открывался широкий обзор, и город внизу виделся настоящим, как в нормальны странах — совсем не тем, чем являлся на самом деле.

К узорчатой кованой решетке изнутри приникали тропические растения: только они вроде бы и любопытствовали, кто это пришел? Но вот одновременно явилась свора комнатных собачек, поднявших оглушительный гвалт. И только потом, спустя время, откуда-то из недр выплыла женщина с высоко уложенными седыми волосами, в ярко-красной блузке. Это была она, Тамара.

«Вы говорите по-русски?»- первое, что произнесла. Я хмыкнула. За восемь месяцев, проведенных на Гаити, по-русски я говорила только с мужем да по телефону с дочерью.

Но для нее именно это было самым главным. Хотя мы с Каролин приехали по рекомендации хозяйки одной из картинных галерей, чтобы посмотреть ее, Тамары Буссон, работы. Она здесь считалась известной художницей. В Порт-о-Пренсе жила с 1931 года. Галерейщица сказала, что просит Тамара за свои картины не дорого, но вещи качественные. Каролин они приглянулись, мне показались чересчур традиционными, сугубо реалистическими, хотя по содержанию, сюжету сплошное Гаити. В основном портреты, женские. И ни одного белого лица.

Узнав, что Тамара по происхождению русская, я удивилась, и решила с ней познакомиться.

Кто я — для нее было абсолютно неважно: она по-русски торопилась поговорить. Чуть суетилась: вот чай, обязательно чай, вы чай любите?

Несмотря на годы, статная, красивая и, чувствовалось, сильная женщина. Но не домашний деспот. Под ногами вертелись собачки ни к каким командам не приученные, а еще более вольготно чувствовали себя многочисленные детишки, Тамарины правнуки, один из которых оказался сероглазым при темной африканской рожице — вот что природа вытворяет!

Это был бестолковый, шумный, безалаберный дом. Но просторный, удобный, умно, толково спланированный. В комнате у рояля стояла наряженная елка и обеденный стол человек на двадцать. Здесь в свое время явно любили и умели принимать. Теперь же прислуга, так как хозяйка была глуховата, на нее покрикивала, и создавалось ощущение, что Тамарой помыкают.

Но нет, она себя чувствовала в своем доме полновластной хозяйкой. Она его создала, хотя строил муж, архитектор по

профессии. Но что-то в ней сквозило надбытное, не в ее живописи, а в ней самой. Небрежность и, вместе с тем, холеность, руки с длинными яркими ногтями, одета тщательно, а что у чашек блюдца разнятся, что в гостиной не зажигается верхний свет — да пустяки! Такое я замечала в людях, переживших крушение стен, казавшихся им незыблемыми.

Тамара уехала из России в тринадцать лет, с матерью и отчимом из богатого купеческого рода Шамшиных. Мать звали Настасья Ивановна. Когда я спросила ее девичью фамилию, Тамара замешкалась, выражение лица сделалось испуганным: неужели забыла?! И, радостно, торжествую: вспомнила, Бараковская!

До того они жили в Батуми. Отец, инженер на нефтяных промыслах, рано умер. Тамара, урожденная Заком, наполовину еврейка, показывая фотографии своих детей, сказала: вот интересно, дочь ощущает себя стопроцентной гаитянкой, а сын говорит, что он еврей, и действительно похож, правда?

Бег из России был классический: Константинополь, Париж. В Париже Тамара встретила своего будущего мужа, гаитянина. В 1931 году он ее к себе на родину увез.

В ее спальне, где на широченной кровати она спит со всеми своими собаками, иконостас из фотографий. Покойный муж, дети, внуки, правнуки.

Всматриваюсь, признаться, с большим интересом, чем в ее работы. Эпоха, жизнь, любовь. В Гаити, где прежде всего в глаза бросается грязь, нищета, существовало и существует то, что называется интеллектуальной элитой нации, при чем самого тонкого разбора. Соотношение, правда, даже не выговариваемое, на сотни безграмотных один изысканный интеллектуал. Муж Тамары, к таким, видимо, принадлежал. Вот они вместе в типичном парижском кафе с выносом столиков на улицу, великолепная пара. А вот он, высокий, стройный, с теннисной ракеткой в руках, а вот уже пожилой с бокалом шампанского. Он сконструировал этот дом по европейски, но с учетом здешних климатических условий, и социальных тоже: через высокую кованую решетку в дом не проникнуть, как в крепость. Жену привез красавицу. Но после Франции — Гаити?

Когда у меня проскользнула фраза, что не будучи гаитянского происхождения здесь трудно прижиться, Тамара встрепенулась: «А я гаитянка и есть! Это все мое, родное, я это все люблю».

Ну, допустим, за столько-то лет, хотя определяющим, думаю, было то, что она мужа любила. А он ее. Тех кого сильно любили, и в старости можно отличить, ну по стати что ли. Тамара любит и

детей, и внуков, теперь вот правнуков, которых кажется вдвое больше из-за их чертенятской подвижности.

Одну из правнучек Настасьей нарекли, в честь Тамариной матери. Вот она, на портрете в овальной раме, и ее кружевной веер в витрине под стеклом. Но когда черно-пречерная пятилетняя бестия откликается на имя Настасья, в голове слегка начинает плыть.

Да, ну и судьбы. Уж в чем я была твердо уверена, что соотечественников в Гаити не встречу. А, выходит, соврала, что из наших тут никто никогда не бывал.

Месье Изя

Изю Конеца, с польско-еврейскими корнями, не издающего на русском ни звука, соотечественником не назовешь, зато, как он нам сообщил, его тетя жила в Красноярске, вышла там замуж и уехала в Израиль.

Изя был менеджером «Ваху Бэй бич» — хозяйства, включающего гостиницу, ресторан, пляж, парк, которое он без устали совершенствовал. Постоянно кипела работа, сновали рабочие с тачками, лопатами, граблями — Изя придумал использовать автомобильные покрышки, в их внутреннюю окружность засаживая растения, для укрепления склона, при штормах подмываемого.

Еще только светало, а он уже, в голубой, в белую клетку рубашке, (той же самой или у него, одинаковых, имелось несколько), мелькал в парке, на пирсе, что мы наблюдали с балкона гостиничного номера. Владельцы «Ваху Бэй» жили в Майами, но могли спать спокойно, вверив свою собственность в Изины руки. Он бурлил планами с наполеоновским размахом: собирался в ближайшее время вступить в конкуренцию с соседствующим «Клуб Медом», и по территории, и по возможностям превышающего «Ваху Бэй» в десятки раз, что Изю нисколько не смущало.

«Клуб Мед» суетностью, шумностью, неумолчным гвалтом напоминал сочинскую «Жемчужину», а «Ваху Бэй» — Коктебель начала пятидесятых. Меня туда привезли впервые в четыре года. В те годы существовал только Волошинский дом и дача Вересаева, да еще развалины поместья Юнге, где после вырос пансионат «Голубой залив». И туда охотно устремлялась тогдашняя культурная элита, хотя из «удобств» имелся единственный на территории дома творчества деревянный, двухдверный сортир, с буквами «М» и «Ж», да деревенская банька.

Вечерами я ловила бабочек, «мертвая голова», коричневых, мохнатых. То ли у меня не было детского окружения, то ли я его не запомнила, а вот только взрослых. Веру Инбер, профессора Десницкого, Мариэтту Шагинян, не полностью оглохшую, Ольгу Бергольц с челкой наискось лба еще не седых, блондинистых волос. С Тамарой Макаровой и Сергеем Герасимовым «дружила»: у них не было собственных детей, только племянник Артур, чьи рассказы, и неплохие, появились в «Новом мире», но после он куда- то пропал. Коллектив взрослых сообща меня баловал, а я важничала, никакой между ними и собой дистанции не ощущая.

К трапезам отдыхающих призывал гонг из крошечной,

вместимостью человек на двадцать, выбеленной, как хатка, столовой. Пляж, разделенный низкой изгородью, чисто условно размежевывал женские и мужские голые тела. Лучший наряд — махровая простыня. Сохранилась фотография: Сергей Герасимов в полосатой пижаме и мягких татарских сапожках держит меня за руку — уж явно принарядился. После я в Коктебеле бывала десятки раз, все более разочарованная: счастье, там в раннем детстве испытанное, жухло, тускло, пока не превратилось в еле тлеющие, как оставленные после шашлычных празднеств, угольки.

А в «Ваху Бэй» тем, прежним Коктебелем повеяло: смотри, сказала Андрея, показав на горную, спускающуюся к морю, гряду, вот Карадаг, а это Святая, слева пологий Хамелеон…. Он мне не стал возражать. И баллюстрада с балясинами бело-гипсовыми, выпуклыми, как кегли, разве не та же, не коктебельская? Вот этот мираж прошлого решил наш выбор, и мы стали завсегдатаями у Изи.

Брали номер, один и тот же, что грело мою, склонную к консерватизму натуру, ту же еду в ресторане заказывали: нас уже и не спрашивали, все знали наперед. Расположение Изи и в том сказывалось, что нам приносили по полтора лангуста и дармовой, за счет заведения пунш. Изя женат был на местной, гаитянке, взял ее с черной детворой, но его собственные с ней отпрыски ничем не отличались. Изина рыжесть, крючковатый нос растворились полностью в африканском бездонном котле. Думаю, он сам их, родных и пасынков, отличить бы не мог, даже если бы и хотел. Когда они на нем висли, обвивали за шею, улыбался растерянно. А с женой так и не познакомил.

В беседах его с Андреем присутствовали в основном две темы: прогнозы на ближайший в Гаити переворот и российская мафия. Я их интересы не разделяла, и либо плавала, либо собирала, как грибы в Подмосковье, ракушки. Утром, после отлива, они торчали из песка, но их следовало ухватить, пока не смыло волной. Азарт мой разгоралась все больше. Хотя эта, розовенькая, уже присутствовала в коллекции, и серенькая, с загнутыми ушками, тоже, но лиловая зато уникальна. Оставь, такой у меня еще не было! — убеждала Андрея, когда он безжалостно выбраковывал собранный мной в очередной раз урожай.

Наша перепалка — он отказывался грузить в багажник машины этот, по его определению, мусор, а я настаивала — входила в ритуал посещений «Ваху Бэй».

Однажды Изя за меня вступился: да ладно, Андрей, оставьте, если ей нравится.

И посмотрел куда-то, мимо меня.

И внезапно меня осенило, я осознала — все, конец. Гаити исчерпано. Все сорта ракушек собраны, картины, те, что пленили, куплены, море, синие-сапфировое, выпито, съедены тонны песка; колибри, увиденные в саду, точно в мареве радужном от мельтешения крохотных крылышек, как Жан объяснил, в неволе погибают, в клетку их не запрячешь, никуда с собой не увезешь, как и запах цветущих апельсиновых деревьев, флер д'оранж, невестин символ, не запрячешь в багаж, который пора собирать.

Изя с обычной любезностью вышел нас провожать. Мы, как обычно, из машины ему помахали: до следующего, мол, уик-энда. Но я уже знала: все, черта подведена. И не обмануло чутье: спустя месяц мы отправились в аэропорт. Жан у ворот дома остался, покидаемого нами навсегда. Не картины, а он, большеглазый, похожий на подростка, был и остался моим главным там, в Гаити, обретением. Жан, прощай.

ВНУТРЕННИЙ ДВОР

Кеше было четыре года, когда его отец, молодой ученый-биолог, уехал в длительную командировку в страну экзотическую и во многих других отношениях заманчивую, но с очень неблагоприятным климатом. Климат такой в особенности являлся неблагоприятным для людей, склонных к сердечным заболеваниям, что как раз и наблюдалось у Кешиного отца. Но отец Кеши предостережений врачей не послушал: отказываться от столь соблазнительной поездки представлялось недопустимым.

Жену, маму Кеши, все находили очаровательной, хотя, если трезво взглянуть, в ее внешности от природы было больше недостатков, чем достоинств: чрезмерная скуластость, курносый простецкий нос, глаза небольшие в слегка припухлых веках. Но она сама, Люба, будто решила однажды, несмотря ни на что, ощутить себя красоткой, с ребячливой нагловатостью убеждала в этом и окружающих. Впрочем, когда Люба смеялась, она в самом деле делалась неотразимой: пухлые щеки прорезали ямочки, глаза превращались уже в щелки, но из них рвался наружу такой обжигающий свет, азарт, дерзость, что многие в душе робели и, вместе с тем, зачарованные, парализованные даже как бы, не могли отвести взгляд. А Люба хохотала. Хохот ее бывал чересчур громковат, резковат и даже не совсем приличен, но понимал это, пожалуй, только один человек, Любин муж. И сдерживался: вслух выражать свое неодобрение ему казалось неудобным, а его молчаливых знаков Люба не хотела замечать.

Кстати, уже готовые к отъезду в страну чудес, супруги навестили родителей, и в доме, где вырос молодой ученый-биолог, их случайно застала одна молодая особа, живущая по соседству. Ничем в ту пору не примечательная, она бы не стоила упоминания, если бы в ее незрелом сознании не отчеканилась навсегда картина чужого счастья, столь очевидного, откровенного, что молодая особа, и без того страдающая застенчивостью, с печальной пристыженностью и вовсе сникла.

Но исподволь продолжала наблюдать. Ее пригласили за стол, где в честь отъезжающих пили вино, закусывая сочным арбузом. Отец молодого ученого произнес тост, арбузный сок натекал в тарелки, в нем плавали скользкие продолговатые косточки, Люба смеялась, и в этот момент случайная гостья увидела вдруг все иначе: тридцатилетний грузнеющий человек сидел, отвалившись устало на спинку стула, крупное, рыхло-бледное его лицо казалось застылым, в глазах же, серо-голубоватых, выблескивала сверлящая сосредоточенность, пугающая своей напряженностью и

абсолютной несвязанностью ни с чем происходящим.

Тогда вот внезапно скромную молодую особу опалил гнев. Ей захотелось встать, крикнуть в весело-чумные лица собравшихся какое-то грозное предупреждение. Но о чем? Она не знала сама.

Впоследствии она пыталась приписать своему состоянию пророческое значение, но на самом-то деле ее, плохо еще знакомую с ревнивой яростью, уязвлял Любин смех, отвлекающий общее внимание с безнаказанной навязчивостью, а также манера Любы, вскинув руки с округлыми локтями, поправлять на затылке завитки, а также блестевший и подпрыгивающий, когда Люба вертелась, крошечный золотой медальон, а также… — также то, в чем не причастная вроде бы ни к чему гостья не желала признаваться: у крупнолицего, не по возрасту тучного мужа Любы улыбка получалась смущенно-печальной, точно он сам себе казался смешным, но скрывал это под напускной суровостью.

Но, конечно, кто и что мог тогда предсказать? Потом только все обрело многозначительность, припомнилось, разрослось, пустило корни. Когда Люба из сказочной страны вернулась одна.

На узкой, длинной, с каменным скользким полом террасе, окруженной со всех сторон парно-душной пряной тьмой, Любин муж, грудью упав на перила, кричал беззвучно, раздираемый удушьем, и, захлебнувшись немым криком, упал.

Люба приехала домой худая, прямая, с новыми жесткими бороздками в углах рта.

Забрала у свекрови сына. Кеша упирался, хныкал, когда она тащила его по лестнице за собой. Свекровь стояла у раскрытой двери квартиры, глядела. И рванулась. В тапочках на босу ногу нагнала внука уже во дворе, сунула ему плюшевого слона с оборванным ухом. Кеша взвыл. Люба, посмуглевшая, постаревшая, выпустила его руку. Он было кинулся к бабушке, но мать, как щенка, прихватила его за воротник.

С того раза и решено было на семейном совете Кешу поделить. То есть строгое расписание составить, когда мальчик живет у бабушки, а когда с мамой.

У бабушки, когда Кеша просыпался, он видел бледную от солнца штору, висевшую на деревянных баранках. Шесть стульев с прямыми спинками были плотно придвинуты к круглому столу, на середине которого обычно стояла синего стекла вазочка. Справа от дивана, где Кеша спал, надвигался ступенчатый громоздкий буфет из карельской березы, поверху увенчанный резьбой: чтобы стереть оттуда пыль, приносили стремянку.

Кеша не решался сразу выползти из-под одеяла: бабушка, несмотря на его протесты, каждый раз открывала на ночь

форточку — настолько, насколько позволяла привязанная к оконной задвижке бечевка.

Бабушка вообще блюла порядок в доме. Никто не смел ступить за порог, не вытерев тщательно ноги о щетинистый коврик. Стол к обеду накрывался с полотняными салфетками, в туалете на полочке лежал коробок спичек и флакон цветочного одеколона — к неприятным запахам бабушка оказывалась чувствительна особо. Чистоплотность такая приобретала уже деспотический характер, но, пожалуй, больше ни в чем другом бабушка подобной твердости не проявляла: хозяином в доме был дед, профессор истории Дмитрий Иванович Неведов.

Утром профессор подолгу ванну занимал: брился, растирал, умащивал крупное породистое лицо барина-крестьянина из Смоленской губернии, откуда он уехал в девятнадцатом году, с агитпоездом, в шинельке и обмотках, а в двадцать девятом в столицу прибыл, с невенчанной женой, Екатериной Марковной, по домашнему Екой.

Тогдашний знаменитый фотограф запечатлел юною Еку в видавшем виды боа, накинутом небрежно на узкие плечики, вполоборота, и с той обольстительной томной исплаканностью во взгляде, что в ту пору считалась модной, как и длинная нитка бус, свободная широкая блуза, укороченный, в сравнении с прошлыми годами, подол.

Образование Еки осталось незаконченным средним, а из родного города Орши она увезла проклятие своей семьи, возмущенной скандальным поведением младшей дочери, кинувшейся вслед за каким-то проходимцем.

«Проходимец» же отнюдь не настаивал на том, чтобы его сопровождали. Ека в полудетском платьице, в ботинках с высокой шнуровкой, рыдая, объясняла ему, какая замечательная у нее семья, как хозяйственна, мудра, экономна мама, сумевшая создать мужу-часовщику обстановку почти аристократическую, о чем как о чуде отзывались у них в городе, и насколько успешно, блестяще учатся оба брата, успевая одновременно помогать в делах отцу, и что только она одна, Ека, паршивой овцой затесалась — нет ей прощения и оправдания не будет. «Вы слышите, Дмитрий?»-требовательно, плаксиво, заискивающе она вопрошала. «Да-да, — бормотал невнятно будущий профессор. — Конечно. Да…»

Хотя он не стал бы отрицать, что Ека в ту пору была прелестна. Но, к сожалению, не столь умна. И шумна чрезмерно. И пугающе энергична. А самое главное, и тогда и впоследствии неприятная догадка у него мелькала, что в безудержных порывах Ёки кроется некий расчет, но уличить ему ее не удается.

Как не удавалось ему с ней хитрить. Хитрости он порой изобретал жестокие — в надежде вырваться, освободиться. Но Ёку никакой измор не брал.

Она встречала его в комнатенке в Леонтьевском переулке, куда он являлся под утро, свежая, бодрая, хотя и не сомкнувшая за ночь глаз. Готовила завтрак.

«Ну, Дмитрий Иванович, право, зря ты… — произносила с заботливой укоризной. — Ты ведь без меня пропадешь».

Иногда, несмотря на ее ласковый взгляд, проникновенные нежные интонации, ему чудилось, что она его ненавидит. Но и это тоже оставалось только ее тайной, постичь которую — с годами он понял — ему не дано.

Ека не стеснялась и на людях глядеть на мужа с откровенным обожанием, первой хохотом заливалась, когда он, не всегда, впрочем, удачно, острил, по всякому поводу и без повода хвалилась его успехами, что его смущало, раздражало, и тем не менее он постепенно, незаметно усвоил манеры баловня, удачника и вообще укрепился в хорошем мнении на собственный счет.

Хотя успехи у него действительно были. Происхождение, репутация, биография — все способствовало тому. Да и в натуре его, в самой внешности обнаруживалось отменное здоровье, радующее, обнадеживающее, внушающее желание такого человека поощрить, продвинуть, покровительствовать ему.

Он казался всегда непоколебимо спокоен, слегка даже сонлив и великодушен от сознания собственной силы, как положено былинному богатырю.

Рост, сложение, осанка делали его заметным всюду, в любом обществе, даже если он ни слова не произносил.

Обыкновенно он и отмалчивался, чуть растягивая в снисходительной, добродушной усмешке губы, или, щурясь, строго брови сводя, — либо одно, либо другое наработанное выражение защищало точно панцирь его довольно-таки рыхлое нутро.

А рядом щебетала, суетилась, несла околесицу Ека, доставшая мужу до плеча и готовая сносить любые насмешки, обидные перемигиванья ради благоденствия своего рослого супруга, который на фоне ее бестолковой мельтешни безусловно цвел. И обращалась Ека к мужу исключительно по имени-отчеству, как бы загодя приучая и окружающих, и себя к почтительности, обязательной в отношениях с таким значительным, уважаемым человеком.

Молодой еще тогда Неведов в самом деле продвигался в заметные фигуры.

Он любил учиться, учился с удовольствием, и если бы вся жизнь состояла лишь из чтения и запоминания, чтения и запоминания, он бы в конце концов освоился, перестал бы робеть, перестал бы стыдливо скрывать свою робость.

Поэтому с безотчетным рвением он растягивал, длил процесс своего обучения — заканчивал одни курсы, поступал на другие, получал дипломы, грамоты — и в результате вырос в весьма ценный кадр.

Но к моменту, когда вопрос о назначении его на ответственный пост вот-вот должен был решиться, Неведов позволил себе неожиданный выверт: он ушел из семьи.

Ека не слышала о нем ничего полгода. Неведов как в воду канул.

Некоторое же время спустя в комнатенку на Леонтьевском стали наведываться личности, знакомые и незнакомые, смущающиеся и наглеющие, будто с поручениями или просто так, но Ека с неизменной стойкостью поила их пустым чаем и выпроваживала.

Однажды только она не смогла сдержаться, расплакалась в присутствии Феди Долгова, неведовского приятеля, благодаря которому в биографии Еки возник период, пусть недолгий, но вспоминаемый ею впоследствии с гордостью, хотя и не без преувеличений.

Как сама Ека выражалась, то было время обретения ею общественного лица.

А точнее, Федя Долгов с редкой отзывчивостью вызвался помочь несчастной Еке в ее отчаянном положении, переговорил с кем-то, убедил кого надо, и вот Ека оказалась в симпатичном особнячке, откуда, правда, вынесли прежнюю изящную мебель и заменили канцелярской, неказистой, но зато вскипела там интереснейшая жизнь, люди прелюбопытные туда являлись, спорили, убеждали друг друга, делились фантастическими идеями, из которых кое-что даже реализовалось в жизнь.

Ека, правда, запамятовала с годами, как точно учреждение это называлось: то ли Союз любителей искусств, то ли Общество служителей муз, то ли строже, официальной, но, безусловно, серьезнейшие люди стояли у истоков такого начинания, коли сумели привлечь в участники многих знаменитостей.

Ека приходила в особнячок поутру, усаживалась в прихожей за высокий, похожий на конторку стол и глядела — сначала в окно, выходившее в тихий дворик, а после на дверь, откуда появлялись разнообразнейшие посетители.

Потом она уверяла, что, занимая столь выгодную позицию у самой двери, воочию узрела весь цвет отечественной культуры

той эпохи. И, разумеется, люди эти отличались безупречным тактом, тончайшей деликатностью, ибо, при всей своей занятости, находили все же время вступить пусть в короткую, но живую беседу с молоденькой скромной сотрудницей вышеупомянутого учреждения.

О своих конкретных обязанностях Ека упоминала туманно. Но она числилась в штате, получала зарплату, паек, а главное, ощущала себя в гуще важнейших событий и на заработанные лично деньги купила дорогие, драгоценные прямо-таки туфли на высоких каблуках.

И все же, когда Федя Долгов навестил ее как-то в Леонтьевском переулке, она, восторженно его поблагодарив, от избытка чувств даже чмокнув в холодную, вялую щеку, вдруг вжала ладошку в глаза и разрыдалась.

Она знала, помнила, какой Федя добрый и как умеет хорошо молчать, как прост, хотя полно у него друзей влиятельных, да и сам он многое может, но ростом вот милый Федя уродился маловат, и щеки серые у него, запавшие, а лоб бугрист от ранних морщин, — плача, Ека прижалась к нему, а Федя тихонько по волосам ее гладил.

И внезапно, резко отстранил.

— Послушай, — глухо сказал, — пойми…

Но оборвал начатую было фразу. Она подняла на него глаза. Мрачный неотрывный Федин взгляд мгновенно подсказал ей то, к чему ни одна из женщин не остается равнодушной, что утешает женское сердце в самый трудный час, и неподходящих моментов для подобных признаний не бывает. «Ты прелестна», — Ека услышала, хотя строгий, собранный Федя вслух ничего не сказал. «Прелестна», — в ней самой звенело, и она склонила чуть вбок гладко зачесанную голову с маленькими красными фальшивыми камушками в ушах, решив лукаво и вместе с тем абсолютно невинно: пусть дальше, дальше говорит…

Но Федя молчал. Отошел к столу, сел, сдвинул блюдечко с колотым сахаром, стакан недопитого чая.

— Послушай, — снова начал, — так нельзя. Ты должна учиться. Сейчас все учатся. Сама потом убедишься, насколько все изменится, взгляды твои, желания. И то, из-за чего ты сейчас страдаешь, покажется… ну, в общем ясно, что я имею в виду.

— Не-ет, — она озадаченно протянула, и в выражении ее детского лица была такая бесхитростность, что он невольно улыбнулся.

— Екатерина Марковна, Ека! Пойми, очнись. Замечательное время настало.

Большие дела, большие люди вокруг. И отцепись наконец от

своего Дмитрия! — Всегда сдержанный, Федя вдруг озлился. — Прости, а впрочем, и прощать не надо. Потому что дурак он, Дмитрий. И дураком останется, сколько бы книжек ни прочел.

— Федя! — испуганно она воскликнула.

Но щупленький Федя Долгов впал, казалось, в непривычное буйство.

Раскраснелся, пристукнул кулаком по столу:

— Не останавливай меня, все равно скажу. Неведов трус. И от тебя ушел, потому что струсил. Говорю это не от возмущения и не потому, что мне жалко тебя. Считаю, твоя удача, что удалось от него теперь избавиться. Потом бы разобралась, да поздно. Он, Неведов, посредственность, серость, а пыжится и будет пыжиться дальше. И только кажется, что вреда от таких нет. Такие по нутру своему инертны, безразличны, а безразличие — есть та же тупость. От безразличия и к предательству близко…

— Федор! — гневно она его оборвала.

— Хорошо, — он как-то сразу сник, — согласен. Не стоит забегать вперед. Время покажет.

— Ты просто завидуешь, — с пренебрежением она сказала.

— Я?! — он рассмеялся. Звучно, искренне, обаятельно, что Ека не пожелала отмечать. — Мне, Екатерина Марковна, и незачем завидовать, и некогда. Не только Неведову — никому. Мне бы только то успеть выполнить, что я наметил, во что верю, за что, если надо, голову положу. И не жалко, не жалко! — Он еще больше, казалось, развеселился. — Что бы потом ни случилось, мне, полагаю, повезло. Не стыжусь я себя, не озираюсь, а это очень здорово. А что еще замечательней: время я наше чую, праздничное, необыкновенное. Хочу все, что есть сейчас, запомнить, сохранить. И это мое время, никем, ничем мне не навязанное. А ведь беда, если у человека просто выбора нет, и уродуется он, корежится из страха, как бы его не захлестнуло, чужое, чуждое, что оказывается победительнее, мощнее отдельной человеческой судьбы.

Ека молчала, и Федя устыдился вроде своего пафоса, и непонятного и обидного, может быть, маленькой женщине с гладко причесанной головкой, которая тем не менее сумела произнести весьма достойно:

— Спасибо, Федя, за все, что ты сделал. Но больше, мне кажется, не надо тебе приходить к нам.

К «нам» было сказано без всякой нарочитости, легко, скороговоркой, что умный Федя сразу оценил. Поднялся, схватил с подоконника серого сукна кепку — и больше Ека не увидела его никогда.

Феди Долгова не стало. Лишь после войны, в пятидесятых,

имя его вновь всплыло, объявились люди, знавшие его, и Ека решилась вспомнить — то время, куцую Федину фигуру, звучный его смех, а больше, охотней — себя молодую, темное, крапчатое бедное платьице свое той поры, тяжелую массу волос, и полукруглый, выпадающий из прически гребень, и предвоенную энергичную Москву, в трамвайном звоне, заботах, которые, к слову, никто не преувеличивал тогда, и комнатенку в Леонтьевском, где она Дмитрия своего дожидалась и дождалась.

Да, он пришел. Большой, тяжелый, в размокших от мартовской хляби ботинках: снял их и прошлепал к дивану, точно отсутствовал пару часов. В первое мгновение ей именно так показалось. Сел. А она заметалась: хозяин вернулся! Ни объясняться, ни оправдываться он, к счастью, не стал: неизвестно, сумела бы она еще и это выдержать.

… Один этап в их отношениях, так сказать, завершился — и новый начался. Но, пожалуй, как раз с последующего витка возникли у Еки визгливые интонации, скандальность, заносчивость, что особенно в глаза бросалось, когда Дмитрий Неведов оказался на виду.

Предсказания Феди Долгова тут не сбылись. И в отношении Еки Федя просчитался. Ека в супруге своем не разочаровалась. Напротив. Все туже захлестывал ее страх Неведова упустить. Все ужасней, сокрушительнее представлялась с годами такая потеря. Чтобы не увели. Влиятельного, представительного, вальяжного. Федя в способностях его сомневался? Да знал бы Федя, что за Неведовым теперь подъезжает казенный автомобиль, кабинет у него просторный и предбанник с секретаршей, недостаточно, правда, уродливой.

Ох, господи, до чего беспокойно, тяжело… Дмитрий, почему ты так груб? Что значит не хочешь слушать? Я имею право сказать, я тоже в конце концов… Я не скандалю. Я хочу объясниться. Глупости, не слышит никто. Ну вот я шепотом говорю. Не уходи! Ах, так… Не беспокойся, осколки сама вымету. Да я все сейчас разворочу! Ты жизнь мою растоптал — ах я дура, дура…

Маленький Кеша просыпался не раз от подобных криков, как в свое время его отец. А утром Ека была хлопотлива, заботлива. Завтракала семья чинно.

Профессор Неведов утирал крахмальной салфеткой рот. На середине стола стояла синего стекла вазочка со свежими цветами. Ека любила уют. Когда профессор на службу отбывал, она до блеска вылизывала все углы в квартире. Кеша при сем присутствовал, хотя поручений ему никаких не давали. Ека отводила душу, рассказывая внуку о своих огорчениях, о детстве,

о прошлом — о том времени, что все больше отдалялось, но тем ярче светило ей.

Маленький Кеша слушал. У него была большая тяжелая голова с неровной макушкой, улыбка вялая и сумрачный взгляд серых глаз. Он еще не осознал вполне своей неуклюжести, но двигался медлительно, с опаской, точно на невидимые препятствия натыкаясь. А чаще в угол куда-нибудь забивался и, таращась, глядел. В спальне у бабушки над туалетным столиком, по обе стороны зеркала, висели фотографии в одинаковых рамках: она сама, молодая, в накинутом на плечи мехе, а на другой, увеличенной и потому не очень четкой, Юрий, ее покойный сын. Отец Кеши.

Кеша отца плохо помнил. Отцовское, мужское для него воплощал дед.

Бабушка на деда кричала, дед отмалчивался, пока тоже не взрывался. Однажды Кеше стало даже за деда страшно. С чего-то вечером у них началось, бабушка дверьми хлопала, потом в кабинет деда вбежала и — с порога: «Ты и Юру загубил!» Дед из-за стола поднялся, жутко побагровел. «Замолчи! — прохрипел. — Сейчас же замолчи, идиотка несчастная».

Но хотя бабушка на деда нападала, Кеша чувствовал, что власти у нее ни над чем нет. И с ним, с внуком, она ссорилась как малолетка: обижалась из-за ничего, плакать уходила в свою спальню. Кеша являлся туда ее утешать, с неловкостью и вместе с тем покровительственно. От бабушки пахло пудрой и сигаретами, когда, Кеша, морщась, ее целовал. К табачному дыму он, как и дед, относился с предубеждением, а бабушка курила много. С отчаянной какой-то жадностью затягивалась и заминала в пепельнице окурок.

В свои немолодые годы Екатерина Марковна, стоит отметить, очень неплохо выглядела, подтверждая поговорку, что маленькая собачка до старости щенок. А если в подробности пускаться, она обладала точным вкусом, подсказывающим ей свой, не совсем, правда, обычный стиль, с вольностями, для нее самой укоренившимися в привычки. К любой одежде, скажем, она надевала длинный легкий шарф, концы которого постоянно теребила, то на спину отбрасывала, то разглаживала на груди. На запястьях бренчали, то вниз, то вверх соскальзывая, многочисленные цыганистые браслеты. А платья носила темные, подчеркнуто строгие, облегающие ее все еще ладную фигуру. Густая с проседью челка низко спускалась на лоб, затылок выстригался очень коротко, почти по-мальчишечьи, и весь ее облик был отмечен вызывающей юношеской резкостью в сочетании со странноватым лукаво-сентиментальным женским

наигрышем.

Пожалуй, что являлось для Екатерины Марковны характерным, что могло и вызвать любопытство, и раздражить, так это постоянное, неосознанное невинное ее притворство. Всегда и во всем. Естественность полностью отсутствовала в ней, как у иных чувство юмора. Но подозревать ее в заведомой лжи было бы несправедливо. Больше того, капризные интонации, гримасничанье, ломанье вполне отвечали ее существу, доверчивому и авантюрному.

Люди доброжелательные называли ее чудачкой, фантазеркой, а более критически настроенные пожимали плечами, недоумевая, как может Неведов жить с такой супругой. Впрочем, и доброжелатели, и недоброжелатели близко с Екатериной Марковной не сходились. Она сама точно черту обвела вокруг своего дома, отнюдь не безмятежного, но вне той черты ее не интересовало почти ничего.

Муж и внук — вот что ее целиком поглощало. Но профессор Неведов органически не переносил суеты, шума, излишков эмоциональности. Он сам оборудовал свой кабинет, окна завесив тяжелыми шторами, забаррикадировавшись книгами, стопами лежащими на столе, на креслах, на полу, не говоря уже о массе их, выстроившихся на полках. И мало кто, войдя в сие святилище духа, догадывался, что тут прячется слабохарактерный лентяй. Эта тайна была известна, пожалуй, лишь его сотрудникам, но не в их интересах оказывалось ее разглашать. Профессор Неведов всех устраивал, потому что мало во что вникал.

Под его началом бездельники бездельничали, а люди энергичные, честолюбивые занимались тем, чем хотели, — с рвением и довольно успешно, но руководствуясь своими собственными задачами, планами, не связанными порой нисколько с общим делом.

Общее дело? А может, его и не существовало вовсе под крышей того достаточно комфортабельного здания, с яркой черно-белой вывеской справа от парадной двери, за которой у теплой батареи сидел пенсионер-вахтер, единственный, может быть, кто выполнял свои обязанности не за страх, а за совесть.

Вахтер, Пал Семенович, был ровесником директора института Дмитрия Ивановича Неведова, но по болезни, вызванной последствиями ранения, выбыл на пенсию. Утром, в десять часов, Пал Семенович наблюдал, как в институтский двор въезжала «Волга» с фигуркой оленя, выгнувшегося в прыжке на черно-лоснящемся капоте. Дверца распахивалась, с переднего сиденья профессор Неведов вылезал. Неторопливо. Шел, слегка ссутулясь, к подъезду. Пал Семенович привставал, и вошедший директор с

ним здоровался. Тепло и со значением, что, как Пал Семенович отмечал, всегда отличало людей почтенных.

А ведь иной раз приносило в институт всякий сброд, от которого Пал Семенович и полагал своим долгом обороняться: бородатых, и патлатых, и разного пола, и одинаково бесстыдно-самоуверенных, которые по рассеянности или необученности на верного стража порядка и взглянуть забывали, но уж тут он, как стена, на пути у них вырастал, и пробить эту стену оказывалось весьма непросто.

Другое дело директор института Дмитрий Иванович. Уж ему-то было о чем задуматься, и ему ученую рассеянность Пал Семенович простил бы. Так нет, профессор Неведов никогда не обижал невниманием вахтера-пенсионера, воодушевляя его с еще большим тщанием, еще зорче, еще строже выполнять свои обязанности.

Только вот никак не предполагал Пал Семенович, что как ему самому одиноко, скучливо дежурить при гардеробе, так и профессору Неведову тягостно, грустно в кабинете директорском сидеть. И не подремлешь, потому что в любой момент может распахнуться дверь и появиться клокочущая от интриг, жажды мести, сил неизрасходованных Матильда, новый секретарь. Как ни старался, Неведов никак не мог к ней привыкнуть: каждый раз при виде ее вздрагивал. Правда, она не только его устрашала. Находя себя на редкость обольстительной, Матильда алчно ухмылялась, обнажая множество острых акульих зубов, глядя при этом не мигая с беспощадным выражением терзаемого голодом хищника. Ее впалые щеки покрывала кирпичного тона пудра, а лошадиное лицо обрамляли тугие, щипцами завитые локоны, напоминающие прокурорский парик.

Приблизившись к директорскому столу, Матильда, с обходительностью опытного палача, выкладывала перед Неведомым бумаги, каковые он в трепете подписывал. Когда она исчезала, вздох облегчения вырывался у него.

Появление Матильды в институте и утверждение ее в должности секретаря доказывали, что жены, даже не обладающие в глазах своих мужей большим влиянием, кое-что все же могут, и что взбалмошной Екатерине Марковне тоже есть чем гордиться. Матильда! — это было свидетельство одной из немногих Екиных побед.

А профессор Неведов в самом деле заслуживал сочувствия. Его утомляло столько часов подряд просиживать в кресле. Дома в своем кабинете можно было бы на диван прилечь, что он и делал по обыкновению, в тишине, уюте. «Дмитрий Иванович работает!» — клич Еки не допускал вторжений к нему. Неведов

расслаблялся, вытягивал из-под подушки клетчатый плед, укладывался поудобнее и…

Он читал. Наслаждался самим процессом — перелистывать одну прочитанную страницу за другой. Бесконечно, пока дрема не охватывала. Так младенец сосет грудь и сам от груди отваливается, засыпает.

Неведов посасывал леденец. В окне, неплотно шторой задернутом, снег плавно падал — ну разве не благодать? Еще бы усилие сделать, до стола дотянуться, вытащить из фарфорового в разводах стаканчика остро очиненный карандаш — пометку можно сделать, даже выписку. В предстоящей научной работе это очень бы пригодилось. Кабы не лень…

Но, безусловно, лень все же превозмогалась. Откуда бы тогда взялись труды? А они были, имелись у профессора Неведова. С очень длинными, сложными, не всем понятными названиями, занимающими титульный лист чуть ли не целиком. Объем, правда, получался скромный. На полке, специально предназначенной для авторских экземпляров, неведовские книжки гляделись тощенькими. Но Ека, верная жена, и в этом находила благородство, заслугу мужа. «Да если бы, — говорила, — Дмитрий Иванович не был таким обязательным, если бы умел отказывать, когда просят, не отрывался бы столь часто от творчества ради общественных дел, да он бы горы свернул, с его-то знаниями, опытом!»

К счастью, обстоятельства складывались иначе. Заседания, совещания, конференции, поездки выручали Неведова. Ему самому уже начинало казаться, что, будь у него больше времени, он бы действительно что-то крупное создал.

Поэтому, войдя в образ, произносил досадливо: «Опять ехать придется, и снова день разбит. Невозможно сосредоточиться».

Случались и волнения: где отведут ему место, в президиуме или в общих рядах. Впрочем, Неведов излишним тщеславием не страдал. Инстинкт подсказывал, что лучше посередке отсидеться, тыл прикрыв и не вылезая вперед. Красоваться у всех на виду небезопасно. Придется рано или поздно высказаться. А он не то чтобы опасался, просто не любил брать на себя лишних хлопот. Хорошо, что его назначили директором: в качестве заместителя он долго бы не продержался, не вынес бы беспокойства.

Так вот возникло и укрепилось мнение о скромности Неведова. А его молчаливость свидетельствовала, казалось, о мудрости. Замечания же, которые он вскользь бросал, безусловно, доказывали обширность его познаний, что соответствовало действительности. Интересы Неведова были разнообразны, он читал все подряд, множество сведений в памяти его хранилось,

но это был пассивный, мертвый груз. Какого-то толчка, импульса Неведову не доставало, чтобы накопленным богатством с толком, с пользой распорядиться. А что мешало? Равнодушие, вялость? А может, эгоизм? Ведь чтоб приняться за дело, следовало отказаться от приятного, привычного времяпрепровождения, всерьез испытать свои силы — перестать себя щадить. И это был риск. Неведов же рисковать остерегался. Чутье тайное, подспудное ему диктовало: не торопись, не отступай от знакомой роли. Лучше на занятость ссылаться, на озабоченность побочными занятиями — так скорее убережешься. Поражение, неудача надолго темным пятном ложатся, а будучи на посту руководящем, свою репутацию надо беречь.

И отзывались о Неведове уважительно. Безмятежное его благодушие располагало к нему людей. Он умел держаться с достоинством, солидно, что позволяло возлагать на него разнообразные поручения: где-то поприсутствовать, встретиться с кем-то, подискутировать даже иной раз, ни в чем, никак не нарушая установленных границ. Словом, не вникая, не влезая глубоко, вполне могло создаться впечатление, что у профессора Неведова в самом деле широкое поле деятельности и очень он занятой, ответственный человек. Благодаря же хозяйственности Екатерины Марковны в доме профессора всегда вкусно, сытно кормили, что тоже шло во благо, укрепляло репутацию.

Поэтому, когда маленький Кеша у бабушки с дедом частично поселился, окружающие полагали, что мальчик воспитывается в исключительно благоприятных условиях: интеллигентная атмосфера — и все есть.

Их дом был выстроен в начале пятидесятых. Восьмиэтажный, основательный, крашенный в серый мглистый цвет, с квадратным внутренним двором без единого деревца. Над ним тогда торчали лишь колокольни двух церквей, одной действующей, другой занятой под склад, впоследствии, правда, отреставрированной. Перед действующей церковью находился сквер: там собиралась детвора со всей округи.

Это было замечательно, когда начинался, нарастая постепенно, колокольный перезвон, и в торжественном его сопровождении снег мягко падал, пропадал, вновь появлялся то у одного, то у другого фонарного столба, и санки скрипели, снежки совсем рядом шлепались, но никого не задевали. Игра велась безобидная, на радость себе и другим.

В том сквере Кеша впервые увидел Лизу. Рот у нее прикрывал носовой платок, засунутый между краями вязаной белой шапки, подоткнутый под такой же белый шарф. Одни глаза торчали,

большие, зеленые, и в них стояли слезы. Лиза крепилась, давилась и, не удержавшись, заходилась в бьющем мучительном кашле. Она казалась толстой, а может, ее одели очень тепло. Она не двигалась, стояла, держась за руку пожилой тети. Кто-то сказал: «Когда у ребенка коклюш, его не выводят туда, где другие дети». Тетя, сопровождавшая Лизу, распрямилась, выкрикнула, ни к кому конкретно не обращаясь: «А где же выгуливать? Доктора сказали — надо. И карантин прошел. Так-то!»

Кеше жалко стало Лизу. Он видел, что ей стыдно и что платок намокший лезет в рот, а у тети, ее приведшей, лицо твердое, плоское, а поверх пальто надета лиса с болтающимися лапками и злой, узкой мордой.

Скрипнув валенками по искристому снегу, он шагнул нерешительно. И дальше, осмелев: «Меня зовут Иннокентий. А тебя как?»

Почему-то захотелось ему назвать себя этой девочке по-взрослому, не так, как его окликали дома. Но она не ответила. Заиндевевшей варежкой сердито потерла глаза. Мохнатый помпон на ее шапке качнулся и будто прозвенел колокольчиком. Кеша ждал. Тетя с лисой, по-своему оценив ситуацию, взяла девочку за руку, повела куда-то. Но та вдруг вывернулась, отдернула ото рта платок: «Лиза я! Ли-за». И снова рядом со своей тетей засеменила, маленькая, толстая, с мохнатым помпоном на белой шапке, покачивающимся туда-сюда.

На этом знакомство их прервалось. И продолжение возникло после большого перерыва. Тоже зимой. Кеша в ту пору носил цигейковую ушанку с кожаным верхом, рябое длиннополое пальто, а шарф поверх воротника его заставляли повязывать, хотя получалось тесно, неловко. Новенькие галоши оставляли четкие следы на снегу, и Кеша успел разнообразные узоры вытоптать, цепочкой, лепестками, кружась, на одной ноге прыгая, пока бабушку у подъезда ожидал.

Теперь он бывал в этом доме лишь в субботу и в воскресенье. С началом занятий в школе жизненный распорядок перестроился сам собой: он жил уже с мамой, а к бабушке с дедом приезжал гостить.

И отъедался, блаженствовал, купался в неге. С мамой он ощущал себя постоянно настороже. Мама, как только Кеша от бабушки съехал, принялась искоренять последствия прежнего воспитания. Прежде она в основном наблюдала, запоминала, и возмущение в ней накапливалось. Как наставник Ека действительно, пожалуй, была не сильна. Но разве она не помогала, как умела, невестке? Люба заканчивала аспирантуру, потом работу себе подыскивала, потом работала — Кешу

готовенького передали ей в руки. Пожалуйста, воспитывай, расти. Сын уже первоклассник, школьник.

Но, к сожалению, у Любы и теперь оказалось множество отвлекающих от сына проблем. Хотя она, конечно, старалась. Руки лиловыми чернилами пачкала, писала в тетрадку палочки, училась складывать на счетах. Утром, неподкупно строгая, совала Кеше в ложке рыбий жир, он отплевывался, и она его честно бранила. Рубашку заправляла в штаны, переводила через дорогу в школу, отучала в постели печенье грызть, рисовать человечков на обоях, задники на туфлях затаптывать, ковырять в задумчивости нос.

И — срывалась. «А ну закрой сейчас же рот! До чего же вид у тебя придурковатый, слышишь? И это мой сын?!»

«Мой сын?» — произносилось недоуменно, горько. А временами Люба к отчаянию была близка, глядя на непропорционально большую шишковатую голову мальчика, наблюдая его неуклюжесть, неловкость, туманный дремотный взгляд.

«Закрой рот! Закрой рот, говорю тебе!»-кричала и впивалась ногтями в свою ладонь.

Кеша понимал. Понимал, что виноват и как трудно маме. Мама ведь замуж собралась. На сей раз уже совершенно серьезно.

Разумеется, в доме профессора Неведова это событие обсуждалось. Но Кеша в разговоры взрослых не вникал. Ему нравились бабушкины пирожки с капустой, крохотные, поджаристые. После пирожков подавался цыпленок табака. Кеша расправлялся с ним мгновенно. Бабушка сердобольно глядела на него: «Умница, Кеша. Компот вот выпей, умойся, оденься, и пойдем гулять».

И в тот раз он, сытно, хорошо отобедав, ждал у подъезда, когда бабушка соберется, выйдет к нему. Ждал долго. Екатерина Марковна на людях появлялась исключительно во всеоружии: с длинным шарфом, бренча браслетами, непременно на высоких каблуках и с дымящейся сигаретой, которую она держала на отлете.

Ронялись перчатки, потом сумочка — Кеша бросался поднимать. Бабушка кидала погасшую сигарету и прикуривала новую.

Так, пройдя от подъезда два шага, они столкнулись с красивой веселой женщиной, вылезающей из такси со свертками, сумками, авоськами, донести которые понадобилось бы, верно, рук десять. Но женщина, удивительно ловко поклажу свою распределив, мизинцем прихватив обвязанную крест-накрест коробку с тортом, двинулась легко на высоких, как у бабушки,

каблуках, пропустив вперед себя девочку, которая тоже что-то тащила.

«Маша!» — сказала бабушка. «Ека!» — откликнулась женщина. И обе они радостно заулыбались.

Кеша сразу девочку узнал. Хотя она держалась как незнакомая. И одели ее на этот раз как-то чудно, в капор, отделанный мехом, пальто с пелериной и с муфтой, необходимой, наверное, чтобы получился ансамбль, но которую в тот момент ей, бедняжке, пришлось придерживать подбородком.

Так она стояла, скособочившись, капор сполз, выбилась рыжая прядь волос, а мама ее продолжала улыбаться, беседуя с Кешиной бабушкой.

… Нет, кажется, она существовала рядом всегда. Ни начала не было, ни продолжения — всегда она шумела, топала, хватала что-то без спроса, набивала конфетами рот, а когда исчезала, делалось тоскливо, пусто.

Ее родители въехали в серый мглистый дом тогда же, когда и профессор Неведов с Екой. И квартиры они получили однотипные, только в разных подъездах. Но когда Кеша стал у Лизы бывать, он точно переносился в другой город, другую страну, другой мир.

Там все перекрикивали друг друга, куда-то спешили, опаздывали, разрывались на части, но глаза при этом упоенно блестели и в выражении лиц мелькало что-то плутовское. Эмоции захлестывали, все на все реагировали бурно и вместе с тем как бы не совсем всерьез: сердилась, отчитывала мама Лизу и вдруг прищуривала хитро глаз, и Лиза, только что обиженная, надутая, нахлобучивала кепку своего папы и пускалась в дикий пляс.

Такие же комнаты, такие же стены, но ощущение возникало, что очень тесно, вещи всюду набиты и множество людей. Потому, вероятно, что живущие здесь обладали загадочной способностью объявляться одновременно в разных точках квартиры: Лизина мама, Мария Дмитриевна, кормила младшего сына в кухне, но ее же голос из спальни слышался, где она говорила с кем-то по телефону, и она же в тот же момент, вскочив на табуретку, захлопывала в детской форточку.

Тем же свойством отличались и Лиза, и домработница Шура, и даже Слава-карапуз. Только у главы семьи, Павла Сергеевича, имелось обратное отличие: его не было ни слышно, ни видно нигде.

«Папа в тресте. В управлении. В командировке. Задерживается…»- роняла Лиза привычно. И тем не менее, несмотря на столь частое отсутствие в доме отца, а может, кстати, именно по этой причине, домочадцы постоянно его упоминали,

ссылались друг перед другом на его авторитет, уповали, грозились, что вот когда он придет…

Хотя, пусть ни Лизе, ни Кеше в голову подобное еще не приходило, воспитание, при котором кто-то из родителей представляется идеальным, безупречным, а кто-то будничным, изученным до навязчивости, свидетельствует об очевидном перекосе в распределении обязанностей между матерью и отцом, о неравновесии, при котором, как правило, преувеличено женское влияние и недостаточно мужское, что как раз и наблюдалось у Лизы в семье.

Но кого обвинять, кто виноват, что в человеческой судьбе так мало отведено времени для жизни, — обязанности, необходимости жмут со всех сторон, убыстряя и без того скоротечное существование. Так что, пожалуй, не стоит придираться, кто из супругов больше или меньше в воспитание детей вложил. Тем более что каждый характер формируется не только тем, что его окружает, но и тем, что противоположно, что контрастностью своей и влечет.

Нередко Кеша оставался у Лизы обедать, либо ужинать. Там на большом раздвинутом столе всегда стояли коробки с конфетами, печеньем, начатый и недоеденный торт. Когда подавали, скажем, суп, сладости в сторону сдвигались, но время от времени кто-то что-то хватал, грыз, лакомился, словом.

Кеша наблюдал. У Лизы в семье беспорядок соседствовал с железной дисциплиной, основывающейся на беспрекословном подчинении всех домашних Марии Дмитриевне, Лизиной маме. Бунт подавлялся мгновенно, даже не окриком, а взглядом, властным, повелевающим. И вместе с тем, хотя Марию Дмитриевну боялись, все удовольствия, развлечения, праздники ожидались именно от нее.

Умела она дарить, веселиться и находить радость в самых будничных, казалось, ситуациях. К примеру, в мытье окон весной: шум, гам, неразбериха, кавардак полный, все носятся по квартире бестолково с тазами, тряпками, стекла в результате оказываются довольно мутными, но это — событие, и его страстно переживают всей семьей. А уж праздники обставлялись со всей пышностью, щедро, пренебрегая какой-либо экономностью, умеренностью. Возможно, объяснялось это тем, что и Лизина мама, да и многие из ее поколения хорошо жить стали недавно, и хотелось утвердиться в своих новых возможностях, успеть их вкусить.

Кеша запомнил походы в театр под предводительством Лизиной мамы. От нее и они заражались лихорадочным оживлением, так что, когда подходили к театральному подъезду, голова от волнения кружилась, и все в тумане радужном

расплывалось, точно они перегрелись, и вот-вот хватит их солнечный удар.

Гардероб, номерки, программки, путаница, пугливые вскрики, лица растерянные. Наконец-то уселись, в ложе, либо в партере, и гигантская люстра надвигалась как пылающий метеорит, пока вдруг не меркла: начиналась увертюра. И снова ажиотаж, путаница, спешка — в антракте. Чрезвычайно важным представлялось в буфет попасть, занять одними из первых очередь. Лизина мама пирожных, бутербродов набирала, точно им предстояло тут неделю прожить.

Торопились, глотали, надкусывали и снова мчались в зал. А в следующий антракт новая задача: в туалет попасть. Лиза в одну сторону бросалась, Кеша в другую — и кто быстрее. Уф! Отбывали домой вымотанные, обалдевшие, переполненные разнообразными впечатлениями, в которых сам спектакль как-то даже терялся. Но праздник-то состоялся!

Кеша с удовольствием бывал у Лизы в доме, но полной неожиданностью для него оказалось, что рыжеволосая хохотушка Лиза тянулась к его бабушке. Тут замечалось большее, чем обычное в детях желание ходить в гости: Лиза, набив карманы сушками, которые всегда находились в запасах у Еки, не чувствовала себя вполне удовлетворенной, пока бабушка Кеши, слегка поломавшись, не начинала, усевшись в низкое креслице, бесконечный рассказ, как она сама выражалась, о днях моей молодости.

И непоседа Лиза замирала. Кеша сидел тут же и скучал. Россыпь фотографий, что Лиза с увлечением изучала, он сам уже десятки раз видел. Но ведь и Лиза не впервые вглядывалась в усатые, бритые лица, и ей подсказок не требовалось, как в групповом школьном снимке покойного Юрия отыскать, и объяснений она наслышалась, почему на одной из фотографий кусочек вырезан, — шутник какой-то неудачно и не совсем даже прилично «щелкнул» Еку, но хотелось оставить пейзаж, как память о великолепном, редкостном отдыхе вместе с Дмитрием Ивановичем. Тут обыкновенно Ека вздыхала, а у Кеши каждый раз появлялось желание спросить: «И что, вы тогда не ругались?»

А один и тот же снимок Ека почему-то приберегала под конец. На площадке, где стояла плетеная округлая мебель, невысокий лобастый человек, в расстегнутом белом кителе, в сдвинутой на затылок белой полотняной фуражке, глядел, прищурясь, куда-то далеко. Будто что-то сосредоточенно высматривал и забыл, что его снимают.

Этот снимок, Ека скороговоркой произносила, случайно сохранился. И отнимала у Лизы карточку как-то даже ревниво,

хотя другие, тоже весьма ценные свидетельства, оставались лежать веером на скатерке, покрывающей круглый стол.

Но не могла же она, Ека, признаться детям, чем стал для нее за прошедшие годы низкорослый большеголовый человек. И почему так получилось, что все чаще она его теперь вспоминает, малейшие детали восстанавливает встреч, разговоров, в которых при ее-то прежней глупости все важное мимо ушей проскакивало и задерживались лишь мелочи, пустяки, но и их она берегла теперь как драгоценность.

Почему? Какая тупость, недогадливость! Нет, разумеется, даже если бы она вовремя узнала правду, ничего бы в их отношениях не изменилось. Но, боже мой, слов нет, какая непростительная расточительность. Выгнать, указать на дверь и головы не повернуть, не кивнуть на прощание… А щедрее, умнее, ярче ей никто больше не повстречался. Пусть бы он был. Был! А с остальным она, честное слово, справилась бы…

Ерунда, конечно, но теперь, когда она старуха, бабка, ей представляется, что в ничьей жизни она не была так нужна, как в его. Хотя то, что Федя тогда о Неведове сказал, ясное дело, ревностью диктовалось. И простительно, понятно. Ну вздор наговорил… А когда с Федей беда случилась, Дмитрий Иванович знал, но с ней, с женой, не поделился. Когда она потом спросила, раздраженно вскинулся: «Впутывать еще и тебя?!» Тоже понятно.

Только Федя, ей думается, счел бы возможным ей сказать. Хотя… Другая, трудная у мужчин жизнь. И она ни на чем не настаивает, ни в чем не раскаивается, только, верно, удивительное это счастье — жить с тем, кому ты интересна и кто интересен тебе. Всегда.

А однажды, когда дети, встав на колени на стульях, фотографии, разложенные на столе, рассматривали, мелькнула у нее ненужная, нелепая, чудовищная мысль: а может, случись все иначе, и Юрочка был бы жив…

Лиза с Кешей проветривались во внутреннем дворе серого дома, прыгая по очереди в сугроб спиной, раскинув руки. В какой-то миг это походило на полет, когда снег подавался мягко под их тяжестью, а небо внезапно приближалось, — снова и снова падали они, с разбегу запрокинувшись, и их игра не наскучивала им.

— А может, ты к бабушке переедешь? Вместе будем в одну школу ходить, — сказала вдруг Лиза.

— Перееду? — Кеша спросил. — Зачем?

— Ну… — Лиза замялась. — Может, у бабушки тебе лучше будет…

— Почему?

Лиза глядела на него как-то по-новому, взросло, зная будто то, чего он не знал.

— Почему? — он переспросил.

— Мало ли, — произнесла она деланно небрежно. Вздохнула. И решившись: — Бабушка тебе родная, родной дедушка, а муж твоей мамы — чужой.

Ему было двенадцать, ей одиннадцать, но он догадался, что она куда внимательнее вслушивается в разговоры взрослых: дома у нее, верно, говорили… Он поежился, ему неприятно стало, что обсуждают его мать.

— Кеша! — окликнула она его. Глаза у нее сделались совсем зеленые, виноватые. — Кеша, мы к тебе сейчас пойдем или ко мне?

— Как хочешь, — он буркнул.

Хотел бы, да не мог на нее сердиться. Сразу она казалась беспомощной, несчастной, если кто-то за что-то ее осуждал. Ее надо было непременно одобрять, восхвалять, во всем ей подчиняться, но когда-нибудь — он раздумывал — все же следует ее проучить. Как-нибудь в другой раз…

И с Екой она держалась свободнее, естественнее, чем он, родной внук.

Его Ека стала раздражать: ее подчеркнуто жертвенная любовь, ее обиды, сочетающиеся с навязчивостью, действовали теперь на него угнетающе. И даже вкуснейшие с капустной начинкой пирожки не доставляли уже прежнего удовольствия. Ему мешало сопровождение: вздохи частые Еки, ее исподлобья на деда взгляд, недоговоренности их, невысказанные, но и незабываемые взаимные упреки — все это сделалось вдруг для него невыносимым, и не хотелось глаза от своей тарелки поднимать.

Ну дед — тот сохранял ореол учености. Книги интереснейшие имелись у него в библиотеке, кое-что он давал Кеше читать. Да и льстило все же его положение, серьезность, солидность и все то, чисто мужское, в чем Кеша давно нехватку ощущал.

Отчим в общем был недурен. Добродушен, смешлив, но с ним не получалось сблизиться. И не хотелось.

«Игорь!» — так он однажды, обворожительно улыбаясь, представился, и, по-видимому, приятельски-необязательный стиль в отношениях с пасынком вполне устраивал его.

Он занимался переводами с английского и французского, толкался с утра до вечера дома, в пижаме, шлепанцах, небритый, но очень неплохо зарабатывал.

А Люба служила. Со службы постоянно названивала домой.

Кеша видел, как Игорь с матерью его разговаривает, — прижав телефонную трубку плечом к уху и продолжая кофе себе варить или ботинки чистить, что-то мыча, отлынивая явно от требовательных расспросов. А как-то, при длительной такой беседе, он взглянул на вошедшего Кешу, заговорщически ему подмигнул, и Кеша в ответ улыбнулся.

И жутко покраснел, испариной прямо-таки покрылся, вбежал в свою комнату, пребольно ударил себя в лоб кулаком. И еще раз, еще раз. На кровать ничком повалился, постанывая сквозь сцепленные зубы, ненавидя себя.

А примерно раз в месяц Ека ездила с ним на кладбище. К отцу. И он об одном молил, чтобы только она не причитала, не повторяла в слезах: «Юра, Юрочка…» В нем тогда все точно затвердевало, и он чувствовал себя злым, черствым, сам себя стыдился, но слезы Еки почему-то именно так действовали на него.

Он любил мать, но и с ней у него не получалось от давящего чего-то, тяжелого освободиться. Он видел, что она занята, видел, знал ее отношения с отчимом, но полагалось ему не видеть, не знать. Это очень мешало, вынужденное такое притворство. Он вообще-то смирился, что так надо, так следует ему себя вести, но ощущение возникало, будто он в путах липких каких-то, не может вырваться, убежать, и приходится как бы подглядывать, подслушивать, а ему тошно, плохо.

Только, пожалуй, при встречах с Лизой облегчение наступало. Ее беззаботность и на него действовала; она настолько во всем была другая, что он удивлялся, улыбался и веселел.

Но, кажется, она нисколько не догадывалась, отчего он во всем ей потакает. Смеялась над ним, дразнила, полагая, что он все стерпит, и вовсе не задумывалась — почему. А он глядел на нее покорно серыми зыбкими глазами и просто радовался. Почему? Он и сам не знал.

… Пока они в лифте поднимались, Лиза ничуть уже виноватой себя не чувствовала. Надела в прихожей Екины домашние тапочки, обернулась, скомандовала: пошли! Будто это он пришел к ней в гости.

А в самом деле, ей не казалось, что она здесь в гостях. Там, где ее любили, она осваивалась мгновенно, но даже намек на неполное ее приятие, тень враждебности были для нее непереносимы. Она точно заболевала на глазах, жухла, делалась туповатой, неповоротливой. И огрызалась без видимой причины, как неприрученный зверек. Такое случалось с ней и в домашней обстановке, среди близких. А вот у бабушки Кеши — никогда.

С теми, кто ее любил, Лиза была очаровательна, остроумна,

находчива, но обнаруживала опасную склонность сесть на голову самых преданных, самых верных и — опля! — погонять. Оставаясь столь же очаровательной, ребячливой, шаловливой, но не забывая вонзать шпоры в бока — той же Еке, которая, к примеру, жалуясь на головную боль, играть в лото отказывалась. «Примите пирамидон», — Лиза советовала, с трудом уже сдерживая нетерпение. «Ну давайте я голову вам платком обмотаю», — эта фраза звучала почти угрожающе. «Так будете тогда лежа играть!» — на такой приказ Ека возражать уже не смела.

Кешу подобные сценки забавляли. Он еле сдерживался, чтобы от хохота не зарыдать, когда Ека, по Лизинскому настоянию, доставала наряды, давно уже никем не носимые, шляпки, платья, расшитые стеклярусом, веера из страусовых перьев, слежавшиеся, измятые, побитый молью мех, и, поддавшись на Лизины уговоры, надевала поочередно то одно, то другое, прохаживалась, показывала, как в ее время танцевали танго, фокстрот. Лиза с полной серьезностью всему внимала. Пока вдруг не спохватывалась, что страшно голодна и, если найдется что-то перекусить, она, пожалуй, еще ненадолго останется.

Разумеется, гостеприимная Ека тут же на стол накрывала, из-за поспешности не снимая свой маскарадный костюм. Лиза нахально подхихикивала, жуя, прихлебывая бульон, и Кеша в свою очередь развлекался, находя и ситуацию, и участников ее пресмешными, но себя самого только зрителем считая: «Ну Лиза! Вот дает!»

Ничего обидного, недостойного в отношении своей бабушки он в поведении Лизы не видел. Но однажды вдруг подумалось: а не поступает ли Лиза так же и с ним? Мысль эта его насторожила. Он постарался припомнить недавние их с Лизой разговоры, прогулки вдоль набережной Москвы-реки. Но то, что он сам ей рассказывал, мгновенно из памяти извлекалось — он много читал, запоминал многое, — а вот что говорила Лиза?

Зеленые ее глаза, ямочки, нос короткий — вот что он всегда помнил. Ему исполнилось четырнадцать лет.

В школе стали поговаривать, что Кеша — зазнайка. Хотя придраться к его поведению оказывалось нелегко: спокойный, вежливый, но снисходительная, вялая его ухмылка задевала. «Неведов! Изволь слушать! Это неуважение, когда педагог материал новый объясняет, глядеть в окно».

Медлительно, подчеркнуто, казалось, неуклюже, он привставал с парты.

«Простите», — невнятно произносил. И в послушании его что-то таилось оскорбительное. Но отчитывать, наказывать — за что?

Он умудрялся нахватать двоек, и тут бы можно было его прищемить. Но после строжайших предупреждений, грозных пророчеств относительно его беспросветного будущего, позорящего как его самого, так и его семью, ученик Неведов блистательно отвечал на все вопросы по любой теме, будь то ненавистная ему химия или история, которую он обожал.

Но почему тогда даже любимый предмет он заваливал? Временами на него находил будто столбняк. Он слова не мог вымолвить, терзал отвратительно свои длинные, бескостные, казалось, пальцы, стоя перед классом у доски. И выражение лица у него было угрюмое, застылое и настолько бессмысленное, что это даже пугало.

Он сам догадывался, какое у него в такие моменты лицо. Но сделать с собой ничего не мог. Лица сверстников расплывались, покачивались, точно он проносился мимо на карусели. «Я болен… вероятно», — выдавливал с трудом из себя.

Ему не верили. Он сам себе не верил, а приступы неожиданной, неодолимой тошноты случались тем не менее периодически. Он научился даже предугадывать их, хотя не в состоянии был объяснить по каким симптомам. Настроение? Ну разве не вздор? Настроение — оно у всех, с каждым бывает.

Да, настроение, упорствовал он мрачно. Иногда хочется говорить, думать, иногда — нет.

Опытная классная руководительница вызвала мать восьмиклассники Неведова, Любовь Георгиевну. «Ваш сын, — сказала, — способен, но ему не хватает прилежания. — Подумала, помолчала. — Ваш сын… редкий, необыкновенный мальчик. — И сокрушенно добавила: — Надо что-то делать с ним».

В комнате с приспущенными шторами, куда слабо проникал дневной свет, мама Кеши, Любовь Георгиевна, лежала на тахте, измученно, приглушенно всхлипывая, а Кеша сидел в изножии постели и глядел в пол.

Мама снова с Игорем поссорилась, снова Игорь собрал вещи и ушел, снова мама плакала, а только раздавался телефонный звонок, срывалась, хватала трубку.

На этот раз телефон целый день молчал. Кеша приносил маме чай, бутерброды, но она не ела, не пила. А какие слова говорить, чем ее утешить?

Прошлый опыт подсказывал, что рано или поздно Игорь позвонит. Но когда Кеша этими соображениями поделился с мамой, она скривилась страдальчески: «Не в этом дело. Ты не понимаешь… Все ужасно… ужасно все».

Кеша действительно не понимал. Да, у Игоря имелись

недостатки, весьма определенные и, более того, сразу бросающиеся в глаза. Не требовалось ни времени, ни проницательности особой, чтобы раскрыть их. К тому же сам Игорь с простодушием баловня жаловался на свои слабости и, надо признать, несмотря на юмористические обороты, раскаивался, казалось даже, вполне искренне.

Длинноногий, высокий, породистый, с мягкими, шелковистыми, вьющимися слегка волосами, он был хорош несколько девичьей красотой, нежной и хрупкой, что с годами грубеет, к сожалению. С возрастом Игорь раздался, подбородок с изящной вмятинкой потяжелел, щеки обвисли, но взгляд темно-карих матовых глаз оставался безмятежным.

И, безусловно, Игорь был неглуп. Работящ, в своем деле сноровист, что вовсе не противоречило его беспечности во всем остальном. В его натуре начисто отсутствовала та основательность, что, по уверениям женщин, является в семейной жизни стержнем, но от чего они, кстати, сами нередко отказываются ради других, довольно-таки сомнительных соблазнов.

А Игорь, казалось, даже не представлял, что значит постоянство, верность. В ответ на обвинения, упреки, он, как капризный ребенок, старался еще больше нашалить. И аргументы, доводы в свою защиту приводил ребяческие: «Я против насилия… я, может, даже вот потому…. Когда меня к чему-то принуждают, во мне все сопротивляется, и пусть это неразумно, а я делаю наоборот».

Но вот в своих профессиональных делах он проявлял и прилежную осмотрительность, и житейскую умудренность. Выполнял то, что ему заказывали, не ввергался никогда на свой страх и риск в предприятия непроверенные, неапробированные. Там, где ему намекали на туманность, он ясность нужную в текст вводил, даже если она противоречила авторскому мышлению и стилю.

А профессиональное свое самолюбие утешал сознанием, что сам он знает, как должно быть. И какие книги захватили бы сейчас читающую публику, и что обогатило бы в данный момент понимание современности, и прочее, прочее, что он, значит, прекрасно себе представлял, но над чем, так сказать, был не властен и ради чего, соответственно, не имело бы никакого смысла копья ломать.

— Да и вообще, — тут он проникновенно ладонь к груди прикладывал, — какие могут быть претензии ко мне? Кто я? Я — пешка. Родители, дай бог им здоровья, языкам иностранным обучили, могу на хлеб себе заработать. А остальное, глобальное

— туда и не суюсь. Кишка тонка. Куда мне! Ни в экономике, ни в идеологии ни черта не смыслю.

Подобные разглагольствования Кеша нередко от Игоря слышал, но в то, что не удовлетворяло в отчиме его мать, старался не вникать. Ему даже иногда казалось, что мать излишне к Игорю придирчива. Любит человек футбол и любит пиво, — зачем же ему удовольствие отравлять? Оскорблять зачем, твердя о скотском — скотском! — эгоизме? И жалко, и непонятно, зачем она так, по пустякам, себя растрачивала, зачем?

Но Кеша не знал, что не могла забыть его мама: прошлого, прежнего отношения к себе. Вот что ее мучило теперь, терзало — отношение к ней покойного Юрия, отца Кеши. Да, она теперь полюбила сильнее, чем в молодые годы. Но только ее любили уже не так…

По субботам уроки заканчивались раньше, Кеша на конечной остановке садился в пустой троллейбус, занимал обычно место на последней скамье у окна. Ехать предстояло минут сорок, что по тем временам считалось расстоянием: Кеша с матерью жил в Черемушках, а серый глыбастый дом находился в центре старой Москвы.

Он ехал как бы к бабушке с дедушкой, но только в квартиру входил, сразу брался за телефон. Простой, давно назубок выученный номер. Правда, Лиза не всегда оказывалась дома, не всегда, значит, ждала его.

Хотя, если он ее заставал, в ее голосе звенела радость, несколько даже чрезмерная, будто он пропадал невесть как долго и вот наконец объявился — ура! А ведь расставание их не было длительным, Кеша раздумывал про себя: что же, Лиза о существовании его забывает, если не видит? Для него самого ниточка между ними никогда не рвалась.

И говорить с ней по телефону ему сделалось не так легко, как прежде. Он даже немного волновался, подыскивая слова. А она щебетала, ничуть вроде не задумываясь, мешая небрежности, принятые у них в кругу, с ласковыми обращениями, дорогой, милый, но употребляла их, по-видимому, только на правах старой дружбы.

Об этом Кеша задумывался тоже. Теоретически. Как в движениях, так и в чувствах ему была свойственна медлительность, что он сам в себе фиксировал, изучал.

Изучал он, пусть и не беспристрастно, и Лизу. Она подурнела к шестнадцати годам. Взрослое озабоченное выражение не шло ей, как не шла, ей самой мешала излишняя телесная округлость. Она как бы эти новые свои формы еще не обжила, чувствовала

себя обремененной ими, пугаясь и вульгарной показаться, и стеснительной. Но для Кеши, как и раньше, именно в недостатках Лизы открывалась ее особенность, несходство ни с кем другим. Ровесниц ее красила обретенная женственность, и свою юность они вспоминали впоследствии как самую счастливую пору. Лиза же с ханжеской, надуманной, казалось, брезгливостью относилась к невинным еще интересам сверстников, осуждая в них то, что и неразумно, и преждевременно было осуждать. Но в ее подчеркнутой строгости замечалось что-то и ревнивое, даже завистливое: она чувствовала себя очень одинокой. Только Кеша, общение с ним восстанавливало прежнюю ее уверенность в себе.

Поэтому, когда Кеша звонил, она с радостью откликалась. Одевшись наспех, во двор навстречу к нему выбегала, и они шли вместе гулять. По тем же набережным, тем же переулкам, алчно втягивая ноздрями пестрый воздух, в котором уличные волглые пробензиненные пары мешались с запахами парикмахерских, столовок, ажиотажной магазинной тесноты. Все это при общей немоте звенело, пыхтело, клокотало, будоража, торопя их, подростков, — и уже не превращались ли их бесцельные вроде бы прогулки в побег?

Все напоминало им детство. Лишь они одни умели восстанавливать друг в друге прошлое и разом огорчаться переменам — извне, вокруг. Заметив обнесенный забором старинный особнячок, с беспокойством его обегали, стараясь выяснить: уж не предназначен ли он на снос? И садик, уничтоженный разросшимися корпусами зданий, в их памяти жить оставался: там астры сине-лиловые на клумбе росли, там бегали они от скамейки к скамейке, там, под кустом одичавшей сирени, Лиза когда-то зарыла «секрет».

И все же моментами Кеша замечал отдаление, отчуждение Лизы. Взгляд у нее тускнел, и она уже явно не слушала, о чем он рассказывает. А ведь он старался не отягощать ее внимание тем, что всерьез занимало его самого, отбирая из громоздкого вороха своих познаний лишь что-либо занимательное, развлекательное, как он считал. Что-то из мира животных, растений или какой-нибудь эпизод, вычитанный в исторических хрониках: «Ну ты представляешь?!»

Лиза в ответ хмыкала, но в выражении ее глаз Кеша видел порой снисходительное сочувствие, чего он ждал меньше всего.

Но он-то со стороны себя не видел, хотя и тщательно вглядывался в себя, озабоченный, так сказать, психологическими аспектами, соображениями нравственного, морального порядка, полагая с наивным высокомерием, что внешний его облик почти

ничего не значит: да, он не красавец, а значит, окружающие должны оценить иное в нем.

Но и другие, и Лиза тоже обладали самым обыденным зрением, отождествляющим приятное, милое глазу с истинно ценным, дорогим, а в непривлекательности, напротив, находя доказательство как бы общего урона, неудачливости в широком, неограниченном даже смысле, ибо, как известно, лицо человеку дается однажды и навсегда.

Вместе с тем, как известно также, при известных усилиях, затратах и, что немаловажно, нацеленности на данный процесс, и при некрасивом лице, некрасивом теле можно добиться известного эффекта, снискать успех. И вот тут у Кеши не находилось оправданий — безразличие его к вещам, к одежде все границы перешло. Шапка с разлетающимися ушами на его большой голове выглядела безобразно, постоянно сползала, потому как была мала, тесна.

Короткие штанины при ходьбе вздергивались, открывая небесного цвета кальсоны, неаккуратно заправленные в носки. А пестрый, линялый шарф он поверх воротника завязывал, как его приучили в детстве. Прибавив к этому неискоренимую привычку ногти грызть, ухо теребить в задумчивости, можно было судить о впечатлении, им производимом, в тот, скажем, мартовский, весенне-зимний день, когда он с Лизой гулял по набережной Москвы-реки.

Когда она вдруг его удивила: они шли, разговаривали, и тут, завидев кого-то, Лиза вырвала свою руку из его руки. Злобность — вот что его в ней поразило. Поздоровались со встречными, прошли дальше, но он слышал, как она дышит — отрывисто, тяжело. «Ладно, — внезапно она остановилась, — домой пойду.

Надо». И побежала, оскальзываясь, по тротуару.

Редко, правда, но случалось им бывать вместе в компаниях. Собирались где придется, разумеется, не ради еды, некоторые уже парочками приходили.

Девочки кавалеров своих стерегли с не меньшей зоркостью, чем потом мужей. На чужую собственность, впрочем, и не посягали, интерес угасал мгновенно, если тот с той пришел: выбор опять же еще предоставлялся широкий.

Объединяли в основном танцы и разговоры. В танцах ни Кеша, ни Лиза не оказывались сильны, отсиживались: он от равнодушия, она из гордости. Но вот в беседах участие принимали оба.

Кеша давно открыл, что Лиза не умеет спорить. Любое возражение на нее действовало как красная тряпка на быка. Ему,

например, ее жалко делалось, но остальные реагировали иначе. Лиза к концу вечеринки успевала переругаться чуть ли не со всеми, а однажды так вышло, что даже Кеше было трудно ее защитить.

Интересы молодых с возрастом, естественно, расширялись, и понятно, что они, семнадцатилетние, обсуждали между собой и те вопросы, что касались всех, что составляли сущность духовной атмосферы того времени, но к самостоятельному осмыслению которых еще не были готовы.

Отголоски услышанного — вот что были подобные дискуссии. Каждый мальчик и девочка убеждали, как правило, своих сверстников в том, во что сами уверовали со слов родителей или их знакомых. А круг был определенный, определенная среда — интеллигентская, так можно назвать при всем разнообразии, разнородности ее представителей. Оттенки как раз и выявлялись, когда дети начинали говорить, рассуждать, — оттенки в социальном, общественном, психологическом плане, облеченные в конкретные формы существования людей: в большей или меньшей жилплощади, в наличии или отсутствии машин, дач. С осознанием своей удачливости или неудачливости отцами, с благополучной или неблагополучной атмосферой внутри семьи.

Кроме того, помимо не ими сотворенных мнений, мальчики и девочки, споря, выказывали свой характер, способность учуять, за что ратует большинство, и соответственно сориентироваться, или же биться одному со всеми, отстаивая собственную точку зрения, точнее, родительскую, семейную, ошибочную, возможно, о чем иной раз догадка мелькала, но гордость, упрямство не позволяли с прежних позиций сойти: пусть все разом накинутся, пусть припрут к стенке, все равно — не-ет!

Так обычно вела себя Лиза. Но в тот раз в ее поведении даже Кеша ничего доблестного не мог найти.

Собрались у Кости Парфенова. Кеша припоздал. Когда вошел в комнату, у Лизы уже пылали щеки и нижняя губа подрагивала, — значит, он решил, с кем-то уже цапанулась.

Родители Кости отбыли на просмотр в Дом кино, вернуться должны были часов в одиннадцать, к этому сроку молодежь и собиралась разойтись. Кто-то, впрочем, сказал, что в Доме кино ресторан имеется, и наверняка предки раньше двенадцати не явятся. Но благоразумный Костя эту тему не поддержал и разговор перевел на кино, на последние фильмы, прошедшие на экранах, кто что видел, на кого какая картина впечатление произвела.

Смышленый, с обезьяньим подвижным личиком Гена Гостев

авторитетно высказался о Неделе итальянских фильмов, на которой больше никто из присутствующих не сумел побывать. Гена, порадовав собравшихся пересказом острого сюжета, щегольнул вычитанной из рецензий оценкой итальянского кинематографа в целом, занялся со спокойной уже душой ухаживанием за Милочкой Озенко, предоставив трибуну следующему оратору. Но желающих высказаться оказалось много. В возникшем шуме, разноголосице некто выкрикнул фразу, сразу насторожившую остальных.

И увильнуть этому «некто» не удалось, хотя он не предполагал, что все на него накинутся, не готов был к продолжительному спору — ляпнул, и все. Но на него наседали: «Нет, ты повтори, Воробьев. Повтори свое заявление и позицию свою объясни».

Какая неделикатность, жестокость… Откуда у Мишки Воробьева могла взяться позиция? Ее и у папы его не было, известного театрального критика, а Миша, близорукий, щекастый, только щурился, растерянно моргал, пытаясь уклониться от возмущенных, разгоряченных противников.

Тут-то и встряла Лиза. «А он прав, — громко, призывно произнесла. Я тоже считаю, что эта картина вредная, а кроме того…»

О Мише Воробьеве мгновенно забыли. Пусть он и первый кинул камень, но с ним сражаться было неинтересно.

Лиза — другое дело. Ее зеленые суженные глаза, губа подрагивающая, пренебрежительные интонации сами по себе возбуждали такую неприязнь, что опровергать хотелось, что бы она ни отстаивала. В то же время она со своей стороны готова была противоречить всем их доказательствам: они ей не нравились, эти ее сверстники, не нравилось, что они вперед нее научились казаться взрослыми, и удовольствие в этом новом состоянии умеют находить, и гордятся, и кичатся, и все вместе радуются, ей же к ним прибиться трудно, и не может, и не хочет она настроение, веселье их разделять.

Она одинока. И жизнь представляется ей мучительно сложной, требующей от человека сил, храбрости, агрессивности даже, иначе не выдержать, не устоять.

Надо успеть самой куснуть, чтобы тебя насмерть не искусали, а страшно, боязно, и нет настоящей уверенности в себе, но только бы об этом не узнали!

Она испытывала себя на прочность, училась выстаивать против всех — пусть как щенок против таких же щенков, — но в дальнейшем, казалось ей, пригодятся такие навыки.

Впрочем, вспыхнув, она уже плохо соображала. Фильм, о

котором она отозвалась как о вредном, ее смутил, восхитил и раздосадовал одновременно. В оценке его, ею высказанной, сказалось и отношение ее к собственному будущему, вообще к жизни, о которой при ее неопытности, диковатости, упрямстве у нее сложилось в ту пору однобокие, плоские, тенденциозные понятия. То есть и жизнь в ее восприятии казалась весьма вредной, опасно-сомнительной, возмутительно- влекущей. О чем она, в иной, правда, форме, и заявила, вызвав насмешки более искушенных сверстников.

Да, она, Лиза, оказалась смешна, а такое в их возрасте считалось верхом унижения. Ослепнув от бешенства, она выкрикнула: «Уж больно вы расхрабрились! Распустили языки… А безответственная болтовня тоже наказывается, — забыли?»

Тишина… Все почувствовали, что перейдена грань, и Лиза струсила, когда так от нее отшатнулись. Но она не умела ни раскаиваться, ни сдаваться, продолжала напирать, хотя никто уже не желал ее слушать.

Она хотела бы объясниться. Хотела бы удержать их внимание, растолковать, что в запальчивости воспользовалась не теми словами, а правота ее — вы слушаете? — заключалась, возможно, в том, что вольнолюбивые речи (как она не столько понимала, сколько чувствовала) должны подкрепляться глубоким, широким осмыслением всей панорамы, осознанием четким того, что было, что есть, что надо сберечь, иначе вольнолюбие, просто как инстинкт, утратит благородство, бесплодным станет и даже разрушительным.

Включили магнитофон. Гена Гостев вытянул с дивана Милочку, и та будто нехотя обняла его за шею: первая часть вечера, можно считать, завершилась, публика приступила к танцам. Лиза вышла в переднюю. Кеша, схватив с вешалки пальто, ушанку, нагнал ее уже в подъезде.

Днем весеннее солнце растопило снег, лужи натекли, а к вечеру вновь подморозило. Встречный ветер щеки драл, перехватывал дыхание, Лиза и Кеша шли пригибаясь, упрятавшись в воротники.

— Пожалуйста, не огорчайся, — Кеша наконец сказал. — Хотя, мне кажется, ты не совсем права, — решился он со всей осторожностью продолжить.

— Знаю. Не совсем, не во всем, — передразнила, — Скажи лучше, ду-ра! Дура и есть.

Сбоку он поглядел на нее: рыжая челка заиндевела, зеленый глаз сердито косил, и что-то она нашептывала самой себе по-старушечьи.

Ему захотелось крикнуть: «Да ерунда все! Смотри, лед в

канале разбух, вот-вот тронется. Весна, слышишь?» Но он заставил себя к тому вернуться, что волновало сейчас ее.

— Видишь ли, — он сказал, — полагаю, подобный разговор небесполезен… ну как опыт. Так следует воспринимать. Что о тебе подумают, что скажут — не имеет значения. В данном случае. Не всегда то есть. Зато, так сказать, урок.

— Ха! — она хмыкнула.

И он удержался от уточнений. Судя по всему, она не понимала и не готова была понять его намеков. Ему же хотелось предостеречь. Не убеждать, не уговаривать, предостеречь только. «Тебе же с людьми жить», — чуть не сорвалось у него увещевательное, но он помнил, с кем имеет дело.

— Я знаю, знаю! — внезапно в сердцах она воскликнула. — И это просто позор… Они ведь подумают, что дома я такое слышу, что из-за отца…

— Не подумают, — вставил он торопливо.

— Подумают! Наверняка. А я — дура. Не могу объяснить, какой отец честный, мудрый, порядочный, и меня просто выводит из себя, когда кто-то, ни о чем, кроме собственной выгоды, собственной пользы, не помышляющий, судить берется. В своей норке отсиделись, и вот теперь… — Она негодующе задохнулась. — Понимаешь, если человек пост какой-то занимает, чем-то руководит, значит, по их мнению, он правдой поступается, душой кривит, — вот что они подразумевают. Каждый раз. Я чувствую. А попробовали, попробовали бы сами!

— Успокойся, — Кеша сказал строго. — Твой отец, Павел Сергеевич, не нуждается в защите. — Хотел добавить: «тем более такой неумной», но смолчал. — Павел Сергеевич не лгал и не лжет, это все знают. С ним можно кое в чем не соглашаться, — тут ты, надеюсь, не станешь возражать? Но если репутацию иметь в виду, то у твоего отца она безупречна. А ведь какие годы были — это же надо соображать. Досталось людям, ничего не скажешь. Почти не удавалось передохнуть. Читаешь, слушаешь, и горло даже перехватывает. Себя спрашиваешь: а ты бы сумел? И, если честно, не знаю. Не знаю.

— Мне тоже так кажется, — она пробормотала, притихнув. — Поэтому когда позволяют себе небрежный, неуважительный тон…

— Ты преувеличиваешь.

— Нет! — снова она готова была взорваться. — Пусть я кажусь груба, пусть меня в ограниченности обвиняют, но когда обсуждается самое главное, ясность прежде всего нужна.

— Согласен, — он кивнул, — только…

Только дальнейшее он сглотнул. Сробел. Поберегся от новой вспышки ее гнева. Устал, не хотел… Предчувствие весны

охватило его вдруг как озноб. А Лиза самого важного, что он хотел ей сказать, все равно бы не уловила. Но тут, будто помимо воли, вопреки своему же решению, он приостановился, удержал Лизу за локоть. Недоуменно она обернулась к нему.

— Ладно, — он сказал, — послушай. Ты не виновата, я тебя не виню, но действительно есть очень серьезные, сложные, болезненные даже проблемы, и над ними надо думать. Но рассуждать о них так, как ты рассуждаешь, в условиях сытости, благополучия, бестактно. Бестактно, поняла?

Она не закричала, не вырвала своей руки, не бросилась бежать одна по пустынной улице.

Широко распахнутыми зелеными блестящими глазами она глядела ему прямо в глаза.

А ты? — спросила тихо. — А у тебя условия другие?..

Смерть профессора Неведова наступила внезапно. Конечно, возраст, но при его холеной внешности, упорядоченности, размеренности существования, привычке заботиться о своем самочувствии, вслушиваться постоянно в себя, никто не ожидал, что одного удара окажется достаточно.

Красивый, строгий, величавый он лежал в гробу, в квартире с распахнутыми настежь дверями. Кто-то приходил, уходил, душно пахло цветами, занавески взлетали на окнах от сквозняка: был май.

Кеша сидел в кабинете, глядел на книжные полки. Веки резало от бесконечных, неостановимых слез: он не предполагал, что сможет так плакать, обессиливать буквально в слезах. Ноги не держали его, он не в состоянии был к телефону подойти. На звонки отвечала Екатерина Марковна. Выдержкой своей, деловитостью бабушка внука потрясла.

В больнице на глазах у Кеши она провела ладонью по лицу покойного.

Кеша, скорчась, у подоконника стоял, кусая губы, чтобы не разрыдаться.

Пригнувшись к кровати, Ека посидела и встала, прямая, сдержанная. Успела в черное одеться, сама всем распоряжалась. Скорбным, но очень рассудительным тоном переговорила с врачом. Приехали домой. Она подсела к телефону, пролистала записную книжку: звонила в разные инстанции, добиваясь, чтобы и тут и там опубликовали некролог и чтобы все было соблюдено как положено.

Взгляд внука, верно, ее обеспокоил. На вертящемся табурете она повернулась лицом к нему: «Это мой долг, Кеша, — произнесла с прочувствованной торжественностью. — Дмитрия

Ивановича не должны забыть.

Память о нем, его труды — теперь это наша с тобой забота. Сохранить и продолжить то, что он не успел, — единственное, что мне сейчас придает силы.

Вот ради чего буду жить. И ты мне поможешь, правда?»

Он возразить не посмел, кивнул, пятясь назад в распахнутые двери дедовского кабинета. На диван рухнул, растопыренной пятерней заслонил лицо: только не думать, не вспоминать, ничего не видеть и не слышать.

После похорон, многолюдных поминок Ека спросила Кешу: «Ты переедешь ко мне?» Терзаясь неловкостью, он пробормотал: «Не могу. Как же мама?» Ека платок прижала ко рту, согнулась, маленькая, взъерошенная: «Мне страшно, страшно здесь одной. Я не выдержу. Сил нет, да и зачем все?»

Он понял: теперь ей хуже даже, чем было ему. К нему боль сразу пришла, а после отпускала постепенно. На нее же хлопоты, распорядительства разные подействовали как наркоз, притупляя, размывая жуть произошедшего. Скорбное празднество, обрядность, сопутствующие смерти, люди, лица, голоса тоже на время отвлекли, добавили горький хмель, и только сейчас она, Ека, к себе самой возвращалась. В свою, ни с кем не разделимую беду. Полное одиночество.

Кеша обнял ее колючие старческие плечики. Ека плакала, всхлипывая, вздрагивая. В ту ночь он остался у нее ночевать. И на следующую — тоже.

Теперь Кеша жил, как в детстве, на два дома. Но с Лизой встречаться они стали совсем редко, так получалось почему-то. Иной раз, случайно, находясь в Екиной кухне, Кеша видел Лизу, спешащую через двор, но что-то мешало ему открыть форточку, высунуться, ее окликнуть.

Лиза снова переменилась. Можно сказать, материнский «ген» таки восторжествовал в ней. Она не вела теперь с мальчиками принципиальных споров, догадавшись, что мудрее, а впрочем, и проще влюблять их в себя. И вновь она смеяться обучилась, восторженно, заливисто, сияя глазами, пуская в ход свои ямочки. Кеша ею любовался, да и Ека пела, что придет время, Лиза всех сведет с ума, но, по-видимому, восхищение их не все разделяли.

Как-то Кеша вернулся в серый глыбастый дом из школы (теперь, когда он частично переехал к Еке, на дорогу у него уходила уйма времени) и, войдя в переднюю, услышал голоса: привычные женские и мужской, незнакомый.

Кеша разделся, пригладил торчащие на его неровной макушке вихры, заглянул в кухню с порога: за столиком у окна

распивали чай с сушками Ека, Лиза и какой-то молодой человек.

Ему было двадцать один. Звали его Сережа. Он учился на факультете международного права, носил в красивой квадратной оправе очки, и взгляд у него был насмешливый. Но, как впоследствии Кеша убедился, насмешливый взгляд отнюдь еще не свидетельствовал об остроумии. Сережа производил впечатление человека знающего, осведомленного, но какие-либо высказывания его припоминались с трудом.

Лицо у Сережи было продолговатое, гладкое, бледное, и когда он стоял рядом с Лизой, то оказывался выше ее на полторы головы. Себя лично Кеша старался не подвергать такому сопоставлению, хотя чисто внешние впечатления в целом его не волновали. Но в данном случае… Данный случай, кажется, попадал в разряд особых.

В Сережином присутствии Кеша затихал. Говорливостью он вообще не отличался, но тут и вовсе смолкал — не от робости и не от сосредоточенности на чем-то своем, внутреннем, а потому что внимательно, пристально, одержимо даже вникал в объект. Своими зыбко-серыми, кажущимися сонливыми глазами в припухлых веках он будто ощупью, будто осязая, обегал черту за чертой, лицо, затылок, черепную коробку Лизиного кавалера и, быть может, проник и вовнутрь, в мозг. Во всяком случае, исследование его не затянулось: Кеша свой диагноз поставил, и больше Сережа его не интересовал. Интересовала, как и прежде, Лиза, ее поведение, отношение ее к изученному уже Кешей объекту, ну и как сам объект на Лизу реагирует, как свое отношение к ней проявляет.

Поразительно! Кеша еле удерживался, чтобы не хмыкнуть, возмущенно, но и не без потайного злорадства. Ну и чудеса… Дурень этот Сережа ни черта не понимал в Лизе. Не умел даже разглядеть ее зеленых прозрачных глаз, ее губ изогнутых, выпуклого лба, морщинку удивленную на переносье, рыжих тяжелых ее волос — да и вообще, всего того, что Кеша, например, понял сразу.

А этот, значит, студент снисходил, дозволял собой восхищаться. Глядел насмешливо и тупо сквозь квадратные стекла очков на Лизу, на неловкие ее попытки пробиться через его фактурность, броню самовлюбленности, мужского якобы превосходства — глядел свысока и без проблеска милосердия.

Но и Лиза тоже… Свойство ее, известное Кеше с детских лет, сникать, жухнуть в присутствии тех, кто ее не любит, в отношениях с Сережей подтверждалось еще раз. Ни трезво оценить ситуацию, ни хитростью своей цели добиться она не умела. Первая влюбленность ее одурманила, и все же уязвленная

гордость все чаще в ней просыпалась, верх брала над другими чувствами, и Лиза хамила, впадала в ярость, ссорилась, хлопала дверьми.

Но, как ни странно, выходки ее тоже ничего не меняли. Аморфный, хотя и не лишенный определенной привлекательности образ студента-кавалера продолжал маячить по-прежнему. Не отдаляясь и не приближаясь. Так он, по всей вероятности, сам наметил: невеста вроде бы на приколе, а отягчающих обстоятельств никаких.

Он не рисковал. Почтительно держался с мамой Лизы и в доме бабушки Кеши, Екатерины Марковны, где его встречали приветливо, так как любили Лизу, и чаем поили. А при московском, не всегда благоприятном климате очень было неплохо иметь такое пристанище, уютное, без затей, абсолютно ни в чем не обременительное.

Разве что Ека, уж коли ее навещали, присутствовать хотела при разговорах, принимала в них посильное участие, хотя поначалу каждый раз минут на десять удалялась в спальню, ворча, что конечно же понимает — кому она нужна, старая старуха.

Но уходила она, как выяснилось, чтобы переодеться, предстать перед гостем как положено, или, по ее выражению, как надо быть. С дымящейся сигаретой, слегка подмазанной, со взбитой челкой, что, стоит отметить, несмотря на ее возраст, вовсе не выглядело смешно.

И начинались рассказы о днях моей молодости, для Лизы по-прежнему притягательные, хотя, пожалуй, и по-иному: сюжет уже не занимал, но раскрывалась все больше сама Ека, забавность ее, изобретательность, даже, можно сказать, одаренность — раскрывалась судьба, в которой у этой одинокой женщины не реализовались природные задатки.

Смутные такие догадки мелькали у Лизы, когда она хохотала над Екиными гримасками, словечками, употребляемыми только ею и в местах абсолютно неожиданных, и вдруг что-то как бы в груди защемлялось: Лиза порывисто вскакивала и нежно, грустно целовала Еку в висок.

А Сережа пил чай. Покуривал редкие в ту пору иностранные сигареты.

Угощал ими Еку. Когда Ека тянулась к его зажигалке с сигаретой в напомаженных губах, Лиза с улыбкой про себя отмечала, что, верно, действительно не властны над некоторыми натурами годы, да и вообще ничто не меняет сущность их.

Но Сережа не разделял Лизиной растроганности, умиленности Екой. Он видел подверженную чудачествам старуху, обладающую хорошей, обставленной квартирой, а значит, входящую в определенный круг. Это он принимал в расчет, когда склонял причесанную аккуратно голову и касался губами морщинистой Екиной лапки.

Еке — нравилось. Она не равнодушна оказывалась к обхождению, в особенности со стороны молодых людей, с которыми, она полагала, тоже молодеешь, светлеешь, набираешься сил.

Тем более что родной ее внук Кеша отнюдь не располагал к беззаботности.

Его присутствие не только не развеивало, а даже будто сгущало тяжкую атмосферу одиночества в доме. Кеша закрывал дверь в кабинет покойного деда и читал. Ека проходила мимо, обиженная невниманием внука. Какой же он черствый, думала, неужели нельзя прерваться, хоть немного мне времени уделить? Разве не понимает он, как трудно мне, тяжко? От жалости к себе она начинала плакать, приоткрывала дверь в кабинет и встречала бесстрастный, отчужденный взгляд серых сонных глаз.

«Вот какой!» — себе под нос бормотала, удаляясь в кухню по коридору. Но все же не хотела отпускать Кешу от себя.

Он жил, разрываясь между двух женщин, матерью и бабушкой, и той, и другой одинокой, так как Любовь Георгиевна к тому времени с Игорем окончательно рассталась, и ей внимание Кеши требовалось, тоже она обижалась, капризничала, нуждалась в присутствии сына и неудовлетворенность испытывала из-за замкнутого его характера.

Кеша честно себя делил, честно выполнял обязанности сына, внука, но сам временами пугался своей холодности. Точнее, он все понимал, но не мог реагировать так, как от него ожидалось. Язык у него не поворачивался произносить те слова, что, в его понимании, следовало беречь для особых обстоятельств. Можно сказать, он скаредничал, но как бы поневоле, подчиняясь некой власти, которая руководила им. И власть эта принуждала его оставаться трезвым, как бы ни взбаламучена оказывалась душа.

Он заканчивал одиннадцатый класс, и как-то из роно явилась комиссия.

Всех задержали после уроков.

Ученика Неведова, в числе прочих, спросили, кем он хочет стать, какую профессию собирается выбрать, в ожидании тайном, что он либо прочтет стихи, в сочинительстве коих его давно подозревали, либо назовет такой вуз, где обучают особенно

редкой специальности. Но, к удивлению, разочарованию собравшихся, он вяло, скучно произнес: «Меня интересует медицина». И сел, хотя никто его не отпускал: педагоги, ответственные лица не сочли еще, быть может, разговор законченным. Но что-то в поведении этого некрасивого юноши, в его интонациях, взгляде подсказало, что лучше от него отстать.

Кеша сидел, отвернувшись к окну, пока другие с радостной готовностью делились своими планами на будущее. Как выяснилось, класс наполовину состоял из потенциальных киногероинь, дипломатов, ученых-изобретателей. Мечты других хотя и были скромнее, тоже нацеливались, безусловно, в высоту. Только одна девочка призналась, что, если срежется в Щукинское училище, будет тоже, как Неведов, поступать в медицинский. Разумница, она предполагала, что могут все же поражения случиться. Остальные имели твердое намерение — победить.

Екатерина Марковна приступила наконец к воплощению обещаний, данных ею, когда умер муж. Для начала она решила разобраться в библиотеке, рассортировать ценное, избавиться от книжного хлама, кое-что продать. Деньги подходили к концу: сбережений профессор Неведов оставил немного.

В качестве эксперта Ека призвала Кешу. Чуть ли не сутки провел он, ползая на коленях у книжных стоп, кое-что пролистал, над чем-то замирал надолго. Ека не мешала ему, не торопила, знала: в таком занятии есть толк.

В результате Кеша заявил, что с каждой из книг расставаться жалко. Ека промолчала, взглянула на внука с укором:

— Ну а на что жить?

Кеша понял. Отложил одно, другое полное собрание.

— Это — пойдет, — жестко произнес.

— Как? — всплеснула руками Ека. — Они ведь почти совсем новые, в прекрасных переплетах!

Кеша усмехнулся.

— Тут же брошюрки есть, тоненькие, растрепанные, — Ека несмело предложила. — Зачем же всего Драйзера, всего Джека Лондона отдавать?

— Брошюрки обязательно сохрани, — Кеша приказал строго. — Это самое ценное, что дед собрал. Имей в виду. Что бы за них ни предлагали. — И после паузы: — Хотя, конечно, дело твое. Хочешь, слушай меня. Хочешь, не слушай.

— Что ты! — Ека воскликнула. — Книги здесь твоя собственность скорее.

Дмитрий Иванович завещания не оставил, но уверена, что он распорядился бы именно так. Но ты же видишь, обстоятельства

вынуждают чем-то жертвовать.

Можно, правда, сервиз кузнецовский продать или вазу саксонскую, а? Как ты считаешь?

— Не знаю, не понимаю я в этом ничего, — Кеша пробормотал, дремотный взгляд пряча. — Я, видишь ли, на «скорой» дежурить устроился, но обещал деньги маме. Больше взять неоткуда. Потерпи, если можешь, подожди, хотя, конечно, хорошо зарабатывать я все равно смогу еще очень не скоро.

— Да господи, милый, — Ека растроганно улыбнулась, — разве об этом речь?

Учись, не забивай себе голову. Сейчас что-нибудь продадим, потом что-то еще, какая разница? Я о более важном просить тебя хочу. Хочу, чтобы ты помог мне разобраться в архиве.

— В архиве? — Кеша приподнял светлую бровь. — У деда был архив?

— Ну конечно! — Ека откликнулась гордо. — У всех ученых он есть, у всех, кто что-то значил, оставил, так сказать, след, а Дмитрий Иванович… Не мне же тебе говорить! Сорок лет в науке, встречи необыкновенные, сотрудничество плодотворнейшее с… разными. Разумеется, письма, записки, заготовки на будущее, черновики… И не один том можно будет составить. Да что там, работа огромная предстоит!

Кеша слушал.

— На титуле будет значиться — Дмитрий Иванович Неведов, — Ека продолжала прожекты свои развивать. — А в качестве составителей — ты и я, твои и мои инициалы.

Кеша поморщился.

— Ну нет. Этого мне не надо.

— Как же? — Ека пролепетала. — Сделаем как положено. Как надо быть. Да и что об этом! Память о Дмитрии Ивановиче, чтобы не пропали, не забылись его труды, — вот главное, вот ради чего все. Да, согласен?

— Я посмотрю… Разберусь, подумаю, — уклончиво Кеша пробурчал.

— Но ты же внук! — Фразу эту Ека произнесла, может быть, излишне напористо.

И что? — Кеша мгновенно подобрался. — Это, — он отрезал, — не влияет.

Нет, не зря он в медицину подался. Сидя за широким, просторным, старинным письменным столом деда, Кеша утверждался в правильности своего выбора вновь и вновь. Какое бессилие, муть — эти гуманитарные науки.

Однообразная надоедливая волынка: притянутость выводов,

туманность, случайность оценок: кого-то признали, кто-то в безвестности повис. И какая могла быть компенсация в посмертной славе, если не понимали, не слышали, о чем надсадно человек кричит? Впрочем, и криков из вялых этих изысканий тоже никаких не доносилось: гулкая, отупляющая пустота. И в ней только будто чьи-то шаги, мерные, тяжелые. Страшновато…

«Что же, и это дед мой писал? — Кеша временами точно просыпался. — Мой дед? У которого были теплые, мягкие, пахнущие хорошим мылом руки? Мой дед, всеми уважаемый, высокий, большой? Мой дед, столько книг прочитавший и так мало, так плохо их усвоивший? Мой дед?!»

Месяц ушел на изучение архива. Как отравленный Кеша из профессорского кабинета выходил. Ека с расспросами к нему не приставала. То, что внук молчал, она его усталостью объясняла. И ждала.

«Из чего она целый том слепить собирается? — размышлял Кеша в кабинетной тиши. — Откуда взять материалы, даже если наплевать на качество?

Разрозненные короткие записки, чаще цитаты, а рядом фамилии, телефоны — суетная житейская трескотня. Вот что от деда осталось, как это ни жестоко.

Еще наброски выступлений где-то с официальной трибуны, составленные из столь же официальных мертворожденных трескуче-чиновных фраз. Одно утешение, что, может, и не самим дедом это писалось, а он только произносил, теребя листочки, глядя завороженно в микрофон.

Бедный дед! Бедный горе-ученый Дмитрий Иванович! Как тяжко, верно, ему приходилось. А он так достойно, великолепно выглядел, когда раскладывал с хрустом крахмальную салфетку! Но другие догадывались? Другие знали? Скажем, Лизин папа, человек отнюдь не покладистый, из-за неудержимого своего острословия наживающий смертельных врагов, он-то ведь встречался нередко с профессором Неведовым, выпивал с ним вместе, по душам разговаривал. Что же, выходит, жалел он Дмитрия Ивановича, щадил его?

И речь Лизин папа произнес, когда годовщину со дня смерти Неведова отмечали. Хорошо сказал, проникновенно. Правда, только о человеческих свойствах Дмитрия Ивановича, о честности, порядочности его. О месте профессора в науке говорили другие. Но говорили же!

Да не влезать бы никогда в этот архив, послать бы его к черту! Зачем было душу себе мутить, исхлестывать в первую очередь себя же? Родной внук — и вот, пащенок, судит,

ехидничает. Да ты проживи, испытай столько же — искушений, пустых заманов, потерь. Остаться после всего в глазах людей приличным человеком — разве так уж мало? Ну не гигант, не титан мысли, извините, пожалуйста. Но не подсиживал никого, не давил, собирал интересные редкие книжки — главная радость-жил, словом, как умел.

Но ведь возглавлял, руководил, не отказывался от незаслуженного почета, власти?

А кто отказывается? Многие ли умеют объективно, бесстрастно себя самих оценить? Каждый думает: а почему, собственно, не смогу, почему же не справлюсь? Попробую. Доверяют, так чего же отстраняться?

Дед, прости. Я сам ничего не понимаю. Я благодарен… я вынужден тебя благодарить. Хотя за что? Опять ерунда какая-то. В общем, не смею я тебя судить. Не смею: чужая жизнь, другое время. И я твой внук. Но, согласись, затея Еки, Екатерины Марковны, абсолютно неуместна. Никому это не нужно.

Думаю, и тебе. Я — против. Я боюсь. В конце концов, пусть считается, что это семейная тайна. Мне стыдно, да. И, разумеется, стыд мой в первую очередь позорит меня же. Я понимаю. Дед, прости…»

Кеша обхватил лоб ладонями. На столе под толстым зеленоватым стеклом лежали фотографии, помещенные туда еще дедом. Юноша в летней белой рубашке, с волосами, рассыпающимися на пробор, — сын Юрий. Женщина в сарафане с охапкой цветов у груди. Ека в молодости. Снова юноша, снова женщина — та же.

И головастый насупленный мальчик — маленький Кеша. Семья…

Кеша вышел в тот раз из кабинета слегка даже пошатываясь, хмурый. Ека быстро на стол накрыла, кофе сварила, подала. Кеша сидел, дергая, терзая мочку уха.

— Ну что? — Ека не выдержала. — Интересно, правда?

Под его тяжелым, мрачным взглядом она как бы даже пригнулась. Но тут же привычным заботливым жестом придвинула ему хлебницу.

— Ничего не получится, — продолжал он давить на нее своим взглядом.

— Что? — спросила она, не поняв.

— Ничего стоящего в бумагах нет. Да я и изданное, кстати, просмотрел… — Не докончил, сглотнул. — Впрочем, раньше, может, компиляции такие проходили, теперь…

— Что? — она выдохнула. — О чем ты?

— Пойми, — мерно, как автомат, он продолжал, — лучше,

чтобы это поскорее забыли. А то переиздадут, начнут перечитывать, а не надо. Не надо. Вполне допускаю, что в памяти многих профессор Неведов остался как цельный, честный человек, и пусть такое мнение о нем сохранится.

Она глядела на него неотрывно.

— Короче, — он сказал, — архив прикрой. Забудь свою затею, Дмитрий Иванович Неведов на бессмертие не тянет, увы.

— Ты чудовище, — прошептала она.

— Возможно. Чудовище, — устало, почти обморочно он за ней повторил.

Снова настала зима и снова приблизилась к своему окончанию. Кеша по-прежнему навещал Еку, но что-то между ними надломилось. Однажды он у книжных полок в кабинете деда стоял, держал томик Фета.

— Я прошу тебя, — сказала из-за его спины неслышно вошедшая Ека, — книг больше отсюда не уносить. Для меня это последнее средство к существованию, единственное подспорье.

— Как? — он озадаченно обернулся к ней.

— Я знаю, вижу, книги из библиотеки исчезают. Заметила давно, но не говорила. Думала, сам поймешь. Не понял, значит.

От возмущения он побагровел, ладони стали липкие от пота.

— Я никогда…

— Отчего же? — она его перебила. — В сущности, все здесь твое. Но твое, — она произнесла раздельно, — только после моей смерти.

— Зачем, — он поперхнулся, — зачем ты гадости говоришь…

— Не гадости, а трезвые житейские вещи. Но сейчас не об этом. Допустим, ты не предполагал, что книги не только для чтения существуют, что книги — это еще и деньги. Для меня по крайней мере сейчас. Я их продаю и живу. А ты приходишь и уносишь. То там дыра в полках, то здесь.

— Повторяю, я ни разу не взял ничего без спроса.

— А зачем тебе, собственно, спрашивать? Раньше-то брал, читал. Но теперь вот прошу тебя: не надо. Это последнее, что у меня есть. Сервиз кузнецовский продала, продала саксонскую вазу, ты заметил?

— Нет! — он отрубил.

— А зря, — как бы подразнивая, Екатерина Марковна ему улыбнулась. — Ты здесь вырос, мой мальчик. Это был когда-то твой родной дом. А теперь он рассыпается, разносится по комиссионкам. И ты даже не замечаешь ничего.

Очень жаль. Вот и Лиза, — будто вдруг вспомнив, Екатерина Марковна продолжила, — зеркало у меня недавно купила. Помнишь, на длинной ручке?

— Лиза? Зеркало?

— Да-да, а что? Ей понравилось, стипендию она как раз в тот день получила, а мне деньги были нужны, я и отдала. Ведь лучше Лизе, чем кому-то чужому. Правда? Почему ты, Кеша, так на меня смотришь? Я в чем-нибудь провинилась перед тобой? Что тебя так расстроило? Извини, дорогой, но ты будто самых обычных вещей не понимаешь. Странно. И то не дозовешься тебя, не докричишься — сидишь как чурка, а то…

Он молчал. Лицо у него сделалось дремотное, тупое, взгляд ускользал.

Екатерина Марковна, всерьез уже обеспокоенная, придвинулась к нему.

Кеша! — позвала. — Ты что? Да что с тобой?

Помимо ежегодных вечеров, устраиваемых Екатериной Марковной в память покойного Дмитрия Ивановича, где собирались в основном его сотрудники по институту, Кеша с Лизой почти уже не встречался. Как-то ранней весной она ему позвонила, сказала: давай в зоопарк сходим? День будничный, было ему чем заняться, но он согласился.

Договорились встретиться у «Краснопресненского» метро. Он издали ее увидел. Она стояла у табачного киоска в шубе из каких-то полосатых зверьков, которую носила ее мама, а после перешитой. И сапоги на ней были мамины, светло-бежевые, с пряжками, броские… Лицо же ее, по контрасту с этой дамской, с претензиями одеждой, удивляло своей детскостью: она казалась даже юнее, чем была.

У Кеши в горле сжалось, когда он увидел, как она озирается беспокойно.

Неуютно, неловко, он сердцем понял, в толпе одной ей стоять. Он заспешил, она его заметила, кивнула, продолжая озираться: «Сережа должен подойти, запаздывает».

Когда наконец он явился, двинулись к зоопарку. Кеша тут же уяснил, что идея совместной прогулки принадлежала Лизе. Сережа посмеивался, но милостиво дозволял «Лизухе» чудить. Она потребовала мороженое — и получила. Впилась в брикет зубами, хотя явно продрогла. Обманчивое мартовское солнце нисколько не грело, сугробы повсюду лежали, уток и не думали выпускать в пруд, а звери помещались в павильонах.

Безотрадное зрелище — зоопарк зимой. Никто будто не желал ото сна пробуждаться, жизнь ничем не манила, не соблазняла никакими радостями.

Животные не реагировали ни на что, глядели мимо приникающих к клеткам людей равнодушно, устав, вероятно,

отчаиваться. Павлин вот только, понаделав шума, вспрыгнул на жердь и устыдился словно своей раздобрелости.

Все было очень печально. И Лиза виноватой, кажется, себя чувствовала, что погода не та и прогулка не состоялась. Пыталась развеселиться, пробовала озоровать, но и шуба, бывшая мамина, ее стесняла, и, по-видимому, разонравились вдруг сапоги — она сникла, злиться уже начинала, вот-вот заплакать могла.

— Может, поедем ко мне? — предложил Кеша. Приглашать их обоих в свой дом ему еще полчаса назад показалось бы диким, но от бестолкового безрадостного ничегонеделания он устал, а удрать было неудобно.

— Вот здорово! Поедем! — Лиза обрадовалась.

— Ладно, — снисходительно, усмехаясь, обронил Сережа. — Только в гастроном заскочим, винишка хоть в утешение приобретем.

… Квартира в Черемушках, где Кеша с матерью жил, не вызвала у вошедших никакого интереса, что Кешу все же задело. Хвастаться он не собирался, да и нечем было воображение их поразить, но ладно Сережа, а ведь Лиза тоже пришла сюда впервые, и хоть какое-то могло возникнуть у нее любопытство к стенам, где друг ее детства жил. В доме у бабушки он только подлаживался, подстраивался к тому, что до него состоялось. Здесь же, где они с матерью вдвоем остались, он ощущал себя куда вольней: повесил над письменным столом карту мира, лампу привинтил с металлическим гибким стержнем, на подоконник поставил горшок с кактусом, и — разве не чудо? — кактус у него зацвел.

Он хотел бы показать Лизе свои любимые книжки, что-нибудь, может, даже оттуда прочесть. Стихи?.. Иногда, оставшись один, он вслух повторял то, что надеялся когда-нибудь произнести в ее присутствии. И голос у него начинал дрожать, он задыхался — это было как безумие. Он видел, чувствовал — здесь она, здесь! Мозг его пылал, сердце набухало, теснило грудь, такая переполняла его боль, нежность. Валился в кресло, прикрыв глаза, чтобы унять в себе дрожь. И даже страшно становилось, что может сделать с ним его воображение. Но ничего подобного в реальной жизни он никогда не испытывал.

И теперь Лиза пришла, а ему было только неловко, беспокойно. Он не знал, как себя надо вести, как преодолеть свою вялость, заторможенность.

Единственное, на что он был способен, так это, как всегда, наблюдать. Почти безучастно, будто со стороны.

Лиза, сняв в передней пальто, сразу в кухню рванулась, полагая, верно, что так же, как у Еки, там центр всего — тепло,

уют, полное раскрепощение.

Но мама Кеши, Любовь Георгиевна, служила. Убегала из дома с утра, возвращалась поздно. Авральные уборки устраивались у них в лучшем случае раз в месяц, и на какие-либо выдумки, украшения, совершенствования быта не оставалось сил.

В кухне висели подвесные шкафчики, облицованные кремового цвета пластиком, возможно, небезупречной чистоты. На голом пластиковом столе остались хлебные крошки. Веник в углу стоял, стесанный от длительного употребления. В раковине отмокала сковородка. А что? Кухня — не будуар.

Лиза уселась на табуретку, втиснувшись между подоконником и столом, подперев кулаками щеки. Кеша нашел открывалку, Сереже передал. Бутылку вина на стол водрузили.

Лиза, избавив себя от ответственности за происходящее, скучнела все больше. Но зато заметно оживился Сергей.

Кеша никогда прежде не видел Сережу таким разговорчивым, свойским.

Другое дело, что то, о чем Сережа говорил, его, Кешу, оставляло равнодушным.

Не занимался он переписыванием «дисков», имена мировых знаменитостей в эстрадном жанре впервые узнавал, и нисколько его не взволновало, что в одном ателье вельветовые пиджаки шьют ну точно как фирменные.

Он только слушал. Подсознательно его угнетала мысль, что слушает, слушала такое и Лиза и откликалась как-то на эту пошлость, вздор. Как печально, как грустно, он думал, хуже даже, чем в зоопарке.

— Где у тебя телефон? Я позвоню, — сказала Лиза, выбираясь из щели между столом и подоконником.

Кеша проводил ее в комнату, прикрыл дверь. Вернулся на кухню. Сережа, вертя пустой стакан, задумчиво произнес:

— Понимаешь, трудное положение… — и посмотрел на Кешу, проверяя, верно, готовность его воспринимать информацию. — То есть драмы, конечно, нет.

Я в данный момент, как известно, на третьем курсе. Жениться пока не могу.

Практика начнется, неизвестно какое, куда получу распределение. Словом, жениться рано. И что тогда? — Он кивнул на прикрытую дверь. — Иначе ведь с ней нельзя. Не только потому, что родители… — он замялся. — Она сама такая. — Усмехнулся. — Отчего получается не очень, знаешь ли, интересно.

Кеша проглотил в горле ком. Сережа продолжил:

— Но я должен вместе с тем звонить, появляться по субботам.

Здороваться с ее мамой, гулять, зубами стуча от холода. Ну в кино сводить, ну зайти в кафе. И в общем — надоело!

Он на спинку стула откинулся, зажав в зубах сигарету. Он был великолепен. Кеша представил, как Лиза за ним семенит, — представил почему-то совсем маленькой, в белой шапке, с покачивающимся туда-сюда помпоном, толсто, тепло одетую, с позорящим ее коклюшем. И зажмурился. Настолько нестерпимым показалось ему это видение прошлого в присутствии Сережи. В ситуации, где Лизу унижали так, как никогда. Унижали и его, Кешу. Унижали жизнь, любовь, друзей. Унижали, опошляли, измызгивали то, чего он, Кеша, даже мысленно опасался коснуться. Он думать не позволял себе, что у Лизы с Сережей и как. А тут… а этот…

Кеша встал, отошел к окну. Глядел на улицу, машины, людей, восстанавливая в себе дыхание.

Лиза вошла, тоже к окну приблизилась. Он вздрогнул, когда она положила руку ему на плечо.

… После посещения зоопарка они долго не виделись. Кеша ездил на Пироговку, усваивал пока элементарное в медицинской науке, готовя себя потихоньку к тому, что наметил давно. В дисциплинах, которым в тот период студентов обучали, практически не содержалось тех сведений, которые его особенно интересовали. Но Кеша и не ожидал, что его будут с ложечки кормить самым для него вкусным.

А Лиза училась в университете. Интересы у нее были другие, другое окружение. Единственное, что их теперь соединяло, — квартира Еки в сером глыбастом доме в центре старой Москвы.

Кеша знал, что Лиза частенько там бывает в его отсутствие: Ека рассказывала, намекая, что вот Лиза ее навещает, жалеет, тогда как родной внук… Но, изучив Лизин характер, Кеша догадывался, что вряд ли ее посещения продиктованы только заботами о Еке. Скорее Лиза сама в Еке нуждалась, нуждалась в обхаживании, в принятии безоговорочном всей себя — и с придурью, с упрямством непрошибаемым, резкими сменами настроений, а испытывать на себе эти милые ее свойства немного находилось желающих.

А Ека терпела. Вынуждена оказывалась терпеть. В конце концов, взбрыкнет Лиза и успокоится, улыбнется, а с нею веселее, светлее все же. Все же не одна…

В какой-то степени Лиза заменяла Еке и внучку, и дочку, и подружку — да что говорить, одна она для Еки теперь и оставалась на целом свете, родная душа.

И стоит ли удивляться, что, скажем, не Лизина мама, Мария Дмитриевна, а именно Лиза куда больше подходила теперь в

собеседницы Еке. У Марии Дмитриевны столько возникало хлопот — и муж, и дом, и дети, и разные-разные обязательства. Вообще люди счастливые, благополучные всегда несколько черствы, не так ли? Никто их, конечно, не винит, разве им угадать как может душу выматывать бульканье воды в батареях пустой квартиры? Разве сумеют они вообразить, как страшно до жути бывает до уборной ночью добраться, за стены цепляясь, ко всему прислушиваясь.

Мария Дмитриевна по-соседски забегала к Екатерине Марковне, но Ека видела, что ей не сидится. Чужим бедам грех не посочувствовать, но когда полоса невезения затягивается, когда нечем конкретно человеку помочь да и посоветовать нечего, когда сочувствие, понимание, внимание в малых дозах недуг никак не могут излечить, тогда окружающие, даже отзывчивые, утомляются. И — бегут.

Екатерина Марковна при хорошей погоде спускалась из квартиры, садилась у подъезда на лавочку, где установила свой наблюдательный пункт лифтерша тетя Клаша. Но и у тети Клаши личные дела оказывались порой важнее общественных, она снималась с дежурства, и Екатерина Марковна, Ека, сидела на лавочке одна.

Здоровалась, когда с ней здоровались, глядела, покуривала. Подъезжала иной раз машина, из нее выбиралась с пакетами, авоськами энергичная, все еще красивая Мария Дмитриевна.

Как давно все было! Вместе Маша и Ека ездили по магазинам, связи полезные устанавливали, обольщали заведующих, директоров, добывали дефицит, снабжали дом продуктами — жили, что называется, нос к носу, в одном ритме, в одной струе. Устраивались время от времени общие застолья, мужчины выпивали, закусывали, женщины болтали.

Один круг, можно считать. Но как легко из него выпадают, оказывается. И как быстро о тебе забывают в том кругу. Слабы, неслышны твои вопли о помощи.

Хотя люди вроде неплохие…

— Маша, здравствуй.

— Ах, Ека! — взгляд ликующий, и пристыженный немножко, и чуть лживый. — Воздухом дышишь? А почему не звонишь?..

Хорошо быть счастливым! И вместе с тем тревожно. Потому что, когда есть счастье, всегда боязно, а как бы не пошатнулось, не треснуло вдруг оно.

Счастливые люди беспомощны, так как ничего о себе не знают толком. Не знают, что выдержат, а где рухнут. Но как правило, все выдерживают все.

А Лиза приходила к Еке, как Кеша и догадывался, когда

неприятности случались или просто — маета. Дома сложная ее натура успеха не имела, от нытья, дурных ее настроений отмахивались, а если оскаливаться она пыталась, живо умели приструнить. Это что еще такое, дочь, ребенок, и бунтовать смеет?! Какая разница, что взрослый почти человек? Именно что почти.

Да нет, конечно. Прекрасные, заботливые были у Лизы родители. Не в них дело.

И до чего это было мерзко — ее характер, ее возраст! Поглощенность только собой и усталость, — до тошноты — от себя же.

А еще — да в первую очередь, конечно! — одиночество, почти звериное, не согретое ничем, никем. Не то что дружба, даже родственные отношения, казалось, меркли перед надвигающейся страшной темнотой: одна, всегда одна… неужели? И униженность жалкая от зависимости своей перед случаем, который ожидался, жадно, страстно, каждый, любой момент. Увидьте меня, заметьте, слышите? Сейчас же! Нет уже терпения, нет сил.

А как стыдно… Всего. А чего не знаешь — особенно. И не ребенок, и не женщина, и не умница, и не красотка, а сырье просто, полуфабрикат — вот как Лиза чувствовала себя.

… Зато Кеше казалось, что все в ней есть. Все уже было, когда они — сто лет назад — в сквере у церкви повстречались. Вчера. «Лиза я, — она обернулась. — Ли-за».

Теперь их вместе сводили в основном только поминальные вечера, устраиваемые Екатериной Марковной ежегодно. Из последних уже, можно считать, средств стол богатый накрывался. С рыбными, мясными закусками, студнем, капустными пирожками, которые Кеша в детстве так любил. С Лизой вдвоем они могли убрать целое блюдо. Кузнецовский сервиз давно исчез, и все же сервировка при Екином вкусе казалась даже изысканной. Покупались специально цветы. Цветы приносили и приглашенные. Сотрудники института, где профессор Неведов директорствовал много лет.

Сотрудники (число их редело год от года) жаловались на теперешнего директора, вспоминали прежнюю вольготную жизнь во времена Дмитрия Ивановича, превозносили его широту, деликатность, образованность — лили, словом, елей, а Ека ни в чем так не нуждалась, как в похвалах Неведову. И чем слаще, приторнее они бывали, тем больше воодушевляли ее. Кстати, планы свои она не забросила, кое-что сделала уже…

Некоторые из сотрудников за прошедшие годы выросли до научных степеней, обрели известность, заслуженное вполне уважение. Эти скромнее держались: в годы правления Неведова

они были еще молодыми и сохранили к нему почтительность, запомнили его как авторитет. Другие, не столь удачливые, злобились, поносили нынешние институтские порядки, обвиняли начальство в придирчивости, мелочности: «Во все сует нос, а еще доктор наук! Да разве Дмитрий Иванович стал бы…»

Присутствовала там и Матильда, постаревшая, присмиревшая, крепкая еще здоровьем, пенсионерка. Она-то и помогала Еке во всех хлопотах, оставалась со стола прибирать, посуду мыла.

А после они с Екой в кухне чаевничали, вспоминали, молчали, — каждая, верно, о своем. Сдружиться они не могли, уж очень разные, но одна в другой уважала, ценила преданность тому, кого обе по-своему любили.

А пока шло застолье и сотрудники вспоминали, расхваливали бывшего своего директора, Екатерина Марковна поглядывала победно на внука: вот видишь, мол… Он видел. И хотел бы сказать: и что? Что это доказывает?

Разве я таких ценителей имел в виду? Имел в виду не дураков и не подхалимов.

Да, ты права, им теперь подхалимничать не для чего, не из-за чего. И все-равно это вовсе не значит, что они искренни. Подхалимничанье — сильнейшая привычка. Уж кончилось, нет того, ради чего ползали, виляли. Но тогда… тогда ради хоть салата с крабами, что ты на стол подаешь. Ради пирожков с капустой. Привыкли, надо. Не умеют иначе жить.

Он знал, что услышал бы в ответ: циник!

А может, правда так. Может, циник действительно…

В нем появилась новая черта, и он ее в себе засек, взял на заметку: раздражительная усталость на людях. Они ему мешали, не давали сосредоточиться на своем, и в нем нарастала неприязнь к ним. В людях ему прежде всего виделись недостатки, притворство, глупость.

На губах его тогда часто застревала саркастическая улыбка, но поскольку он участия ни в чем не принимал, никакого не проявлял ни к чему интереса, улыбка такая казалась непонятной, странной. Он сам это чувствовал, а не мог вязкий какой-то груз в себе преодолеть.

Он думал, вспоминал, и все пережитое, весь детский, юношеский его опыт обращался как бы в один ком несправедливостей и обид. Не только по отношению к нему лично — по отношению к тем, кто его окружали, кого он знал. Но что-то, какой-то тихий, твердый голос подсказывал, что состояние его теперешнее должно быть преодолено. Непременно. Он обязан найти в себе силы сделать это.

Екатерина Марковна подала на стол сладкое, Матильда и Лиза помогали ей чай, кофе гостям разносить, а Кеша, благо внимание на него не обращали, потихоньку вышел, постоял в коридоре и, поглядев на прикрытие двери в дедовский кабинет, туда вошел.

В кабинете все сохранилось Екой так, как было при жизни Дмитрия Ивановича. Будто он ненадолго вышел. И только книги на полках стояли не так плотно, а кое-где и валились друг на друга, открывая дыру.

Кеша поморщился, сел, откинулся на спинку дивана. Сбоку, на пухлом валике лежал свернутый клетчатый плед. И вдруг Кеша почувствовал, что сейчас задохнется. Он запах услышал, крепкий, мужской запах деда. И грудь заломило так, будто туда вогнали металлический прут.

Наверно, это продлилось недолго, но Кеша вздрогнул, когда услышал совсем близко у двери голоса. Он вспомнил неприятный их с Екой разговор о книгах, высказанные ему в глаза ее подозрения, и внезапно с удивлением обнаружил, что не осуждает ее, не чувствует себя грубо оскорбленным. Он начинал понимать… Сколько ерунды, неправды выдумывается, если утрачивается внутреннее равновесие. Действительно, злоба — она от бессилия. А Ека не виновата, нет. Ее рана болит. У всех болит что-то. Надо об этом помнить и стараться понять. Другого пути просто нет, иначе в себе самом захлебнешься.

Кеша, — услышал он с порога Екин недовольный голос. — Что ты делаешь здесь?

Ему должно было исполниться двадцать три. Он посещал семинар психиатра Крушницкого, показывал ему свои работы, выслушивал советы, одобрения.

Крушницкий дал ему несколько редких книг из личной библиотеки, сказав: вернете, когда сочтете нужным. Крушницкий его, единственного из всей группы, позвал к себе домой. Наконец он мог сосредоточиться на том, что его всегда притягивало: человек, страдания, жизнь. Цепь вытягивалась бесконечно: человек — беда — боль — человек — несчастия — болезни. И хотелось дотянуть: человек — сила — здоровье — счастье — смысл.

На свой день рождения он собирался позвать сокурсников и, разумеется, Лизу. Ека приготовила собственноручно торт наполеон. Мама достала тончайшую, сверкающую парадную скатерть. Кеша, представив тех, кто должен был явиться к нему, отверг: «Мама, не надо. Давай клеенку. Это же такой народ! Скатерть враз уничтожат, спалят, зальют. Мама, не надо!» Но

Любовь Георгиевна его отстранила: «Пожалуйста, не мешай. И не говори глупостей. Не так часты праздники у нас».

Но сама она из дому удалилась, предоставив молодежи веселиться без помех. Как-никак взрослые уже совсем люди.

Кеша побрился, рубашку переодел, взглянул в зеркало и показался себе даже не таким уж уродливым.

Прекрасное настроение было у него в тот день, пока он ожидал гостей.

Настолько прекрасное, что стоило, пожалуй, поостеречься. По дереву, скажем, постучать, три раза через левое плечо переплюнуть, прошептать заклятие из первых фраз детской считалки.

Гости ввалились сразу гурьбой, потому как договорились вместе у троллейбусной остановки собраться, чтобы вместе адрес искать, не запутаться.

Он улыбался, когда они висли на нем, дергали за уши, что-то кричали. И подумал, что, кажется, любит их. Всех. Именно всех. Как коллектив. Общество.

Цех посвященных. Лю-бит. Удивительно. Никогда прежде он не позволял себе думать в таких выражениях о ком-либо. Все оказывалось сложнее, противоречивее короткого, определенного слова «люблю». Каждый раз по отношению к конкретному какому-нибудь человеку оно, определение это, по мнению Кеши, не подходило. Даже по отношению к Лизе. Но их было много, они были вместе, они были люди, и он подумал: люблю.

Лиза запаздывала. Когда он ей позвонил, она спросила: а кто будет? Он ответил, что она не знает никого. Она помолчала.

Хорошо, сказала, посмотрим.

За стол они не садились и не думали, по-видимому, рассаживаться: стоя жевали, пили кто что хотел. Магнитофон притащили с собой, зная, что на Кешу тут рассчитывать не приходится. Впервые, кажется, люди видели в его особенностях не только минусы, но и плюсы. Главным плюсом оказалась наконец его голова, непропорционально большая, с неровной макушкой. О нем говорили: башковитый.

Кеша настолько размяк, расхрабрился, что даже позволил в танцы себя вовлечь. Обнял за талию тоненькую белокурую Танюшу Орлову, невесту Глеба Березкина. Глеб и Танюша летом собирались пожениться, день свадьбы уже назначили.

Тут-то и появилась Лиза. Кеша, танцуя, не слышал звонка. Лизе Глеб открыл, вместе они вошли в комнату.

Она надела зеленое платье, тонкое, облегающее, облепляющее ее всю и вместе с тем как бы строгое, с глухим до самого горла воротом, длинными узкими рукавами, чуть ниже

колен, с разрезами по бокам. Волосы убрала со лба, назад затянула, и даже платье ее вызывающее казалось скромным в сравнении с выражением лица: ничего в лице ее не было, только глаза и губы.

Кеша поежился. Он сразу учуял, что настроение присутствующих переменилось: вечеринке был дан совсем другой ход, другой заряд. Его внесла Лиза.

Внесла, заранее приготовившись, заведомо все обдумав. Зачем? Этого Кеша не мог понять.

Дальше на сцене в ярком свете юпитера оказались только двое, Лиза и Глеб. Остальные в зрителей обратились, по-разному, правда, на развитие сюжета реагировавших. Кеша не реагировал никак. Он наблюдал.

Лиза танцевала с Глебом. Ни разу Кеша не видел ее такой. Это было ужасно. Это было потрясающе. Это было злодейство. И Лиза совершала его вполне сознательно. Упоенно.

Хрупкий, грациозный, голубоглазый Глеб пал жертвой. За что-то Лиза, казалось, мстила ему. Нет, не ему. Хуже. Мстила кому-то, а Глеба выбрала, потому что он попался. Мог бы на его месте оказаться и другой. Ей вроде было все равно — Глеб, Танюша, Кеша, еще кто-то. Люди.

Кеша глядел на нее в оцепенении. Впервые мозг его отказывался точно фиксировать, строго, четко давать всему оценку. «Какая она… чужая, — где-то в зыбкой глубине у него проплывало. — Какая недобрая. Почему? — И резко, как вспышка: — За такое надо наказывать. Надо».

Другие пары тоже, устав от роли зрителей, двинулись танцевать. Лиза порхнула к Кеше: «К сожалению, мне надо уходить. Где лучше поймать такси?»

Кеша не успел ответить, Глеб стоял рядом: «Я провожу».

Он не вернулся. Его и не ждали. Танюшу провожали все вместе, как вместе и пришли.

… Кеша оказался не прав. Екатерина Марковна подготовила к изданию рукопись книги, состоящую из двух разделов: неопубликованные статьи, заметки Дмитрия Ивановича Неведова и воспоминания о нем.

Собрав этот второй раздел, Екатерина Марковна воистину совершила подвиг. Как оказалось, никто не помнил ничего. То есть помнили, с удовольствием даже предавались далеким воспоминаниям, вот только как это было с Неведовым связать? Следовало ведь вычленить нечто значительное, выразительное, но и корректное. И время чтобы ощущалось, и Неведов, и сам вспоминающий на этом фоне чтобы достойно выглядел. Многие,

увы, спасовали, на кого Екатерина Марковна рассчитывала. Кто-то на занятость ссылался, кто-то обещал, но тянул, в надежде, что и без него обойдутся, отстанут.

Но Екатерина Марковна была не такова. Она не сдавалась. Звонила, напоминала, подстерегала нужных ей людей. Да, действительно… как-то даже неудобно. Екатерина Марковна же считала иначе. На неудобства наплевать. Есть долг, обязательства, и нечего отлынивать. Да как не стыдно, вы же живы, а он нет! — вот что в глазах ее читалось, и тоже, может быть, своя правота тут имелась, как знать…

Сбор Екатериной Марковной машинописных страничек, по две, по три, с разными подписями, по разным домам, в разных учреждениях, напоминал скорее охоту, с выслеживаниями, хитростями, подстроенными западнями — иначе, Ека уяснила, добыча ускользнет.

Она уставала и все же чувствовала себя удовлетворенной. Постепенно объем книги рос. А кроме того, хотя, возможно, Ека полностью отчета тут себе не отдавала, загнав, заставив сдаться тех, за кем охотилась, она чувствовала себя как бы отомщенной. Потеря близкого, понятно, изглаживает из памяти его недостатки, хорошее только помнится, что естественно, возведено в свод важнейших жизненных правил. И Ека забыла прежние бесконечные споры с мужем, гнетущую атмосферу постоянных взаимных придирок, которую они оба в своем доме создали, воспитав в ней сына и внука туда же окунув. Но что говорить, жизнь прожита, не сумели они друг к другу притереться, но и оторваться, рассоединиться не смогли. Что-то, значит, держало — и суетное, мелкое, и такое, о чем не судят со стороны.

Наверно, они и сами не разобрались, что главным стоит считать в их отношениях, может, и не задумывались… И только ли себе самим они причиняли боль или рикошетом ранили еще кого-то?

Сын Юрий. Он так рвался далеко, подальше уехать, но ни разу ни одного упрека родители от него не услышали. Он был куда мягче, доступнее внука Кеши — Ека часто об этом думала. Но дальше, инстинкт подсказывал, не надо размышлять.

Сын. Юрий. Здоровье, силы, ей отпущенные, не позволяли душе вместить в себя целиком такое горе. Тогда бы она не сумела встать. А судьбе было угодно увлекать ее дальше. Дальше… К потере мужа. И чтобы это она тоже смогла перенести? А как? Как сердце отзываться должно на такие удары? Что с сердцем делается? Оно сжимается, усыхает, каменеет? Оно — стучит.

Обоюдное чувство вины тоже, бывает, сплачивает. Не обсуждая, не делясь, в себе удерживая боль, горечь, Екатерина

Марковна и Дмитрий Иванович после смерти сына прожили вместе двенадцать лет. Сердце стучало. Но словно ржавело в нем что-то. И тускнела жизнь вокруг, потому что глядели они оба безрадостными глазами, раздраженные, уязвленные в самое сердце — и не только страшной потерей, но и черствостью обоюдной, которую до конца преодолеть так и не смогли: каждый видел в ней свою броню, защиту.

А ведь лгали, лгали! Когда Дмитрий Иванович заболел, окружающие, врачи говорили, что он держится необыкновенно мужественно. Так и было. Но она, Ека, вдруг ужаснулась, что он хочет, собирается уйти от нее все так же упрямо, молча. Но не смела она тогда закричать: опоздала, оба они упустили время. Только в наипоследний миг — никогда ей не забыть — взглянул на нее, и она поняла, что он ее зовет. Зовет впервые! Впервые?..

И это надо было пересилить. Сердце стучало. Очень крепким оказался у нее организм, и воля к жизни, не подчиняясь ни душе, ни рассудку, требовала: действуй. Как знаешь, как можешь. Придумай что-нибудь, в конце концов вообрази.

Екатерина Марковна пробивалась в кабинеты ответственных лиц, какие бы преграды ее ни встречали. Даже самые выдрессированные секретарши не могли уберечь своих начальников от ее вторжений. Она звонила, приезжала, садилась в предбанник — и сидела. Не двигаясь, ни во что окружающее не вникая, глаз не сводя с заветной двери. А прорвавшись наконец в кабинет, вперяла взгляд неотрывный в растерянное лицо усталого, измотанного начальника, начинала говорить не только от своего лица — от лица вдов и сирот, обиженных, обойденных. Взывала, призывала, клеймила. Не просила, не вымаливала жалобно — нет.

В ней открывались неведомые прежде свойства: демагогичность, умение «качать права». И природный артистизм, врожденная изворотливость тоже нашли себе новое применение: усталый, седовласый, привыкший к подчинению человек сидел за столом, а перед ним разыгрывалась патетическая сцена — с мимикой выразительной, разнообразием жестов, с угрожающими модуляциями голоса в самых низких регистрах и с внезапным взлетом к дребезжащим верхам, с улыбками вкрадчивыми, в которых, кстати, не возникало и тени заискиванья.

Екатерина Марковна требовала, желала получить только свое. Положенное. Не деньги, она настаивала, важны ей. Важна справедливость. Память, благодарность людей. Не ею, да, они заслужены. Говорит, требует она от лица уже умолкших. В числе которых муж ее покойный, слышите? Я пришла. А не все могут до вас добраться.

В самом деле. Умолкших, ушедших было множество. Не у всех отнюдь оставались на земле защитники, не все, впрочем, и нуждались в защите.

Кого-то и без усилий родственников человечество не забывало. Забвение им не грозило, независимо ни от чего.

Но после посещения Екатерины Марковны усталый или энергичный, худой или обрюзглый, — словом, некий начальник — поднимал трубку, произносил бесцветные слова бесцветным тоном: «Приходила вдова Неведова. Да… Помочь надо.

Придется. Иначе она снова придет».

Так что Кеша оказался не прав. Издательство выпустило (и немалым, к слову, тиражом) том не публиковавшихся прежде работ профессора Неведова, включив туда также и воспоминания о нем. Готовилась еще одна книга, переиздание. Ее внесли уже в план. Екатерина Марковна могла быть довольна.

Впрочем, по ее словам, она и не сомневалась в успехе. Справедливость, она говорила, должна восторжествовать.

И разоблачения, как Кеша опасался, никакого не последовало. Книг Неведова и прежде не читали, не читали и теперь. А новенький, пухленький, в твердом малиновом переплете том, с выдавленными черными буквами фамилии Неведов, пахнул остро, свежо, — типографией, счастьем. Свершившимся. Пахнул точно так же, как пахнут все только что явившиеся в свет книги — и талантливые, и бездарные.

Тяжеленькая получилась книга. Екатерина Марковна, Ека, подержала ее в руках, прижала к лицу, вдохнула всей грудью. Это она, она ее родила! Ека засмеялась, но тут же, точно за ней могли наблюдать, приосанилась, закурила сигарету. А что? Да сам Неведов, будь он жив, неизвестно, сумел ли бы столько сделать! Ека задумалась, к окну отошла, как бы прячась, чтобы никто не увидел в этот момент ее лица.

— Салат тебе положить? — спросил Лизу Кеша, сидевший от нее слева.

А справа ее обхаживал седовласый молодой доктор наук, которого все называли Максик. По привычке. Которую, впрочем, через годик, скажем, Макс подумывал уже упразднить. Хватит. Не мальчик, пресечь пора фамильярности.

Максим Аполлинарьевич — только так.

Но пока, он решил, ладно. Пусть Максик. Пусть тешатся, развлекаются, старые перечницы. В сущности, недолго им осталось. Из всех, кто собрались тут, троих — Максу сказали конфиденциально — к весне на пенсию выпроводить должны. С

почетом, деликатно. А четвертого с должности ученого секретаря турнут, вероятней всего. Хотя он ни сном ни духом о событиях предстоящих не ведает. Поэтому — враз слетит, бедолага.

Максим взглянул на будущую жертву изучающе и снова повернулся к соседке, рыженькой, зеленоглазой. Он и раньше видел ее в такие дни в доме вдовы Неведова. Девочка. Теперь подросла.

Вам красного налить? Или предпочитаете Цинандали?

Екатерина Марковна торжествовала: разве не знаменательно, что день памяти Дмитрия Ивановича совпал с выходом книги в малиновой твердой обложке?

Десять экземпляров, присланных из издательства, лежали упакованные в кабинете на столе: Екатерина Марковна собиралась их подписать и раздать присутствующим. Остальные сто она уже заказала на складе.

Ей хотелось верить, что за столом у нее собрались друзья. Несмотря на разочарования, удары, она, как и большинство людей, при малейшем проблеске окрылялась: и в радостные дни в соучастниках нуждалась особенно, нуждалась в свидетелях, что сейчас вот ей хорошо. Пусть знают, запомнят. Уже за это она им благодарна. И праздник ни в коем случае нельзя себе омрачать. Зачем бередить душу?

А когда плохо вновь станет, про то нечего загадывать. Тем более, что опыт есть. Когда плохо, на помощь рассчитывать не надо. То есть помощь приходит оттуда, откуда ее меньше всего ждешь. И это настолько поражает, что новые силы в тебя как бы вливаются. И не потому, что поддержка, тебе оказанная, так уж мощна, щедра. Нет, дивишься, умиляешься именно малости — тому, как такая малость оказывается необходима, важна. Звонок в дверь. На пороге лифтерша тетя Клаша: «Вы что-то, Екатерина Марковна, давно не выходили, я молочка, хлебушка принесла».

И Матильда… Матильда, вы слышите? Я знаю, что вы недоверчивы к словам, ну так я вслух ничего говорить и не буду. Но вы так вовремя тогда пришли, поразительно даже. Как угадали? И — помните? — мы пили чай. Из темно-синих кобальтовых высоких чашек. Осталось как раз две. Вы варенье малиновое принесли, лампа горела на столе, помните? Но как вы тогда угадали?..

Так ешьте, пейте, милые гости, на здоровье, вдосталь. Я — хозяйка. Дом мой все еще стоит. И я жива, представляете?

Лиза наклонилась к Кеше, шепнула:

— Ека молодец. Надо же, такая морока, через мясорубку орехи, чеснок провернуть. Вкуснотища, но не лень же ей!

Он кивнул. Она еще ближе наклонилась, сказала совсем тихо:

— Я через двор бегу, подниму голову: она в окне, на меня смотрит.

Улыбнусь, махну рукой, и так неловко, так чувствую себя перед ней виновато.

Совсем нет времени, а надо бы хоть ненадолго зайти, поговорить…

Кеша снова кивнул. У Лизы на щеках впадинки появились, обозначив более четко линию скул, а подведенные слегка глаза возбужденно блестели, что, Кеша подмечал, всегда с ней бывало, если, кроме него, еще кто-то был.

Все больше Лиза походила на свою маму, оживленностью, слегка преувеличенной, манерой улыбаться морща нос, говорить как бы не задумываясь, торопливо, увлекая настойчиво собеседника, принуждая будто спешить за собой.

Как и в матери, в Лизе обнаружилась теперь инстинктивная женская хватка, только Лиза не решила еще, казалось, что хватать. Но блестели глаза, улыбались губы, в жажде откровенной событий, случайностей.

Наблюдать это было тревожно. Кеша временами опускал взгляд, обеспокоенный, подавленный Лизиной суетностью, жалкой и привлекательной вместе с тем.

Он глядел на нее и думал: что еще может с нею произойти? Так именно думал, с нарочитой холодностью и любопытством исследовательским к такому характеру, натуре, наделенной природой щедро, переизбыточно даже, и то во благо обращающей свое богатство, то во зло.

Но, продолжал он размышлять, можно ли, нужно ли предостерегать ее от крайностей, от ошибок? Попытки такие имеют смысл? А может, даже противопоказаны? Может быть, тем она, Лиза, и сильна, что без опасений, без брезгливости пьет, черпая горсть за горстью, мутную, гибельную животворную влагу из реки жизни? Но когда она напьется, успеет ли оглядеться вокруг?

Сумеет ли стать внимательнее, терпеливее, терпимее? Ведь иначе ее душа никогда не узнает, что значит милосердие, то есть не повзрослеет, не помудреет никогда.

Он услышал ее возбужденный, резкий смех и улыбнулся. «Я буду тебя ждать, Лиза, — произнес мысленно. — Я буду ждать».

Он закончил ординатуру, работал в клинике. Антон Григорьевич Крушницкий сказал, что его аспирантом возьмет. Держался Крушницкий со всеми сухо, и с Кешей тоже, что вполне его устраивало. Он чувствовал себя как раз тогда нормально,

когда эмоции не выжимали из него. И взгляд Крушницкого сквозь очки с половинчатыми стеклами, прицельно строгий, тоже ничуть его не смущал.

Внешность Антона Григорьевича располагала мало: длинный, вытянутый, лысоватый череп, вместо губ — щель и редкие неровные зубы. Блеск очков мешал в глаза ему взглянуть — весь он казался наглухо закрыт, застегнут. Но когда пациентами его оказывались дети, откуда-то вдруг у него объявлялись темные, внимательные, ждущие, очень живые глаза, и губы сами в улыбку складывались, нисколько не снисходительную, а как бы даже застенчивую, виноватую. И никакого сюсюканья — он и с детьми держался скорее сурово. А когда касался их своими большими костлявыми руками, даже со стороны угадывалась чудесная легкость, ловкость его пальцев, и с детской одежкой, завязками, застежками, он справлялся так быстро, что матери не успевали подсобить.

Кеша все это наблюдал, вобрать старался столь близкие его натуре манеры, интонации. Он видел тут пример и профессиональной, и человеческой безупречной собранности. И только так, он думал, ни на что не распыляясь, можно лечить. Отдавать. Помня, что нельзя, не вправе исчерпать в себе этой способности.

Но иной раз в беседах серьезных, специальных с учителем у него готов был сорваться крамольный вопрос: «А не тщетны ли наши усилия? Да, конечно, то, чем мы занимаемся, интересно, сложно, поучительно, но можно ли в нашей области определенного, несомненного результата добиться, в конкретном случае с конкретным человеком? Да-да, больным. Сказать: все, излечили, спасли, — возможно ли? Вот что меня смущает. Все, что я знаю, знал, в мгновение будто улетучивается, когда я сам от себя требую — ну-ка ответь. Чего я добился в своих занятиях, кроме того, что в себе самом подробнее, глубже разобрался?»

Да и то ведь не до конца. И что может дать наука, в которой процесс, поиск как бы даже подменяет цель, ибо цель все равно недостижима — ухватить, словить человеческую душу и указать ей, где счастье, где смысл. А иначе душа больна, хотя мы ее и лечим. То есть не душа, конечно. Мозг, организм? Нет, душа все же. Мы душу ищем, коли говорим: душевнобольной. И тут, значит, тоже лукавим. Единственное, пожалуй, оправдание, что, желая боль распознать, весь груз чужой судьбы, стыда, грязи в себя принимаем. Слушаем и действительно хотим услышать — вопль, зов.

…Проходя по длинным коридорам клиники, здороваясь с

коллегами, со стационарными, примелькавшимися уже больными, Кеша вдруг представлял себе Лизу — в зеленом платье, в белой, с помпоном шапке, в шубе из полосатых зверьков. Представлял, как она входит, видит его, уважаемого, нужного людям, и выражение, поначалу озадаченное, а после понимающее появляется в ее лице, и он подходит к ней, берет ее за руку, выслушивает, о чем-то она его просит…

Он ждал. Но она не входила и не вошла никогда. Ничего о нем не узнала.

Глядела и не видела.

С удивлением Кеша услышал, что Лиза купила у его бабушки ломберный раздвижной столик. То есть как ломберный его не использовали никогда: на нем стояла лампа, основанием которой служила китайская, с бело-синим рисунком ваза, а сверху был надет из гофрированной промасленной бумаги большой, с разводами абажур.

Кеша помнил эти вещи с детства, но не сразу заметил их отсутствие. Ека небрежно обронила: лампа осталась, в кабинет переставлена, а столик теперь у Лизы. Лиза же его оценила: пятьдесят рублей.

— Зачем он ей? — Кеша вздернул светлые брови.

— Ну… — Екатерина Марковна чиркнула спичкой, прикурила. — Если и не старинная, то и не современная все же вещь. А старое нынче в моде, не слышал? — спросила, прищурившись.

— Слышал, — не заметив насмешки, Кеша ответил. — Но странно как-то, тебе не кажется?

— Не кажется, ничуть, — Ека отрезала. — Тебе непонятно, почему именно Лиза купила, почему именно ей я продала? А почему нет? Мне удобно: никуда не тащить. Ей удобно — по той же причине. А столик симпатичный, ей пригодится, у нее, так сказать, вся жизнь впереди.

— Ладно. — Кеша помолчал. Ему не нравилось, как Ека на него смотрит. — Но все же странно, что у тебя с ней такие дела. При ваших, словом, отношениях…

— Милый! — Ека произнесла иронически. — Отношения отношениями, а дело делом. Да и о чем разговор? — она будто вдруг рассердилась. — Тебе нравился столик? Сказал бы, я тебе бы отдала.

— Да ну не в этом же дело, — Кеша сказал огорченно. — Если тебе неприятно, оставим вообще эту тему. Действительно, ерунда.

— А я так вовсе не считаю. Не ерунда, нет, — Екатерина

Марковна глядела строго на внука. — Ты знаешь кто? Ты — чистоплюй. Сам бережешься, боишься запачкаться и других стращаешь: того не коснись, туда не ступи. А не понимаешь, что больно делаешь? Я помню! — она сглотнула. — И не забуду никогда.

Они глядели друг на друга молча. Екатерина Марковна встала, взяла со стола пепельницу, поправила автоматически скатерть.

— И про Лизу, — проговорила отрывисто, — что тебе не понятно? Она нормальный человек. А ждать от людей святости, жертв, подвигов бескорыстнейших я, например, не собираюсь. Иначе, — она вдруг прижала платок к глазам, — как жить?

Кеша молчал.

— И то, что ты молчишь сейчас, тоже жестоко, грубо. Думаешь, легко угадать, когда тебя жалеют, когда осуждают, если ни слова не говорят?

Думаешь, так уж это благородно — со стороны лишь наблюдать, не вмешиваясь, не ввязываясь ни во что? Знаешь, — Ека наклонилась к нему, — мне даже кажется иногда: а может, ты болен? Ты будто не видишь, не понимаешь ничего. У тебя тупой, тупой взгляд! Ты слышишь?

— Да, — он сказал.

— Господи, — она воскликнула, — да я бы счастлива была тебя простить!

Что-нибудь бы ты натворил, какую-нибудь глупость, пакость, я бы простила.

Так понятно! Люди ошибаются, вредничают, грешат. У меня самой грехи были…

А ты! — она досадливо скривилась. — Ты словно и не жил. Тебе двадцать пять скоро. А я ничего не знаю, не понимаю про тебя. А кто роднее, кому я еще помочь могу? Я же целую жизнь прожила — и что же, впустую?

Он покачал головой:

— Пожалуйста, не надо. Успокойся.

— Ты вроде и есть, а будто тебя и нет рядом. Я маленького мальчика, маленького Кешу люблю, помню. Ты вырос? Ты теперь существуешь, а?

Он разлепил в виноватой улыбке губы:

— Я стараюсь, хочу как-то помочь, понять…

— Вот-вот! — Она будто обрадовалась. — Только понять — больше тебе ничего не надо. А понять невозможно. Никого. Кусочек лишь какой-то откроется — и люби, жалей, да ругай даже, если хочешь. Но помни, что остальное все скрыто от тебя. До поры, или на все времена, как уж получится. Целиком же,

сразу, не распахнется ничего. Никто. Имею право так говорить, я — старая старуха.

Сижу вот теперь одна, припоминаю, приставляю один обрывок к другому обрывку, собираю постепенно, восстанавливаю. Но сто лет мне еще понадобится, чтобы все отыскать, сложить, совпали чтобы все мои кусочки.

Она умолкла, оглядела комнату. Вскочила, точно внезапно испугавшись.

— Кеша! — крикнула. — Ты где? Кеша, ты меня слышишь?

Пришло время, когда Кеша, Иннокентий Юрьевич, из внука профессора Неведова стал Неведовым, у которого дед тоже, кажется, был профессор… В кабинете у Иннокентия Юрьевича висели большие, увеличенные в размер плаката, фотографии львенка, дельфина, взлетевшего и застывшего дугой в прыжке, щенка коккер-спаниеля с взъерошенным хохолком на макушке. Здесь Иннокентий Юрьевич маленьких своих пациентов принимал, говорил с ними, обходясь легко без пояснений родителей. Дети, он знал, отвечают правдивее, точнее, честнее, а взрослая точка зрения все равно так или иначе выкажет себя. Но он, врач, не допускал, чтобы подавлялось слово ребенка. Он считал и, пожалуй, не ошибался, что большинство бед, страданий начинается с мало кому известных детских обид. Если бы взрослые вовремя в такие обиды вникали, врач Иннокентий Юрьевич Неведов сидел бы в своем кабинете один, в окно бы глядел, рисовал бы цветными карандашами домики, кораблики, в большом, в картонной обложке, альбоме.

За ним это замечалось, не всем понятное — увлечение, странность? Только свободное время выдавалось, Иннокентий Юрьевич доставал в серой картонной обложке альбом с надписью затейливой «Для рисования».

И рисовал точно так, как рисуют все дети, не наделенные особым даром, не уделяющие данному занятию времени больше, чем, скажем, игре в салки или в мяч. Домики, кораблики, человечки. Зеленый карандаш использовался, синий, красный. И снова — домики, кораблики… Один альбом заканчивался, начинался другой.

Считалось, что так Иннокентий Юрьевич отдыхает. Незаурядным людям причуды ведь простительны. А Иннокентий Юрьевич снискал уже известность как редкий, одаренный врач. Чтобы попасть к нему на прием, следовало запастись терпением, так как путь в его кабинет существовал один, и никаких обходных ходов не допускалось. Он и у коллег своих считался образцом безупречной собранности, преданности истовой своему делу.

Иногда, правда, недоумение вызывало выражение его лица, абсолютно бесхитростное, ребячески-доверчивое, с серыми сонливыми, в припухлых веках глазами, с приоткрытым будто в забывчивости ртом. Это выражение абсолютно не соответствовало положению теперешнему Иннокентия Юрьевича — и даже более того, оно, казалось, не могло даже принадлежать взрослому человеку. Такое выражение наплывало как бы на его черты в моменты задумчивости, но окружающие настораживались, у них возникало неловкое чувство, будто доктор Неведов выключается, выпадает куда-то. Его нет. Он не видит ничего, не слышит — где же он?

Может, так он силы душевные в себе восстанавливал, кто знает? И что это было: рассеянность, сосредоточенность? Сам же Иннокентий Юрьевич о реакции окружающих не догадывался. Действительно, значит, в такие моменты никого, ничего не замечал.

За прошедшие годы он внешне мало изменился, разве что поседел, но его большая с неровной макушкой голова уже не казалась уродливой: признание, известность и не такие недостатки заставляют не замечать. И ничего удивительного, что Иннокентий Юрьевич стал пользоваться успехом у женщин, и чем сдержаннее он держался, тем важнее представлялось его внимание к себе привлечь.

Когда с ним говаривали, он очень серьезно, терпеливо слушал. Иначе просто не мог. Болтовня, псевдомудрости его мало занимали, но выражение глаз, фальшь в них и искренность, показное и тайное беспокойство, страдание, которые, случалось, сам человек в себе еще и не распознал — вот что притягивало. И мимика, жесты, где так же мешались правдивость и ложь, опасение быть собою и потребность открыться, дождаться отклика.

Когда с ним говаривали, мешковатый пего-седой Иннокентий Юрьевич веки припухлые на глаза опускал, как бы гася пристальный, цепкий взгляд, и продольная морщина лоб перерезала косо, в доказательство будто, что он принимает, впитывает в себя чужую боль.

И пусть недостатки, слабости при этом ему открывались — не стыдно, не страшно. Лишь бы понял. Он, Неведов, обязан понять. Иннокентий Юрьевич, вы слышите?

Он слышал. А со здоровыми, себе говорил, еще труднее, пожалуй, чем с больными. И, как ни печально, продолжал мысленно, на здоровых, нормальных уже и не хватает сил. Вниманием по-настоящему овладевают только те, кто действительно пришел с бедой. События, факты их жизни есть

предыстория болезни. А жизни здоровых — истории о чем? Нормальным людям неведомо, когда они пик, поворот проходили, где опасность дышала уже в лицо, — забывают, и правильно. Миновало, и слава богу. Но все же, что мы должны обязательно помнить о самих себе?

Однажды Иннокентий Юрьевич, входя через внутренний двор в арку того же серого дома, столкнулся с Лизой. Чужая взрослая женщина взглянула на него с улыбкой, и он ужаснулся, что она его не узнает. А может, и не существовало никогда Кеши, его детства, юности? А Лиза, прежняя, была?..

Рыжеволосая полноватая женщина шла с противоположной стороны арки, возвращаясь из магазина. Ей показалось, что идущий ей навстречу мешковатый, пего-седой мужчина удивительно, невероятно похож на мальчика, с которым она дружила в детстве. Надо же, как бывает! Чуть не вскрикнула: «Кеша, ты?!»

И себя самой испугалась: да что она, в самом деле… Кеши нет. Знает она, ей объяснили: он был болен, болен давно. Но по неразумению детскому она тогда этого не понимала. Они дружили, взрослые позволяли им дружить. А что опасного? Он, Кеша, безвредный дурачок, послушный, покладистый. Но потом состояние его ухудшилось, в клинику его положили. Он умер от воспаления мозга, бедный, милый Кеша. Но Лизе всегда казалось, что, если бы Кеша выжил, он стал бы выдающимся человеком. Больше того, иногда у нее возникало чувство, что где-то он существует и она еще услышит о нем.

В ЛЕГКОМ ЖАНРЕ

Скинув пальто и не взяв номерки, как завсегдатаи, вошли в зал, но все столики оказались заняты. «Обещали накрыть», — пролепетал Боба и ринулся в сторону бордовой портьеры, к администратору. Ласточкину показалось, что все вокруг на них смотрят, как они стоят, мнутся, и у него отвердел подбородок — верный признак подступающей ярости.

— Да брось ты, ерунда это, — шепнула Ксана, приваливаясь к мужу пухлым плечиком, улыбаясь терпеливо, по-матерински. — Береги нервы.

Ласточкин моргнул, поглядел на жену и почувствовал, что сейчас сорвется. И этого все ждут. Резко развернулся, шагнул к выходу. Знал, остальные последуют за ним. Так и вышло. Столпились у раздевалки, ждали его решения.

— Как-кого ч-черта! — он буркнул. — Я бы сам все организовал, нечего было Бобу лезть. Кретин! Всегда с ним так. Если через пять минут не прояснится, уходим!

Он бухнулся в кресло, закурил, нервно, жадно затягиваясь. Ксана, подойдя сзади, обняла его все с тем же выражением решительной покорности. В подобных ситуациях она всегда умело и точно вела свою роль покладистой мудрой спутницы, сносящей любые капризы мужа. Талантливого, известного. «Я умею с ним», — вот что Ксана демонстрировала и всем окружающим, и самому Ласточкину.

Боба все не показывался. Ласточкин курил, его подташнивало то ли от голода, то ли от возбуждения. Следовало, конечно, сдержаться, но он не мог и не хотел отказать себе в состоянии гневной обиды, разрастающейся, поднимающейся горячей волной. Чем-то это оказывалось сродни вдохновению, на его собственный, по крайней мере, взгляд.

— Ты заметила, — обернулся к жене, — там Светов с компанией. Ужинают, веселятся, а мы тут перед ними топчемся.

— Да что тебе Светов! — с энтузиазмом и вместе с тем тихо воскликнула Ксана. — Светов твоего мизинца…

— Не в том дело, — притворно морщась, Ласточкин ее перебил. Он, как и многие, любил комплименты, нуждался в них более других, но считал необходимым как бы отмахиваться — так было принято, да и комплименты тогда воспринимались слаще. — Не в том дело… — он повторил, но не успел закончить.

В дверях возник Боба, улыбающийся, довольный.

— И разве стоило волноваться? — громко изрек. — Минутная заминка — и все готово.

Ласточкин неторопливо поднялся, загасил сигарету в пепельнице, оправил пиджак, твидовый, возможно, излишне яркий, но яркость, броскость стали уже приметами его стиля, следовало их придерживаться и в жизни, и в творчестве.

Для своих лет он был толстоват, но нисколько этим не смущался, нес свою полноту с заботливой горделивостью, чуть напоказ. Яркие пиджаки, светлые брюки — глядите! И жена его, Ксана, тоже была толстой, толст и малолетний сын. А очень неплохо они смотрелись — потому что неплохо, весьма неплохо ощущали себя. Закон, срабатывающий и для жизни и для сцены: от тебя самого в первую очередь зависит то впечатление, которое ты производишь.

Стол им накрыли отлично, на почетном месте, в нише — каждый, кто понимал, мог оценить. Например, Светов. Осторожно, из-под коротких белесых ресниц Ласточкин повел взглядом в сторону световской компании. Вранье, будто Светову такие моменты безразличны. Просто делает вид. И Ласточкин в его положении тоже бы вид делал. Но дудки, никто не безразличен к мелочам.

«Мелочи» как раз самое существенное. По ним все можно многое угадать, ради них как раз все и предпринимается, не так ли?

Теперь Ласточкин ожидал спокойно пока все рассядутся, женщины выберут удобные позиции: компания собралась большая. Он чувствовал себя хозяином, не только потому, что платил. Чувство это было глубже, трепетнее, несло в себе суеверное нечто. Те его знают, кого коснулся успех. Ласточкин обвел зал рассеянно, прищурясь. Наконец-то отпустило. Напряжение так часто возникало в нем, вероятно, по той причине, что он считал обязательным, непременным, чтобы все всегда ладилось у него. Иначе мог начаться крен, колебания и бог знает что еще. Так ему казалось. Но пока, значит, все в порядке, пока…

Он вздохнул и тут услышал смешок, и, с середины фразы: «… разумеется, не интеллигентно. Да и откуда? Вся фанаберия от комплексов. А к ресторанной обстановке такое повышенное отношение — не может себя лабухом забыть».

Ласточкин мгновенно обернулся, рассчитывая поймать, застать врасплох, но ему улыбались. Все, кого он мог заподозрить. Ксана дернула его за полу пиджака: ну что же ты не садишься?

Он дышал ровно, ритмично, как пловец, проплывший половину дистанции. За столом обсуждалось горячее. На пятачке эстрады рассаживался оркестр. Здесь играли нечасто, два-три раза в неделю, зато группы подбирались приличные. Уж кто-кто, а

Ласточкин понимал. Ему с трудом удавалось не слушать, не вникать в исполнение, придирчиво, ревностно. Его тянуло точно магнитом, а надо было вести застольную беседу, изображать гастронома, знатока, ценителя. Он же — обжора, а не знаток, поглощал все, что Ксана в тарелку подкладывала, и отвлекался, забывая собеседника вниманием поддержать. Действительно, неважно воспитан, так и что?

Как обычно, общество собралось разношерстное. Ксанин острый язычок наверняка потом каждого в отдельности препарирует, но сейчас она выглядела довольной, упивалась положением мужниной жены, что Ласточкину, как большинству мужчин, льстило. Ксана умница, и всего в ней обильно — тела, волос, смеха, любви, уверенности — последнее самое главное, пожалуй. Всегда во всем Ксана шла напролом. Вначале к нему, к своему Ласточкину, потом — с ним вместе.

Заиграли, слегка как бы вразнобой, точно с ленцой, потягиваясь.

Ласточкин насторожился, сразу отметив класс. Мгновенно взревновал и тут же ожегся братской, так сказать, цеховой обидой: музыкантов не слушали, переговаривались, жевали. А если бы вдруг исполнили что-нибудь его, ласточкинское? Так случалось: шаловливые детища, плодясь в эфире, настигали его внезапно, и он с тайной родительской гордостью наблюдал их дерзости. Это называлось — популярность, растущая стремительно.

— Тебе гурийской капусты положить? — наклонилась к нему Ксана.

Ласточкин не замечал в своей жене недостатков, и не желал, и не смел быть объективным. Ему нравилось, а может, он приучил себя. Ее очень светлые волосы и очень темные брови выдавали ненатуральность либо одного, либо другого, а возможно, и того, и другого. Манера гнусаво растягивать слова могла показаться нарочитой, вульгарной человеку постороннему, незаинтересованному. Но Ласточкин являлся как раз заинтересованным в том, чтобы ничего не менять, не рисковать понапрасну, быть уверенным в крепком тыле. Это вовсе не значило, что он был не способен оценить одухотворенность, хрупкость, загадочность и так далее и тому подобное — иных женских лиц. Но не стоило забывать о собственном образе: удачник-увалень, симпатичный медвежонок, с истинно звериным чутьем на все, что могло принести успех. А, неплохо?

За столом оставалось еще два свободных стула. Ждали Зайчиху — так в интимном кругу называли звезду-певицу Татьяну Зайцеву. Впрочем, Зайчихой теперь ее уже звали повсюду:

почитатели, обожатели, завистники, злопыхатели.

Хотя характер Зайчиха обнаруживала скорее волчий.

И никогда нельзя было на нее положиться. Могла прийти, могла и нет.

Могла спеть, а то вдруг отказаться. Болезнь славы. И на сей раз для Зайчихи на всякий случай оставили свободный стул.

Точнее, два. Если уж Зайчиха явится, то со спутником. Пажом, телохранителем. Иначе ее растерзает толпа. Обожатели, почитатели — раздерут по кусочкам. Приходится Зайчихе беречься. Чтобы петь. Только петь. Она вроде и не жила вне эстрады.

Вне ее казалась глуповатой, нелепой, с расплывчатым лицом, дряблой фигурой. И голос с придыханиями, визгливый смех раздражали бы, не будь она Зайчихой. Но так придыхала, взвизгивала она одна. Про любую другую теперь бы уже сказали: копирует. Зайчиха получила патент. Ее детская челка, пестрые, спиралями завитые пряди, длинная жилистая шея, широкий, чуть как бы спотыкающийся шаг- все стало открытием. Сценическим, которому, как нередко бывает, пытались подражать и в жизни.

Ласточкин застал Зайчиху еще в безвестности, потом, возможно, он к ней бы уже не пробился. Но в ту пору Зайчиха участвовала в детских утренниках, изображая разнузданных кикимор, не столько пугая детишек, сколько забавляя родителей. Тощая, нескладная, уныло-коварная кикимора — Зайчиха в свои двадцать с лишним лет погружалась в озлобленность. Пока однажды вдруг не запела с подвизгиванием.

Ласточкин тогда прямо обомлел. Он ждал, искал, как раз такую, дикую, встрепанную, обнаглевшую от отчаяния, чьи вопли со сцены шпарили кипятком.

Потому что нутро ее пылало, кипело. Как и его, Ласточкина, нутро.

Восторженный, он поймал ее за кулисами, схватил за руку, забыв все слова. Она злобно выдернула свою руку. Никому она не верила, от всех ожидала подвоха — вот что он понял, глядя ошарашенно на нее. Она приостановилась, спросила хрипло: ну, что надо?

«Ничего», — он буркнул в ответ. Действительно, при всех восторгах он был беспомощен и Зайчихе не мог принести никакой пользы. Его работой в драматическом театре в качестве музыкального редактора хвалиться не приходилось. Сам думал, перевалочный пункт. Но после провала в консерваторию ему было все равно. И то благо — зарплата регулярная. Он научился шикарно забрасывать конец красного вязаного шарфа за плечо, другим концом драпируя нищенский пиджачишко. Стриг его

приятель, не всегда удачно, по настроению.

Но разве это важно? Главное, переломилась жизнь. Лет с пяти, сколько он себя помнил, перед глазами лоснились черно-белые клавиши, снились ночью пассажи, октавы, мышечная радость в пальцах, колющая раздавленные подушечки.

Он был фанатик, как все, кому предстояло стать исполнителями Серьезной Подлинной Музыки. Как все, с кем он вместе этому обучался.

Самонадеянно-недоверчивый полуребенок, чье детство было подчинено инструменту, вытеснившему обыкновенно-безмятежные радости, томление от безделья, сполна полученные его сверстниками. Счастливыми, глупыми, не обремененными Высокой Целью, под грузом которой распластался он. Десять лет цель эта на него давила и вдруг исчезла, размылись даже очертания, а он все еще ползал по привычке на карачках: попытался приподняться — оказался пуст, не нужен никому, как уличный сор.

Полгода не подходил к роялю фирмы «Ибах», кабинетному, с обрубленным хвостом, чья лакированная поверхность пошла мелкими трещинками, а клавиши истончились, пожелтели, как зубы старой, отслужившей лошади. И покрыт рояль был серой попоной, поверх которой стоял пюпитр резной затейливой выпилки.

Рояль мешал, раздражал теперешней своей ненужностью. Ласточкин решил уже от него избавиться и медлил только из-за апатичной лени.

Раздражали и портреты в овальных рамках, очень красивого Шопена и очень сердитого Бетховена. Ласточкин поглядывал на них ненавистно, с издевкой, как на живых. Он слишком их любил, чтобы сохранить с ними ровные отношения.

И первое треньканье (буквально, трень-трень) пальцем твердым, негнущимся, никогда будто не ведающим иного прикосновения, а только вот это, толчковое, от плеча, с закостеневшим локтем, новорожденное (цыпленок, разбивающий скорлупу) — первое это треньканье возникло в сердитой издевке.

Ну да, пусть над самим собой.

Внутри все занемело от кощунства. Преодолевая с усилием робость, избавляясь от пут, он взмок и захохотал. Пальцы упруго впивались в клавиатуру, неслись, запрокидывались, заходились в истерических глиссандо — это было ужасно смешно. Но неужели лишь ему одному?

Дом спал. У них в квартире в каждой комнате по два-три спящих человека.

Сам Ласточкин жил с оглохшим дедом. Отличная мысль —

поселить музыканта с глухим, его родне нельзя было отказать в чувстве юмора. Дед умер. Ласточкин стеной встал, чтобы не вселили к нему младших братьев-счастливчиков, пущенных по другой стезе: один в Бауманский готовился, другой, счастливец вдвойне, гонял пока в футбол во дворе их дома.

Старший, мрачный, униженный неудачей, Ласточкин родительский дом не любил. Там кормили, но ненужно бестактно сочувствовали. В девятнадцать лет он оказался не у дел, надломленным, тогда, когда его сверстники только пробовали себя, только начинали. Он же держался как человек с постыдным прошлым. Улицу Герцена, как зачумленную, обходил. И в своей комнате на рояль косился, закрытый, мертвый, как гроб.

Вплоть до той ночи, святотатственной. Хотя, если вспомнить, и прежде случались у него хулиганства. Когда из благочестиво-торжественного хорала Баха вдруг прорастали, как хвостики, не предусмотренные в тексте, неожиданные, синкопированные нотки, кульбиты, антраша выделывались за инструментом, сам же он сохранял при этом застыло-чинную физиономию.

Но это были благопристойные шутки, уместные в классе с двойными дверьми, где за стеной виртуозно чеканились трансцендентные этюды Листа либо вздыхал одухотворенно-рациональный Брамс.

А тут случилось другое. Чтобы домочадцев не разбудить, играть надо было шепотком, полузадохшись: обстоятельства подсказали и манеру, и тему. Мотив — пропетый не разжимая угрюмо сомкнутых губ, с выхлестами тремол, зигзагообразными пассажами. Участвовали в этом двор, улица, бестолковая энергия вдруг обнаружившей себя юной жизни. Быть может, его. Ласточкина, а может, кого-то другого. Важно, что прорвалось. Он отдернул руки от раскаленных, казалось, клавиш, тупо, недоумевая, уставился в пустой пюпитр.

Почти год ночные разгулы за роялем оставались его тайной. Ни домашние, ни приятели не догадывались ни о чем. Нотные листы, исписанные каракулями, он надежно прятал, отправляясь на службу в театр, где шли спектакли без всякого музыкального сопровождения и никто не нуждался в его профессиональной консультации. Зарплата скорее напоминала пособие по безработице, но относились к нему актеры славно, даже с симпатией.

Появление Зайчихи впервые заставило действовать. Из служебного подъезда они вышли вместе: она в хламидном, желтом, с капюшоном пальто, он в куртке, кепочке, закинув шикарно через плечо конец огненно-красного шарфа.

Жила Зайчиха у черта на куличках. Потоптавшись возле арки

многоэтажного дома, в черном провале которой она должна была вот-вот исчезнуть, Ласточкин спросил:

— У вас, конечно, есть инструмент?

— Конечно, нет! — ответила Зайчиха с вызовом…

…Горячее подали тютелька в тютельку, когда у клиентов и аппетит вполне разгорелся и не успели они еще заскучать. Объяснялась с официантом Ксана. Тут она тоже твердо вела свою линию, не обременяя талантливого мужа житейской суетой. В нужный момент незаметно подсовывала Ласточкину приготовленную сумму, учтя и чаевые, а ему лишь оставалось хозяйским жестом протянуть деньги официанту. Подобные тактические ходы Ксана ревностно соблюдала. Она была отличная жена, отличная мать и даже, что совсем удивительно, с Зайчихой сумела поладить.

— Ну так что, — поймав мысли Ласточкина, Ксана шепнула, — наверно, уже не придет?

— А кто ее знает… — протянул Ласточкин притворно равнодушно.

— Но ты же говорил, что после, дома у нас, что-то новое хотел ей сыграть… Я заказала коробку эклеров.

— Значит, в другой раз! — Ласточкин снова почувствовал, как у него твердеет подбородок.

Ксана промолчала. Что говорить, трудная у нее была работа: жены.

Властной, цепкой — вдвойне трудно.

Ласточкин вспомнил. В недавнем выступлении Зайчиха ему не понравилась.

Он по телевидению концерт смотрел. Зайчиха появилась, естественно, под шквал аплодисментов, но первый же ее крупный план заставил Ласточкина поморщиться.

Кольнуло унижением: казалось, только за нее. Нет, не имела она права так быстро сдавать! Мешки под глазами, одутловатость — он в этом увидел прежде всего профессиональную безответственность. Рассердился, будто она провинилась лично перед ним. И двигалась Зайчиха как-то сонно, вяло, голос определенно начинал тускнеть, реакция же зала была, как обычно, оглушительной. Но Ласточкина это не могло обмануть. Он знал, зал приручить трудно, но коли уж удалось, преданная его восторженность станет почти рефлекторной. Публике нравится узнавать, и эстрадные звезды получают овации как раз на старом своем репертуаре. Он действует безотказно, пока вдруг по неясным вроде причинам затхлостью, нафталином не пахнет. Тогда — все. Зал, только что слепо обожавший, равнодушно

отворачивается.

Ласточкин в экран уставился. Отяжелевшая Зайчиха скакала по сцене, путаясь в скользком концертном платье и длинном микрофонном шнуре — поднялся и выключил телевизор. Испугался: Зайчиха могла под конец ввернуть беспроигрышный номер — «Ручеек», их общий с Ласточкиным шедевр, и при этой мысли его затошнило от затхлого, прогорклого запаха.

… Разговор за столом шел бессвязный. Все пили, и Ласточкин тоже.

Алкоголь на него действовал своеобразно. Другие делались разухабисто-болтливее, а у него все мысли, желания сосредоточивались на одном: встать и подойти к роялю. Томился, пока потребность такая не овладевала им целиком, и о чем говорилось, что делалось вокруг, он тогда уже не видел.

Порожек эстрады был низкий. С неясной улыбкой Ласточкин двинулся к оркестровой группе. Музыканты, натренированные на блажь подвыпивших посетителей, посторонились, пропуская его к электрооргану. Плюхнувшись на низкий табурет, Ласточкин сгреб щепотью несколько аккордов, стаккатная россыпь импровизации прокатилась грохотом по клавиатуре и оборвалась.

Ласточкин замер за инструментом, что-то сосредоточенно обдумывая. Выпрямился и начал снова. Простое, что следовало всем узнать, но не узнали, а только подивились нездешности незатейливого мотива. Как будто бы беззаботного и щемящего своей объемной, всеохватной печалью. Оркестр молчал, не смея такому подыгрывать. На укороченной клавиатуре электроорганчика Моцарт оказался стеснен, но все же кое-как уместился. Достаточно, чтобы присутствующих смутить. Только зачем Ласточкин это затеял?

А он продолжал, про себя ухмыляясь. Тугие клавиши, плотное облако обертонов, чересчур жирное, вязкое для исполнения Моцарта, но таков был здешний инструмент, рассчитанный для иного репертуара, где любая глупость хотела показаться значительной. Преодолевая препятствия, Ласточкин все еще надеялся удержать в себе блаженство отрыва, очищения одиночеством, но, вероятно, чересчур много он вкладывал упрямства, чтобы наслаждение свое не отравить. Стук приборов, шепоток, смешки — он резко смахнул руки с клавиатуры. Поднялся и преувеличенно твердо направился к своему столику.

Инстинктивный взгляд из- под коротких белесых ресниц в сторону, где сидела компания Светова: там уже не было никого. Наступил час закрытия. Ксана наклонилась к нему: Ты немножко перепил, милый?

А собственно, почему он оскорбился? И разве следовало стыдиться, что он лабухом пребывал какое-то время? Кстати, время хорошее, веселое, когда все и начиналось. Кухня в том ресторанчике на окраине была дрянной, да и посетители заказы делали скорее для формы, иначе ведь не пускали, не давали сидеть. И слушать.

Пластиковые столики, легконогие стулья, стена в облицовке из пестрых сланцев, верхний свет отсутствовал, молоденькие, подчеркнуто корректные официанты — риск и энтузиазм во всем. Почти подполье. И в переносном смысле, и в прямом. Помещалось то заведение действительно в полуподвале, куда с улицы вели двенадцать ступеней, слякотных либо заледенелых. В крохотном гардеробе мало места, посетители там и не раздевались, входили в зал в пальто. Зябко и накурено. В меню так называемые фирменные блюда — нечто, что брать приходилось, но не хотелось есть. Скудно и в плане напитков: сладковатые разбавленные коктейли. Сидели по двое, по трое, в полутьме, ожидая. Кстати, туда было трудно попасть. Когда успех, молодость, бедность идут рука об руку, это пока всех устраивает. Впоследствии бывает сложнее.

Шурик Орлов в ту пору свихнулся на светомузыке, не подозревая о некоторых догадках в данной области композитора Скрябина. Осю Крутикова, точно бесноватого, сводило судорогами в ритмах рока. Впрочем, все они тогда существовали как одержимые. Но коллективная такая одержимость могла закончиться вместе с их юностью.

Крутиков, спустя время, устроился работать в солидный кабак, где из ежевечерних подношений у оркестрантов складывалась зарплата академика, а день оказывался абсолютно свободным. Только вот жена от Оси ушла, не выдержав такого режима. А Шура Орлов диссертацию защитил, стал доцентом на кафедре химической физики. Ресторанчик же их знаменитый, и до того уже начав хиреть, переоборудовался в обычное дневное кафе, а после и вовсе забыв о былом, обзавелся бурой вывеской с надписью «Полуфабрикаты».

И все же то была колыбель. Ласточкин с Зайчихой там вынянчились.

Отнестись же серьезней к своему будущему их надоумил Эмма. Он первый обронил фразу: «Самодеятельность…» Ласточкин пренебрежительно хмыкнул: самодеятельность, при чем тут они?! Он почти, можно сказать, студент консерватории, прошедший адскую школу подмастерья, да и Зайчиха, как-никак, имела актерский диплом. Но Эмма продолжил: «Малая сцена…» Это показалось уже заманчивей, и даже не без изыска.

Внешностью Эмма обладал не самой привлекательной. Низенький, щуплый, заметно кривоногий, с большим, вытянутым лицом карлика, чье печальное выражение дополнял голос, высокий, пронзительный. Женским именем прозвала его жена, с которой он давно развелся, а прозвище осталось. «Эмилий Антонович» — так к нему только в сугубо официальных учреждениях обращались, где Эмма, к слову, не любил бывать.

Но вот способность убеждать, настоять на своем, безусловно, у Эммы имелась. Раз двадцать на разные лады он повторил: «Ребята, вы только подумайте…» И Ласточкин с Зайчихой, поначалу усмехаясь, протестуя, неожиданно для самих себя согласились. В самом деле, то, что Эмма им предлагал, могло оказаться и разумным: влиться в состав клуба самодеятельности при Дворце культуры крупного процветающего предприятия, в котором Эмма уже год занимал штатную должность художественного руководителя.

На оригинальные идеи Эмма был очень плодовит, и вместе с тем будто рок какой- то его преследовал: никогда ничего не удавалось ему добиться самостоятельно. Все пробовал, и все вроде неплохо получалось — режиссура, актерство, писание небольших одноактных пьес. Но он нуждался в напарниках, искал их, находил: напарники пробивались, а Эмма застревал все у той же черты симпатичных поделок, кое-что из которых другие успешно использовали как детали. Но он не мог завопить: воровство! Сам существовал на впрыскиваниях чужой крови, чужой мысли и без такого допинга обходиться не мог. Особенно удачные соединения получались у него с великими покойниками, они и качество обеспечивали, и оказывались куда покладистее других соавторов. Но, что там ни говори, в артистическом темпераменте, подвижничестве, с которыми он отстаивал отчасти свои, отчасти чужие, но, как правило, интересные замыслы, Эмме отказать было нельзя.

И уж соблазнять Эмма умел действительно профессионально, не щадя сил.

Ласточкин с Зайчихой глядели завороженно, как птенчики, пока Эмма, сияя, гримасничая, весь вибрируя, обрисовывал им перспективы: зал, огромный концертный, великолепную установку, другие сценические приспособления, коими богатое прибыльное предприятие снабдило свой, недавно воздвигнутый Дворец.

Спустя неделю Ласточкин и Зайчиха уже репетировали на клубной сцене при полном парадном освещении, среди царственной роскоши, обилии пурпурного плюша, мраморной крошки, полированного дерева, а Эмма наблюдал за ними из

пустого зрительного зала, скрючившись на откидном стуле, маленький, будто потерянный, в зябкой позе, прижав к подбородку кулак.

Репертуар. Это слово обнаружило новые особые оттенки. Тут требовались скрупулезность, дипломатичность, такт, опыт и еще нечто, в чем Ласточкин с Зайчихой пока не поднаторели. Эмма пытался им разъяснить и буксовал, искал подходящие выражения, чтобы и деликатно вышло, и строго. «Надо учитывать аудиторию!» — то ли на них, то ли на себя он сердился. Внять ему следовало.

Уж он- то успел набить на этом самом репертуаре шишек, когда, например, проповедовал, еще будучи студентом, драматургию экзистенциалистического направления. «Эк-зис-тен-ци-ализм», — произносил теперь с усилием, тщательно, будто прожевывая кислый зеленый крыжовник.

Но Ласточкин с Зайчихой ребячливо фыркали, отмахивались: «Да ладно!

Тебе самому, скажи, нравится? Нам, — расплывались в счастливых улыбках, — тоже!» И, глядя в сконфуженное Эммино лицо, злорадно торжествовали. Вели себя, словом, как балованные дети, а Эмма как заботливый отец. Между тем всех троих очень скоро ожидала катастрофа. Местного, правда, значения.

Номер их завернули. Упредив реакцию публики, при пустом зале, зато в присутствии нескольких значительных лиц. После разноса Ласточкин думал: все же серьезная музыка под более надежным прикрытием, там больше позволено, потому что неспециалисты туда не лезут, опасаясь опростоволоситься. А тут все судят безапелляционно. Песня — для всех. А кто эти «все»? Значит, без подлаживания не обойтись. А после, уступишь еще чуть-чуть, и станешь угодливо ползти на пузе. Где же тогда упрямство сладостное, бодрая злость, предвкушение неизведанного, с которым только и стоит подходить к роялю? Но самое гадкое, что как ни спорь, а ничего не докажешь. Да и обидно: ждали, признаться, восхищения, похвалы. Надо, конечно, изображать стойкость, а все же трусливое подозрение закрадывается: а вдруг они правы, эти невежды, чурбаки?

Погодка в тот вечер выдалась соответствующая, специально для неудачников, бредущих в промозглом, сером, гриппозном начале октября. У Зайчихи откровенно стучали зубы: возможно, так она маскировала подступающий плач. Эмма шаркал ногами по-стариковски. А Ласточкин чувствовал, что у него настолько занемела нижняя челюсть, что он просто не в состоянии рта раскрыть. И все же раскрыл. «Значит, — выдавил

полузадушенно, — что-то у нас получилось стоящее, если так нас огрели. Значит, мы молодцы, а?» Эмма с Зайчихой с сожалением, сердобольно на него поглядели.

Из ресторана возвращались в такси. Ксана не допускала, чтобы Ласточкин, хотя бы чуть выпив, садился за руль. На сей же раз она полагала, что он перебрал, и потому держалась с особой любовной предупредительностью.

Ласточкин капризничал. Он бывал невыносим по пустякам, но в ответственные моменты, как правило, обнаруживал покорность и соглашался с тем, что решала Ксана. И жили они в том доме, в том районе, какие Ксана выбрала, сплетя и раскинув хитроумнейшую сеть квартирных обменов, со столькими участниками, что любой другой запутался бы при одном их перечислении. В результате, прежде чем въехать, из облюбованной Ксаной квартиры было вывезено три грузовика изломанной штукатурки, щебня, одна стена сдвинута, другая ликвидирована, из кухни образовалась ванная, из ванной с куском передней иное нечто, и только спустя полгода Ласточкин явился к порогу своего жилища и узрел тьму нераспакованных картонных ящиков.

Теперь, слава богу, обжились. Ксана, нашарив в передней выключатель, каждый раз тихонько вздыхала и жмурилась от удовольствия: плоды собственной оборотистости вызывали у нее непроходящее горделивое чувство. А Ласточкин все еще немного стеснялся. В первый раз, ошарашенный, так и брякнул: а не чересчур ли?.. Ксана тогда его пристыдила: «К нам же люди будут приходить».

«Вот именно», — обронил Ласточкин глухо.

Потом притерпелся: к дубовым панелям, багетам, бронзе, люстрам, вазам, статуэткам, сервизам. Как только Ксана сумела так быстро все это насобирать?

Прибавились еще туристские яркие безделушки, явной заграничностью искупающие свою дешевизну. Ласточкин искренне одну одобрял — гнутую, распяленную, из многоцветного стекла фигурку клоуна: Венеция вспоминалась.

В Венеции ощутить себя счастливым — не фокус. Поэтому Ласточкин и не делился впечатлениями, но пьяно-пряный, парно-солоноватый дух остался на губах, и голова кружилась. Кому- то другому было неловко описывать: про Венецию все все знали, пусть и не бывая там. Это следовало удерживать лишь в себе — бессонные ночи, розовые фонари Сан-Марко, скученные, мшисто-серые, похожие на осиные гнезда купола пятиглавого собора, мост Вздохов, напоминающий карету без колес, ощущение в

ступнях, исходивших запутанные клубки улочек, зажатых в сырых, осклизлых стенах. И разноцветные флаги сохнувшего белья, развешанного будто специально, как деталь кинематографа. И толчковые всплески плотно-коричневой воды за бортом сливающейся с ней по тону плавно-неуклюжей, медлительной и увертливой гондолы.

И самый дрянной номер в самой дрянной гостинице, с олеографией Мадонны над кроватью, люстрочкой муранового стекла, свисающей с щербатого потолка пестрой связкой засахаренных фруктов. И все вокруг казалось создано из плутовства, надувательства, которым очень хотелось поддаться.

Фигурка клоуна стояла на рояле. Время от времени Ласточкин брал ее в руки, утешаясь прикосновением к искристо-многоцветному стеклу. Почти все свой командировочные он истратил тогда на кофе каппучино, светлое, пенистое.

Сидел на улице за крохотным столиком, лицом к толпе, наслаждаясь, погружаясь… А вечером в номере вскрывал банку мясных консервов: пустые банки все члены их группы из гостиницы уносили и по пути где-нибудь выбрасывали, дабы достоинство не ронять. Это была первая поездка, куда Ласточкина направили как уже признанного популярного композитора-песенника.

Прошло много лет, но постоянно хотелось вставить в разговоре: когда я был в Венеции…

Ксана расплатилась с таксистом, изменяя обычным правилам: Ласточкин по дороге уснул. В подъезде дремала консьержка, но бодро вскинулась, когда жильцы вошли в лифт. «Свои, свои, Марья Степановна», — успокоила ее Ксана, проталкивая в кабину мужа.

Лифт с зеркалом, как и присутствие консьержки, как и подъезд, украшенный чахлой пальмой в горшке, как и район, тип, категория дома соответствовали тому уровню, все оттенки которого Ксана изучила и к которому стремилась, крепко держа за руку своего Ласточкина.

Стремились многие, но Ксану отличала особенная бесстыдная решимость, ею самой определяемая как прямодушие. Она откровенно заявляла, что терпеть не может неудачников, что они ей скучны, вне зависимости от обстоятельств, свойств характеров. Категорически осуждала и тех, кто по каким-либо причинам оказывался смешон. Смешными, то есть жалкими, в ее глазах бывали оставленные жены или мужья. Так же смешно получалось не выдвинуться в начальники, не выделиться в своей области, остаться в тени- подобный промах, с Ксаниной точки зрения, ничем не искупался.

Общаться же следовало лишь с теми, кто выдвинулся. Тогда уже можно было вникать, выказывать собственное оригинальное мнение. К примеру: «Знаете, Пал Палыч хотя и член-корр, а полный тюфяк, в институте с ним никто не считается. А Горская на сцене леди Макбет изображает, а в личной своей жизни — курица». Словом, судила об окружающих Ксана хлестко, что не мешало ничуть ее общительности, жажде обзаводиться все новыми знакомствами, с удовольствием отмечая, как вскипает от наплыва гостей их просторная квартира.

Сомнения в своей правоте Ксану, казалось, никогда не посещали. И она чувствовала себя, по-видимому, настолько сильной, чтобы нападать даже тогда, когда естественнее обороняться.

В каждом слове, каждом жесте Ксана заявляла себя победительницей.

Поначалу это удивляло, потом отталкивало, а потом с нею соглашались, если только рядом удерживались. Определенные чары в ней присутствовали. Чем-то она опаивала, дурным и вязким, от чего у некоторых голова наутро болела, а другие пристращались, привыкали: Ксана умела и любила властвовать.

Ей удавалось даже внушить иное, контрастное первоначальному впечатление о своей внешности. Стройные, хрупкие женщины в ее присутствии никли, в буквальном смысле заслоненные Ксаниной дородностью. Ксана не только не старалась скрыть свою полноту, а будто нарочно с вызовом ее подчеркивала облегающими кричащими туалетами. И такой метод оказывался успешным. Она, случалось, нравилась, точнее подчиняла, а может, и запугивала. Ее кокетливость бывала зловещей, но иных притягивала, вовлекала. Тут тоже обнаруживалась Ксанина «прямота». Она откровенно о том заявляла, о чем другие из робости, из чувства приличия позволяли себе лишь намекать. Правда, все это были шалости преданной любящей жены. Ксана, вероятно, так представляла себе раскованный светский стиль. В окружении, где образцовым воспитанием мало кто отличался, Ксанина манера расценивалась как броско-декоративная.

Во всяком случае, незамеченной Ксана не оставалась. Такого позора она бы и не снесла. Ее темперамент жаждал выхода, и она со всей старательностью разнообразила свое существование в качестве жены известного мужа.

Вход шли и интриги, сплетни, во-первых, чтобы себя занять, во- вторых, ради общей семейной популярности. Трудилась, правда, Ксана в расчете на определенный круг, воображая конкретные лица, их реакцию; а дальше — тьма. В этой «тьме»

имя плодовитого песенного композитора обращалось уже в слабо тлеющую точку, а то и вовсе пропадало как несуществующее. Но если возможно усомниться в способностях, признании, степени известности, то существует и кое- что осязаемое, зримое, материальное, что, в случае чего, предъявляется как веский аргумент. Квартира, машина, одежда, украшения в восприятии Ксаны были не только вещами, но и доказательствами успеха, таланта ее мужа. Вот почему она всегда старалась соответствовать высокому уровню, подыскивала тщательно престижный район, отличную квартиру — нуждалась в твердой линии обороны, куда бы не могли проникнуть ни чужие, ни ее собственные сомнения относительно положения, влияния, творческой состоятельности ее мужа. Да и самому Ласточкину, впрочем, квадратные метры их жилой площади вселяли большую уверенность в себе.

… Пока поднимались на восьмой этаж, Ксана расстегнула пышную длинноворсовую шубу, в которой она выглядела устрашающе монументально, достала ключи из сумочки. Ласточкин, пыхтя, привалился к стенке кабины.

Напивался он крайне редко, так что Ксана, можно сказать, была удивлена.

Справившись с замками, Ксана подтолкнула мужа в переднюю. Со стен запрыгали аршинные буквы, то распадаясь, то складываясь в фамилию ЛАСТОЧКИН.

Это тоже была Ксанина затея — обклеить прихожую афишами, быстро желтеющими, так как печатались они на паршивой бумаге. Ласточкин неверной рукой потянулся и сорвал одну, державшуюся на клейкой ленте. Ксана обернулась с шубой в руках.

— В чем дело? — раздельно произнесла. Ее снисходительность имела все же пределы.

Ласточкин в дубленке, ондатровой шапке прошел в гостиную — она же кабинет, где стояли гарнитур «Эдвард», бархатные лоснящиеся диван и кресла, телевизор с приставкой видео, а хвостом в угол загнали рояль. Все тот же «Ибах», в поголовной новизне единственный свидетель прошлого. Правда, с него сняли серо-дерюжную попону. Ксана говорила, что вкрапления старины хорошо смотрятся в современном интерьере. Последнее ее приобретение оставалось еще не приспособленным, без места: мраморная с барельефом каминная доска. Теперь очередь за часами, обязательно бронзовыми, фигурными.

Ласточкин плюхнулся с размаху в кресло. Ондатровая шапка сползла к бровям, подбородок вперед выдвинулся: вид малоинтеллигентный. Ксана, не выпуская пышноворсовой шубы,

вошла следом, встала напротив. Вгляделась с осуждающим интересом.

— В чем дело? — повторила еще раз. Ласточкин молчал. За годы совместной жизни у них чаще возникали причины для торжества, чем для взаимных упреков, и Ксана сейчас недоумевала.

— Хочешь чаю? — спросила.

Ласточкин отмалчивался. Ксана вышла в кухню, заставленную коллекцией пылящихся самоваров, пестрых базарных поделок, накупленных в пору их модности. Зажгла конфорку, собираясь поставить чайник, и замерла, наблюдая синее рваное пламя…

Это был подлый алчный мир, артистическое их окружение. Все занозисты, вздрючены, каждый мнит из себя нечто, и доверять нельзя никому. Лишь видимость понимания, поддержки, а вокруг клыки и когти. Узкое братство, кучечками, а вокруг толпы головорезов. Затейливые сладкие речи и мгновенный предательский выпад. Она-то, Ксана, навидалась. Созывая на концерты Ласточкина знакомых, хвалилась их численностью, сознавая, что недоброжелательство и зависть клокочут под шелковистой шкуркой комплиментщиков. И только очевидный успех, только сила способны смирить их кровожадность. В радостную опьяненность победой всегда просачивалась такая отрава.

Но ладно, это еще можно преодолеть в паре с крепким, удачливым спутником. Но на него-то можно положиться? Полностью? Никогда! Шкодливый мир, взбаламученный постоянными изменами, разладами. Причем пострадавший не найдет поддержки. Скорее оправдают согрешившего — так поступала и сама Ксана. В себе не находила и от других не ждала иного взгляда, отношения. И ведь кому признаться, сколько опасностей таит благополучная жизнь? Самый гнетущий тогда сопровождает страх: чтобы ничего не менялось.

Поставила на поднос тарелки, чашки, вошла в гостиную — кабинет.

Ласточкин по- прежнему в кресле пребывал, в той же мрачности.

— Ты не проголодался? — приближаясь грузно, прощебетала Ксана.

Не дождавшись ответа, составила закуски, чайник, блюдо с эклерами (да все, вероятно, из-за Зайчихи, так и не пришла!) на низкий столик.

Провалилась в кресле напротив. Сделала лакомый бутерброд, семга и ломтик лимона, протянула. Ласточкин принял и начал

мерно жевать. Отхлебнул чай.

Ксана почувствовала, как изнутри отпускает, освобождаются тиски. Ей нравилось, когда они ели, муж и сын. Стабилизация наступала, крепла уверенность. Хотя несла свою полноту Ксана с вызывающей горделивостью, втайне ей хотелось похудеть. Но не получалось, и она выбрала другой путь — Ласточкина раскармливала. Должны они были соответствовать друг другу, и чтобы это бросалось в глаза: да, мы — такие! Позиция, образ, стиль.

А Ласточкин жевал, и ярость в его глазах постепенно блекла. Ксана влюбленно наблюдала за ним:

— Знаешь, чем я в тебе восхищаюсь и что сразу отметила: ты все делаешь с аппетитом, и в этом тоже сказывается твой талант. Только аппетита не утрать, тогда тебя ждет большое будущее. Подлить еще чаю?

Ласточкин дернул головой невразумительно, то ли «да», то ли «нет». И хмыкнул, может, пренебрежительно, а может, удовлетворенно.

… Ему снилось, что рот у него, залеплен пластырем, больно рвущим губы, дышать только носом трудно, а он еще пытается петь. Мелодия бьется, просится наружу, надо бы встать, записать поскорее, но ноги тоже чем-то опутаны. Совсем простое, короткое, из пяти тактов, но там, как в зародыше, новое, небывалое что-то. Небывалое, по крайней мере, у него, с ним. «Вот как надо», — с предельной ясностью до него доходит. Проговорено об одном, всем понятном, доступном, но нити, щупальца в толщу уходят, и там — бездонность догадок, версий, то ли пережитое, то ли подсказанное неизвестно кем.

Щемящее, зыбкое ощущение узнавания. Пронзительно: вот оно! Как у Шопена, бывало, в этюдах сплеталось: вокруг да около, сплошные будто недоговоренности, а на самом-то деле — все об одном, одной болью из одной раны. Гордое щепетильное одиночество.

Вздох, спазм — оттого что трудно дышать? Или мелодия в учащенном пульсе надломилась паузой? Нет текста. Слава богу, текста нет. Хорошенькая задачка — слова перемалывать до полной неузнаваемости, раскатывать гласные, точно отскочившие от телеги колеса, в шепоте изжевывать половину фраз, а другую половину неожиданно высвечивать сполохом ударных. Под чьей ответственностью находится смысл в современном песенном жанре, неясно. Во всяком случае, это не забота исполнителя, и слушатели так и воспринимают.

— Ненавижу текст, — прохрипел полузадушенно Ласточкин.

— В чем дело? — четко, раздраженно произнесла Ксана. — Что происходит в конце концов?

Ласточкин уткнулся лицом в подушку. Индийский вышитый гарнитур. «Без переплаты двадцать пять рублей!» — счастливо оповестила тогда Ксана. Теперь она присела на постели, ждала. Ласточкин лежал поверженный.

— У меня ничего не получается, — пронял жалобно. — Одна пошлятина. И такое ощущение, что я всех обманывал и скоро, очень скоро разоблачение наступит.

— Дурачок, — Ксана дробно рассмеялась. — Выпил и впал в самоистязание.

Впрочем, это ведь обычно для творческих натур. Захвалили тебя, дорогой, и вот сам проблемы ищешь. Я-то думала… — она не договорила, укладываясь поудобнее на бок.

Ласточкин вынужденно зевнул: действительно, третий час ночи. Но забылся только к утру и во сне чувствовал, как наваливается на него Ксана жаркой грудью.

Смешно сказать, но толчком к его раскисшему состоянию оказалась встреча с Морковкиной. Господи боже мой, он уже лет двадцать вообще о существовании ее не вспоминал. Ну да, со школы. Но узнал тут же по все той же немыслимой несуразности, которой она всегда будто нарочно добивалась. Одна походочка чего стоила, нервно-вертлявая, с подскоками, так что хотелось невольно ее обойти, на всякий случай, как бы чего не вышло…

Он и отступил инстинктивно, пропуская вперед эту женщину, но вдруг увидел вполоборота серый, скошенный, испуганно скользнувший взгляд, брови выщипанные, подбородок, вздернутый с вызывающей заносчивостью. И какая-то дурацкая вязаная шаль, накинутая поверх кроличьего старого жакета, красные на платформе сапоги — всегдашняя ее претенциозная безвкусица. Он скривился, но не смог не окликнуть, скорее по обязанности:

— Эй, Морковкина!

Она обернулась, будто ее шарахнули, озираясь подозрительно. Уставилась, пока Ласточкин по узкому тротуару шел к ней.

— Ты-ы?! — выдохнула. — Быть не может… — глаза у нее сделались совсем круглыми. Ласточкин тихо, сам не зная, чему так радуется, засмеялся.

Он шел по делу. Только по делу он теперь и ходил. Либо ездил в машине.

Либо в поезде, на самолете мчался куда-то. С конкретной целью. А как иначе?

Иначе нельзя, если хочешь чего-то добиться, достичь. Он сам в себе ценил, и другие в нем ценили обязательность, энергичность. Это тоже стало приметой стиля: никакой уклончивости, двойственности. Определенная задача, четкое исполнение: об этом — только так. Когда ему поручали музыкальное оформление гала-представлений, он, с легкостью тренированного спортсмена, без малейшей сшибки в дыхании, как насосом накачивал бравурно- бурливыми ритмами номер за номером, и массовый, и сольный. Зарождение, развитие музыкального материала происходило в таких случаях как у простейших, у инфузории-туфельки, путем деления. Возможно, кому-то представлялось: валовой метод. Мол, подумаешь!

Был бы досуг, и я бы эдакое сотворил. Но Ласточкин, чтобы ни говорили, ощущал безусловный азарт, наматывая рулон за рулоном километры нотной ткани, и это складчатое грубое изобилие тоже по-своему радовало его.

И вот он шел по делу и столкнулся с Морковкиной. Под его взглядом, вполне доброжелательным, она поежилась, стараясь изобразить улыбку:

— А ты растолстел!

Ну что с нее взять? Осталась, какая была. Разве можно на такую обижаться? Тем более Ласточкину, тем более сейчас.

— Зато ты по-прежнему стройная, — сказал, как сумел, добродушней.

— В общем- да! — признала она охотно. — И вроде помногу ем, а все точно куда-то проваливается. — Какой-то прохожий в этот момент задел ее, и она, шипя, вскинулась: — Черт… мчатся, как сумасшедшие! — Но сразу успокоилась, прищурилась не без кокетства. — А, знаешь, если присмотреться, тебе эта мордастость даже идет. — Фыркнула: — Ой, Ласточкин! Ну и встреча!

Шли рядом. Ласточкин, начиная вскипать, подумал, что быстро отвязаться от Морковкиной у него не получится. Либо сразу надо рвануть, сославшись на срочные дела. Но почему-то медлил. Морковкина поспешно семенила, заглядывая на ходу ему в лицо, от ее суматошности он внутренне морщился, а вместе с тем не решался оторваться: он не только сразу ее узнал, но сразу понял теперешнее ее положение. Неверно, будто неудачник воспринимается таковым лишь тогда, когда известны факты о его невезении. Нет, неудачник распознается сразу. По запаху. По смиренной боязливости взгляда. По агрессивности манер. По вздрагивающей обиженно нижней губе. По эдакой деланной независимости. Искусственной сдержанности. Нарочитой оживленности.

То есть никаких примет нет, просто это мгновенно учуиваешь

и не ошибаешься.

Морковкина говорила без умолку, ни о чем. Ни одного разумного вопроса, выказывающего какую-либо ее заинтересованность судьбой Ласточкина, ее осведомленность о его нынешнем положении, деятельности. Держалась так, точно они расстались вчера, и какие тут могли произойти события?

Кудахтала о гастролях знаменитого дирижера, мимо афиши концерта которого они прошли, о погоде, мол, слякоть, и соль портит обувь, об очереди в овощной магазин, верно, бананы завезли. У Ласточкина уже сводило челюсть, он усмехался, еле преодолевая себя.

— Ну, а что ты сама-то теперь делаешь? — спросил, сбив ее щебетания.

— Как что? — она искренне удивилась. — Играю! — даже замедлила шаги.

— Где и что именно? — продолжил он, не церемонясь.

— Играю… Ну и дома, конечно. И в школе, где преподаю.

— А-а! — он протянул. — Ясно.

— А что ты думал? — она нервозно хихикнула. — Не все же стали лауреатами.

А ты… — слегка замялась, — работаешь где?

В свою очередь он чуть не поперхнулся.

— Морковкина! — под иронично-строгой интонацией он постарался скрыть досаду. — Ты телевизор, радио включаешь иногда? Слушаешь выступления, концерты? Эстрадные, я имею в виду. Есть, знаешь, такой жанр, популярный, легкий, по определению некоторых. Вот в этом жанре я и работаю, не знала?

— Не-ет, — она протянула озадаченно.

— Ну вот, послушай… — презирая себя, он напел без слов начало своего «Ручейка», известного, как ему представлялось, настолько, что мелодия звучала уже как девиз.

— Да, вспоминаю… — Морковкина проговорила задумчиво. — Это, кажется, Зайцева поет.

— Вот! — поторопился подытожить Ласточкин. — Не так уж ты, значит, оторвалась. Вспомнила и про Зайцеву. Весьма польщен, — он слегка поклонился.

— Да… — Морковкина повторила пропетые им несколько тактов. — Довольно симпатично и очень, очень напоминает первую тему второй части Четвертой симфонии Брамса, так ведь? — пристально глядя на Ласточкина, тоненько, чисто вывела начало Брамса.

От неожиданности он не нашелся что ответить. Он в самом деле не знал!

Забыл… Но она-то! К чему в глаза тыкать? Странно, грубо…

— Ты расстроился? — она заботливо к нему наклонилась. — Я думала, ты сознательно. А так — тоже бывает. Сам знаешь, все друг у друга воруют — и очень даже достойные, и даже кое-кто из великих. Не в том ведь дело. Смотря кто брал, у кого и с какой надобностью. Одни чужое возвеличивают, другие принижают. Как Малер говорил: материал не нов, расположение материала новое. Ну ладно, что ты в самом деле. Я ведь так, пошутила…

— Ничего себе шуточки, — пробурчал он, отдуваясь.

— Ты что, серьезно? Ты так серьезно к этому относишься?

— К чему «этому»?

— Ну вот… что по телевидению, по радио…

Он развернулся к ней всем корпусом:

— Радио, телевидение — это миллионная аудитория. Притворяешься, что ли, что не понимаешь?

— Я понимаю! — она сказала на выдохе. — Многие слушают. У многих не развит вкус. И вместо того чтобы воспитывать, подлаживаются и еще больше портят. Не хотят, верно, рисковать…

— Вот ты бы и занялась, — он хмыкнул.

— Да нет, при чем тут я? Ты послушай! — Он усмехнулся ее горячности, теперь она внимания его добивалась, а он выжидал. — Почему, правда, так получается? Ведь в общем-то каждому человеку присуще чутье на хорошее и на дурное. В искусстве тоже. Если бы надо было вникнуть самостоятельно, уверена, что разобрались бы. Но то ли из лени, то ли по чьему-то злому умыслу… — она вздохнула. — Ну скажи, зачем такое количество второсортного?

То есть зачем в первую очередь второсортное скармливать, а настоящее оставлять как бы про запас? Таков спрос? Нет, у меня, во всяком случае, ощущение, что второсортное нарочно поощряется, не знаю вот только, с какой целью. Оно выгоднее, легче ему пробиваться, не замечал? Всегда так было?

Возможно… Но теперь иные во всем масштабы, и со второсортным тоже — глобальные.

— Ишь ты, сколько наблюдений. Прямо специалист по вопросам массовой культуры.

— Не отшучивайся. Я ведь с тобой откровенно, поскольку ты, как оказалось, имеешь отношение… И музыку любишь, способности у тебя. Я помню, как ты играл в школе. Шопена в особенности.

— Спасибо, хоть поощрила.

— Ну зачем… Зачем мы вообще с тобой так? Я ведь обрадовалась, тебя увидев…

— Я тоже, — примирительно сказал он. — Но тебя

темперамент захлестнул, как и раньше бывало. Накинулась. А я как- то, знаешь, отвык.

— Прости! — она воскликнула и вцепилась ему в рукав с неожиданной отчаянной силой.

Он отстранился с внезапным стыдом за нее, за себя, заметил, что на них оглядываются. Представил, как они со стороны выглядят, он — и крикливо, чудно одетая немолодая женщина. Скандал, семейная сцена?

— Ну что ж, твоя агрессия достойна продолжения. Давай запиши мой телефон. Созвонимся, встретимся…

— Давай! — она обрадованно заулыбалась. — А нечем, — растерянно произнесла, порывшись в сумочке.

Он нагнулся, вынул из портфеля блокнот, крупно набросал номер. Обычно носил с собой визитные карточки, на глянцевой бумаге с изящным выпуклым шрифтом: А.В.Ласточкин, композитор, адрес, телефон, — но по какому-то наитию решил сейчас не доставать визитку.

Она благодарно приняла листочек. Подхватив портфель, он шагнул к переходной «зебре», но снова обернулся:

— А ты как, замужем? — сам не зная зачем, спросил.

Ой, что ты! — она прыснула, расплылась всеми своими морщинками, точно он очень удачно ее рассмешил.

Вспомнив этот эпизод на следующий день, Ласточкин аж крякнул. Завестись от стародевичьих банальностей — ну и идиотство! А еще разобиделся, нахохлился, от чьих упреков? Представил увядшее лицо, обтертый жакет, сапоги на гигантской платформе. Ясно как она живет, по урокам бегает, киснет с учениками-бездарями в какой-нибудь районной музыкальной школе. А кто, собственно, выбился из их выпуска? Ну Славик премию на конкурсе схватил, так он и был самый даровитый. Теперь гастролирует. А что такое концертная жизнь?

Только для несведущих может праздником показаться. На самом деле — постоянное преодоление самых разнообразных неудобств. В поезде трясешься или застреваешь в аэропорту, одуревая от скопищ народа, томительной неизвестности, отсутствия элементарных удобств. Потом гостиница, номер, делимый с кем-то неизвестным, с буфетом, где в изобилии коньяк, шампанское, а стакана кефира не достать, места же общего пользования в конце коридора.

Потом самое тягостное. Полупустой зал, инструмент, либо тугой до полной омертвелости, либо раздрызганный настолько, что с клавиатурой не сладить. Но ты — исполнитель, во фраке, вылощенный, играешь Дебюсси. Заканчиваешь — и под ледяной

душ жидких аплодисментов. А что? Работа есть работа.

Капризничать не приходится, едешь, куда Москонцерт, Госконцерт посылают и где вовсе не обязательно тебя ждут. А в награду, если заслужил, если достоин, — трехдневный Рим или Будапешт, Берлин, которые так и остаются нереальными, потому что опять же, кроме гостиничного номера и концертного зала, ты почти ничего не увидел. Удовлетворение? Ну, конечно, бывает. Должно быть. Иначе разве вытянешь?

Как и в том случае, если представилось трудиться на педагогическом поприще. К примеру, сонату Гайдна ре мажор разучиваешь с разными учениками столько раз, что, если сложить время ее звучания, получатся годы. Учитель — это человек, который постоянно поднимается в гору и постоянно возвращается к ее подножию, так до вершины и не добравшись. И если от младенческого гугуканья ученика душа твоя родительская ликует, значит, педагогика — твое призвание. Но бывает, хочется схватить дубину, размахнуться и…

Ну Славик. Ну Дима Кроликов, получивший класс в консерватории, а также преподающий в школе «для вундеркиндов», которую они все закончили. Ну еще Нюра, принятая в первоклассный симфонический оркестр. Несколько девочек можно считать устроившимися, потому что они удачно повыходили замуж. А остальные? Угадать бы судьбу свою раньше, и к чему тогда многолетняя бешеная гонка, разгул честолюбия, истерики, зависть, сопровождающие их, так называемый, ранний профессионализм? Чадолюбивые родители сил не щадили, чтобы заранее определить будущее своих отпрысков. Ремесло-де штука надежная, всегда, во все времена. Правда, обучение ремеслу в раннем возрасте не лишено некоторых недостатков, общее развитие страдает, увы. Пестуя талант, калечит иной раз просто способных. Но ведь в каждом большом производстве без отходов не обойтись. Их списывают.

Ему, Ласточкину, удалось увернуться; провал при поступлении в консерваторию в итоге обернулся удачей. Иначе его ждала бы жалкая участь середняка в сфере искусства, особенно исполнительского, связанная с такими унижениями, о которых не ведают не блещущие способностями представители других профессий. Да вот, к примеру, Морковкина. Болезненная ее экзальтированность, затянувшаяся невзрослость- тоже в какой-то мере результат неудавшей ся артистической карьеры. Все ясно, поставлены все точки над «і», а возбуждение, лихорадочность не проходят. И мечты, мечты…

Вариант маниловщины, но еще более жалкий, вредный, потому что связан с разочарованиями, озлобленностью.

«Права Ксана, — Ласточкин подумал, — что сторонится неудачников. — И зачем я свой телефон ей дал?» От слабости, неловкости и еще какого-то неясного ощущения — виноватости, что ли?.. Она, Морковкина, в школе была хорошенькой, что понимали взрослые, а сверстников раздражала ее, как они определяли, дурость. Все в ней воспринималось манерным, надуманным, как это, впрочем, случается иной раз именно с предельно искренними натурами. Ей бы восторженность свою слегка поунять, посдержаннее бы себя вести, похитрее.

Даже в их школе, где чудачества скорее уважались, как примета неординарности, Морковкина считалась фигурой анекдотичной. Она витала, у нее увлажнялись глаза, могла вдруг расплакаться для всех неожиданно от избытка, так сказать, чувств-с. Но эти странности в обосновании нуждались: если бы за Морковкиной признали явный исполнительский дар, ей бы и не такое простили.

Но одной музыкальности для пианиста мало: пальчики, техника нужны. Опять же — головка. А у Морковкиной в голове — радужный туман, а сама, как кузнечик, хрупкая, узенькая лапка, годная лишь для домашнего музицирования.

Она страдала. В ней что-то пело, вдохновенно пылало, но наружу не просачивалось: за роялем оказывалась застыло-робкой. Продолжала биться как рыба об лед, надеясь, верно, кому-то что-то доказать? Вот-вот могли ее отчислить, но не отчисляли, хотя педагогический совет их школы славился своей свирепостью. Быть может, поразмыслив, педагоги прикидывали, что в каждой области существует костяк из честнейших, преданнейших и свыкшихся со своим беззвездным уделом специалистов, и их тоже надо готовить, как и избранников. Морковкина жила с клеймом второсортности, всем видным, только не ей.

Она трепетала. У нее по-прежнему увлажнялись глаза, когда на уроках музыкальной литературы из динамиков звучал грозно томящийся Вагнер или еще кто-либо, включенный в учебную программу. Стискивала крошечные, прелестные — не мечтай она стать пианисткой — ручки, точно пересиливая боль, брови ее страдальчески надламывались: все это было, возможно, правдиво, но не оправдано, и за спиной у нее раздавались хихиканья.

Даже признать ее явную привлекательность ровесники отказывались, и она начинала уже дурнеть, потому что никому не нравилась.

Только на выпускном вечере, явившись в простом синем платье с белым воротником, она вдруг будто вынырнула из подернутого ряской, тускло-коричневого болота, засветилась, засверкала крылышками, стрекозиной глазастостью, но это лишь

мельком отметили: сегодняшнее уже не интересовало, жили завтрашним.

Удивительно, что Ласточкину запало синее ее платье, строгость неожиданная, испуг, застывший в мохнатых глазах, точно впервые она осознала…

А ни черта! Вместе со всеми, ничуть вроде не колеблясь, стала ломиться в ворота консерватории. Их захлопнули, естественно, перед ее носом. Она год выждала и снова ринулась на штурм. Третья попытка наконец-то ее отрезвила: подала документы в Гнесинский на вечерний и дальше канула в небытие.

Впрочем, и Ласточкин оторвался, отошел от прежнего окружения. Поначалу из-за ущемленного самолюбия, потом в силу занятости. То, что Морковкина закрылась пеленой безвестности, казалось ему понятным, оправданным, но вот что она ничего о нем не слыхала!..

Ласточкин недоверчиво усмехнулся: полное неведение Морковкиной казалось ему подозрительным. То, что он делал, могло, разумеется, и не нравиться, но сильнее, чем ругань, задевала бы безвестность — этап, он полагал, им пройденный.

Он знал, как поносят Зайчиху, за вульгарность, самонадеянность, и хотя кое- что в подобных отзывах бывало, возможно, и справедливо, на положение Зайчихи это влияние не оказывало. При широком обсуждении голоса недоброжелателей тоже в итоге являются данью. Популярность всегда привносит чрезмерность в оценках, полярно противоположных: избыток похвал отзывается, как эхо, гулом негодований. И то, и другое следует воспринимать сквозь фильтр, но очень быстро привыкаешь к шуму, тебя сопровождающему: тут как раз зависимость и возникает.

Все вроде соглашаются, что известность влияет на поведение, на характер. Одни, у кого больше вкуса и такта, держатся подчеркнуто скромно, но это скорее искусная игра. Других заносит, и окружающие с удовольствием отмечают их промахи. Но как у тех, так и у других в отношении к собственным недостаткам возникает особенная ревнивая заботливость: не только стремление к самооправданию, людям свойственное, но и осознание определенных своих несовершенств как бы неотъемлемой частью дара. Может быть, вольно или невольно, это вызвано стремлением к самозащите у тех, кто постоянно на виду?

Для Ласточкина заветной стала фраза: «Я пробился сам». Не обязательно он ее вслух произносил, чаще повторял мысленно. Без поддержки, протекции, родительской опеки — ясно? Никто не наставлял, не советовал, не вел за ручку. Атмосфера в доме, в

семье к занятиям искусством не располагала вовсе.

Какое там!.. К отцу, матери — нормальное сыновнее чувство, но без тени идеализации, трепетной нежности, ностальгии по детству, до старости не проходящей у тех, кто рос, воспитывался в родительской любви; кто задолжал, свято задолжал так много, что никогда не расплатиться; кто боль потери, необъяснимую и непростительную вину переживал не только на кладбище; кто гордился породой, преемственностью, ощущением корней.

А можно гордиться, наоборот, безродностью. Сознанием разрыва, отрыва.

Это тоже заряд, и бывает, что употребляют его даже с большим толком — в смысле деловом. Конечно, кто-то становится первым в роду, выбивается из общей цепочки, и уже за ним тянется нить следов. Только быстро, к сожалению, эта нить почему-то обрывается в наше время…

Энергия Ласточкина была энергией первопроходца, человека, сделавшего себя самого, о чем ему часто, но всегда вовремя напоминала Ксана, подтверждая свои способности хорошей жены. Очевидная направленность подобной энергии как бы уже не оставляет ни места, ни времени для оттенков, сомнений, медлительности. Завоевывать надо и столбить, и вкус, аппетит не проходит, потому что всего хочется, все не опробовано, все — впервые.

Работа и успех, и деньги, и положение, и вещи, и еще вещи, и новая небрежность к ним, вместе с новой свободой денежных обращений, с укреплением положения и боязливостью, как бы не пошатнулось оно, наслаждение непривычным и страх перед быстрым привыканием, чтобы не увязнуть, не пропасть, когда почему-либо лишишься того, о чем прежде понятия не имел.

Достаточно банально. Самолюбие, тщеславие, будучи частью силы, оказывается и причиной повышенной, болезненной уязвимости. Ксана приходила разгневанная: в Союзе композиторов их обделили, отказали в путевках в Дом творчества на август месяц, сославшись на переполненность именно в этот сезон. «Так что же нам, зимой к морю ехать?» — Ксана возмущалась. Ласточкин мгновенно заряжался ее негодованием, вскипал, хватал телефонную трубку.

Путевки путевками, но отказ оскорблял как посягательство на его, Ласточкина, права, то есть на положение, репутацию, и даже больше, бросал как бы сомнительную тень на самою его творческую продукцию — вот что задевало подспудно сильнее всего.

Гарантий, что давала бы должность, увы, не имелось. Приходилось творить, без устали, без перерыва, возникать в

концертных программах, участвовать в фестивалях, смотрах, мелькать в рецензиях, договариваться, обусловливать — чтобы не забывали, не сбрасывали со счетов! Ощущение толкотни, многолюдства постоянно преследовало Ласточкина, даже когда он бывал один: казалось, жмут на него, давят. Надо других перекричать, обратить на себя внимание в общем гуле. Надо что-то придумать, надо…

Это просачивалось в его музыку? А в мозг, в кровь?

Он, Ласточкин, работал. И вкусно ел, надевал яркие пиджаки, не без труда приобретаемые Ксаной. Но это ведь чушь, будто только в голодном головокружении шедевры создаются. И добродетельность тут ни при чем, как, впрочем, и порочность. Ничто вообще не объясняет и не обещает творческих удач. Даже боль. Боль есть у всех. Как и страх. Как и способность к их преодолению. Только разные, очень разные существуют для этого способы, а выбирает каждый сам. Или не выбирает?

Без боли, естественно, какой ты художник? Но боль не должна мешать благополучию, процветанию — как вот тут извернуться? Чтобы и боль, значит, и утонченность, и душевная артистическая отзывчивость, а одновременно — комфорт, благосостояние, настроение бодрое. Да-да, настроение, подтверждаемое широкой улыбкой. Взглядом соответствующим, походкой, жестом плюс еще миллион доказательств того, что тебе везет. Везет, но сам ты собой не доволен, не удовлетворен, находишься в поиске, потому что творческая натура, потому что так принято, таков образ современного победителя.

Совестливого, но зубастого, истерзанного благородными метаниями, но крепкого здоровьем, независимого, но аккуратного в высказываниях, и лучше, если он, победитель, еще и одет хорошо.

При чем тут, правда, артистические, художнические искания, импульс творческий? А ни при чем. Так, вскользь, случайно обронилось. Не о таланте речь, а о пути к известности, к успеху.

И тут, прежде чем уровня достичь, где окажешься замеченным, осмеянным, опутанным сплетней, какой ведь путь надо пройти! С нуля. Оглянешься, зябко делается. Как же себя не уважать? Сам пробился.

Устаешь, но ложь, будто так уж жаждешь покоя. В безостановочной деятельности, пусть даже суете, скорее уверенность сохраняешь. Нельзя мотор глушить. Слышите рокот? Узнаете Ласточкина? В современный песенный жанр он внес свое.

Как Зайчиха — свои прыжки, придыхания, взвизгивания. Не нравится? Надоело? Полагаете, стала халтурить? Но ведь миллионная аудитория ликует, ждет, и у молоденькой

приемщицы в химчистке на столе под стеклом, рядом с прейскурантом, ее, Зайчихина, фотография, и ломятся, ломятся на ее концерты — кстати, не только почитатели, но и недруги. Почему бы? А потому, что Зайчиха олицетворяет собой то ли всенародное признание, то ли дешевый успех, то ли бесстрашие неординарности, то ли падение вкуса. Словом, занятно. Штрих времени. А кроме всего прочего и вне зависимости от оценок — ведь пробилась.

Сама.

Ласточкин защищал Зайчиху от нападок. Помимо братской, цеховой солидарности, он чувствовал в ней сироту, что объяснить было бы непросто. Но именно под шквалом оваций, на огромной космодромной сцене, в пожаре юпитеров, метания Зайчихи с микрофоном у лягушачьего, перекашиваемого конвульсиями рта вдруг казались ему зрелищем нестерпимым, и он в тошнотной слабости прикрывал глаза. Внезапно переставал слышать Зайчихин немой вопль.

Ее торжество производило впечатление некоторой обезумелости. Чего-то в ней недоставало, чего-то оказывалось чересчур и выплескивалось с болезненной расточительностью. В отличие от лиц западных поющих звезд, ее лицо и под гримом не превращалось в ослепительную маску, природные недостатки в нем сохранялись, бросались в глаза, но поражало, восхищало и раздражало выражение упоенной отваги. Она все еще сражалась, причем с оттенком явной скандальности. Почти склоки. Это была уже та степень самоотдачи, от которой веяло истеричностью. Иначе — доморощенностью, дилетантизмом, что кого-то царапало, кого-то трогало, и возникало странное щемящее чувство.

Звезды Запада самые рискованные движения облекали лоском безупречной отлаженности. Их акробатика зрителей не смущала, являясь скорее рекламой образа жизни звезды, железной подчиненности режиму. Певица вставала на голову, продолжая петь — было чему подивиться. Класс, уровень, для всех очевидный. Как очевидны рамки, границы жанра. В первую очередь для самих исполнительниц.

Иначе обстояло дело у Зайчихи. Она будто тяготилась клеймом развлекательности. В ней клокотала обида и не находила выхода. Все резче это проявлялось, все обостренней, почти на срыве. Может, поэтому у Ласточкина вдруг возникала к Зайчихе зябкая жалостливость?

Тень сиротства лежала и на общем их деле. Легкая музыка. Популярность плюс, как известно, большие гонорары. Плюс узаконенность как бы дурных манер, естественных у подкидыша,

но заставляющих морщиться некоторых.

Традиция, казалось, лишь закрепляла несправедливость. А за обиды — еще сокрушительней вой, гул, вибро-ВИА, надсадней вопли, припадочные восклицания электрогитар. Какая могла быть мера? При обожании массового слушателя, кто-то брезгливо отводил взгляд. Неодолимое сопротивление толкало в грудь.

Зайчиха взвизгивала, у Ласточкина в ярости каменела челюсть: у обоих возникало чувство, будто им что-то недодали, хотя оба пользовались *всем*.

Возможно ли предположить, что нуждались они как раз в плече, руке, родственном ревностном огляде, предостережении, получаемых в семьях, где линия длится, традиция важна? Где существует, так сказать, культурный задел, которого хватает на много поколений. Где, помимо папы и мамы, еще и дедушка вспоминается, отлично знавший латынь, а бабушка, кстати, неплохо мазурки, вальсы играла, а на веранде стояла поскрипывающая, разогретая солнцем соломенная мебель, пирог с малиной на столе остывал, и разговоры велись непонятные детям, но они при сем присутствовали. Дышали, впитывали атмосферу, удержавшуюся надолго в них, посему они не смели сказать: «Я сам, до меня никого не было».

Впрочем, всегда чего-то недостает: относительно же культуры — беда эта в наше время общая. И что там — легкая музыка, серьезная! Ласточкина постоянно просили: сыграй, пожалуйста. В компаниях, на днях рождения, юбилеях. Не баховское ждали — ласточкинское. И он с готовностью шел к роялю.

Безотказность сама собой предполагалась в характере его творчества. Вообще он играл одно и то же, повторяясь без неловкости и без скуки, как это свойственно исполнителям. Искусственная оживленность в какой-то мере и есть артистизм. Фальшь тут улавливают придиры, далекие от мира сего. Вот им и надоедает, вот они-то от повторений и куксятся. А аудитория в целом воспринимает все как свежее: кто из доверчивости, кто из небрежности, от неспособности помнить, сравнивать.

Их с Ксаной часто в гости звали. И если имелся инструмент, в любом обществе, при любых сборищах, Ласточкин рано или поздно оказывался в центре внимания. В других случаях он пластинку свою дарил. Огорчало, что в большинстве современных квартир рояль теперь вытеснялся. Зато посещение ресторана, как правило, заканчивалось его импровизацией: Ксана млела, млели посетители, Ласточкин — привык.

Конечно, обилие знакомств — одно, а друзья — другое. Но в задушевной дружбе Ласточкин и в юности не особо нуждался. Теперь же лицо друга заменил так называемый круг. Понятие

условное и вместе с тем достаточно определенное, влиятельное и влияющее, ну, скажем, на внутреннее состояние, равновесие. Мнение круга, его оценка — не пустяк, как часто напоминала мужу Ксана. Хотя она же заявляла, что критериев никаких нет, а есть полное безразличие всех друг к другу. Но подобные противоречия в сознании Ксаны мирно уживались. «Людям не важно, — она говорила, — совершил ли ты безнравственный или благородный поступок, для них имеет значение только, как ты к ним лично относишься». Что опять же не мешало той же Ксане азартно хвататься за телефонную трубку, спеша оповестить приближенных о некой новости, придав ей нужную окраску, и длилось это подолгу, но Ксана вовсе не считала женской слабостью такую болтовню. Напротив, она пребывала в полной уверенности, что занимается очень серьезным делом-формированием общественного мнения. А может, действительно?..

Ведь не одна только Ксана поднаторела в попытках сделать область, скажем, музыки обжитым как бы домом, где по соседству уживаются друзья-приятели, а другим хода нет. А как приятно увидеть на экране, в нашумевшем недавно фильме, пусть эпизодически мелькнувшую, но знакомую, родную физиономию — племянника, приятеля, соседа режиссера. Ну прямо как одна семья, не только в переносном смысле, но и в прямом. И обещания сладкие, и склоки сплетаются в плотную сеть — она же сито, сквозь которое непосвященному не просочиться. По крайней мере, без усилий, затрат. Тем, кстати, радостнее момент приобщения, если он, конечно, наступит. А что, надо же как-то ограждаться от наплыва — начинающих, сочиняющих, грезящих, сведенных судорогой вдохновения.

Тут, каковы бы ни оказались у Ксаны способности, ей было не обойтись без соратниц и наставниц (и соратников, и наставников). Злословие? Нет, скорее осведомленность. Но в тех сферах и под таким углом, что доброжелательность, явись она вдруг, сбежала бы пристыженной, как явная глупость. В результате все выносилось на поверхность, сор собирался со всех углов, ничего сокровенного ни в ком не оставалось — парад голых, где каждый существовал в обмане, что он-то, единственный, одет. Общее это заблуждение являлось характерным для круга, проникнуть куда было нелегко, как нелегко и вырваться, если вообще признать факт его существования реальным.

У Ласточкина на этот счет пока не сложилось твердой позиции. Вроде бы круг был, вроде бы и они с Ксаной к нему принадлежали. Вместе с тем на днях рождения, к примеру, за

столом обнаруживался странный, не сочетающийся друг с другом народ, с явным преобладанием женского пола. Ксане нравилось опекать девиц на выданье или же потерпевших неудачу в браке, с условием, чтобы они не оказывались ни явно привлекательными, ни с явными признаками ума. Из мужской половины неизменно присутствовал Михал Михалыч, как обращались к нему все уважительно, директор кооперативного магазина «Золотой Бор»: обилие дефицита на столе являлось исключительно его заслугой. Словом, людно, шумно, но прежде чем поименно начнешь перечислять, задумаешься…

А что поделать, Ласточкин все же довольно долго продирался. Задачи профессиональные на каждом этапе находили как бы свой отголосок в людях, лицах, знакомствах, возможностях, финансах. Но беспокойство не оставляло его. Знать бы, где проходит граница между художнической неудовлетворенностью и ненасытностью житейской. А где начинается соскальзывание к халтуре?

Неверно, будто халтура — сознательный бандитизм. Халтурщик в своем роде фигура трагическая, как больной обжорством. Вроде комично, а ведь беда. Не получается уже иначе, только гигантскими порциями, и несет, волочет за собой какая-то сила. Неловко, а приходится нагличать. А нагличанье, если вспомнить, со смутного ощущения начиналось, что такая плодовитость сродни бесплодию или приведет к нему. Но где, в чем еще угадываются приметы?

«Я пишу много. Я не слишком много пишу?» — временами с тревогой спрашивал себя Ласточкин. А может, он пугал себя напрасно?

Впрочем, все еще проще: халтурщик — тот, кто всегда знает, что надо, что требуется, и делает именно это. А Ласточкин?

В нем совмещался атеист и верующий, подверженный предрассудкам. Такого, скажем, рода: как там со злодейством и с гением — совмещается? Точнее, на современный лад: если дачу купить и хорошо ее благоустроить, это не повлияет, не отвлечет?.. То есть желание жить широко, красиво, не противоречит ли возвышенным идеалам творчества? А если ты по натуре трусоват, подловат, так неужели… С другой стороны — сколько обратных примеров, сочетаний негодяйства с вдохновенным пророчеством, пошлости с артистическим озарением. А вообще, еще отрезвленней, какие могут быть сомнения, самоограничения на празднестве, где твое участие может в любой момент оборваться? Миг — и все.

Так вот булькало, стыдливо, со смешком — над собой, своими опасениями — и, честно признаться, отравляло. Но не

настолько, чтобы на работу влиять.

Что правда, то правда: песни Ласточкина, едва явившись, с лету расхватывались.

И тут уже другое подозрение начинало его мучить: мало кто в музыке разбирался, понимал… В теперешнем его окружении, по крайней мере.

Постановщики, режиссеры, исполнители, организаторы, устроители фестивалей, концертов — все свои мнения высказывали, но от музыки это было очень далеко.

Музыку подменял эффект, а что он являл собой такое — попробуй разобраться.

Судили и пока хвалили, точно под гипнозом чьей-то первой лестно-беззаботной оценки. Так Ласточкину казалось. Он же знал: через такую толщу невежества никакое наитие не пробьется. Что значит «нравится»? Да попытались ли в задуманное вникнуть? Зверское равнодушие профессионалов из другого цеха, не разбирающихся по сути ни в чем. Кто музыку не чувствовал всей плотью, как мог считать себя полноценным? Ласточкин закипал и изо всех сил сдерживался. То, что он делал, то ли являлось общедоступным, то ли в ядре своем неразгаданным. Горечь непризнания, если ощутить ее ненадолго, была бы для него, пожалуй, знаком качества. Но песни его с удовольствием повсюду распевались, будто в издевке над тайными его притязаниями. А когда он в свою очередь пытался поиздеваться, спародировать ясность, добродушие, от него ожидаемые, это сглатывалось без тени сомнения, с той же доверчивой жадностью. Миллионным зевом, миллионной глоткой. Ласточкин уже вроде колебался: а может, правы они? Тонкий налет изыска, пародийности слетал, и оставался все тот же прежний, неутомимый, бодрый Ласточкин. Узнаете? Он сам себя — да.

…Да, да, да! Доставляли неизбывную радость, казались уже необходимыми рубашки именно в тоненькую полосочку с небольшим корректным воротничком, ботинки с дырчатым рисунком, с «разговорами», как фарца выражалась, супердорогие, большой флакон английского одеколона, стоящий в ванной у зеркала во всю стену, и собственное выражение медлительной усмешки при встрече с не очень приятными знакомыми, и новые, вошедшие уже в привычку манеры, жесты человека, обеспечивающего себе задел. Все это вместе оказывалось настолько прельстительным, что поглощало общей своей массой смущенные попискивания где-то в самой глубине. А все же царапающие ощущения проникали сквозь толщу. И тут Ласточкин не обманывался: атмосфера вокруг него бывала не самой благоприятной.

Если бы источником неприязни оставалась только лишь зависть, обычная, элементарная, не следовало бы и вникать. Зависть имелась, но примешивалось, вклинивалось и другое, что выдавалось уже за превосходство, причем в сфере нравственной, и оттуда, с иной высоты, осуждало как бы даже брезгливо.

Хотелось отмахнуться. И вместе с тем собственная половинчатость, раздвоенность напрашивались на конфликты. Под жесткой наработанной броней местами прорывалась рыхлость, потребность объясняться, каяться. Вот уж совсем нелепо получалось. Но его, Ласточкина, томила исповедальная словоохотливость как, раз с теми, кто категорически не принимал, не понимал одолевающих его соблазнов — то ли по твердости убеждений, то ли потому, что их-то никто не искушал, Не представлялось им, что ли, никакого выбора?

Они неважно жили. Трудно, скудно. Ласточкин улавливал такие обстоятельства с ходу: детство, юность чутье его отладили на этот счет. Они, они… Сотни тысяч возвращающихся со службы в метро с серыми, с тенями усталости, лицами, уткнувшись в книги, заботливо обернутые газетой. Мужчины пообтертые, не старые, не молодые, женщины в раскисших от уличной слякоти сапогах, с авоськами, которые они надеялись сдать на вешалке, преодолев сопротивление гардеробщиц, спешили на концерт, в театр, с глубоко запрятанным ощущением праздника. Они — интеллигенция, вот кто.

Знали, читали, обсуждали, оценивали, слушали, перебивали друг друга, и запал их был истинный, они не соперничали, подлинное для всех искали.

Насущное, серьезное, ироничное, скрытое под личиной забавы, но намекающее хотя бы, раскрывающее хоть в какой- то степени то, что волновало всех.

Ели со сковородки картошку, отпивали из бутылки кефир и терпеливо стояли в многочасовой очереди, чтобы увидеть маленькую съежившуюся фигурку Христа Рембрандта. У книжного прилавка листали в забытьи роскошный альбом, цена которого представлялась фантастической. Плотно жались друг к другу в проходе амфитеатра Малого консерваторского зала, где еще живой и уже бессмертный пианист укрощал свой исполнительский гений ради музыки.

Взгляд их небрежно соскальзывал с лакированного бока чьей-то чужой машины без всякого отзвука, и полная их тут естественность и делала их неуязвимыми.

Самая главная, самая ценная аудитория — вот кем они являлись. Их ни в чем не удавалось обмануть.

Они и по отдельности сохраняли свою силу, основанную, пожалуй, на общей вере, корни которой, как ни подкапывайся, враз не обнажатся, настолько они глубоки. В повсеместном коловращении, извне не защищенные, они умудрялись как-то уберечься от суетности, и незамутненное достоинство в них тоже могло показаться загадочным, поскольку не находило

обоснований ни в чем осязаемом, зримом.

Скромное положение, небольшие оклады. А в толчее, грубом наседании друг на друга, безнаказанном рефлекторном хамстве, оттаптывании ног, обрыве пуговиц — в час «пик», скажем, — именно у них, с невольностью, выдающей другую породу, вдруг вырывалось беспомощное и разящее наповал: ах, извините… простите за неловкость… пожалуйста…

Вот на кого Ласточкин порой глядел, изнывая от желания приблизиться. И догадывался, знал наверняка: не поют они его песен.

Для человека так называемой свободной профессии особенно важен строгий распорядок дня. Не имеет значения, как именно он выстраивается, с ранним ли, поздним ли вставанием, но четкая определенность часов занятий вырабатывает инстинкт, пробуждаемый ежедневно, как чувство голода.

Ласточкин был противником мифа, приписывающего вдохновению нечто божественное. Целомудрие профессионала не позволяло ему ни вслух, ни мысленно подобные фразы употреблять — крылатое, прихотливое, неожиданное…

Куда там! В процессе длительного, упорного трения искра, случалось, возникала и тут же гасла в наплыве новых преодолений. Преодоления, правда, могли породить задор, веселую злость, внутреннее подхихикивание, умиленность, растроганность, но и упрямство, и прилежание тоже давали неплохой результат. В апофеозе мученичества нужды не возникало вовсе.

Не шло, застопоривалось — это другое дело. Настроение пакостилось, хотелось на кого-то наорать, хлопнуть дверью и, стремглав слетев с лестничных маршей вниз, в подъезд, вдруг обнаружить начищенные до блеска носки своих замечательных ботинок, оправить, успокаиваясь, кашмировый шарф, хмыкнуть, достать от машины ключи и снова к себе подняться, попить, скажем, кофе.

Удобства размягчали, утопляли гнев. Ласточкин все еще к ним не привык, все еще детски радовался. Или такое гнездилось в его природе — способность малым утешиться, от малого возликовать? Но не означает же это, что, если бы удобствами его обошли, он стал бы страстотерпцем? Нет, разумеется, глупости.

Как всякий нормальный, здоровый человек, он, Ласточкин, исходил из собственной нормы, подозревая подобное у всех. Но здоровое не есть ли банальность? И как тогда ее сочетать с постоянным, вынужденным, чисто, так сказать, профессиональным, техническим стремлением к

оригинальности? Близко к вычурности, вариации на все ту же тему. Как удержаться, на чем? Ведь песенный жанр требовал правдивости.

Беспокойств, черт возьми, неудовлетворенностей, разнообразных нервных терзаний хватало! Но разве это материал? Страдание — вот струна, из которой лучшие звуки извлекались. Кого из этих великих ни возьми. Даже при спокойной в целом биографии умудрялись же подыскать нечто подходящее для муки мученической. И получалось! У Брамса, Вагнера, даже Мендельсона, совсем неплохо устроившихся. Не говоря уже о Шумане, с ума сошедшем, глухом Бетховене, нищем Шуберте, истерзанном, спившемся Мусоргском. Их песенные циклы… Только вообразить такую над собой глыбу — и даже на мычание не осмелишься. Надо забыть, отринуть все эти громады, тем более что современные слушатели, большинство, тоже, как правило, не помнят, не принимают великое в расчет. Спасительное невежество, забывчивость. А с другой стороны, скучно.

Перед кем стараться, изощряться, если все тает, уменьшается горстка знатоков?

И хорошо. Легче так, проще. Людям некогда в эпопеи вчитываться, длинные симфонии слушать, вдыхать запах «соловьиных садов» из стихотворных томиков — дорога ширится, все больше возможностей твердо, уверенно без особых затрат шагать.

Ласточкин, кусая карандаш, хмыкал. Желание себя высечь не мешало упорству и прилежанию. Мелодия низалась такт за тактом, кокетливая, ершистая, повадкой и лицом явно кого-то напоминающая, но в теперешнем гуле голосов попробуй различи — кого? Да, приходилось нити надергивать из уже сшитого кем-то платья, но уж выбирать следовало подобротней, не гнилье.

Ласточкин трудился, а рядом, совсем близко мелькало: давай-давай, но имей в виду, что сама по себе двойственность еще не создает сложную натуру.

Готовую песню он обычно первой Ксане показывал. Она входила не без торжественности, садилась в глубокое кресло. Ласточкин, слегка волнуясь, начинал.

О способностях своей жены к восприятию музыкальных произведений, тем более к самостоятельному их осмысливанию, Ласточкин давно догадывался. Но оба делали вид, что происходит нечто значительное. Ксана с выражением углубленного внимания склоняла голову, прикрывала глаза, у сидящего за роялем Ласточкина на щеках пятнами проступал румянец: будто что-то свершалось, что-то от Ксаниного мнения

зависело. Игра, явное псевдодейство.

А что? А когда он режиссеру свою музыку к фильму показывал, тот, что ли, не притворялся понимающим? А жюри, где, можно сказать, судьба песни решалась, разве не состояло наполовину из псевдознатоков? Всюду, все этим «псевдо» окрашивалось.

Ксана слушала. Трудно ей приходилось, бедняжке. Финальный аккорд, пауза… Поднимала голову, соображала лихорадочно — и и действовала наверняка: «Необычно… Но, по-моему, замечательно!»

Ласточкин на вертящемся табурете разворачивался к жене. Знал: грош цена подобным похвалам. И тем не менее настроение делалось прекрасным, ликующим, как весной в пору юности. Он любил Ксану. Любил ее потупленный лживый взгляд, в котором искренняя забота о нем сплеталась с соображениями сугубо практическими; любил коварство в ней и нахальную самообличительность, убежденность, что незачем стесняться, коли сила есть, и тайный суеверный страх расшатать, утратить вдруг эту силу. Он ее любил, она так была похожа на него самого.

А их сын — на них обоих. Но, разумеется, лучше, перспективней. Сын, Вова, должен был того достичь, что не успеет и не может успеть его папа Ласточкин. Будущее сына представлялось в сцеплении их трех фигур, как бы в акробатическом номере: атлетически сложенные двое подставляют плечи юному стройному гимнасту, способному взлететь под купол цирка — удалось, ура!..

Пока же Ласточкин лично уделял два часа для занятий с Вовой музыкой. В той школе, которую он сам закончил, теперь преподавал его однокашник Дима Кроликов. Уж как-нибудь… Адская, конечно, мясорубка, но для тех в основном, кто приходит со стороны. Музыка — такая область, где пестование надо начинать с малолетства — и умеючи. Без бабушки или там тети, скромных преподавателей фортепьяно, редко выбиваются в виртуозы. Кто- то должен шишки набить, чтобы предупредить следом идущего о наиболее опасных поворотах. И у Моцарта, как известно, был знающий, цепкий папаша. Там, где в основе ремесло, преемственность необходима, чтобы не толковали о чуде дарования.

Все чудеса присочиняются потом. А вначале родственница, закаленная неудачница, хваткая и терпеливая тетя Муся сажает карапуза к инструменту: «Круглее пальчики. Потверже мизинчик».

Телефон зазвонил, когда Ласточкин должен был уже на телевидение мчаться. Там, в бесконечных коридорах,

бункероподобных помещениях, переходах-туннелях, освещаемых голубовато-мертвенными светильниками, свежий человек преисполнялся священным ужасом, трепетом, в страхе заблудиться, догадываясь по выражению лиц у встречных, что и они плутают: в лучшем случае знают свою дверь, свой этаж — и все.

Ласточкина тоже мутило, но он, себя преодолевая, решительно пересекал вестибюль, шел напрямик к лифтам, откуда пачками вываливались знаменитости, со стертыми во множестве ролей физиономиями. Случалось, кто-то Ласточкина окликал, хлопал по плечу, и он, мысленно пробегая строчки титров, узнавал неузнаваемое. Так, кстати, подтверждалось одно из чудес актерской профессии: красотки на сцене и экране в обычной жизни выглядели чучелами, образцовые мускулистые экземпляры мужской стати вдруг утрачивали и силу свою, и рост, точно из них выпускали воздух, и, напротив, комедийные исполнители, при одном взгляде на которых зрители корчились от хохота, оказывались внешне абсолютно нормальными и даже не лишенными привлекательности.

Ласточкин, сквозь насмешливые подначки, про себя им произносимые, улыбался, обнимался, наслаждался моментом приобщенности. Все наслаждались, потому что все когда-то были обыкновенными, безвестными, и память о тех временах сохранялась, несмотря ни на что.

Атмосфера на телевидении обладала лихорадочным зарядом, принуждающим всех спешить или изображать спешку, но тут как раз Ласточкин чувствовал себя как рыба в воде. Попадая в обстановку контрастную, в тишину леса, осень, зиму загородную, на пустынный берег, он быстро скисал, у него портилось настроение. Тишина, одиночество вроде бы соответствовали его профессии, традиционно нуждающейся в сосредоточенности, но в другие времена, когда другие были нравы. Кроме того его песни заряжали именно упругим, моторным, нутряным ритмом — и сами зарождались, возможно, от чего-то подобного.

…Когда телефон зазвонил, он уже на телевидение опаздывал: договорились к трем, заказали зал для просмотра проб к задуманному сериалу, и хотя на этом этапе присутствие Ласточкина было необязательным, раз он пообещал… Трубку сняла Ксана:

— Тебя! Какая- то девица. Странноватая… — и пока Ласточкин шел к аппарату, вслед ему прокричала: — Имей в виду, никаких контрамарок! Все уже обещано.

Он знал. Не взяв еще телефонной трубки, догадался. И чутье

не обмануло его.

— Здравствуй, — услышал манерный, ломкий от неуверенности голос. — Это я, узнаешь?

Он тут же обозлился. Что за тон? Кто из приличных людей так представляется, после почти двадцатилетнего перерыва?

— Здравствуй, — произнес сухо. — Я тебя слушаю. — И так же мгновенно обратной волной его обдало — виноватости, что ли? Вспомнил, как она, Морковкина, была жалка. — Молодец, что позвонила.

— Да, знаешь, я все думала, кстати ли… чтобы не помешать, у тебя, конечно, дела… А потом решила: ну что в самом деле? Обидно же снова потеряться, когда вдруг встретились. Я, понимаешь…

Он перенес трубку в другую руку. Мало того что опаздывал, неудобство, неловкость прямо-таки жгли его. Хотя помнил отлично, что за все школьные годы с Морковкиной даже взглядом, что-то там значащим, не обменялся. Ни намека, ни полслова. Никогда она не интересовала его. И даже больше: тень отверженности, на нее павшая, вызывала у него необходимость подчеркнуто ее сторониться. И это он не забыл: юношескую в себе жестокость, подленькую готовность быть как все. С большинством, коли там сила. А то, что Морковкина оказывалась слаба, сомнений не вызывало. Она держалась как прирожденная жертва, и ее выпады, ее слезы, выкрики еще пуще разжигали азарт преследователей.

Ну, разумеется, в их отборной школе и травля принимала характер рафинированный. Не какие-нибудь там примитивные подначки, дерганья за косы, молодецкое ржанье. Нет, ее, Морковкину, просто не замечали. Ее не было, не существовало. Разговоры, улыбки — через ее голову. Все вместе, она в стороне. А ведь и у них в классе, как и везде, имелись абсолютно неразличимые фигуры, заполнявшие пространство, но начисто лишенные каких-либо индивидуальных черт. Пять, или шесть, или восемь блондинок, безмолвных, невзрачных, невидимых, неслышных. Блеклая эта стайка перемещалась, не задевая никого. И их не задевали, терпели. Морковкина же лезла на рожон. К примеру, заданное наизусть стихотворение она читала так выразительно, с таким подъемом, что за партами давились от хохота. Она позволяла себе быть не как все, пренебрегая реальностью, не думая о самообороне, но вряд ли сознательно, скорее в какой- то отрешенности.

Не понимала: почему смеются? С недоумением оглядывалась, и лицо ее резко менялось. Казалось, могла ударить, закричать — и уже ударила, уже закричала — так ее щеки пылали, так яростно

сверкали глаза.

А казнили ее великолепной невозмутимостью. Стена. Равнодушные, невидящие взгляды. Взрывалась она одна — вот в чем позор. Ее задевало, она захлебывалась в негодовании, а всем остальным — наплевать.

Почему их влекло на такое мучительство и не наскучивало так именно себя развлекать? Взрослели, умнели, вглядывались все напряженней в предстоящее будущее, но появлялась Морковкина, и коллективно зверели.

Надсадный ее вопль: «За что?!» Довели однажды. Группкой, самой отборной, интеллектуальной. Пожали плечами, недоуменно переглянулись. Да ничего они в самом деле не сделали особенного, грубого слова не сказали.

Ласточкин слушал. Те впечатления, ощущения уже за чертой оказались — другая неловкость, другая одолевала маета. Почему никто из остальных одноклассников, тоже потерянных, подзабытых, внезапно на голову его не свалился? Почему именно Морковкина? И почему наседала, на что напрашивалась?

Он слушал, ронял время от времени «да», «нет». Нащупал пачку сигарет, затянулся.

Какое-то начиналось в нем дребезжание. На неплотно прикрытую дверь в спальню оглядывался, где Ксана с книгой лежала на тахте. До женитьбы, само собой, случалось у него, незначительное, а после — ни до того. И Ксана стояла на страже, и не возникало охоты. Улыбки возбужденным почитательницам, торопливые автографы после концертов, но всегда с соблюдением дистанции. Да и преувеличены эти страсти. В отношении авторов, по крайней мере. Успех пахучей своей шелестящей букетной массой падает в основном на исполнителей.

А Ласточкину отнюдь не часто все это выпадало.

— Послушай, — решил он наконец Морковкину прервать, — со временем у меня в данный момент туговато, но давай договоримся…

— Давай! — она его перебила.

И снова в нем что-то скисло, пугливо дернулось.

— Словом, я часам к пяти освобожусь, зайду в Союз, потом… помнишь, где церковь в Брюсовском?

— Неужели! — она отозвалась все с той же торопливой готовностью.

— Вот там и жди. В половине шестого. Годится?.. Уф-ф! — положив трубку, выдохнул с пафосом, в расчете на появившуюся в дверях спальни Ксану. — Ну и Морковкина! Я тебе не рассказывал? Была у нас в классе такая дуреха. И кажется, совсем завязла. Постараюсь, если смогу, помочь.

Ксана проводила его тягучим, насмешливым взглядом.

— Пока! — схватив с вешалки дубленку, он чмокнул ее в щеку.

С телевидения вырвался даже раньше, чем планировал. Часа хватило на просмотр актерских проб, в обсуждении которых Ласточкин тоже принял активное участие, хотя, сидя в темном зальчике с разбросанными вне ряда стульями, откровенно зевал. Актеры в эпизодном месиве произносили приблизительный текст с неоправданной выразительностью и также без повода выказывали темперамент, демонстрируя себя с наивыгоднейшей стороны, но было бы наивным ожидать, что это сырье так уж разительно преобразуется при завершении работы. И не на что сетовать. Никто не обманывал никого. События случаются время от времени, а кроме того существуют будни. Гонят на телевидении очередной сериал, журналы заполняются романами с продолжениями. Так было, так будет — всегда? Хорошо бы только, чтобы способность к восприятию значительного не заглохла. Хотя не все в ней нуждаются, и не выгодна она, не безопасна кое для кого.

Ласточкин вышел из здания на улице Королева, пустырь вокруг которого застраивался все плотнее, но ветер все еще гулял, одичало резкий, характерный для таких районов, где как бы вдруг из ничего разрастались вширь и ввысь многоэтажные многоподъездные жилые массивы.

Сел в салатовые «Жигули» (ничего не поделать, выпал такой поносный цвет на целую партию), но успел воздух глотнуть, подозрительно весенний. Включая зажигание, подумал: какие же мы, однако… Проблемы, сплошные проблемы, а чуть потянуло весной, и один голый инстинкт — жить! Как жить прекрасно!..

Спасибо природе, умеет она нас к себе возвращать. Иначе бы все забылось. Первый снег — и снова детство. Хотя и не станешь уже снежную бабу лепить, сосульки слизывать, но давние те ощущения вновь внутри возрождаются.

Ласточкин от удовольствия прижмурился, но опомнился и деловито опустил противосолнечный козырек. В такой атмосфере ощущать себя удачником казалось просто необходимым. И то, что он мог среди бела дня сорваться, ехать куда заблагорассудится, а не досиживать в какой-нибудь конторе до положенного срока, веселило, как удавшаяся ребячья шалость.

Предстоящее свидание его волновало. Любое свидание сейчас волновало бы.

А тут, как-никак, встреча с прошлым, с юностью. Почему бы не позволить себе иной раз сентиментальность? И так в нас, современных людях, столько уже задавлено, схвачено под уздцы

соображениями трезвости, недоверия, опасениями показаться смешными. Но что-то же тянет пожилых уже товарищей на традиционные школьные сборы. И собираются в юбилейные даты выпускники институтов. Пусть совсем уже чужие, отстранившиеся, а все же взглянуть занятно. И себя показать. Конкурентное, задиристое, да просто даже похвальбушное в той или иной мере присутствует чуть ли не в каждом, и от обстоятельств зависит, в какой форме оно потом обнаруживается. Или не только от обстоятельств? Да, конечно. А все же хочется на тех взглянуть, с кем вместе стоял когда-то у стартовой черты, и краем глаза хотя бы ухватить почтительное, удивленное в их в скрытных лицах. Иначе ради чего? Ради одобрения потомков? Ну тоже неплохо. Если, правда, хоть чуть надеяться, что не будет тебе тогда уже все равно.

А Морковкина… Морковкина в школе была хорошенькой. Но никто за ней не ухаживал, поэтому и Ласточкину в голову не приходило. Надо признать, и в юности, и потом общее мнение на него сильно влияло. Даже если он поначалу некоторое несогласие ощущал. Но способность к быстрому гибкому маневрированию оттачивалась с годами, так что первоначальная ошибка оставалась никем не замеченной. В результате же Ласточкин оказывался прав, как и большинство. Процесс скольжения от одной позиции к противоположной не вносил привкуса унизительного поражения, так как переброс совершался мигом.

Почти неосознанно. Да и не принципиально. Принцип ведь тогда обнаруживается, когда именно в это — в это — вкладываются силы ума, души.

У Морковкиной же, помнится, были чудесные волосы, которые она бездарно портила парикмахерской завивкой. Но глаза испортить не удавалось, они оставались серо-фиалковыми, влажными, притягательными своей беспомощностью, зовущими. Если бы кто-то сумел услышать этот зов. Но не Ласточкин, никак не Ласточкин. В классе царила Джемма, обогнавшая в развитии благодаря восточной крови своих сверстниц. Томные взгляды, властная леность движений, коровьи ресницы и пушок на верхней губе — теперь-то, конечно, подобным не обольстишься. Но в ту пору Ласточкин, как и все, ловил каждое Джеммино слово, топтался рядом на переменке, мялся, поджидал, по окончании уроков, пересчитывая сокровища: сколько раз Джемма на него поглядела, когда улыбнулась. А как-то вот даже позвонила по телефону задание по физике узнать.

Морковкина плелась по школьному двору в куцем пальтишке с барашковым, одним углом задравшимся воротником. Волочила портфель, перебирая худыми ногами, точно торопясь поскорее

скрыться. А ноги стройные, узкие в лодыжках — Ласточкин увидел то, давнее, только сейчас оценив. И надо же, замуж не вышла! Значит, шлейф детского непризнания может и во взрослое существование протянуться. Грубо, жестоко, а главное, малопонятно — вот что такое жизнь.

Он поморщился. Снова что- то засаднило. Уже о себе, о своем. Первое эпизодическое столкновение с Морковкиной вернулось с привкусом неприятным. И глупостей же она наговорила! Но, надо согласиться, если бы прежде не возникало в нем самом щели, Морковкиной некуда было бы вклиниться.

У светофора на Горького долго продержали. Машину обегала толпа с посветлевшими, обнадеженными весенним дуновением лицами. И Ласточкин, принимая заряд, опять приободрился. Кстати, смена времен года вдвойне радует, если на все случаи имеется соответствующая экипировка.

…Почему у церкви в бывшем Брюсовском? Это был когда-то их район.

Школа находилась пониже, у Арбатской площади, в коротком крученом переулке, путь от нее проходными дворами к консерватории — пять минут. Оттуда, еще быстрее, прямым броском к дому, где помещался Союз композиторов: там тоже случались интересные, для небольшой аудитории концерты. А мимо — в бывшем Брюсовском, нынче улица Неждановой — тихая, скромная церквушка. Типично московская, в слабом лепете песнопений, прорывающихся иной раз, а чаще старающаяся быть совсем незаметной. Однажды Ласточкин с приятелями туда вошли поставить свечку перед самым отвратительным экзаменом, по геометрии.

В Доме композиторов Ласточкин теперь частенько обедал. Кормили хорошо, хотя антураж значительно уступал знаменитому Дубовому залу в Доме литераторов, куда у Ласточкина тоже имелся пропуск. Но в своем Доме вместе с обедом могли совмещаться и кое-какие дела.

И на этот раз следовало, верно, заскочить, понюхать, коли оказался рядом: вдруг подвернется кто-то не без пользы. Так посидели недавно за пивом с поэтом Гнездюковым и задумали совместный песенный цикл. К слову, только обывателям может показаться принижающим сочетание пива и творческого искуса.

Но даже оправдываться смешно: встретились — не важно где — и осенило.

Гнездюков великолепно перевел с каталонского по подстрочнику народные баллады, где жутковатый вымысел облекался в форму грубоватой, простодушно откровенной и

слегка даже непристойной шутки, которая должна была смягчить мертвящую дрожь от сказа, но получалось — две упругие параллели: смеха и страха. И в музыке их, пожалуй, стоило сохранить в обособленности, напряжение тогда еще больше бы нагнеталось. Современное восприятие легко справляется с подобной двойственностью, ждет уже именно ее, ею насыщается.

Только, к сожалению, и здесь пора открытий миновала. Кажется, нигде вообще не осталось целины: все разработано, пущено в ход, удобрено, использовано по новой. Но, как подсказывает опыт, маятник должен был вот-вот качнуться в противоположную сторону — к нерасщепленной, незамутненной цельности. Только из чего ее рассчитывали слепить, из каких остатков, ошметков? Так, чтобы в нее поверили. Вот ведь в чем фокус.

Пока же оставалось балансировать. Совместный опус с Гнездюковым создавался с учетом изощрившегося вкуса и у широкого круга слушателей, их страсти к заполнению белых пятен в отечественной культуре, о которых они с запозданием узнали, больше понаслышке, и, осмелев, потребовали — вернуть.

Эта атмосфера, утеплившийся климат снижали риск заговорить о сокровенном, не обязательно своем личном, но признанном наконец ценным, редкостным. Стихи, за которые прежде отвечали жизнью, честью, сделались годными к употреблению, общедоступными: в такой, все увеличивающийся прорыв тоже хотелось вклиниться. А одновременно, удержаться на позициях, прежде завоеванных, что виделись все еще пока надежными. Песня, посвященная, приуроченная и одобренная, закладывала фундамент, достаточно прочный. Не только исполнителю, но и сочинителю, автору следовало заботиться о разнообразии, диапазоне своего репертуара.

«Репертуар» — словечко, застрявшее в сознании Ласточкина еще со времен злополучного дебюта на ниве клубной самодеятельности. Их с Эммой и Зайчихой тогдашний провал можно было бы избежать, если бы юный восторг самовыражения уравновесился чем-то более привычным, традиционным. Это бы смешало, смутило, обвело бы вокруг пальца категорически настроенное руководство. Но они еще не представляли, как важны в любом деле пропорции: точное соблюдение их тоже, между прочим, снижает риск. Правда, как ни обидно, лучше всего в таких тонкостях ориентируются посредственности.

А шок от той первой неудачи у Ласточкина так и не прошел. Мысленно он часто туда возвращался, к тому вечеру, зноблівому, больному, когда каждый шаг, казалось, представлял опасность: развилка начиналась — налево пойдешь, направо… Ничего,

впрочем, твердо еще не решалось, готовности не было — а была ли она сейчас?

Он издали Морковкину завидел. И сразу в голове пронеслось: не на лавочке же ему с ней сидеть! Ресторан Дома композиторов — вот он, и удобно, и комфортно, но явиться с Морковкиной туда?.. Ласточкин невольно поморщился.

Морковкина принарядилась. Ох, лучше бы она этого не делала! Не соображала, дурочка, что артистический вкус скорее небрежность, неопрятность простил бы, чем огрехи в общепринятом их кругом стиле. Да и просто — элементарные несообразности! В феврале, пусть дохнувшем весной, она стояла в туфельках, сплетенных из лакированных ремешков, вычурных и старомодных, и от этой нарочной как бы уязвимости у Ласточкина в раздражении заныли виски. Он попытался вообразить, что у нее под пальто надето, но понял, что фантазии Морковкиной тут непредсказуемы.

А вместе с тем — чудеса! Явно уже поблекшая, пристукнутая неудачами, разочарованиями (все прочитывалось), даже замужеством обойденная, то есть и не прельстившая, значит, никого, ни в чем не состоявшаяся, она, Морковкина, оставалась — точнее, узнавалась внове — прелестной. Ее волосы, светлые, слабые, выбившиеся из-под прозрачного шарфа, влажный фиалковый взгляд, ноги-стебли, зябко жмущиеся коленями, сама ее очевидная нелепость вдруг захватили Ласточкина, как это всегда и бывает, врасплох. Он сам на себя шикнул: зрение, что ли, помутилось? Февраль, обманно весенний, дурь нагнал?

Правда, он знал, когда все встанет на место: лишь только она, Морковкина, откроет рот.

Вылез из машины. Она стояла, приглядываясь, боясь, верно, обмануться. И дернулась, заспешила навстречу. Он подумал: черт с ним, какая разница, кого они в Доме композиторов встретят? Или, может, лучше к литераторам? Пожалуй, заказал бы судака-орли. Поесть — это уже, как-никак, оправдывает нелепое, ненужное свидание. Морковкина торопливо приближалась. Ласточкин вдруг вспомнил, как промямлил Ксане, что собирается помочь «дурехе». Перспектива доброго дела конкретно пока не обрисовывалась, но взбодрила.

И у композиторов, и у литераторов Ласточкина гардеробщики признавали.

Намеренно не интересуясь, куда уносят его дубленку, он подошел к зеркалу, по-мужски неуклюже пригладил волосы, довольно густые, но уже не те, что прежде, не те. За его спиной, отражаясь стройно, боязливо, ждала Морковкина: темная юбочка,

свитерочек — вполне прилично. Если бы еще не идиотское сооружение на голове, можно было бы и вовсе успокоиться. Но Ласточкину всегда мешала озабоченность реакцией окружающих. Из-за них он к Морковкиной придирался, а если бы мог плюнуть, забыть — улыбнулся бы ей по-доброму: я рад, а ты? Что бы ни было, хорошо вспомнить молодость.

Но он знал, что за ними наблюдают. Не важно кто, даже если никто. В полутемном вестибюле в простенках подрагивали длинные, в рост, зеркальные вставки: что там выглядывало? Чуть повыше на две ступеньки тоже в темноватом и тоже вроде пустующем зальчике пути разбегались, и дальше каждая ветвь в свою очередь развивалась, варьировалась, в зависимости от желаний, настроений. На первый взгляд праздная здесь обстановка отличалась мгновенной и как бы неожиданной возбудимостью. Сюда являлись как от нечего делать, так и по самым срочным делам. Выбор предоставлялся широкий: от буфетной стойки, бильярдной, курения на лестнице возле туалета и до серьезнейшего совещания по серьезнейшим проблемам, при наличии зеленого сукна и графина с водой на длинном столе. Являлись по инерции, одурев от каждодневного здесь кружения, а также с некоторым трепетом, ожидая сверхъестественного, потому что — вот уже три дня! — не показывались здесь. Являлись за подтверждением своего шумного успеха, уверенные в полагающихся почестях, похвалах и все же слегка волнуясь. Являлись, чтобы раны зализать, опозоренные, не верящие в братское сочувствие и вместе с тем нуждающиеся в нем. Являлись с новой женой, отмечая как бы уже окончательно законность этого своего — очередного? — брака, одновременно чуть- чуть, вполглаза, интересуясь — каков эффект? Являлись с представителями иных держав для деловой беседы за столиком в импозантном Дубовом зале, замечая не без удовлетворения патриотического горделивого чувства- вот вам, нате, не хуже, чем у вас! Являлись случайно, сами вроде недоумевая, помимо воли, несознательно: со всех концов, из любой точки разросшейся и еще разрастающейся столицы почему-то тянуло именно сюда.

Здесь можно было на широкую ногу, с шиком отметить юбилей, свадьбу, получение почетной награды, премии. Можно было кофе остывший тянуть, заполнять пепельницу окурками, отодвигаясь терпеливо, пока уборщица обмахивает мокрой тряпкой пластиковый стол. Можно было заглянуть на минутку и застрять до позднего вечера, вплоть до закрытия. Можно было войти, с порога обвести все, всех тоскующим взглядом — и рвануть, сбежать отсюда с твердым намерением никогда — никогда больше! — не показываться тут.

Здесь неплохо, даже отлично кормили. Обедали, ужинали, снова ужинали нередко те, кто никакого отношения к Дому не имел, не являлся членом ни одного из творческих союзов, что не мешало им заказывать осетрину, семгу, икру. Иной раз здесь напивались, но, как правило, без драки, уводимые в скорости более крепкими, стойкими коллегами. Здесь же демонстрировали полное равнодушие к спиртным напиткам те, кто «завязал». Здесь, в куцых обтертых пиджачках, дрянной обувке, скованные, косноязычные, возникали одареннейшие, талантливейшие личности. Здесь же всеми гранями раскованности, процветания сияли, сверкали одетые не столько как денди, сколько как хлыщи, тоже, между тем, общепризнанные дарования. Всего здесь было навалом, вперемешку, якобы без разбора, а вместе с тем хотя и не всем знакомый, «гамбургский счет» ставил незримо каждого на свое место.

Возникали такие отметины даже в смачно жующем Дубовом солидном ресторанном зале. Черт возьми, драматург, чьи пьесы, круто заверченные, с неизменной оптимистической концовкой, опоясали чуть ли не все сценические площадки, вдруг незаметно, по-воровски вскидывал от вырезки (чуть, Манечка, с кровью) взгляд сальериевского накала в сторону совсем неприметного, двигающегося боком, точно преодолевая сопротивление ветра истории, сочинителя коротких, малооплачиваемых, туманных или вовсе расплывчатых в акцентах рассказов, которые он к тому же и выдавливал из себя штуки по три в год. И надо же, какие несоответствия! Сочинитель рассказов проходил мимо драматурга с полным равнодушием, не узнавая, в то время как драматург провожал сочинителя ненавистно-влюбленным взором, пока тот не исчезал с глаз. Вырезка, аппетитно дымящаяся на тарелке, вдруг казалась безвкусной, хотя- что там разводить? — у драматурга имелся свой крепкий зритель, и неизвестно, стал ли бы еще он, на другом воспитанный, рассказы сочинителя читать…

— Как, Маня, если судака-орли, получится? — спросил Ласточкин крупную официантку, в малахитовых серьгах, известную в Доме литераторов не меньше самого знаменитого поэта, и поглядел на нее снизу вверх, в меру балованно, в меру искательно, как полагалось своему клиенту.

Маня вздохнула, то ли сокрушаясь возможной неудачей, то ли осуждая, устав от всех этих претензий всех этих посетителей, двинулась валко, вальяжно в сторону кухни и снова вернулась, не больно спеша, держа раскрытый блокнот перед грудью:

— А что на закуску?..

«Надо было в забегаловку, в кафе-мороженое, наконец», — Ласточкин подумал. Два бокала сухого, зачерствелое до скрипа

пирожное, кисель, компот, антрекот — неважно, все бы сгодилось. Но вот же, сюда притащился, надеясь чем поразить? Собираясь доказать, что по его «Ручейку» уплывать — да-ле-ко-о! — удается? Кому доказывать?

Морковкина, впрочем, держалась спокойно, не интересовалась едой, питьем, ничем вокруг особенно не интересовалась — смотрела на Ласточкина без смущения, с прямотой, обоснованной в ней самой, вероятно, чем-то привычным, несомненным, что от Ласточкина ускользало.

— Ты-молодец, — произнесла, подытожив будто свои размышления.

И Ласточкин, как обычно, поймался. Такие замечания, произнесенные пусть вскользь, всегда его пробуждали, заинтересовывали. О себе он не уставал слушать, как, кстати, большинство людей и, пожалуй, все поголовно представители творческих профессий.

— Что ты имеешь в виду? — спросил с деланным безразличием, обегая быстрым, хватким взглядом помещение.

Здесь с ним всегда так происходило: с кем бы он ни сидел, о чем бы ни разговаривал, внимание раздваивалось, растраивалось на остальных присутствующих, входящих, выходящих. Их лица, жесты, кивки, приветствия набегали волнами, как на полиэкране, ни во что цельное, разумное не сплавляясь, а только раздражая, нервируя. Он что-то отвечал, соглашался, отнекивался, но дерганые изображения не давали не только что-то осмысленное высказать, но даже завершить начатую фразу. А между тем хотелось — спорить, доказывать. Специфическая атмосфера творческих клубов: поддавались ей почти все.

— Что ты имеешь в виду? — повторил он. Или первый раз произнес фразу мысленно? Снова провал — а ведь узнать было интересно! Но вошла, покачалась на каблуках в дверном проеме красавица-очеркистка Ольга Солнцева. Кто с ней?

Патлатый Бричкин, выбившийся только-только серией статей, гневных, пламенных, но довольно-таки сумбурных? Или Ковров-коротышка, воспаривший внезапно по административной линии? Нет, скорее все же это великолепный тупица Хрипов. Да, впрочем, какая разница? Ольга Солнцева и не в ласточкинском даже вкусе, и к тому же довольно глупа. Хотя, не окажись тут Морковкиной, он, пожалуй, пригласил бы их всех за свой столик, неважно, в каком сочетании, и было бы весело. — Что ты имеешь в виду? — повторил, по-видимому, в третий раз.

Морковкина вроде удивилась, но не обиделась, во всяком случае, не подала виду.

— Так вот, — вздохнув, продолжила, — я хочу сказать… —

Но сказать опять не дали, как раз в этот момент принесли горячее. Ласточкин подумал, не одобряя себя: «Вот и доброе дело — накормлю, ей полезно, такая худющая». И снова — провал. Не приближаясь, на ходу приветственно поднял руку Костя, здешний любимец, завсегдатай, почти прописанный, а может, и ночующий в Доме.

Избегающий, правда, Дубовый зал, из гордости, из бедности, из-за того, что никаких бы гонораров не хватило. Каждый если день. А получалось — каждый.

Рюмочка, бутербродик. Еще рюмочка, еще бутербродик. А к вечеру преотличное настроение, масса друзей, ворох замыслов, оригинальнейших задумок, улыбка, острота, прищур: можно, можно, ребята, жить! На следующий день, увы, грусть, заторможенность, покалывание где-то в середке, пульсирующий болью висок, отчужденность, отстраненность, словцо, полное сарказма, — и снова в путь, от ступеньки к ступеньке. Рюмочка, бутербродик — а можно ведь, братцы, жить…

Костя на ходу подмигнул, и Ласточкин подмигнул ответно. Провал делался все шире.

У Морковкиной шевелились губы, нежные, чистые на стареющем уже лице.

Ласточкин подумал, что вот же и приятно утверждаться, а с другой стороны, надо чувствовать меру, затенять, затушевывать, что полный порядок у тебя.

Это как бы не принято, считается бестактно, грубо — сидеть, развалясь за накрытым богато столом. Посторонним, пришельцам — тем, пожалуйста. До них нет дела. Но не своему, не причастному к заботам творческим. Потому что — да, трудно это, тяжко- корпеть, выдумывать, насиловать воображение, давить, гнать строчки, через «не могу», «не хочу». В дурном самочувствии, настроении гнусном, обидах, претензиях, ярости на самого себя. Куда деваться? Ремесло, профессия. А доходы? Доходы небольшие, как правило, мизерные, можно сказать, у большинства. И что же, у них пиршествовать на глазах? Заерзаешь, подавишься — потому что они правы. Тяжкий труд, и какова бы ни была тут плата, она недостаточна. Больше, щедрее, расточительнее отдается и о вознаграждении в тот момент не помнится, Какие деньги? И при чем они? Не в том дело, не о них речь. Вопрос всей жизни.

Морковкина, кажется, что-то спросила, глядела выжидательно. Ласточкин слегка смутился. После вкусной еды сонливость, туповатость обволокли как дурманом. Он в них барахтался, сопротивляясь. Да и что она хотела от него, и что он мог? Разве ему самому что-нибудь гарантировалось?

Унизительное, вязкое состояние временности везения, которое приходилось маскировать преувеличенной напористостью. Не только, правда, ему одному. Чего-то действительно всем недоставало. Ну ладно, пусть не всем, многим, некоторым.

Общей спайки, общей задействованности, что ли, общей идеи… Чтобы не бояться, не трястись один на один. А если и да, то ради большего, перехлестывающего тебя конкретно. Это бы крылья дало, дало бы мелодию, протяжную, гибкую, естественную и разумную в каждом своем развороте. Мелодия бы тогда вела, влекла, и не приходилось бы ее толкать с одышкой. Или мелодия уже кончилась, удержался один только ритм? Клекот, хрипение?

Ну, конечно, она остается, классика. Но чем теперь тешит? Мнимым умиротворением. Даже у самых резвых, бунтующих всегда присутствовал тогда некий баланс, не в форме даже, а в этическом, так сказать, содержании. Они все были заодно, хотя и выражали это по-разному. Их трагизм всегда всегда оставался мужественным, преодолевающим, с сознанием своего человеческого превосходства. Теперь это скорее убаюкивает, чем учит, мучит. Идиллические времена. Но только из чего же общее у классиков складывалось? Из чувства личной ответственности?

Морковкина на него смотрела. Ну а что, в конце концов? Что он ей должен, чем обязан? Надо сочувствовать? Так ни беды у нее особой, ни судьбы, такой, чтоб содрогнуться. Привычный набор, под знаком невезения. У него самого тоже довольно банально, хотя пока везет. Но он бы нашел, на что пожаловаться, с долей игры, правда. Игра вовсе не ложь и не притворство, без нее жизнь скучна и немыслимо сочинительство. Правда, иной раз игра обращается в придуривание, теряя свой первоначальный, очищенно бескорыстный смысл, но обретая, возможно, и что-то уже иное. Перечеркивающее утешительное, иллюзорное, чем прежде соблазняло искусство — а обнажающее что? Правду? Какой она теперь сделалась? Точнее, во что раздробилась? И нашим, и вашим, так что самому не понять?

И все же его потянуло на вздохи, мямленье.

— Знаешь, у всех не гладко, — с ненужной, правда, назидательностью произнес. Умолк. Захотелось вспомнить пощечину, полученную во Дворце культуры процветающего предприятия. Неприятно, но вместе с тем как бы флаг — и нас били, и нам досталось. Точка отсчета всем нужна. Так начали и вот куда воспарили. А может, сползли?

— Будешь кофе? — спросил, сознавая, что она не наговорилась, но не видел смысла ее желание удовлетворять. Все ясно. Давно всем все ясно. Поэтому, наверно, потребность в общении между людьми все больше затухает.

Она сняла с колен салфетку:

— Я хотела бы попросить. Мне было бы интересно послушать. Если предстоит какой-то концерт…

— Предстоит, — он повторил с улыбкой, обретая обычную уверенность. — А могу еще пластинку подарить, недавно выпущенную. И кое-что, представь, я себе там позволил. В легком жанре тоже, знаешь, рискуешь иногда. И не обязательно в соответствии с отголосками, так сказать, западной моды. Хотя тут я вижу определенное сходство с кино: нам, песенникам, тоже нельзя отставать от последних новинок в приемах, технике. Мы в этом смысле тоже завязаны, чтобы получалось современно. Своевременно, я бы даже сказал. И колдовать с аппаратурой приходится. Ты, кстати, не пробовала?

— Нет, ты не подумай, что я уж такая старомодная дура, — она, по-видимому, обрадовалась возможности продолжения разговора. — Пусть джаз, пусть рок — и там, конечно, есть талантливое, прекрасное, когда создавалось и пробивалось с кровью, потом. А бывает: тяп-ляп, — и готово. С легкостью, по накатанному и с той же миной, что и настоящее, подлинное. Но ведь слышно…

Он подумал: «Что-то, верно, пропустил из прежде ею сказанного. Что-то, значит, в цепи невезений особенно ее царапнуло. Всякие там возвышенности, умности — они появляются, когда уже окончательно почва под ногами поплыла.

Да и обычно говорится ведь не о том, что в действительности занимает. Тоже уже уловленный и подхваченный и в музыке, и в литературе разнобойчик. Опять не открытие, увы. Остается, по сути дела, один, да и то все сужающийся ход — в сферу эмоционального. Но и там теперь скудно, блекло. Что мне Морковкина?

Что я Морковкиной? Не брезжит никаких завязок. Все схвачено и упущено за ненадобностью. Любые повороты лишь для того, чтобы приблизиться к своему обожаемому „я“. Но и „я“ изжевано — пережевано настолько, что, кажется, уже и я был, жил много раз, тоже скучно, а повторяться незачем. Один долгий, до обмирающей тоски зевок. Что мне Морковкина? Да что я себе сам?..» Мысленно вздохнув, он вынудил себя продолжить:

— Ну легкость-то отнюдь не признак бездарности. Весьма и весьма достойные легкости в себе не стыдились, даже, случалось, ею бравировали. А к «творческим мукам» и бездари прилаживаются. Из личного же, если хочешь, опыта: мало кто всерьез разбирается, плохо ли, хорошо ли. Репутация- вот что в основном решает. А уж как ее создавать… — он развел руками, улыбаясь.

Она тоже улыбнулась поспешно и все же с запозданием. Не ладилось у них, ни в улыбках, ни в словах. Клейкое ощущение притворства обнаружилось в этот раз обоими. Ласточкин взглянул на часы, что она поймала как сигнал:

— Спасибо. Я ведь и не бывала никогда в такой обстановке. Люди, наверное, тут знаменитые, известные, И так, конечно, с улицы, не войдешь.

Вот я болтала, а ведь действительно занять подобающее место, вырваться, выделяться — уже кое-что. То есть я хочу тебя поблагодарить, я понимаю…

Он поморщился. И прежде, вспомнил, было ей свойственно такими вот придыханиями, фразами торопливыми, самим выражением лица, глаз доводить ерунду, нелепость до полного уже абсурда. Вот что, наверно, и тогда, в школьные годы, в ней бесило: карикатурная чрезмерность, компрометирующая как бы и других. Нарочно она, что ли? Ну хотелось ему чуть-чуть прихвастнуть, но не так уж явно, пошло, как она сейчас продемонстрировала — на, любуйся! — будто дохлую мышь держа за хвост.

Оглянулся, отыскал взглядом крупную, вальяжную их официантку.

— И тебе спасибо, — проявил выдержку. — А пластинку, если интересуешься, достану для тебя на днях. Сама понимаешь, — произнес отчетливо, — в свободной продаже ее не разыщешь. Размели в один день.

Дома его ждал сюрприз. Ксана, открыв дверь, поманила в глубь квартиры.

Он прошел за ней следом и замер как в столбняке.

— Когда это ты успела? — сумел только вымолвить.

Она хохотнула:

— Нравится?

Он молчал, приходя в себя от неожиданности. В живописи был не знаток, но что это здесь, в их доме, неуместно, ясно стало сразу. Огромное, рычащее, скачущее- полотно, картон? Как его там, коллаж? Ксана напряженно за ним наблюдала.

— Так, понимаю, это не подарок. Сколько просят? Денег, надеюсь, еще не отдала?

— В том- то и дело! — Ксана с прежним смешком будто всхлипнула, виновато, но пока не сдаваясь. — Надо было сразу, не медля, иначе бы перехватили. Успела, взяла такси.

— А-а! — Ласточкин протянул. — Столько охотников, конкурентов? Из музейных запасников? От разорившегося коллекционера? Сколько же слупили с тебя?

— Ну… потом скажу. В мастерской была — такая роскошь! И на глазах прямо расхватывали, в самые, знаешь, такие дома. Даже из посольства советник один примчался, то ли Италии, а, может, Бразилии. Уртиков не хотел отдавать, сказал, что скоро понадобится для выставки.

— Уртиков? Не хотел,? Что-то о таком не слышал.

— Ну понятно! Такое не пропагандируется. Но тебе — нравится?

— Н-не… очень. И имеет значение цена. Можно ведь и за шкаф в конце концов засунуть, если не очень тебя нагрели. Ты сумму скажи.

— Так разве оценивают? Это же картина, гляди.

— Гляжу. Но если, положим, не понимаю, зачем она мне?

— А, например, как даже вложение… — Ксана произнесла уклончиво. — Другие — не дураки, приобретают…

— Какое вложение? Уртиков! Не Врубель.

— Да ты бы и с Врубелем вряд ли бы разобрался.

— Может быть, не настаиваю. Но в данном случае просто — не нравится! За шкаф, только за шкаф.

— Ну знаешь! Эдак деньгами швыряться, — Ксана, негодуя, покрылась румянцем.

Ласточкин опустился на диван. Картина не только не нравилась — давила, напирала. Ее непристойность открывалась не сразу, но после уже не удавалось отмахнуться, отделаться. Сырая розовая мякоть, почти ощутимый скользкий запах от зеленоватых подтеков в углах — картона, холста? Но мало того, в крикливости этой угадывалось что-то особо подозрительное. Подделка?

Ласточкин сам удивился своей догадке, как-то даже польстившей. Ничем там не брезжило, ни безумием, ни эпатажем. Все заимствовано, поэтому так нагло.

Халтура, гнилой товар.

— За шкаф! — он подытожил. — А лучше пускай вернет деньги.

— Не вернет, — Ксана пробормотала чуть ли не ее слезами. Ласточкин редко видел ее настолько взволнованной. — Не вернет, знаю. У него такие усики, глазки, я тогда уже насторожилась. Но… так уж вышло, и еще мне хотелось обрадовать тебя….

Он поглядел на нее, смягчившись:

— Да ладно… Кто он, Уртиков? Есть, по крайней мере, его телефон, адрес?

— Он не отдаст! И к тому же… не принято. Художник все-таки, и мастерская, говорю тебе, роскошная.

— Жулик он, вот кто. И нечего церемониться.

— Это ты так считаешь, а ведь не очень разбираешься. Не надо было, конечно, сразу деньги отдавать… А теперь… Теперь просто не знаю. Ты решительно против?

— Я — решительно. Решительно против, чтобы из меня делали дурака. Тем более за мои же деньги. И кто тебя туда привел? Тоже, наверно, из той же артели жулики?

— Ну это ты зря, — Ксана слабела, но не сдавалась. — И вообще, ты же сам творческий человек, знаешь, как это мерзко, когда ярлыки навешивают, и, что, мол, халтура, от непонимания, невежества. А могут быть разные вкусы, разный взгляд.

— Так и до ночи можно дискутировать. А пока этот шедевр к стеночке, извини, переверну. Чтобы настроение не портил, хотя бы до завтра, иначе не вынесу его здесь.

Утром Ксана влетела в спальню, не пожалев, разбудила Ласточкина.

— А вот Алине нравится! — сообщила, торжествуя. — Выйди, поговори с ней.

За ночь Ласточкин забыл, слава богу, об их приобретении, спросонья же сообщение Ксаны нисколько его не обрадовало.

— При чем тут Алина? — сказал, позевывая. — Бедняжка! Ты, заставила ее примчаться в такую рань?

— Она сама вызвалась. Ей было интересно. Об Уртикове она, правда, не слышала, но сказала, что знает одного англичанина, который работает в той же манере.

— Ну, конечно, Алина все знает. Так, может, она хочет это сокровище приобрести? Давай, так и быть, уступим ей по-дружески, без комиссионных, за ту же цену.

— Не смешно. — Ксана произнесла строго. И присела сбоку на кровать. — Хочу тебе сказать, ты слушаешь? Так вот, — понизила голос, вздохнула проникновенно, — у меня как-то меняется отношение к картине. Чем дольше гляжу, тем… Будто погружаюсь, и открывается новое.

— Понятно, Алина наворожила. А сама свою копеечку бережет.

— Перестань! И еще я подумала… Вот раньше в домах висели картины, передавались по наследству. Все ведь тлен — тряпки там разные. А это остается — произведение.

— Меня тоже хочешь заворожить? — Ласточкин натянул халат. Алина — свой человек, перед ней можно было и так появиться.

Алина сидела на стуле, прямая, сосредоточенная. Темная челка, острый нос, неумеренный макияж, портивший ее, зато затеняющий истинный ее возраст.

Считалось, что Алина отлично ориентировалась в современных жизненных ценностях. Разведенная, с кооперативной квартирой, эрудитка.

— Ну что я могу сказать? — произнесла после коротких приветствий. — Был бы этот Уртиков ослепительным дарованием, обошелся бы вам дороже в сто раз.

Рассчитывать на период безвестности — кончилось такое время. Чуть у кого забрезжит, сразу нарасхват. Оригинальных идей сейчас, сами знаете… А тут все крепко, в расчете, конечно, на определенную конъюнктуру. Ну а как теперь опять же без этого? Картин в личное пользование приобретать стали больше, чем прежде. Имею в виду не такое уж давнее прошлое… Тогда отдавали за гроши, задаром, бескорыстно, с голода, от отчаяния. Теперь живут неплохо, а хотят еще лучше, еще сытней. Почему нет? И художники тоже люди. В салонах, посмотрите, какие цены. Интересуетесь, не надули ли вас? Нет, по-моему, не надули. Но главное, если такая манера вам, так сказать, отвечает. Ведь бывает, все еще тянет к другому, в традициях, скажем, Лактионова.

Ксана посмотрела на Ласточкина. Он улыбнулся:

— Спасибо, Алина. Ты надежный товарищ, приехала, не поленилась. Может, попьем кофейку?

— Нет, ты скажи, ты согласен? — Ксана забеспокоилась, чтобы он не увернулся. Уйдет Алина, ей будет сложнее объясняться с ним.

— Согласен! — он, смеясь, поднял руки. — Алина кого хочешь убедит. Только была бы она, эта картина, поменьше, не так бы бросалась в глаза, я бы уж точно безропотно… А тебе, говоришь, нравится?

— Ну… — Алина на секунду замялась. — Я стараюсь объективно подойти.

Нравится, не нравится — это как-то по-детски. Считаю, каждого художника надо уважать, пытаться вникнуть, вглядеться. А нравится — не нравится… Так уже бывало, этим руководствовались и наломали дров.

— Почему? — Ласточкину захотелось поспорить. — Лучшее ведь осталось, существует и в экспозициях, и в запасниках. Уберегли, сохранили.

— А кое-что нет, а могло бы быть больше. И жизни — длиннее. Но это сложный разговор.

— Сложный, — подтвердил Ласточкин. — Но вот что меня смущает: зачем?

Купили, собираемся вешать. А ведь не разбираемся. По крайней мере я…

— Ну это не преграда. — Алина состроила гримасу. — Понимают немногие.

Остальные делают вид или выжидают, подлаживаются, скажем, воспитываются. А в результате верят, действительно наслаждаются. Хотя, может, взаправду, а может, врут. Искусство — дело темное, ты не находишь?

— Да, — Ласточкин усмехнулся, — особенно живопись.

— И музыка. Вот, скажем, для меня. — Алина прижмурилась вкрадчиво.

Ласточкин в упор посмотрел на Ксанину приятельницу. Замечание ее насчет музыки почему-то царапнуло его.

— А все же скажи, тебе нравится?

— Ну что ты пристал, — Ксана вступилась. — Алина вее сказала, и, по-моему, достаточно ясно. А куда будем вешать, после решим.

Следовало, наверно, на Алинин авторитет положиться, но Ласточкин, когда женщины удалились, снова приблизился к творению неведомого ему Уртикова.

Нельзя сказать, чтобы непонятно. Не заумь, нет. И рука твердая, умелая.

Вполоборота женская головка, с провалами незрячих глаз, на длинной пружинисто выгнутой шее, крутая толстая задница, мясистая ляжка и игриво назад отброшенная непропорционально маленькая ступня. Будто танец. Где-то это все мелькало, впервые в ту пору найденное. Великие теперь имена. Замес из них, тех открытий, находок, тогда бесстрашных, диковатых, головокружительных. Обывателю все еще хочется стыдливо опустить глаза, хотя понукают: смотри, деревенщина. И Ласточкину отвернуться хочется, отчего-то ему сейчас неловко. А вместе с тем видит, чувствует: что-то еще тут есть, ну совсем знакомое. Похожее на коврики с лебедями в базарных рядах, отороченные бахрамой — загляденье!

Такое вот удивительное сочетание в этой картине. Тоже, можно считать, находка. Лично Уртикова? Или снова стянул у кого-то, жулик? Как знать, как разобраться? А может, права Алина? Надо к кому-то прислушаться, если собственного мнения нет. И нечего себе голову морочить.

Но к обеду неожиданно возник у них приятель Николаша, заскочил по соседству. Жена его в командировку с неделю как укатила, и потянуло, как он объяснил, неодолимо на семейный борщ.

Борща у Ласточкиных не оказалось, зато — картина. Ксана, сомневаясь в Николашиной компетентности, все же повела взглянуть. Николаша вошел и присвистнул:

— Сила! Знал, что композиторы хорошо зарабатывают, но чтобы так! Это же целое панно, ему место где- нибудь в вестибюле почтенного учреждения. Ну ребята, — он хихикнул, — поздравляю! Теперь я абсолютно спокоен за вас.

— Не дури, — Ксана нахмурилась. Такая реакция ее не устраивала. — Разъясни свое впечатление членораздельно. Нам важно, тебе первому показываем, советуемся, — привычно соврала она.

— Тогда… — Никола отошел, приложил к глазам ладонь лодочкой. — Срам! Вот мое впечатление. Чтобы такое держать в доме, нужна аршинная подпись, к примеру, САЛЬВАДОР ДАЛИ.

— Шут, шут гороховый, — проворчала Ксана. — Это известный художник. Уртиков. Не слышал?

— Ах, Уртиков! — Николаша оттянул книзу и без того длиннющий домашней вязки свитер. — Уртиков? Тогда другое дело. Тогда — конечно. Сразу бы и сказали. А то — оцени.

— Ты видел его работы? — Ксана встрепенулась. — Да перестань паясничать, наконец!

Но Николаша — нет, не перестал бы и под страхом смерти. Грозный Ксанин вид на него не действовал.

— Я?! — воскликнул. — Об Уртикове? Ни плохого, ни хорошего, абсолютно ничего не знаю. Значит, говоришь, есть такой? Очень может быть.

Ласточкин хмыкнул. Но, честно сказать, реакция Николаши его тоже задела. Уртиков этот неведомый уже вроде оказывался своим, следовало взять его под защиту от нападок Николаши. В Ласточкине боролись противоположные чувства, ущемленное самолюбие и желание расхохотаться: ведь действительно влипли, что ни говори.

— Братцы, нет борща, дайте хотя бы чаю, — проныл Николаша. — И может, печеньице найдется? Одно! Понимаю, что этим приобретением вы сильно пошатнули свои финансы, так хотя бы сухарик, а?

Ласточкин уже предвидел, с каким удовольствием Николаша понесет свежую новость по знакомым, как распишет со смаком шедевр, ими приобретенный, в каком идиотском свете их выставит, но ничего не поделаешь, не заткнешь.

Издержки вращения в одном кругу. И, хочешь не хочешь, сажай за стол гостя.

— А может, — жуя, продолжал Николаша издевательства, — она и неплохая, эта — ну панно. Кое-что можно замазать. Уртиков, вы поинтересуйтесь, согласится, быть может, за небольшую надбавку? Некоторые места. Не все. Да не смотри ты на меня как тигрица, Ксанюша. Я же по-дружески. Воображаю, как

он, Уртиков, сейчас загулял! Сколько всего приобрел на отваленную вами сумму… Да, между прочим, — вытер салфеткой рот, — направляясь к вашему дому, встретил супругу Гнездюкова, твоего, Ласточкин, соавтора. Такая шикарная, душистая, прямо-таки облако за собой оставляет. И мелькнуло почему- то совсем некстати: почему норковая шуба не бросается в глаза на знаменитой, скажем, балерине, а на заведующей овощной базой — да?

Ласточкин плохо спал в ту ночь и утро начал не в духе. Но, надо отдать ему должное, Ксану ни в чем не упрекал. Наоборот, у него было ощущение, что это он ее подставил, в историю с картиной вовлек. То есть через нее, его жену, над ним захотели надсмеяться — и надсмеялись. Немножко, конечно, бред, но какая-то линия тут просматривалась. Картина эта, ему чудилось, возникла в их доме не случайно, не просто так.

Хотелось сосредоточиться на простейшем: жалко денег. Большая все-таки сумма. Он не скряга, но зачем, за что? Можно, конечно, представить, что сумму такую он просто потерял, обронил, вытащили, в конце концов, у него бумажник: ведь случается. Так не помирать же.

Но соображения о деньгах не заслоняли другого, неотвязного, унизительного и непонятного до конца. Чья-то будто проделка с определенной целью — и удавшаяся. Да-да! Ласточкина точно через силу тянуло к мерзостному изображению, чья вульгарность усиливалась, казалось, раз от разу. Так вдруг обнаружилось, что на узком черепе приплясывающей крупнозадой дивы ни одного волосенка — лысая! Ласточкина передернуло, и даже сделалось зябко: почему раньше- то не заметил? Картина, в самом деле, будто менялась, распускалась все ядовитее, воспринималась Ласточкиным точно надругательство над ним.

И вместе, с тем, все уже вроде сообразив, он прислушивался жадно к отзывам знакомых, которых, то ли по Ксаниному зову, то ли по совпадению, за прошедшие два дня прибивало к их дому в непомерном количестве. Чем не развлечение? Глядели, высказывались. Ласточкина же задевала собственная уязвимость, всеми каждый раз угадываемая: он был точно флюгер, нуждался в чьей-то сторонней оценке, не имея будто своего соображения, своих глаз.

Они тоже, впрочем, не имели. С культурным, так сказать, уровнем в их круге обстояло неважно. Почему, спрашивается, не обрели или когда расшатали?

Творческие вроде деятели, а жили, значит, больше подсказками, слухами, заготовками, слегка варьируемыми в тех

или иных обстоятельствах. Интересно, как в такой болтовне, разночтениях, невежестве и легкомыслии вообще критерии возникали? Кто устанавливал: плохо, хорошо? И кого, главное, всерьез это, волновало?

Ласточкин видел лица своих знакомых, выказывающих участие в забавном, хотя и не очень, событии: купили, теперь сомневаются. Сосед по гаражу, драматург Короедов, произнес вроде вполне простодушно:

— Что вы волнуетесь? Везде подстерегают подвохи. Купил вот мебельный гарнитур, а он через полгода рассохся, ни один ящик не выдвигается. Кому жаловаться? Импортное производство. А творческую продукцию если брать, тем более незачем уж цепляться. Пущай висит. Понятно, собственные денежки отстегнули. Но как же тогда получалось, когда все держалось на меценатстве?

Пожалуй, в те времена при таких- то придирках половина нашего брата с голоду бы перемерла. Шедевр, не шедевр?.. Если с таким подходом, я лично точно сменил бы профессию.

Ласточкин глотал, вынужденно улыбаясь. Мнилось ему, все точно ждали повода. Может быть, он заболевал? Случается: грипп, скажем, температуры нет, а инфекция бродит, окружающее видится воспаленно, в искажении.

А ведь просили, всегда просили: сыграй, Ласточкин! И на концерты являлись, хвалили в артистической наперебой. Или его выступления только поводом бывали женщинам приодеться, мужчинам выпить после за чужой счет? Да он с ума сошел! А овации в зале? А рецензии, премии? Ну да, кое-кто из хваливших, писавших в газетах отзывы действительно были его хорошими знакомыми, но ведь не все! А ставший почти девизом его «Ручеек» — не может быть, чтобы и он блеф!

Ласточкин, будто насильно прикованный, вновь и вновь возвращался к картине. «Что ты хочешь? Что хочешь?» — неслышно шевелил губами, вперясь в изображение лысой девицы. Ясно, явилась, чтобы опозорить его. Как? Да просто доказать, что нет у него ни мнения своего, ни вкуса, и больше того, что она — эта лысая — его родственница. Тьфу, как только пришло в голову! Но какая знакомая, родная повадка, прищур когда-то запретного, влекущего и вместе с тем шлепающая наглая поступь изделия с конвейера.

Почему- то угадывалось, что эта лысая рождена не одна, а в пачке, в потоке таких же точно задастых, ухмыляющихся. От того, верно, что Ласточкин так страстно вглядывался в уртиковское творение, ему открывалась все больше манера ее создателя, лаборатория его, точнее, цех. Как прозрение: их много, таких же

точно!

Нахлынуло неудержимо: Уртикова надо увидеть. Застать врасплох в мастерской. Схватить за руку. Если Лысая одна, уникальна, тогда, что же, Ласточкин уйдет посрамленный. Но он был почти убежден: Лысая окружена близнецами- сестрами. Уверенность крепла, чем дольше он всматривался в плутоватую, базарную ухмылку своей блудницы. Кто же он, Уртиков? Вор, жулик, работник, родственная душа?

— Ты хочешь ее вернуть? — спросила Ксана, застав мужа опять возле Лысой.

— Н-нет, не знаю…

— Но я с тобой туда не поеду, имей в виду. И глупо. Денег он все равно не отдаст. — Вздохнула. — Была бы у нас дача, все бы уладилось: свезли бы туда.

Ласточкин, кажется, не услышал, настолько ушел в созерцание. Ксана коснулась его плеча:

— Да ты просто прилип. Изменил, что ли, отношение? Она тебя соблазнила, эта дамочка?

Ласточкин не обернулся. Он даже побледнел, осунулся за эти дни. Думал: важна внезапность. Иначе попрячутся сестры-близнецы. А если он Уртикова не застанет, дверь окажется запертой? Что, ждать, караулить? Не в деньгах уже дело. Надо успеть втолкнуть свою Лысую — и бегом. А вдруг погоня? И Лысую снова к нему возвратят. И будет она отныне всегда с ним, каждый, кто в дом войдет, с ней поздоровается, игриво Ласточкину подмигнет: ка-а-кая…

Позор. Жить бы скромно, сводить концы с концами, не думать о предметах роскоши, антиквариата, коврах, картинах- тогда себя не изобличишь. Не узнает никто, что ты невежа, пошляк, нувориш. А для свиданий с прекрасным музеи есть. Смотри, расти — там все проверено, качество подтверждено знатоками. И ты ничем не рискуешь, не подвергаешься насмешкам за спиной. Слушаешь музыку, чужую, прекрасную, находя в ней и свое, себя, лучшее в себе.

— К тебе пришли, — раздался над ухом голос Ксаны. — Давняя, говорит, твоя знакомая и что вы договорились. Пластинку ты свою пообещал. На минуту, сказала, не хочет тебя задерживать. Так выйди.

Ласточкин во всей этой кутерьме забыл: действительно, оставил Морковкиной адрес и день определил, час. В тот момент, лишь бы отвязаться, с чувством неловкости, раздражения — так она на него действовала. Тоже будто что- то в нем обличала. Но почему- то не удавалось ему отмахнуться от нее.

Стояла в передней у самой двери.

— Да ты раздевайся, проходи, — сказал как мог приветливее.

Пока помогал ей снять пальто, промелькнуло: «Ну до чего мы все внушаемы, не самостоятельны в своих суждениях, и как трудно закрепленное уже мнение перебороть. Ведь прелестная, милая женщина, а я, столько лет прошло, вижу в ней прежнюю, затравленную одноклассниками нескладеху и не могу себя перебороть».

— А, Уртиков! — услышал вдруг приветствие будто с хорошо знакомым.

Взглянул обалдело на Морковкину, но она уже от Лысой отвернулась.

— Как ты узнала? — хрипло Ласточкин выговорил. — Где-нибудь еще его видела, Уртикова? Кажется, он не так знаменит… — взглянул, не веря, с надеждой, подозрительно.

— Почему же, — Морковкина произнесла вроде без всякой охоты. — Уртиков тоже… в определенных кругах. Это ведь так все условно. Одни знают, другие не знают. Кто-то видел, но не запомнил фамилию, а кому-то фамилия известна, и больше ничего.

— А Уртиков, — продолжал Ласточкин осторожно, точно боясь спугнуть, — он что же, котируется? — В голове пронеслось: вот как, все из неожиданностей, а по глупости мог прохлопать, упустить стоящую вещь.

— Ну тоже как посмотреть, с какого боку, — она обронила вяло. — Покупают.

Ты вот купил… Уртиков, знаю, даром никогда никому не отдаст. Не тот принцип. Да и было бы бессмысленно. Зачем тогда такое создавать?

— В каком смысле? — Ласточкину не хотелось расставаться с возникшей уже было надеждой.

— Ну… такое, — она сделала неопределенный жест. — Чего тут. Сам понимаешь. А вообще-то он, Уртиков, был способный человек.

— А ты откуда знаешь? — Ласточкин спросил задиристо. Его Уртиков, и нечего эдак небрежно с ним.

— Знаю. — Морковкина взглянула, улыбнулась, отвела взгляд. — Как-никак, бывший муж.

У Ласточкина отчетливо в возникшей паузе лязгнула челюсть.

— Да я же тебе рассказывала довольно подробно. Там, в Доме литераторов.

Ты слушал. Раз десять повторила: Уртиков! — Рассмеялась, нисколько вроде не упрекая его. — Так ты, значит, только-только приобрел? Иначе, я думаю, на фамилию бы откликнулся. Вот

совпадение! — она еще больше развеселилась.

— И отчего вы разошлись? — Ласточкин процедил, сознавая, что деваться некуда, приперт к стенке. — Ты, правда, говорила, ну а конкретней? Если, конечно, неприятно тебе…

— Да чего теперь… Конечно, была причина. — Прошлась по комнате, шутливо поклонившись Лысой. — Даже две, как обычно бывает. У каждого своя. Но за Уртикова можно не волноваться, он, как понимаешь, в порядке. А меня — просто смыло с его глаз. Он не тот человек, чтобы мучиться, терзаться за другого. Ну ты же видишь, — снова сделала в сторону Лысой тот же неопределенный жест.

— Что, что я должен видеть? — Ласточкин готов был уже озлиться.

— Как? — Она в свою очередь удивилась. — Да все! Все видно, все слышно, и обмана тут не бывает. Срывы, неудачи — другое дело. Оступился, не одолел, не смог, попробовал еще раз, иначе, сызнова. Но все равно ясно, как в лице, как в глазах. Да что я говорю, ты отлично сам понимаешь.

— Не совсем…

— А ладно! — Она села в кресло, показывая всем видом, что не поддастся его заманиваниям. — Я только думала, — произнесла беспечально, — что не скоро, очень не скоро мы с Уртиковым встретимся. Надеялась — никогда. И вот, пожалуйста.

— Ты считаешь, так плохо? — поинтересовался он, притворно заискивая.

— Нет, почему же? — произнесла задумчиво, не желая, верно, Ласточкина обижать. — Тут другое. Существует взаимосвязь, как от нее ни отмахивайся. То есть, к примеру, что- то ты делаешь, себя выражая, или, напротив, поглубже запрятывая, но то, что у тебя получилось, вот это готовое, оно никуда не девается, не исчезает, хоть ты его в землю зарой. Обратным действием оно уже на тебя влиять начнет, обязательно, непременно. Все созданное вновь к автору возвращается, и им тогда владеет. Точно, закон. И никуда не деться. Говорят, человек меняется, а просто, что он сделал, то и получил, с тем и живет, и от этого не отступишься. Стра-ашно? — округлила глаза. — А с Уртиковым мы вовремя разбежались, Ему, конечно, другая жена нужна была, сообщница в таком деле, — прыснула, не удержалась, — рискованном.

Ласточкин молча слушал. Она внезапно вскочила, подбежала к картине, почти вплотную прислонилась к ней спиной:

— Так и не узнаешь? Ну… — уставилась на него выжидательно. И с огорчением, непонятно только, искренним ли. — Это же я, я! Уртиков с меня писал, в первом, по крайней

мере, варианте. Да скальп вот снял. — Она оттянула с силой вверх волосы. — Я — Муза. Ты разве не знаешь, какое название у картины? «Му-за». Муза художника Уртикова. Правда, сбежавшая, не выдержавшая. Знаешь чего? Скуки. Скучно невероятно, когда лепят, как пельмени, сомнительное твое подобие. Или пусть не твое. Но пельмени, пельмени… Ха- ха, — смеясь, она изогнулась, коснувшись затылком изображения Лысой. — Но и самому Уртикову невесело. Ему только кажется, что он продукцию свою сбывает и хорошо зарабатывает, а ведь это все в нем, с ним! До других людей долетает лишь то, что с крыльями, а другое, ползучее, под ногами своего создателя копошится, копошится… — Она отдернулась брезгливо, будто действительно что-то коснулось ее ног. — Ну, разговорилась, — сказала вдруг твердо. — Я ведь на минуту, за пластинкой, и не хочу мешать.

Ласточкин молчал. Провел ладонью по подбородку, закаменевшему точно на цементном растворе.

— Нету, — еле челюсти разжал. — Разлетелись они, пластинки, пропали без вести. Упали на пол, и я их растоптал…

— … Ну знаешь, это уже чересчур! — Ксана, возникнув перед ним, произнесла негодующим шепотом: — Эта женщина, твоя знакомая, которая за пластинкой, она же тебя ждет! Не знаю, о чем еще с ней говорить, уже и о погоде, и о Вовочке… Спрашивает, что ей, в другой раз зайти?

* * *

Неторопливо, добросовестно, с прочувствованным усердием Ласточкин водил сверкающим станочком фирмы «Жиллет» по щеке, покрытой душистой зеленоватой пеной крема «Пальмолив». Решил освежиться еще раз к вечеру: у Толика ожидался большой сбор. Толик прекрасно готовил и в этот раз обещал телятину с персиками. Ксана с утра посетила косметичку, для полной боевой готовности.

Толик звал к восьми. В семь двадцать Ласточкин вышел из ванной, окликнул жену: ты готова?

У Толика они чувствовали себя своими людьми. Знали, что звонок может быть не услышан и надо стучать в окованную листовым железом дверь три раза.

Толик на такой сигнал мгновенно откликался: свои, значит, посвященные. В темном, с рядами золоченых пуговиц клубном пиджаке бабочке в мелкий горошек — само обаяние. Обнимался с Ласточкиным, к руке Ксаны прикладывался, усами щекоча: «Проходите, проходите, дорогие». А народу!..

Тянулись к длинному столу, заставленному выпивкой, закуской. Наливали, накладывали, отходили, собирались в группки- все как полагается на настоящем приеме. Для завершенности полной там присутствовал даже иностранный корреспондент, давно примелькавшийся, корреспонденций, впрочем, его никто из присутствующих никогда не читал.

У Толика было шикарно. Чердачному помещению он сумел придать и роскошь, и артистическую изысканность, использовав необычность своего жилья, простор, метраж, поражающие московских квартиросъемщиков. А какие редкости Толик насобирал! Настоящий старинный Веджвуд, фарфор тончайший лиможский, светозарные вазочки Галле. Стены сплошь в гравюрах, несколько икон, не в стиле, правда, но уж действительно редкостных. Собственные картины Толик не вывешивал, они у него в другом месте хранились. Впрочем, творчество Толика имелось в домах у большинства его гостей.

Это как бы стало приметой их круга, знаком приобщенности — яркое, пятнистое изображение лысой, одной и той же, в позах, лишь слегка варьируемых, да и тональность красок Толик почти не менял. Тут-то и была вся соль, вся необычность его творческого метода. Он оставался верен своей лысой, своей музе, она поселилась уже во множестве квартир и, оставаясь все той же, неизменной, могла бы заполнить собой и весь город — да что там

— мир! Толик не уставал упиваться томной негой своей довольно-таки плотной избранницы, настолько своеобразной, что даже отсутствие волос ее не портило, придавало как бы особый шарм. И постоянство такое находило поддержку у его знакомых, знакомых его знакомых, и все дальше, все шире расходились от центра круги.

А почему нет? Кто сказал, что художнику нельзя посвятить себя одной теме? Так бывало? Бывало. А если в точности картину повторить, разве перестает быть подлинником повторение? Ничего подобного. Примеры были? Были.

Ну а Толик Уртиков просто дальше пошел, углубил, так сказать, развил; писал только свою лысую, свою музу, повторял ее точь-в-точь многократно. И почему, собственно, нет?

Его почитатели — или, вернее клиенты — не жаловались напротив, гордились, что у них на стене абсолютно такая же муза висит, как висела она, было известно, у людей весьма именитых: члена-корреспондента, директора магазина «Золотой Бор», певицы Зайцевой, популярного песенного композитора Ласточкина…

Ласточкин и являлся крестным отцом художника Уртикова: он его открыл, благословил, помог на первых порах. Тем, что говорил, рассказывал, ширил славу. В материальном-то смысле Толик в поддержке не нуждался: благодаря чутью, сообразительности, коммерческой жилке он на антикварите очень неплохо существовал. Да и теперь это оставалось подспорьем, хотя и не столь, конечно, уже важным: муза приносила доход.

Глядя на Толика, казалось очевидным, что благополучие, благосостояние на нормального здорового человека действует в высшей степени благоприятно.

Он был улыбчив, бодр и на чужой успех не скрежетал, зубами — благодаря «Музе» ему хватало на все. Безупречный его вкус сказывался в обстановке жилья, в сервировке, яствах, которыми он гостей потчевал, в ботинках, галстуках, рубашках — тут он являл себя безусловно как истинный художник, артист. А побывав у него в мастерской, кофе попив из прозрачных, точно скорлупки, чашечек, узнав между делом, с кем Толик по субботам в бане финской парится, кто смел уже усомниться в его даровании? Получить одну из его работ представлялось тогда необыкновенным везением, тем более что и цена подтверждала качество.

А как искусно Толик умел вести беседу со своими потенциальными покупателями. Тут все было срепетировано, разыграно с явным талантом. И беглое знакомство с редкостями,

Толика окружающими (вот же, пригодился и период, довольно опасный, в иные моменты и унизительный, за черту, случалось, ведущий, когда он, так скажем, специализировался на старине), и свободный обмен новостями из интеллектуальной, духовной сферы (Толик всюду бывал, со всеми дружил). Он не опасался осечки в оценках новой книги, недавней постановки: субботняя баня не только благоприятствовала в плане здоровья, физического самочувствия, но там же, из первых рук, получал он сведения, что стоит считать удачным, кого поддерживать, а где пожать лишь плечами, замолчать, закопать. В парах, запахах душистых решались судьбы людей, творений. Вот на какую Толик поднялся высоту!

На этом новом этапе трудно уже было сказать, кто кому покровительствовал — Ласточкин Уртикову или Уртиков Ласточкину. Да и неважно: спайка произошла. А в нынешнее время в любой области, оба считали, без нее не обойтись.

Дружба? Скорее корпорация, и оба деловую основу своих взаимоотношений нисколько не скрывали. Зачем? Ласточкину уже одно это принесло облегчение.

«Хватит метаться», — повторял он про себя.

После сближения с Уртиковым для него наконец наступила ясность. И странным уже казалось, как долго он сам себя терзал. Выяснилось, что все куда проще и в жизни, и в творчестве. И чего он раньше-то медлил? Надо было только порожек переступить.

Благодаря Уртикову Ласточкин впервые, пожалуй, по-настоящему ощутил свою силу. Точнее, силу таких, как он, для которых сомнения отброшены, выбор сделан. И они — монолит. В сплоченности — гарантия безопасности. Любые наскоки, нападения при такой броне не опасны.

А мнение публики, критики? Да кто в это верит, кого это устрашает!

Дешевый маскарад! Чуть сдвинуть маску — и сразу узнаешь знакомую физиономию хитреца, ловкача, вздумавшего сыграть в принципиальность. На него обижаться?

Да смешно, право!

А слушатели? Кто сидел в зале на его, Ласточкина, концертах? Сплошь знакомые Ксаны. И разумеется, дружно хлопали. А почему нет? Свои — это мощь, защита, капитал, если умеешь своих ценить, поощрять, одаривать ответной поддержкой.

Среди посвященных, вот именно своих можно и открытием поделиться, что все сходит, любая авантюра, халтура глобальная. Чем меньше стесняться, тем выигрыш вернее. Лишь бы не дрогнула рука, не закралось бы нечто, похожее на раскаяние. Если такая бацилла еще блуждает в крови — не жди побед.

Ласточкин сознавал, где его подстерегает опасность — именно в подобных колебаниях, щемлениях, впрочем, почти уже им преодоленных, задавленных. И дрожь даже пробирала, когда на мгновение представлял, что бы его ждало, останься он одиночкой. Ничьим. Какая безумная отвага — рассчитывать на одного себя, одному пробиваться. Да и с какой целью, ради чего? Чтобы в изматывающей погоне, бреду, бессоннице пытаться настичь мелодию, не слышанную еще никем? Да нет ее, мираж она, химера.

Ласточкин ощущал теперь себя так, точно счастливо избежал угрозы, преодолел искушение. И спас его Толик. Толик Уртиков. Появление у него в доме «Лысой» — разве не перст судьбы?

Ведь как Ласточкин прежде существовал? Со стороны, возможно, не разобраться, но сам- то он отлично помнил, как отравлялись все его прежние удачи, победы. А что мешало, причиняло страдания? Музыка… Та, подлинная, настоящая, что вынуждала трепетать, слабеть, сознавая собственное ничтожество, но при этом еще и коварно возбуждая дерзкое желание добыть хоть кроху, хоть каплю самостоятельно, — дразнила, соблазняла, доводила до исступления, внушая исподволь, что нет слаще муки. А каково вознаграждение?

Каков конкретный результат, где он? Он и невозможен, попросту исключен.

Таково условие — в постоянной неутоленности, неудовлетворенности того, кто настоящее ищет.

А между тем пожалуйста — есть вполне реальные плоды. Есть те, кто ими пользуется — и довольны, уверены в себе. Скажем, Уртиков, его окружение.

Ласточкин готов был у них учиться. Старался, почти уже сделался своим, почти… Но все же что-то, какая-то совсем малость мешала. Поэтому каждый раз приглашение к Уртикову воспринималось им и как испытание: чтобы не заподозрили они его, не уловили чуждый дух, в котором он, Ласточкин, ведь нисколько не был повинен и который, впрочем, обещал в ближайшее время начисто выветриться.

Разумеется, человек одаренный обязательно отыщет повод, чтобы попереживать, потерзаться. Это известно, но, кстати, знанием таким как раз можно душевное равновесие себе возвратить. Кажется, что слабеет твой дар, что ты сползаешь, исхалтуриваешься, почти уже исписался, так вспомни, именно для талантливых, незаурядных характерен подобный страх. Они вот и склонны принижать собственную продукцию, сомневаться в своих способностях, в верности избранного пути. Вспомни и успокойся, не мучайся понапрасну.

…Ласточкин с удовольствием втянул терпкий, слегка горьковатый запах английского одеколона, оставшийся на ладонях, после того как он, побрившись, щеки растирал. С удовольствием вообразил предстоящее у Толика Уртикова угощение, лица, беседы. С удовольствием нарядную Ксану оглядел. И, по привычке, на прощание бросил взгляд на пятнистое изображение, занявшее почти всю стену. Крупнозадая, приплясывающая *Лысая* стала теперь и его Музой, талисманом, вехой в пути.

… Весеннее майское утро призывало приняться за дело спозаранку.

Светлые оконные шторы налились солнцем, праздничной радостью бытия. Кофе дымился, тлела в пепельнице сигарета «Салем». Ксана с притворной суровостью отчитывала Вову, который только что надетые белые гольфы успел извозить, забравшись под кровать.

Ласточкин сидел за столом на кухне, где самоварное убранство сменилось коллекцией пивных баварских кружек. Держал перед собой развернутую газету, но мысленно был далеко. Нынешний день волновал его повторением и несходством одновременно. Когда-то тоже самое было совсем иным. Сам он тогда не понимал, и ладони вспотели от, вероятно, передавшегося ему волнения мамы. Кроме того, присутствие большого количества сверстников возбуждало. Бойкие и пугливые, они не давали ему сосредоточиться на том, что его ждало. Он глядел жадно, нетерпеливо, мечтая оторваться от мамы, выкинуть какую-нибудь шалость, чтобы его заметили. Хотелось отличиться, главенствовать, подчинять, а потом уже разобраться, с кем дружить, на кого наскакивать. И не знал он, что обыкновенные такие мальчишечьи намерения отлетят от него вот- вот навсегда.

И мама не знала: у них в роду не было музыкантов. Даже не вспомнить, кто обронил: а у мальчика способности… С чего все и началось, закрутилось.

Какая наивность, авантюризм — просто взять за руку своего ребенка и окунуться с ним вместе в толпу других родителей с детьми, тоже решившихся, надеявшихся… Во дворе той школы цвели малорослые искривленные вишни, а из раскрытых окон ливень звуков хлестал. Поток, мешанина, разноголосица их воспринимались как обещание чуда. Так же журчало, урчало, плескалось в оркестровой яме, прежде чем собраться, скреститься в едином луче по знаку дирижерской палочки.

Себя Ласточкин в тот день плохо помнил: детское сознание в основном существует впечатлениями извне и потому

объективнее, справедливее, но быстрее стирается. Позднее, как бабочка на иглу, все пережитое, весь опыт нанизывается на довольно- таки короткий шпенечек — точку зрения своего «я»: я вошел, я посмотрел, подумал, мне показалось…

Ласточкину показалось, что почти ничего не изменилось. Цветущие вишни окружали кирпичное здание школы, неказистое, приземистое, но вместе с тем и приподнятое как бы все той же упругой волной несущихся из распахнутых окон пассажей, трелей. Невольно сжал ладонь сына, почувствовав, разом пережив и тревогу, и надежду, и ответственность с удвоенной силой. Правда, теперешняя ситуация иначе складывалась: в отличие от своей мамы, Ласточкин отлично знал, куда шестилетнего Вову ведет. И откуда — не с улицы. С бывшим однокашником, ныне доцентом Димой Кроликовым, Ласточкин договорился, чтобы он лично Вову прослушал. А после уже наступит черед формальностей, заявление, документы. Кстати, на экзаменах, в приемной комиссии, Кроликов же и председательствовал.

Вошли в вестибюль и напрямик к лестнице. Будто во сне: двадцатилетия минувшего как не бывало, давнее прошлое сомкнулось с настоящим, стык в стык.

Холодок пополз и сдавился в груди льдистым комочком: дни зачетов, экзаменов по специальности вспомнились, когда школярский страх сплетался уже с ощущениями и другого ряда — волнением артиста перед выходом на сцену, с колебаниями то к обморочности тошнотной, то к страстной нетерпеливой лихорадке, чтобы сейчас же, вот сейчас…

Ласточкин узел галстука поправил, шелкового, благородной расцветки, темно- бордовая точечка и глубокий синий фон. Следовало вернуть себя к реальности, чтобы не утерять под ногами почву: он — известный композитор, добился многого, сумел, достиг… Вот тот же Кроликов по телефону соловьем разливался: «Старик, это же замечательно! Приводи, приводи своего вундеркинда!» Торопился, аж задыхался от энтузиазма. Ласточкин, конечно, виду не подал, что польщен.

Вот так. Вот о чем надо помнить, на чем крепить, так сказать, преемственность — с уже достигнутого им, отцом. И линия, подхваченная сыном, будет все круче набирать высоту.

Вова вырвался, понесся, топоча, по гулкому коридору. Ласточкин, забыв о себе теперешнем, струхнул: уж очень все навевало — портреты на стенах, фотографии, окна, двери.

— Ты что?! — нагнав сына и всерьез осерчав. — Перестань! — Но смягчился, свое ведь, родное. — Соберись, будь умником. Пойми, это очень важно.

Вова улыбнулся озорно, щекастый, балованно-дерзкий:

единственный! Ксана нарядила его в щегольскую, с блестящими заклепками курточку, вельветовые до колен брючки. Ласточкин взглянул на продолговатую бирку из черной пластмассы с цифрой девять, прикрепленную к белой двустворчатой двери. Точно, тот самый класс. Окно, упертое в слепую стену соседствующего здания, кактус на каменном, в искорку, подоконнике, ряд жестких стульев у стены и два рояля, стоящие параллельно друг к другу. В нос сразу, как запах хлорки в бассейне, ударила россыпь ненавистного Черни. Повернутое на скрип отворяемой двери лицо подростка- ученика, охи-ахи ринувшегося навстречу Димы Кроликова.

Обнялись и мгновенно отпрянули в нахлынувшем столь же быстро смущении: чужие. Ощупывающие взгляды пересеклись, и каждый свое увидел. Ласточкин: отросшие, сальные пряди волос, топорщившиеся на Димином затылке, вытянутый ворот водолазки тощую шею открывал. Узкогрудый, потертый стоял перед ним его сверстник.

— Так, Саша, ты понял? — Кроликов обернулся к ученику. — Рапсодию, изволь, наизусть к следующему разу. Пока ты в тексте плаваешь, мы с тобой никуда не воспарим. И непременно переучи в финале аппликатуру. Потом оценишь, поймешь, что я прав. Не упрямься, — коснулся вздернутого колюче плеча подростка.

Ласточкин про себя усмехнулся: Кроликов даже в манере говорить, растягивая гласные, работал под старика Ник-Ника, то есть профессора Всеволжского, у которого они оба когда-то учились, благоговея, боготворя.

Ник-Ник в своих насмешках бывал убийствен, неистощимо разнообразен, а в гневе страшен, сокрушителен. Природная грация, старомодная тщательная благообразность нисколько не смягчали его взрывчатости. Оставалось только удивляться, как за сорокалетнюю педагогическую деятельность Ник-Ник так и не свыкся с тупостью, серостью, хотя и те, кого он клеймил, не могли не поддаться его обаянию. Его ругань, вопли воспринимались как бы доверительностью, признанием, что и они могут, могут — да, все. Хоть на чуть- чуть, на рывок лучше, выше. Ученики выходили из его класса выжатыми, со звоном в ушах, с туманными, блуждающими улыбками: Ник- Ник таки заставил их пусть на мгновение, но оторваться от земли. Он раздавал им свою летучесть, как донор, пока в нем самом не иссякли силы, жизнь. Портрет Ник-Ника висел в коридоре у класса под номером девять, где теперь Кроликов Дима преподавал. Ласточкин вздохнул, не найдя ничего утешительного в таком сопоставлении. Хотя, обычное дело, в пору нашей молодости и снег выпадал пышней, и солнце светило ярче.

— Ну-с, — Кроликов наклонился к крепенькому, невозмутимо ожидавшему Вове, — что мы умеем, молодой человек? Чем можем поразить?

Ласточкин мысленно поморщился: тон, обращение Кроликова с его сыном отдавали явной фальшивкой, оскорбительной, как ему показалось, в столь ответственный момент. Он-то о Диме отличных отзывов наслушался, прекрасный, мол, специалист, и только в его руки… А получалось, когда по знакомству, столько дряни налипает! И кто поручится за беспристрастность его, Димы, оценки? «Вот и не знаешь, как лучше, верней, может, и с улицы», — у Ласточкина промелькнуло.

Но Вова уже вскарабкался на табурет, вытянул к клавишам руки. Ласточкин опустился на стул у стены с внезапной слабостью, его самого поразившей…

…Так жарко, что ослепило, защипало от пота глаза: вынул платок, отер виски, щеки. Молчал. Кроликов тоже молчал. Вова крутанулся на табурете.

— Ну что же, — Кроликов провел по круглой, стриженой его макушке, — ты фотографии в коридоре видел? Вот выйди, погляди, а мы пока тут поговорим с твоим папой.

Молчали. Кроликов достал из кармана пачку сигарет.

— Куришь, нет? — вдохнул, выпустил дым. — В общем, старина, тут дело такое, сам понимаешь… — От этой невнятицы у Ласточкина напряглись, заходили желваки. Кроликов угадал и произнес иначе, твердо: — Словом, парнишка у тебя хороший, смышленый, и жалко, смысла нет на него такое взваливать. Только искорежишь. Данные-то не те, — отрубил.

Ласточкин узнал по интонации, по выражению его лица беспощадных диагностов их школы. Годен, не годен — предельно краток ответ. Ну уж по старой дружбе Кроликов, верно, счел нужным дать пояснения. Ласточкин решил, что выдержит все до конца. Изобразил спокойствие, внимание. Кроликов, оценив, приободрился.

— Вспомни, вспомни нас, себя! — произнес вдохновенно, убеждающе. — Вот твои возможности, музыкальность, тут всем было ясно. И то ведь, уверен, ты тоже хлебнул. А сейчас у нас отбор еще жестче. И что могу сказать? Да то, что опять же ты знаешь. Удерживаются, уцелевают единицы. Отчего середняки отлетают, это неинтересно. Но вот когда талантливые — почему? Почему? Знаю, десятки, сотни вариантов упущенных, нереализованных задатков, загубленных перспектив. Одних то заело, других другое, третьи сами, будто нарочно, назло, четвертые… И вот думаешь, да что могло быть важнее, ценнее? И ничем это не заменишь, не утешишься. Когда знаешь — было,

было! Такая редкость — выпало, и ты сам… Почему? Почему?! — Он сжал в ладонях виски, точно всерьез сейчас горюя, жалуясь. Кому, Ласточкину? Тот наблюдал с каменной неподвижностью. — А вот еще хочу тебя спросить. — Кроликов замялся. — Ты сам с сыном занимался? И тебе казалось…

— Казалось. — Ласточкин взглянул прямо Кроликову в глаза. — Бывают такие случаи, когда и профессиональные навыки подводят, ты не находишь?

Бывший одноклассник стиснул протянутую Ласточкиным руку:

— Конечно, мне бы, как ты понимаешь, куда бы было приятней тебя обрадовать, но честность — прежде всего, особенно на начальном этапе. Зачем коверкать судьбу? Парень у тебя сообразительный, подожди, понаблюдай, к чему у него склонности. — И добавил: — У меня вот дочка… — Кроликов вдруг понизил голос, произнес скороговоркой, в спешке: — Но разумеется, как ты понимаешь, любые способности можно развить. И тоже известны примеры, когда… — Он закашлялся. — Словом, что касается конкурса, то твой сын, считаю, поступит.

Ты его еще кому-нибудь из наших показывал? Ну ладно, я сам этим займусь.

Ласточкин вышел, с подчеркнутой бережностью придержав за собой дверь.

Обещанная поддержка не смягчила пережитое унижение. Это была вторая в его жизни пощечина, после той, во Дворце культуры. Зудящий голос Кроликова застрял в ушах: набор банальностей, таланты, перспективы — тьфу! Но сквозь обиду родительскую что- то другое саднило. Нелепый вопрос «почему?», на разные лады повторенный Кроликовым. Почему… Ласточкин приостановился: поймал себя на том, что думает уже не о сыне. Да, черт возьми, был бы он в себе увереннее — ну в даре, в способности своей к чему- то большему, значительному, — упрись он в это, сосредоточь тут свои силы, и тогда действительно ведь все остальное ерунда. Шелуха, болтовня, глупость. Что же, значит, он ошибся, занизив свои возможности? Почему же не подсказали, не остановили? Ведь это, ведь это что же… Не успев додумать, он огляделся.

Длинный, покрытый линолеумом коридор был пуст. Ласточкин хотел позвать и замер, пригнулся, точно его ударили.

На подоконнике в распахнутом настежь окне сын стоял, вперед наклонившись. Пятый этаж. Обмирая, Ласточкин приблизился, схватил рывком.

— Ты что? — шепнул онемевшими чужими губами.

— Там, — сын вниз показал, — мальчики в футбол играют.

Папа, скажи, я тоже так смогу? Ну когда вырасту?..

ШУРА И НАСТЕНЬКА

1

Это было давно, в конце сороковых годов. Город тогда пополнился одинокими женщинами, девушками, приехавшими из послевоенных деревень. Многие из них устремились на заводы, на стройки, ну а некоторые шли устраиваться в дома, нянчить чужих детей, варить обед, убирать чужие квартиры.

Шуре, можно сказать, повезло. Она сразу попала к хорошим людям, супругам, еще молодым, у которых была трехлетняя дочка.

Муж — обычный муж — все больше отсутствовал, обращался к Шуре с неизменным «пожалуйста» и «спасибо», лицо у него было постоянно усталое, глаза с красноватой воспаленной каймой: он, как и многие в те годы, работал ночами.

Жена его, Шурина хозяйка, насиделась дома с ребенком и теперь рвалась служить, а потому так счастлива была появлению Шуры-будет наконец с кем оставить дочку Настеньку.

Настенька была маленькая, тощая, хотя родители ее жили хорошо, дополнительные пайки получали. И всегда из носу у нее текло, губы в лихорадке, вообще заморыш: Шура ее жалела.

Но вот удивительно-кроха, а характер такой, что и не подступишься. С хозяйкой, Еленой Дмитриевной, Шура сразу поладила, с хозяином-ну с тем и вовсе просто: что дадут, то и ест, улыбается рассеянно, кивает. Зато трехлетняя Настенька ни в отца, ни в мать, видно, пошла. Насупленная: сидит молча и глядит в угол. Шура с ней заговаривать пробовала-молчит. Выйдут гулять-Шура Настеньку крепко держит, но сквозь варежку розовую никакого к ней в руку точно и не идет тепла, будто не девочку живую ведет, а куклу.

Дети в сквере играют все вместе, а Настенька опять насуплена, опять одна. Шуре и обидно за нее, и готова уже вот-вот рассердиться: шлепнула бы пару раз-иди, играй, да если бы была своя….

Ну а так… Шура Настеньку купала, кормила, одевала, целыми днями они были вдвоем. Родители придут, перед сном поцелуют дочку, а иной раз и вообще появляются, когда Настенька уже давно спит.

Так и жили, дни, месяцы. Шура с каждой получки обновку себе покупала: из деревни приехала, совсем, можно сказать, совсем раздетая была. А теперь, как выходной, ходила по магазинам, облюбовывала, высматривала, а про завтрашний день вроде и думать ничего не хотела. Была она, как тогда говорили, темная, хотя от природы, наверно, и не глупа.

И с чудесными густыми золотистыми волосами. Хозяйка, женщина понимающая, восхищалась: «Ах, Шура, какие у вас волосы!» А та только отмахивалась: заплетет их туго-туго в косу и под платок запихнет.

Круглолица, с ямочками на щеках, со вздернутым носом — известный русский тип.

И смешлива, и вроде вполне всем довольна, а одна-одинешенька на свете. Только тетка осталась, сквалыга: комнату в Москве имела, а племянницу вот родную не пустила к себе.

Шуре в то время пошел уже двадцать третий год, и должна была бы она, казалось, о будущем своем подумать. Но нет, не думала. Удовлетворилась, получалось, вполне существованием при чужом доме, с чужим ребенком, радуясь, что сыта и в тепле, — и, чтобы это понять, надо знать, чего она, Шура, перед тем натерпелась, как наголодалась и намерзлась, и время, конечно, должно было пройти, чтобы она отошла, — и немалое время.

Впрочем, восстанавливалась Шура быстро. Что и говорить, молодой организм. Ей нравилась чистота, она удовольствие получала, выдраивая, блеск наводя на чужие вещи. А, собственно, она и не задумывалась, что все это — не ее.

Убиралась и пела песни. Настенька, немного подросшая, слушала, не сводя с Шуры зеленоватых, не по возрасту серьезных глаз. От вечных простуд и лихорадок Шура ее выходила. Родители, конечно, были довольны. Ну а Настенька — она теперь сама вцеплялась Щуре в руку, когда они выходили гулять, На улице, да уже и в доме ощущалась ранняя мартовская весна. В щель раскрытой форточки проникал ее запах, солнечный трепещущий свет. Шура говорила: «Дыши, Настенька»-и сама втягивала ноздрями этот удивительно свежий, острый, странно тревожащий весенний дух.

У Шуры были теперь шнурованные ботинки с серой, под мех, опушкой-парадные, солидное зимнее пальто с воротником «кролик под котик», и такая же шапочка, а не как раньше-грубый серый платок.

Шла во всех этих обновках, жмурясь на солнце, по мартовской весенней Москве, улыбаясь чему-то полными, слегка, казалось, расплющенными губами, а рядом, вцепившись ей в руку, семенила Настенька.

Однажды какой-то мужчина, которого, впрочем, Шура встречала у сквера уже не раз, сказал: «Какая милая у вас дочка». И Шура, не замедляя шага, не останавливаясь ни на мгновение, ему улыбнулась. Но хотя они очень быстро прошли, Настенька успела обернуться, выдернулась из-под Шуриной руки и крикнула

мужчине вдогонку: «Я не дочка!» А Шура, сама не сознавая, что делает, вдруг больно дернула девочку и шлепнула ее со злостью- это было настолько неожиданно, что Настенька даже забыла заплакать и худенькое ее личико еще больше, казалось, вытянулось от удивления.

Но и сама Шура была не меньше удивлена. Пожалуй, даже слово «удивление» не очень тут и подходит. Она была ошарашена, она была в отчаянии! Она сама не понимала, что на нее нашло. Но смутная догадка, что произошло это не случайно, что-то подспудное, тайное нагнетается в ней, о чем она еще сама не имеет представления, мешало этот эпизод забыть. Наверно, то был какой-то таинственный сигнал — предвестник будущих событий. И хотя Шура старалась выбросить это из головы, забыть, все же она теперь чего-то ждала и не могла скрыть от себя свое ожидание.

2

Ей исполнилось двадцать четыре, как вдруг неожиданно умерла тетка. А ведь еще с неделю назад двадцатку пожадничала Шуре одолжить — вот она, жизнь!

Но Шура плакала совершенно искренне над теткиным гробом, плакала, как плачут простые люди над покойником, каким бы он ни был при жизни, когда слезы вызваны и страхом перед смертью, и уважением к ней, и причитанья, вздохи эти приносят почему-то облегчение: может, оттого, что считаешь выполненным свой долг…

Словом, Шура оплакивала свою тетку так, что опухла. До ее сознания не сразу дошло перешептывание соседей, что комнату свою покойница оставила племяннице, что теперь она, Шура, единственная наследница тут.

Она зарыдала еще громче, когда узнала во всех подробностях о предсмертных хлопотах своей тетки: как вот она, такая, казалось, сквалыга, а позаботилась о родной племяннице, ничего ей о том не говоря. И вот зачем, значит, понадобился тетке Шурин паспорт! Вот зачем узнавала она телефон хозяйки, Елены Дмитриевны, — вела, оказывается, с ней тайные переговоры, чтобы преподнести Шуре сюрприз, дорогой подарок-только в ту пору, когда самой дарительницы уже не будет в живых.

А Шура, глупая, и не думала, не подозревала!

Зажав ладонью рот, она уходила рыдать на кухню. Не слышала, как входила к ней Настенька, пыталась слабыми пальчиками отнять руки Шуры от распухшего лица — ничего она не слышала и не видела, не хотела тогда видеть.

Но прошло время, она успокоилась. Состоялся у нее с хозяйкой разговор.

«Вы, Елена Дмитриевна, не беспокойтесь, — сказала она, глядя в лицо хозяйке. — Пусть у меня теперь и комната, но я от вас не уйду. Совсем ведь одинокая осталась… В выходной буду туда, на Плющиху, ездить, а так у вас, хорошо?»

И, не дожидаясь ответа, пошла на кухню к кипящим кастрюлям.

Она как-то вдруг посерьезнела, повзрослела. Будто смерть тетки, недоброй при жизни, неласковой, отразилась в ее душе глубже, резче, чем прежние, казалось бы, куда более тяжелые потери. А может, просто пришел час осознать все, что она, Шура, вообще пережила, настало время о прошлом и о будущем задуматься-и вот она, рослая, статная, взглянула на самое себя, и меж светлых бровей залегла морщинка.

Она словно к чему-то готовилась, так вела себя, так глядела, выжидательно, строго. Но не допускала в себе нетерпения, суеты. Ей казалось: у каждого человека своя судьба, и, когда надо, оно придет, дозовется. Ни убежать, ни спрятаться от этого нельзя.

И вот дождалась… И хотя считала себя вполне готовой, испугалась, смутилась: куда легче, выходило, просто ждать и оттягивать срок свершения, решения всей жизни. Но страшно было и упустить, выронить уже из своих рук возможное счастье. Ведь когда еще раз придет твой черед, разве знаешь?

А еще испытание: признаться вслух о случившемся как о реальном конкретном факте, хотя самой-то все пока кажется несбыточным.

…Шура все выбирала момент. Но вот, когда хозяина не было дома, а хозяйка собиралась ванну принять, она, спросив, как обычно, что готовить на завтрак, помедлила в дверях: «Елена Дмитриевна, а я выхожу замуж».

И так просто, легко это получилось, что она улыбнулась с облегчением, увидев себя как бы со стороны: молодую, здоровую, любящую и любимую, и впереди столько радостей-свой дом, своя семья, свои дети…

Неожиданно она осознала разницу: чужое-свое. И что прошлая ее жизнь была только лишь подготовкой: в ней все тогда лишь дремало, хотя она думала, что жила. Все прожитые двадцать пять лет спрессовались точно в одно мгновение, и вот только теперь она начинает дышать, видеть вокруг.

Елена Дмитриевна, ее хозяйка, почти что сверстница, но уже жена, мать, уже нашедшая свою женскую судьбу и в ней определившаяся, смотрела на Шуру, как смотрят те, кто уже любил, на новую за рождающуюся любовь, с неосознанной даже, может быть, завистью, вспоминая себя в ту пору и завидуя уже отчетливо той, прежней, себе.

Но, впрочем, все это проходит мгновением, и быстро восстанавливаешься ты нынешняя и нынешний твой жизненный опыт, дающий тебе, как ты думаешь, преимущества, и спрашиваешь уже не без снисходительности:

— Ну и кто же он, Шура, ваш будущий муж?

— Он…

Шура присела сбоку на валик дивана, взглянула серыми глазами куда-то вдаль:

— Он инженер… Но временно не работает. У него нет пока в Москве прописки. Когда мы поженимся и будем жить на Плющихе, он станет подыскивать работу. Зачем спешить-не в дворники же ему идти с высшим-то образованием! — И гордо: — У меня сбережения есть, протянем. Пусть найдет себе работу по

сердцу. — Помолчала. — Он знаете какой…

— Он фронтовик? — спросила хозяйка.

— Наверно, — несмело ответила Шура. И тверже: — Конечно, фронтовик — ему тридцать шесть лет.

— Не был женат? Или разведен? Или…

— Да не знаю я, не знаю! — сердито и весело одновременно отмахнулась Шура. — Он! — воскликнула она громко и снова, почти шепотом: — Он…

Хозяйка молча на нее смотрела.

— Ну что же, — сказала наконец, — что ж, Шура. Раз вы решили…

— Да! — не дав ей закончить, Шура вскочила, обхватила себя руками за плечи, — Да!..

3

Может быть, прошли только месяцы, а может быть и год, и годы-неважно сколько, потому что иной раз жизнь ровно, плавно движется и так бедна событиями, что получается как в поезде, когда в окнах все тот же пейзаж, ощущение, что стоишь на месте. А бывает, и то, и другое, все сразу, и вот уже захлебываешься в этой лавине и чувствуешь-нет больше сил, только бы дали передохнуть, иначе не выжить. Словом, для одних то же самое время так воспринимается, а для других совсем иначе.

Для семьи, где раньше жила в домработницах Шура, показателем прошедших лет была дочь Настенька, взрослевшая, умневшая, превратившаяся теперь в подростка. И она сидела, как часто бывало, одна дома, читала книжки, когда в передней раздался звонок, пробудивший ее от мечтаний к реальности.

Настенька сползла с дивана, нехотя пошла в коридор, забыв опять, как велела мама, спросить: «Кто там?» Открыла дверь и увидела на пороге незнакомую женщину.

— Настенька, — сказала женщина, — здравствуй…

— Здравствуйте, — ответила Настенька. — А ни мамы, ни папы нет. — Но так как женщина молча продолжала на нее смотреть, предложила: — Вы зайдете?..

Женщина вошла, сняла тяжелое, мужского покроя пальто, размотала платок, под которым оказалась еще полотняная в синий горошек косыночка, плотно облегавшая голову и низко спущенная на лоб.

Лицо у женщины было широкое, и не поймешь, старое или молодое, безбровое, безресничное, и все в каких-то красных вмятинах, точно в шрамах.

Она все так же непонятно-пристально разглядывала Настеньку. Потом вздохнула, улыбнулась безгубым ртом:

— Ну что, Настенька, не узнаешь?

Не дождавшись ответа, присела на низкую табуретку у вешалки и вдруг заплакала, да так отчаянно, горько, что Настенька отшатнулась, отпрянула и захотелось ей куда-то убежать.

— Да Шура я, Шура!

Женщина отняла от лица руки, но оно по-прежнему оставалось чужим, незнакомым для Настеньки, и она пробормотала:

— Скоро мама должна прийти…

4

Разговор между мамой и Шурой состоялся наедине. О завершении его Настенька узнала по Шуриным уже усталым всхлипываниям, по приближающимся голосам, а потом мама вошла к ней в комнату и сказала, что Шура опять будет с ними жить, но пока она неважно себя чувствует, сильное потрясение пережила, и теперь у нее иногда бывает… Мама замялась, подыскивая слова.

«Но это ничего, — шепотом успокоила она Настеньку, — не опасно…»

Настенька умела подавлять в себе любопытство, решила дождаться, когда Шура заговорит с ней сама, и ей не пришлось долго томиться.

Без вступлений, будто продолжая начатую фразу, наливая Настеньке в тарелку борщ, Шура внезапно произнесла:

— А он меня толкнул под трамвай. — Потом села за стол напротив и, не спуская взгляда с Настенькиного лица:

— Он, когда понял, что я все знаю, решил меня со свету сжить. Но я тоже смекнула, бросилась вон из комнаты, лифт занят, я по лестнице, а он за мной.

Осень, холодно, а я в одном платье — на улицу. А он за мной. Бегу, задыхаюсь, хочу крикнуть: «Помогите, люди!»- а голос пропал, ничего не могу. А он за мной. Трамвай, вижу, подходит. На подножку уже вскочила, а он нагоняет. Вот еще шаг, да вдруг нога оскользнулась — и он рядом. А потом… Потом уже в больнице очнулась. Профессор «чудом» меня называл, из кусочков, говорит, сшивать пришлось. И выжила. И живу. Только все теперь не мое, видишь, тело, руки, ноги, лицо-все теперь из кусочков сшитое. Но живу. Видишь, Настенька, живу. А ему, злодею, ничего не сделалось. Гад, вывернулся. Сумел доказать, что его у трамвая будто бы и не было, ну ты представляешь! Будто я ненормальная стала и все это придумала сама. Будто он еще раньше со мной расстался и жил в другом месте. А я, говорит, все это со зла, оттого, что он, мол, сказал, что жить со мной больше не будет. Ну представляешь! А ничего он не говорил, я сама дозналась. Ему комната моя была нужна, а чтоб меня со свету сжить… Ах, ду-ура-а я!

Она вдруг застонала, схватилась руками за голову, плотно обвязанную косынкой в горошек.

— А помнишь, Настенька, какие у меня волосы-то были? Мама твоя все хвалила… Так нет у меня теперь их! Все обрили, одни шрамы остались.

И опять она застонала, точно у нее уже не находилось слов.

— Настенька, — она вдруг улыбнулась, покорно, страдальчески, — а ведь я его любила… Любила — ах как… — И мрачно, мстительно: — А ему комната, оказывается, была моя нужна, комната… — И снова другим тоном, наставительно: — Ты вот, Настенька, говорю тебе, не люби, не делай себя несчастной. Пусть тебя любят — ведь так тоже бывает! Давай себя любить, но сама…

5

А дальше годы понеслись и вовсе, казалось, неприметно. Теперь они жили все вместе — хозяин, хозяйка, Шура, Настенька — и не замечали друг в друге особых перемен. А посторонние разве скажут: «Как вы постарели, Елена Дмитриевна!» Хотя о Настеньке, правда, говорили: «Как она у вас выросла!»

Да и сама Настенька замечала в себе перемены. Происходили они как-то скачками. Вот взглянет в зеркало и удивится: другая. Еще раз взглянет: опять не та, что раньше была. Будто кто-то ее поторапливал: давай, давай, взрослей, меняйся. А она не хотела, она упиралась, ей, как и раньше, прежней своей привычной жизнью хотелось жить.

Она, вообще-то говоря, сама не знала, чего боится. Возможно, для некоторых переход во взрослую жизнь проходит незаметно и безболезненно, а для других, по тем или иным причинам, оказывается испытанием, ломает и закаляет и привносит уже то, что остается навсегда.

Одни спешат стать взрослыми, ждут для себя неведомых раньше радостей, новизны, а другие, напротив, начинают чувствовать почти физически какие-то странные на себе путы- вот почему они, молодые, бывают так раздражительно-застенчивы, так тяжко-неловки, до жара, до рези в глазах, и, кажется, ненавидят всех взрослых, которые свыклись уже с окружающей жизнью, и не представляется им вовсе, что она так сложна.

А может быть, дело тут не в возрасте. Может быть, просто существуют разные породы людей, и одни живут, не задумываясь, не страшась, скажем, смерти, а другие и перед жизнью испытывает страх.

Но вопрос, кто из них может оказаться счастливей, остается открытым. Да и что подразумевать под счастьем? Ровное ли благополучие, приветливое спокойствие, с которым встречаешь каждый новый день? Привычную ли уверенность, что жестокая в своей непредвиденности случайность тебя минует?

Или… Или то ожидание, что не дает ни отвлечься, ни успокоиться и что взрывается вдруг событием, требующим всех без остатка сил, — это ли счастье, когда уже нет выбора и ты в подчинении, во власти той силы, которая и была заранее, кажется, тебе определена?

Но дело еще в том, что, если ярко вспыхнувшая радость, преображающая жизнь человека и изнутри и извне, может показаться соблазнительной для многих, то совсем немногие, отнюдь не все, испытывают готовность за нее заплатить. Не все

знают, что такая готовность как бы вексель, добровольно врученный судьбе, и только взамен его даруется способность понять, ощутить, всецело вобрать эту свою особую радость. С осмотрительностью, бережливостью она не сочетается никак. Осмотрительным, бережливым, осторожным дано испытать лишь то, что они заслужили: каковы затраты, таков и результат. Но зато и меньший у них риск рухнуть, разбиться о землю, искалечиться так, что и не узнать, превратиться в обритую наголо сумасшедшую Шуру, шепчущую в забывчивости: «Я его так любила…»

6

Шура, надо сказать, в обычной жизни была вполне нормальной. Занималась хозяйством, в хлопоты ее никто и не влезал, она делала, что хотела. Была очень домовита, экономна, чистоплотна, не домработница — мечта! Только временами случались у нее вспышки подозрительности, ей казалось, что он опять ее преследует. Шептала Настеньке: «Знаешь, иду вчера по Пятницкой, чувствую, кто-то крадется за спиной. Оглянулась — никого нет… Опять он за меня взялся! Со свету сжить хочет. Комната ему моя нужна».

— Ну, Шура, — пытались ее убедить. — Не может он теперь претендовать на вашу комнату, вы же развелись.

— Нет, — твердила она упорно. — Он не из тех, он никогда так просто не отступит. Ведь как он меня заманил, как я ему поверила!.. Будто зельем опоил! Нет. Он меня все равно настигнет, непременно со свету сживет.

… Ей было уже за сорок. Она стала грузной, с размятым шрамами лицом и маленькими, в запавших веках глазами. Столько лет прошло, а она не могла его забыть. Единственного мужчину, которого любила, которого боялась и ненавидела с той же силой, что охватила ее вдруг так же, как и любовь, и это чувство страха, ненависти и любви впечаталось в ее больное сознание с той же резкостью и так же прочно, как застывает в бетоне чей-нибудь случайный след.

И то, что она верила в его преследования, было искаженным представлением больного мозга о былой любви. Не мог же он совсем ее забыть! — такого в сумасшествии своем она не допускала.

… А Настеньке шел девятнадцатый год. И давно миновало время вечных ее простуд, лихорадок, диковатой ребячьей мрачности. Она росла в уюте, тепле, любви и внимании своих родных и надоедливых, порой, заботах Шуры. Ходила на лекции с легким портфельчиком. Перекусывала в кафетерии на углу. Одевалась в то, что покупала мама на деньги, заработанные папой, — была, можно сказать, обычной дочкой в обычной интеллигентной семье. У нее имелось, в общем, все, что должна иметь девушка ее возраста, воспитанная достаточно скромно, с умеренными потребностями, и у которой, как говорили взрослые, все еще впереди.

Впереди… Это, с одной стороны, обнадеживало, а с другой рождало нетерпение и ревнивую требовательность: так что ты мне предложишь, судьба?..

Точно оставляя за собой право протянуть руку или отказаться: мол, я еще подожду, еще молода…

Да, Настенька не спешила, чувствуя подсознательно, что нынешнее ее состояние не повторится никогда больше. А незнание, неопытность и вправду неповторимы, как неповторимо и то ощущение своенравной свободы, которое в юности только и дано испытать. Потом уж никто не может, хотя, бывает, и пробует, от себя самого убежать. Потом человек так тесно привязывается к тому, что пережил, — помнит, что есть у него и что было, — и куда ему свободно распоряжаться собой! А может, оно и хорошо.

Ну, а в юности другое дело. Еще сам себя не знаешь, сам себе незнакомец, и никаких обязательств ни перед собой, ни перед другими вроде и нет. Ведь, говорите, впереди все? Значит, надо спешить туда, вперед: выяснять скорее-что там… Не понравится, так можно и вернуться! Или он уже закрыт, обратный путь?..

Настенька храбрилась. Шла, вскинув навстречу лицам людей зеленоватые, чуть оттянутые к вискам глаза. Иной раз закусывала с досады губы, когда чересчур уж пристально ее разглядывали, но, дав себе слово, первой не опускала взгляд.

А папа и мама видели все ту же прежнюю свою дочку, милую молчаливую Настеньку, для которой все интересы в книжках, и мама уже начинала с беспокойством думать: «Ведь я в ее годы…»

Зато Шура, хозяйственная, хлопотливая, кристально честная и только с некоторыми, как говорили окружающие, сдвигами, оставаясь с Настенькой наедине, наливая ей борщ или накладывая котлеты, спрашивала вдруг строго: «Ты что?..» И, помолчав, после паузы: «Ты смотри, Настасья…»

А Настенька почему-то смущалась и перед Шурой опускала глаза, пыталась скрыть свое смущение улыбкой, доедала поскорее обед, но вслед ей слышалось опять: «Смотри, Настасья…»

7

— … Ты, Настенька, ешь…

Шура сидела за столом напротив, подперев по привычке щеку кулаком, глядела на Настеньку с таким проникновенным сочувствием, что невозможно было долго выдержать под таким взглядом.

Настенька, сплюнув косточки от компота, поспешила встать, «спасибо» сказала Шуре. Но в дверях почему-то помедлила, оглянулась, посмотрела на Шуру, все так же в прежней позе сидевшую за столом.

— Ну ничего, — сказала зачем-то. — Все обойдется…

Шура, не отвечая, глядела на нее. И Настенька рассердилась вдруг за это скорбное понимание, открыто выраженное на широком Шурином лице. «Тоже, вещунья! Ведь ничего же она не знает! Никто не знает, не могут знать…»

Настенька повернулась, хлопнула дверью.

А в своей комнате, по виду совсем еще детской, где на шкафу сидели куклы, а на диване большой плюшевый медведь, на обоях скакали белым контуром обведенные лошадки, она бросилась ничком на диван, лицом в подушки, и сдавленные хриплые ее рыдания никто не должен был услышать, никто. Плакала, но легче не становилось, потому что нельзя было в один раз выплакать весь этот свалившийся на нее груз взрослого, страшного, с чем не было у нее ни сил, ни опыта справиться.

Она не понимала — за что? Она не понимала, зачем и как можно было так лгать, так притворяться или — еще хуже — так сразу перемениться, и все забыть, и уйти, оставив ее одну в толпе, уйти спокойно, прямо, сунув руки в карманы брюк и еще — она не видела, но ей показалось — насвистывая.

Он взрослый. У него, наверно, такое не раз уже было, и, когда она бежала, летела к нему, он просто спокойно глядел на часы, чтобы к назначенному часу не опоздать. Она шла рядом, никого и ничего вокруг не замечая, полуослепшая и полуоглохшая, так громко пело, звенело у нее внутри, а он рассеянно смотрел по сторонам: «Слушай, не зайти ли нам перекусить? Я что-то проголодался…»

Но тогда она не замечала несоответствия их состояний, считая, что так и должно быть, что это — мужская его сдержанность и взрослость, и, собственно, этим он и был ей особенно мил.

Или понадеясь, что он и так все понимает, она не сумела достаточно ясно сказать ему о своей любви? Ведь она так

счастлива была, что молчала и шла послушно, куда он решал ее вести, и, может, он так легко с ней расстался, потому что и представить не мог, чем стал для нее за это время? Ведь правда, она все время молчала…

Но, значит, ему самому совсем легко было уйти? Значит, она-то ничем для него не стала! Пустое знакомство, которое можно в любой момент оборвать.

Нет, он не глуп. Он, конечно, многое успел заметить. И каким было там, в сквере, ее лицо, и голос, конечно, тоже ее выдал. Он только вид сделал, что ничего не замечает, когда взял ее руки в свои, и вот это его дружелюбие, приветливость — вот это она никогда ему не простит, никогда не забудет!

Что он тогда говорил?.. Что-то о жене, что она снова решила к нему почему-то вернуться, а почему он и сам вроде не понимал. Не понимал, не вдумывался даже, что сам-то хочет, мямлил, что, мол, так сложилась жизнь и что тут так сразу не объяснишь, когда вот она сама повзрослеет, то тоже…

Что тоже? Не будет знать, что хочет и почему? Не сможет почувствовать в себе любовь и не сумеет за нее бороться? Или просто ей тоже станет на все наплевать, все ни к чему, и все заменит слепая, ленивая привычка, когда достаточно будет сказать: «Мой муж, моя жена»-и все замкнется, все уляжется, как в подернутом тиной болоте?

Да, он взрослый. А взрослые люди жестоки в своем спокойствии и трудно решаются порвать с привычным. Но в то же время им легко, ни разу не оглянувшись, уйти обычной своей походкой, стройно, прямо, потому что у таких и вправду «все впереди», и то, что остается позади, за спиной, они уже не помнят.

— … И правильно, — вдруг громко вслух выговорила Настенька. — Все правильно! Только я все равно под трамвай не брошусь. Все образуется, все будет как надо, муж, дети, дом… Только…

Она замолчала, оглянулась на дверь, в проеме которой стояла, и, верно, уже давно, Шура. Молча они смотрели друг на друга. Шура вошла, присела на край дивана.

— Но я сама под трамвай, Настенька, не бросалась, он меня толкнул, — произнесла, как обычно, точно продолжая начатую фразу. — Сама бы никогда, и грех, и в мыслях не было. Я, наоборот, бежала от него, чтобы спастись, — мне жить хотелось! Ведь не бывает, чтоб человеку не хотелось жить, если кто и говорит так, значит, сам себе врет. Я вот какая калека, а рада, что живу, что не убилась тогда насмерть, и профессор, дай ему Бог здоровья, из кусочков меня наново сшил. Жизнь, она знаешь… —

Безгубый рот ее изобразил подобие улыбки. — А то, что плачешь теперь, плачь! — Выражение ее лица изменилось, она улыбалась снисходительно, но без сочувствия. — Плачь. От слез еще никому худо не было. Больше выплачешь, скорей забудешь. А что помнить-то? Подумай — что! Родного кого потеряла? Так нет же, не был он тебе родным. Так, почудилось… И еще много раз чудиться будет, пока не найдешь, не встретишь того, кто сразу и намертво. И не ты одна за него цепляться будешь, а он сам тебя обхватит и крепко станет держать-всегда, всю жизнь!

Вот такого терять-да, больно. Сердца не хватит, все болью изойдет. Уж поверь. Хотя и не дано мне было это испытать, злодей попался, а знаю…

Каждая женщина про это знает, про настоящую-то любовь. Только не у всех терпения хватает ждать, не все верят, что придет она. Да и не ко всем приходит. Тут уж не стану тебя уговаривать, кому как повезет. Но уж жизни радоваться-это всем дано. Даже мне, калеке. И тут ни сочувствия, ни прощения быть не может, когда жизнь свою, одну-единственную, человек не ценит, не бережет.

Она встала, озабоченно осмотрелась:

— Окна пора мыть… Компота может еще налить? Отец с матерью ко-о-гда-а придут! — успеешь нареветься. А лучше сразу решить и забыть. Когда ноги-руки в целости, когда молодость и здоровье, легко снова веселой стать. Но если хочешь, поплачь. — Она почти равнодушно посмотрела на Настеньку, — Эх, сколько бед на свете бывает, столько бед, а ты вот… — отвела глаза. — А вообще-то плачь, если надо…

Вышла, прикрыв за собой дверь. А Настенька осталась лежать на диване, в комнате, по виду совсем еще детской, где на шкафу сидели куклы, а на диване в углу плюшевый большой медведь, на обоях скакали лошадки с притупленными мордами в уздечках, — сидела, глядела в угол. Лицо у нее было задумчивое, а может быть, даже чуть-чуть смущенное.

— …Да, знаешь, — услышала снова голос Шуры, и тут сама Шура появилась в дверях. — Забыла тебе рассказать. Шла, значит, утром из магазина, вдруг слышу, кто-то меня зовет. Слабо совсем, потом громче. Оглядываюсь, и что же ты думаешь? Он! Господи… Я аж за стену схватилась. Стоит, грустно так глядит на меня. И я стою: сил нет идти. Подумать только, такой же, как был, ничуточки не изменился. Ах, думаю, злодей. А у самой — ну поверишь! — жар какой-то внутри разлился, сердце вроде совсем стучать перестало. Потом вдруг застлало глаза и ничего не вижу! Опомнилась — одна стою, держусь за стену, и люди на меня уже смотрят… Да что ты, Настенька! Что ты, что ты… Не надо, милая,

не плачь. А я — старая дура! Глупости это, пройдет, уж поверь. Все забудется.

ЛОДКА НА ТИХОЙ РЕКЕ

Лизина бабка замечательно готовила котлеты. Это все признавали. Котлеты получались у нее сочные, пухлые, с поджаристой корочкой. Но когда Лиза их ела, старалась не вспоминать, как в глубокой эмалированной миске бабка руками разминала, перемешивала фарш, отлепляла от пальцев приставшие мясные катушки, и масло трещало на раскаленной сковородке, кухня наполнялась едким чадом, хотя бабка и открывала форточку.

Бабку Лиза называла бабусей, не помня, кто ее такому обращению обучил.

Но точно, не она сама его придумала: ее вполне бы устроила просто бабушка, но досталась ей бабуся, что все же, вероятно, не было случайностью.

Имя-отчество бабуси произносилось трудно, и, привыкнув, что ее каждый раз переспрашивают, она, знакомясь с кем-то, кокетливо щурясь, роняла снисходительно: «Ах, не мучьтесь! Давайте так: Полина Александровна. Ну уж, пожалуйста, запомните!» — с шутливой строгостью грозила пальцем.

Как в паспорте, Олимпиадой Аристарховной, бабусю называл, кажется, только отец Лизы. И тоже, надо думать, не случайно. Хотя внешне отношения у бабуси с зятем представлялись безупречными, они были друг другу абсолютно чужими, но у обоих хватало мужества скрывать взаимную неприязнь.

Ссорилась, ругалась бабуся взахлеб, до беспамятства, со своей единственной дочерью, мамой Лизы. И тут уже сложнее разобраться — почему.

Жила бабуся от них отдельно, на Сретенке. Потом на Четвертой Мещанской.

Потом на Мещанской, но уже в другом доме. Потом… Лизиной маме приходилось устраивать для нее то один, то другой обмен: бабуся с соседями не уживалась.

А начиналось, как правило, с безмерной восторженной дружбы, влюбленности прямо-таки в соседку, скажем Клавдию Петровну, тоже вдовствующую, тоже пожилую, которая — так была мила! — что предложила передвинуть на кухне свой столик, чтобы столик бабуси ближе к окну уместился, и теперь они вечерами вместе пьют чай, по очереди сладости покупая.

Но, увы, восторгам дружбы наступал конец. Бабуся вскорости уже кляла коварство, теперь ненавистной, Клашки, специально подкручивавшей в плите газ, чтобы у бабуси суп выкипал, каша пригорала. Подобных надругательств нет больше сил выносить!

Бабуся плакала. Мама молчала. Лиза, радуясь, что не осталась дома одна, глазела по сторонам.

Хотя бабуся и переезжала из дома в дом, обстановка в ее комнате не менялась. Те же вещи лепились друг к дружке, сохраняя прежнюю тесноту, духоту, создаваемую даже не запахами, а скорее окрасом предметов: буро-темными плотными шторами, тусклой люстрочкой в пыльных стекляшках, ковриком-гобеленом в травянисто-серых тонах, висящим над диваном с валиками.

В серванте у бабуси за рисунчатым морозным стеклом стояла посуда, разрозненная, собранная из остатков бывших сервизов: только две парные тарелки остались с букетиками изумительно ярких фиалок, и их бабуся выставляла для дочери с внучкой.

Всхлипывая, жалуясь на козни соседей, бабуся заплетала тощие Лизины косицы, вскакивала, выбегала в кухню за чайником, вываливала варенье из банки в вазочку, начинала очищать для Лизы апельсин, торопилась, суетилась — и тут Лизина мама удерживала ее за локоть. «Погоди. Посиди. Давай поговорим серьезно. Мы ведь торопимся».

«Ах да…» Бабуся садилась, но глаза ее, небольшие, карие, беспокойно метались туда-сюда. «Но чаю вы выпьете? Можно же выпить чаю! Хорошо… — Затихла, смирилась. И вдруг, с отчаянием, громко, обрывая на полуфразе дочь:

— Ну надо же, дура какая! Совсем забыла про торт!»

А они, Лиза и Лизина мама, уже в дверях стояли. Запахнув на груди цветастый халат, озираясь, будто отовсюду чуя опасность, бабуся вела их темным, длинным коридором к выходу. Ждала на пороге, пока они по широким плоским ступеням вниз спускались. Подъезды домов, в которых бабуся жила, всегда были гулкие, холодные, и всегда, вышагнув из них, хотелось вздохнуть глубоко, жадно, и улица радовала, и люди вокруг, машины, троллейбусы, трамваи.

Случались периоды, когда бабуся у них поселялась. Происходило это, если ситуации в доме складывались критические: не с кем малолетнюю Лизу оставлять, ремонт затеян, мама приболела, и прочее, прочее, во что ребенка вовсе не обязательно посвящать, а можно сообщить коротко: с тобой будет жить бабуся.

В твоей комнате. Рядом, на оттоманке. За полночь начнет лампу жечь, листая журнал, ворочаясь, вздыхая. Утром, гортанно смеясь, и щекоча тебя за пятки, неумело играя с тобой, изобретая неутомимо чем тебя побаловать, как оградить от родительских строгостей, что тоже — напрасный труд. Ведь родители вовсе не строги с тобой: им просто некогда.

Лизе и в голову не приходило искать какое-либо сходство между бабусей и своей мамой. Положения их настолько разнились, что не угадывалось ни внешнее, ни внутреннее родство. Во всяком случае, на взгляд Лизы. Тем более что появление бабуси каждый раз увязывалось с огорчающими обстоятельствами, разочарованиями, неудачами. Скажем, обещала мама Лизе пойти в театр, но в последний момент дело какое-то возникло, и отправлялась Лиза на представление с бабусей. Что, конечно, было совсем не то! В бабусе так явственно, так обидно недоставало маминого великолепия, уверенности, силы, что рядом с ней и Лиза менялась, чувствовала себя как бы обделенной. Ни новые, тупомордые, лаковые, с тугой, трудной застежкой туфли не радовали, ни колючая газировка, ни пломбир в хрустко-пресном вафельном стаканчике — все блекло, затенялось томящим, стыдливым беспокойством: вдруг бабуся сделает что-нибудь не так, не то…

Да, доверия она не внушала. У нее метались глаза, и в руку Лизы она с такой силой вцеплялась, точно боялась потеряться. Долго у зеркала при гардеробе прихорашивалась, пудрилась, приглаживала прическу, что тоже неловко получалось как-то, даже унизительно.

Она волновалась. Откровенность ее волнений, возбужденной, лихорадочной веселости накладывала на Лизу непривычный груз ответственности. Бабусю, возможно, следовало бы и защитить, и одернуть, и выговорить что-нибудь по-взрослому назидательное. Какой уж тут праздник! Вот она размазала свою помаду, и Лиза протянула ей платок, вот номерок потеряла, перепугалась, потом места после антракта перепутала и долго-долго извинялась. И вместе с тем, что было уж вовсе непереносимо, она ликовала, смеялась заливисто, то и дело спрашивала Лизу: нравится? правда, хорошо? по-моему, ну просто чудесно!

А сам ее облик… Высоченные каблуки, крашенные хной волосы, длинные позвякивающие сережки, да еще гортанный хохоток, взгляд, как она сама выражалась, «с искоркой» — все это несло на себе след упорной, упрямой, натужной борьбы. Она, бабуся, молодилась.

Лиза бывала свидетельницей ее усилий и надолго сохранила презрительное отвращение к ухищрениям женского кокетства, так называемым, заботам о своей внешности. Это были моменты, когда бабуся прочно умолкала. Держа перед собой круглое зеркальце на длинной бронзовой ручке, с одной стороны с нормальным стеклом, с другой увеличительным, пинцетом выщипывала брови, а после, вытянув губы трубочкой, усики, заметного появления которых она боялась пуще всего. Процесс

это был не только кропотливым, но и болезненным — бабуся то и дело страдальчески морщилась, — а главное, в понимании Лизы, предельно скучным: временами ей даже казалось, что бабуся нарочно испытывает ее терпение, из вредности, чтобы, ну например, не идти им гулять.

Хотя и от прогулки с бабусей тоже немного радости получалось. Она всего боялась: и машин, и дурного общества — то есть знакомств тепличной Лизы с дерзкими умными девчонками, и ветер ей мешал, потому что сорвать мог шляпку, и холод — тогда покраснел бы нос, а если жара — тогда надо пудриться часто, а в дождик — так лужи, лужи, можно туфли испортить.

Туфли бабуся берегла. Говорила, что обувь, походка — самое важное в облике женщины. И что было в ее жизни событие, решающее, пожалуй, — тут вздох, прищур, игривая улыбка, — когда именно туфли положение спасли, и правильно оказалось, что она карточки продуктовые на них обменяла, — поголодала, но зато… Платье, правда, было на ней бумазейное, сама шила.

Еще была история про сережки. Ее Лиза тоже выслушивала не раз. И с каждым разом все с меньшим вниманием, все явственней над бабусей подхихикивая, нащупывая как бы осторожно тот предел, где бабуся наконец очнется, вспомнит об утраченном авторитете, выкажет, пусть с запозданием, свою взрослую власть.

Но она медлила, а Лиза, наблюдала, распускалась. В пестром тряпичном мешочке у бабуси хранилась коса с петлей, дополнявшая бабусину прическу в дни особо торжественные. Злодейство — косу скрасть — Лизой еще не свершилось, но уже обдумывалось. И другие, как бы в шутку, пакости вызревали. Поцелуи бабусины мелкие, частые, ее нежно-нудные расспросы, ищущий, прилипчиво-заботливый взгляд никакого раскаяния не рождали. Сомнений не возникало, что она, бабуся, Лизу любила, а вот Лиза могла отвечать на ее чувство или не отвечать.

Иной раз, правда, бабусина любовь приходилась кстати. К примеру, когда Лиза заболевала, жар будоражил, туманил мозг, малиново-красная, маслянисто-атласная занавеска колыхалась перед глазами, падала, залепляла рот, дышать не давала, и на хриплый, из бредовой пучины вопль бабуся подбегала к кровати. Так и осталось в памяти: болезнь, детство, склоненное бабусино лицо.

С мешочками набрякшими под глазами, полоской неровно растущих, крашенных хной волос, тряпичными вялыми щеками и взглядом птицы, испуганно-самоотверженным.

В какой момент Лиза догадалась, что бабуся ну не очень, что ли, умна?

Да сразу, пожалуй. Когда бабуся ее к своей мягкой, обтянутой цветастым халатом груди притискивала, Лиза еле терпела, давила в себе протест. Ласки эти в ее глазах ничего не стоили — не то, что редкий, суховатый поцелуи мамы, не то, что ободряюще-шутливый взгляд отца. Бабуся даже, казалось, не была допущена в клан взрослых, не считалась там ровней: она так же рано, как Лиза, ложилась спать, в обществе гостей чувствовала себя поначалу стеснительно, а после излишне поддавалась возбуждению. Да и в домашней обстановке слово ее не только никогда не являлось решающим, но даже когда она собиралась о чем-то рассказать, мама Лизы настораживалась, взгляд ее отвердевал, и Лизе мгновенно это передавалась. Она чувствовала: маме стыдно, и маму жалко, из-за бабуси мама мучается.

Особенно в присутствии отца Лизы. Он вроде бы глупости своей тещи не замечал, но иной раз, за обедом, поднимал глаза от тарелки и добро-добро, терпеливо-терпеливо на маму взглядывал. Мама вспыхивала. Им не надо было вслух ничего говорить, и Лиза тоже их понимала. Не понимала только бабуся.

Увлеченно несла свой вздор. Пока сама себя вдруг не одергивала: «Ой, компот пора разливать! Тебе, Лиза, в большую чашку?»

На кухне, в домашних хлопотах она как бы за все брала реванш. Паря, жаря, кастрюлями гремя, как-то сразу серьезнела, и важность, солидность в ней появлялись, да и очки, которые она лишь во время готовки надевала, ей даже шли, но она сама очков стеснялась, прятала их.

Как и вставную, розовую, похожую на морскую раковину челюсть, ночами плавающую в стакане с водой, которую Лиза изучала, пока бабуся не отгоняла ее: «Ну, вот еще, поди отсюда… нечего…»

Лиза жалела маму. Представлялось ужасным, как мама в своем детстве могла существовать, живя с такой легкомысленной, такой невзрослой бабусей!

Наверно, маме, бедной, все приходилось решать самой, не ожидая, не рассчитывая на бабусину помощь. Чем, когда, кому бабуся была бы в состоянии помочь? Со всеми ссорясь, на всех обижаясь, сердясь, плача… И вдруг обрушивая шквал любви, теперь на Лизу, а прежде, верно, на маму, и следовало этот шквал переносить, пережидать.

«Родная моя, деточка», — бабуся, громко сморкаясь, рыдала, возвратившись к Лизе в детскую после какого-то разговора с Лизиной мамой. Лиза цепенела, пока бабуся притискивала ее к себе. Такое проявление любви ничуть не радовало. Тут буря только что отгремела, но от чего страсти разверзлись, нисколько

не хотелось вызнавать. Кроме того, двойственное, противоречивое ощущение давило: бабуся вынуждала к сочувствию, а сочувствовать не получалось, не хотелось.

Сочувствие — все, целиком — принадлежало маме. Скрытному, тайному ее страданию. Ее усмешке, горестной и гордой. Шепоту ее, стыдливым, отчаянным вскрикам: помолчи, мама! тише, прошу тебя…

Лизина мама, ясное дело, отца Лизы остерегалась. Отец вроде бы не принимал участия ни в чем, но когда мама, что-то ему втолковывая, спрашивала: «Ты согласен?» — он скороговоркой, рассеянно ронял: «Конечно.

Ведь она твоя мать».

Лиза такие отголоски ловила. Но вместе с тем существовала у них с бабусей и своя особая жизнь, не связанная ни с какими взрослыми понятиями, оценками, и было им тогда обеим вместе — прекрасно.

Как прорези к свету, к празднику часы эти в сознании остались.

Ворвавшись, тугой, наотмашь бьющий ветер свободы поначалу ослеплял, оглушал.

Дурацкая улыбка губы невольно разлепляла, и пульс учащался, прыгал, трусливо, по-заячьи, дергался: опасность — риск, опасность — риск.

А в опьянении, в вихре, поверх всего всплывали шалые бабусины глаза, примятая ее прическа, хохоток гортанный. Да, господи, ничего особенного! Они просто по Москве-реке на пароходике катались, в неподходящую погоду, в неподходящее время, в неподходящем окружении. Бабуся с дядей лысоватым познакомилась и уверяла, что Лиза ее самая-самая младшая дочь.

А в тот раз они в кино прорвались на фильм «детям до шестнадцати».

Арабский, кажется, надрывный, жгучий. С волнением Лиза вживалась в его сюжет, отмахиваясь от бабуси, пытающейся прикрыть ей ладонью глаза в сценах, по бабусиному мнению, предосудительных. Разумеется, сцены эти с полной яркостью в сознании запечатлелись. Как, впрочем, и оловянный взгляд билетерши, когда ей сунули рубль. Как и заискивающие бабусины интонации уже при выходе из кинотеатра: «Но ты, конечно, не скажешь маме?»

В другой раз бабуся пенсию свою мотала. То, вдовье, к чему Лизина мама ежемесячную еще сумму приплюсовывала. Лиза, не вдаваясь, знала: бабуся ждет, и мама приносит, или присылает. Бабуся же все равно еле сводит концы, потому что такой у нее нрав, такие замашки.

Какие именно Лиза слабо представляла, пока не отправилась однажды с бабусей по магазинам почти на целый день. Ничего увлекательного, веселого Лиза тут для себя не открыла. Бабуся в очередной раз разочаровала: она толкалась у прилавков, расспрашивала, разглядывала, сомневалась, решалась и в результате приобрела прозрачные капроновые серо-голубые перчатки с рюшем, флакон терпких сладких духов, моток блестящей тесьмы и под конец внезапно сказала: «А что, если мы тебе клипсы купим?» Лиза оторопела: «Мне?!» Ей было шесть лет, и в голове уже вроде бы прочно сложились правила поведения воспитанной, разумной девочки. «Мне-е?!» — «Тебе. Ты хочешь?» — «Да-а!»

Как все оказалось зыбко. Исчезли представления о приличиях, запретах, предостережениях, и строгий, пристальный мамин взгляд забыт. Латунные прищепки больно сдавливали мочки, но Лиза помнила сверкание синих искристых камней — цена три рубля — и царский жест, с которым бабуся подарок ей свой вручила. Ужас от свершения непотребного, и восторг, и удаль. Но когда они подошли к родительскому дому, бабуся вдруг сказала: «снимай». Лиза остолбенела. «Ну ты же не собираешься, — бабуся улыбнулась, — так в клипсах и разгуливать. Повеселились мы с тобой — и хватит».

Освобожденные мочки ушей все еще ныли, бабуся клипсы в кошелек убрала: «Ко мне когда придешь, тогда и наденешь. И — ни слова маме. Зачем неприятности на себя навлекать, ты согласна?»

В суть разногласий между бабусей и мамой Лиза еще не умела вникать, но то, что отношения их постоянно взрывы сопровождают, давно стало ясно. Как это и случается у взрослых, то мама, то бабуся время от времени по недогляду кидали фразы-камушки, и Лиза их собирала, копила.

Как-то мама, не выдержав, прокричала: «А за что мне тебя благодарить?

Родила? Ну спасибо. А еще? Напомни, скажи — ну скажи! В пояс буду кланяться».

Лиза пятилась к двери, но успевала еще на лету поймать. Бабусино: «… последнее отдавала. Крохи, что наскребала. И ты — брала».

Дверь захлопывалась. Но дуновение чужого, чуждого лицо оцарапывало.

Скорченные чьи-то тени метались, махали руками-крыльями. В горькой, душной темноте мешались голоса. Когда-то, очень давно. Но до сих пор мать и дочь чего-то друг другу не прощали, обвиняли, оправдывались, требовали объяснений. И ни одна

перед другой не умела свою правоту доказать.

Бабуся первая решилась дать кое-какие разъяснения Лизе. На свой, разумеется, лад, хотя и силясь быть объективной, в минувшем, давнем черпая хмель, как бы с надеждой, что настоящее, сегодняшнее может вдруг обернуться иначе, пока она поведет свой подробный рассказ.

Красота, любовь, судьба, удача — вот из каких блоков повествование бабусино строилось. Только на этом концентрировалось ее внимание, остальное покрывала тьма.

Красота, ухоженная, телесная, женская, все в себе содержала. Все события, характеры, как планеты, вращались вокруг красоты. Красота и любовь — больше ничто не имело ценности. Женщины должны были быть красивыми — иначе, зачем жить?

Бабуся жила. В первую мировую, в гражданскую, в голод, в эвакуацию, но личная ее линия сохранялась одна: женщиной, женщиной всегда оставаться, хоть полумертвой, но в сережках, в чулках, пусть под рейтузами, тонких, с кружавчиками на белье.

Быть может, односложность задачи и оградила ее от многого. Уберегла от жестких, сухих морщин. От этого и от того, когда редело ее поколение, а вот она выжила, сумев даже и не поумнеть.

После всех болей, потерь, осталась привычка ложиться спать в папильотках, а проснувшись, сразу в зеркало глядеть настороженным, ищущим взглядом: а не появились ли вдруг эти портящие, порочащие ее усики?

Был у бабуси муж, которого она рано потеряла и о котором вспоминала вскользь. По ее словам, главным достоинством покойного являлось любящее сердце, а также способность — буквально из ничего! — создать домашний уют.

Впрочем, способность такая в годы бабусиного супружества — то есть в двадцатые, скорые, бурные — подразумевала еще и другие свойства: хваткость, гибкость, настойчивость, иначе не удалось бы, надо думать, бабусиному мужу свить гнездо, пусть не на многих, но все же жилых квадратных метрах. Да к тому же в центре Москвы. Для приезжего, провинциала, это был рывок, победа.

В особнячке, где они поселились, прежде нумера помещались. Бабусин муж затеял ремонт, чтобы дух порочный изгнать из их семейной обители, и собственноручно — о чем бабуся с восторгом отзывалась — фанерную перегородку соорудил, так что вместо одной у них получилось две комнатки.

И рукодельный был, и смекалистый. Недаром пошел по снабженческой линии.

Взгляд же его миндалевидных, с поволокой глаз на ломкой

коричневатой фотографии казался томным, кротким, но твердо вычерчен рисунок рта, лоб высокий, в залысинах, а голова яйцевидной формы.

Он умер от сердечного удара. Удивительно — бабуся все еще будто недоумевала — он не жаловался никогда ни на что.

И жених у бабуси был. Его фотографий не сохранилось. В семнадцать лет, в шестнадцатом году, когда на фронт бабуся жениха своего провожала, она не о фотографиях думала, а чтобы скорей он вернулся, чтобы к нему прижаться, чтобы он ее обнял.

Он погиб. Бабуся имени его никогда не называла, говорила: мой суженый, мой любимый. Говорила: он был такой умный, а выбрал такую дуру, как я.

И улыбалась. Сквозь привычные уже, не тяжкие слезы. Жених, не ставший мужем и даже имя утративший, — может, ему как раз назначалось душу в смуглую девочку вдохнуть? Ту, что на фронт его провожала и хотела дождаться, хотела любить, взрослеть, страдать, стариться. Но он не вернулся. Душа девочкина отлетела вместе с ним. Остались копна курчавившихся волос, взгляд «с искоркой» и странная мучительная неудовлетворенность.

Близкая и к смеху, и к слезам. Бабуся нередко сквозь слезы хохотала.

Сама не зная будто, куда ее поведет. Ожидая точно ветерка. И ее несло частенько.

И конечно же не безродной бабуся явилась на свет. Родители у нее были, дом, сестры. В Белоруссии, на самой границе с Польшей. Что-то там потом случилось — погибли все.

Осталась у бабуси только дочь, мама Лизы.

— Я ей платье пошила, голубое, с оборками, свадебное, — бабуся еще и еще раз вспоминала, — так ей шло! Отец твой, — объясняла Лизе, — в военном был, а она — ну как фея. Волосы распущены, личико нежное, тоненькая шейка. Я, конечно, всплакнула. «Берегите ее», — твоему отцу говорю. А она, дочка моя, как изогнется, зашипит как: «Перестань. Надоело. Сил нету».

Тут бабуся рыдала безудержно. А Лиза представляла выражение маминого лица, с гордой усмешкой, румянцем, гнев выдававшим, с тайным страданием в светлых прозрачных глазах. Отец держался, конечно, как ни в чем не бывало.

Бабуся хотела с молодыми поселиться, но мама Лизы отрезала: «Нет. Ни за что. Не будет у меня свар, склок, не будет салфеточек вязаных, ковриков, тарелочек с амурчиками на стенах. Мне нужен простор, свет, чистота. Я, мама, устала…»

Что еще было высказано тогда? Что накопилось, пока мать и дочь вдвоем существовали в комнатках с фанерной перегородкой? Может быть, с той поры у Лизиной мамы и

осталась морщинка между бровей, своей суровостью, пасмурностью противоречащая ее нежному облику? Тогда же вошло в привычку брезгливо вздергивать верхнюю губу? Кто знает… Но наверняка повадки, вкусы Лизиной мамы вырабатывались в противоположность бабусиным. И мамин характер обнаруживался как бабусин контраст.

Бабуся болтала, мама молчала; бабуся плакала, мама крепилась; бабуся исцеловывала внучку, мама сухими губами касалась дочкиного лба. Лиза маму обожала, над бабусей вполне открыто подсмеивалась. А в сердце что-то щемило.

… У них была дружная, крепкая семья, просторный дом, светлые стены, светлый, серебристый мамин смех, чуть, правда, временами колкий, колющий Она вела семейный корабль, а папа, как кочегар, трудился, потому и редко появлялся на палубе, где гуляли, дышали дети. Лиза и ее младший брат.

И время наступило светлое, здоровое, как казалось. Умирать стали от болезней, а не от пуль. Несчастьям, бедам случающимся находились понятные объяснения. Люди переезжали в новые дома, в моду вошла функциональная, как считалось, мебель, оказавшаяся, к сожалению, непрочной, но об этом узнали потом.

Родителям Лизы по душе пришелся новый стиль, отвергающий без сожалений старье, безделки, шкатулки с пряным, шелковым, выстеганным квадратами нутром, где кто-то когда-то хранил зачем-то чьи-то письма и прочую, прочую ерунду, от которой лишь пыль собиралась. Окна- настежь, комнаты надо проветривать, избавляться от лишних вещей. И эмоций.

Веселым, размашистым жестом сбрасывали с подоконников цветы в горшках, всякие там герани, фикусы, освобождали книжные полки от разных ненужностей, устарелых брошюрок, растрепанных сборников заумных стихов, разрозненных томов из собраний с «ятями». Снимали со стен пейзажи, где тянулись, длились как бы на одной печальной низкой ноте поля, леса, даль, ширь — снимали, заворачивали в газету, несли в комиссионки: одно время затор там образовался из этюдов Серова, Левитана, Коровина…

Бронзовые, в подвесках, люстры заменялись пластиковыми абажурами, в чем сказывалась и варварская дикость, и варварское же простодушие, а также потребность, человеческая, понятная, в переменах, в закреплении их. Так спешат при первом снеге надеть валенки, при первом дуновении весны скинуть шубы, так дети стремятся поскорее стать взрослыми, так люди всегда мечтают, жаждут новую, праведную, благоразумную жизнь начать. С понедельника, после отпуска, с чистой страницы.

Самым ругательным словом в устах Лизиной мамы было «мещанство».

Мещанством она считала не только плюшевые коврики, не только фарфоровых китайчат с подергивающейся головой, не только альбомные собрания семейных фотографий, не только портьеры с кистями на дверях, но и чрезмерность в выражении чувств, вскрики, вздохи, взгляды увлажненные.

Сама она, когда ликовала и когда ей больно делали, только еще сильнее распрямлялась и подбородок гордо вскидывала. Ее слово, интонация, жест для близких много значили. Много вмещалось и в молчание. Вообще в семье Лизы умели молчать.

В семье, безусловно, благополучной, и непонятно почему вдруг, когда Лизе, исполнилось четырнадцать лет, она однажды выбежала из дома в пальто нараспашку, в состоянии исступленности, с намерением твердым, безумным — не возвращаться под родительский кров никогда.

Стояла осень. Туман щекотал лицо, она мчалась из переулка в переулок и, наконец, завидев сквер, на скамейку плюхнулась. Сквер был как остров, со своими сырыми, кисловатыми запахами, тишиной, темнотой, неспешностью, от которой, как от твердыни, отлетали бурливые волны города, его отголоски.

Сквер окутал, одурманил, почти усыпил, но ненадолго. Дух осени, проникновенный, грустно-внимательный, умиротворяюще-скорбный, еще сильнее душу разбередил, обострил обиду, чувство одиночества. В домах теплели, желтели окна, и там, казалось, все любили друг друга, все были счастливы, дружны. Лиза всхлипнула и встала со скамейки. Троллейбусная остановка находилась недалеко: в карманах пусто, но она решилась: пусть, подумала, хоть в милицию заберут.

Троллейбус шел через мост, огибая Красную площадь, выше, дальше. Лишь в родном городе можно так чутко ощущать каждый спад, подъем, изгибы рельефа, течение струящихся то вниз, то вверх улиц, заводи площадей — и вот плывешь, дышишь им, своим городом, шепчешь: моя Москва.

Троллейбус ехал, тормозил толчками, кое-где прискакивал, а Лиза — плыла. Плыла на Мещанскую улицу, в коммуналку, к бабусе. К коврику с оленями над диваном, выводку китайчат с кивающими головами, портьерам с кистями, обрамляющими дверь, — туда, где ее, Лизу, ожидали те самые вздохи, вскрики, увлажненный взгляд.

Она поднялась на второй этаж. Дверь — как аккордеон, столько кнопок-звонков, белых, черных, узкие таблички с фамилиями. К бабусе — четыре раза нажимать.

Первое, что навстречу из растворенной двери ринулось, —

запахи. Лиза подобралась, приказала себе быть стойкой. Переступила порог. «Ты?» — бабуся вскрикнула. Обрадовалась, испугалась? Взгляд ее метнулся, затрепетал и вбок соскользнул. За прошедшие годы многое изменилось в их с Лизой отношениях, все больше обеих в разные стороны относило, бабуся вроде уже не пыталась дозваться внучки, а может, голос сорвала.

Во всяком случае, первый момент был неловким. Лиза, пока ехала, и не вспоминала, когда видела бабусю в последний раз, и что в тот последний раз происходило. Да разве важно? Она ведь пришла.

Как всегда, долгим темным коридором бабуся повела ее за собой в свою комнату. Как всегда, во всех известных Лизе коммуналках, тут, в коридоре, висело на вбитом в стенку гвозде цинковое корыто, в прыжке, замер, распластавшись, велосипед. Бабусина комната, портьера с кистями — а на что Лиза надеялась, с чем ехала сюда?

Бабуся захлопотала, скатеркой стол накрыла, расставила чашки. Ей тоже надо было сориентироваться, собраться с мыслями. Но растерянность, как и все в ней чувства, настолько зримо проступала, что Лиза уже пожалела: какая глупость, как могла она явиться сюда?

В расчете на что? На ободрение, поддержку? От бабуси? Кого, когда бабуся умела поддержать? Если плакали при ней, она тоже заливалась слезами, веселилась — с готовностью веселье подхватывала. Только в этом заключалось ее участие. Флюгер, бабочка, легкомысленное существо.

Правда, на сей раз, бабуся держалась серьезно. Взглядывала на Лизу, и опять куда-то вбок соскальзывал ее взгляд. Вопрос у нее явно на языке вертелся: что случилось? Но она себя обуздывала, выдержку, значит, хотела показать.

А Лиза совсем за другим к ней примчалась. Впервые, кажется, проснулось в ней желание рыдать в объятиях бабуси, в один с ней голос, ныть, жаловаться — на маму, на отца, на дом родительский, просторный, светлый, где все у всех слишком на виду и все подсмеиваются друг над другом или друг друга будто не замечают, а за утешениями не к кому прийти, потому что искать утешений не принято и не обучены — утешать.

Да, собственно, от чего? Ты, матушка, жизни еще не хлебала, не получала затрещин, лиха не нюхала, вот и расквасилась, разнюнилась из-за ерунды.

Па-а-думаешь, что тебе такого-то сказали, а ты уж и взвилась, к вешалке бросилась, к лестнице, дробя ступени — на улицу, в осень, а дальше что?

Бабуся на стол накрывала. Лиза, сидя спиной к коврику-

гобелену, глядела, ждала. Смутное чувство в ней нагнеталось, и было предшественником того, что где-то уже близко брезжила догадка. Ну типа того, что нет и не должно быть между людьми простых отношений, нет и не должно быть только умных и только глупых, нет и не должно быть таких дурочек, дурачков, которые не заметят, что их обидели, нет и не должно быть таких умников, умниц, которым все всегда все простят. И короче: ты, Лиза, примчалась за утешениями к бабусе, а забыла, когда видела ее в последний раз.

— … ты что? Ты слышишь? — бабуся ее звала. — Спрашиваю, чаи с лимоном будешь пить или со сливками?

— С лимоном, — Лиза буркнула. Облизнула губы, рот у нее пересох.

— Садись.

Тон бабусин показался непривычно строгим, непривычно было и выражение ее лица, взгляд высматривающий, пристальный, но все равно пугливый по-птичьи.

— Я хочу пожить у тебя, — Лиза выдавила и с сомнением, сама не веря, обвела глазами тесную бабусину комнатку.

— Хорошо, конечно, — бабуся заторопилась, испугавшись, верно, возможной паузы. Как она ни крепилась, но не могла не дрогнуть при виде бледности, нахохленности, жалкости обычно дерзкой внучки. — Не волнуйся, — еще больше она заспешила, — все уладится, вот увидишь. А пока я очень даже рада, что ты побудешь у меня. Придется в школу подальше ездить, на зато тут рядом каток.

Кондитерская, кулинария…

Речь ее превратилась в скороговорку, она старалась успеть все сказать, по пауза все равно повисла. Лиза мрачно уставилась на громоздкий, явно великоватый для такой комнаты, с морозными стеклами сервант. Ей было стыдно.

Она понимала, что тут ее давит, во что упирается ее взгляд, какие мелочи в плену ее держат, и как она слаба, как ничтожна, если не может пересилить себя.

Но, боже мой, ведь как представишь… Проснуться на этом диванчике, в тесноте, духоте, плестись по долгому коридору в ванную, которая вдруг занята? И холодно там, голо, колонку надо зажигать, спички ломаются, и как вдруг полыхнет, сине, страшно, и сама ванна на чугунных корявых ногах, от пола дует, стены склизкие, крашенные коричнево-бурой краской, — нет, не могу!

Да, такое ничтожество. А главное, мама, папа — разве они заслужили? Ненужное мучение, ненужная жестокость — вообще все это ненужно было, нелепо все.

Лиза отхлебнула из блюдца чай. Песочное пирожное лежало

на тарелке с изумительно яркими сочными фиалками. Тонкого, голубоватого фарфора. Из прошлой жизни, бабусиной, далекой, непонятной. Ком в горле стоял, и не удавалось его проглотить. И как посмотреть ей, бабусе, в лицо?

— Бабуся, — Лиза двинула онемелыми губами, — я поеду. Поздно уже. Мама, наверно, волнуется.

Да? Конечно! Может, тебя проводить? Обязательно. Хотя бы до остановки.

А как приедешь, сразу мне позвони. Обещаешь, сразу; же!

Сколько с того вечера прошло? Лиза не подсчитывать, месяцы, недели?

Забыла. Все забыла. И вот мамин день рождения настал.

Как всегда, с утра начались хлопоты. Мама, совсем непраздничная, озабоченная, с семи утра стояла уже у плиты на кухне. Что можно было папе поручить? Ну, разве что стол раздвинуть. Как и прежде, он явится наверняка за полчаса до прихода гостей, сбросит пиджак, кинет портфель и радостно сообщит, что ужасно проголодался. Мама скажет: «Ничего, подождешь. Отстань!

Ну что ты, Павел, как маленький. Не смей хватать огурцы, они для салата.

Павел… Я же в креме, ты рубашку испачкаешь. И кстати, иди сейчас же галстук перемени. Вообще все отсюда — брысь! Вот, ты так себя ведешь, что и дети сразу распускаются».

От детей тоже мало оказывалось проку. Если Лизе велели ветчину, скажем, нарезать и на блюде разложить, она в процессе половину съедала. При гостях ведь неинтересно, соблюдая приличия есть, кусочничать куда веселее.

Младший брат, второклассник, путаясь, начиная сначала, приборы считал, тарелки. Вбегал к маме: «Я забыл, сколько их?» Мама снова загибала пальцы: «Ивановы, Петровы, Сидоровы… Ох, восемнадцать человек! Табуретки тащите с балкона, и протрите хорошенько влажной тряпкой.»

Приглашенные подразделялись на милых и дорогих. Папа так и обращался к ним в тостах: дорогие гости, милые друзья. Сам он, возможно, и не придавал значения подобным различиям, но Лиза их ловила. Скажем, Петровы совершенно точно должны были явиться. Мама позвонила Зое Петровой, попросила: пожалуйста, захвати майонез. А вот некто Иванов мог приехать, а мог и не приехать. Мама спрашивала папу: он ответил определенно? Адрес ты ему толково объяснил? И тон мамы делался раздраженным, точно Иванову этому она ни в чем не доверяла, но очень хотела, чтобы он пришел, и недовольна им была, что вот из-за него

столько волнений, но в случае чего папа будет виноват, хотя лишь папа и сможет маму утешить: да не растраивайся, скажет, черт с ним, с надутым индюком.

Хотя обычно, некто Иванов все же прибывал, пусть и с запозданием. Лиза отмечала мамин облегченный вздох. От других гостей мама, разумеется, ожидание свое скрывала и виду не желала показать, но когда некто Иванов входил, шептала Лизе: «Можешь кулебяку нести. Рядом с заливным, под полотенцем».

Самая колготня возникала за полчаса до сбора гостей. Мама кричала из душа: обувь приберите под вешалкой! форточку на кухне откройте! надо уменьшить огонь в духовке, а то баранина подгорит!

К тому моменту в доме уже появлялась бабуся. Привозила с собой холодец, что, после котлет, тоже считалось ее коронным блюдом: ни у кого, все признавали, так прозрачно не застывало желе, не хрустели так сладко хрящики.

Бабуся на маминых днях рождения как гостья держалась. По крайней мере, при гостях. Мыть посуду предстояло назавтра, уже в будни. Но пока кружавчики на манжетах и у ворота бабусино платье украшали, пудра от избытка сыпалась, перламутровый лак на ногтях сиял, а руки лежали на коленях в непривычной, с трудом переносимой праздности.

Если бы дать рукам занятие — любое, — в голове бы, наверно, не гудело, обрывки мыслей не мелькали бы — аж до дурноты — и молчание зятя, его взгляд, невидящий, равнодушный, перестали бы, верно, как обида восприниматься. Все бы улеглось, утишилось, если бы она, бабуся, дело какое-то себе нашла.

Выручали гости. Бабуся их встречала, с кем-то ее знакомили, кому-то сама представлялась, и в тот момент, когда ей, улыбаясь, жали руку, она, хоть краешком, ухватывала Другую Судьбу, почти реальную, почти осуществимую, где и не подразумевалось особых каких-то перемен, но может быть ее бы уважали? Бабуся вспыхивала, румянец проступал сквозь слой пудры: «Не мучайтесь, — выговаривала счастливо, давайте так: Полина Александровна. Но уж, пожалуйста, запомните!» — с шутливой строгостью грозила пальцем.

Усаживалась бабуся по левую от мамы руку, ближе к двери: и достойно, и на подхвате, если понадобится. Вино отпивала мелкими глоточками, и при ее гортанном смехе Лизина мама подбиралась, предостерегающе поглядывала, но бабуся, увлеченная беседой с соседом справа, никак на эти сигналы не реагировала. «Лиза, — мама шептала, — позови бабусю на секунду. Пусть проверит: пирог остыл?»

Бабуся в чуждые для себя роли легко входила, с явным удовольствием.

Сосед справа чем-то серьезным делился с ней, и она гасила свой взгляд «с искоркой», понимающе кивала, втайне ликуя, что человек этот новый, о ней ничего не знает, а она уж ничем никак не выдаст себя.

И все же ее прорывало. «Сорок пять, говорите? Да дочери моей… сколько — не скажу». Лизина мама при озорных таких возгласах каменела, зато бабусин сосед справа от каких-либо подозрений оказывался далек: улыбчивая, смешливая, очень живая женщина с ним рядом сидела, в годах, конечно, но держалась молодцом.

«Мама, ты не устала?» — Лизина мама к бабусе наклонялась. Чай выпили, пирог съели, некоторые из гостей уже и отбыли. Но бабуся с такой жадностью, так увлеченно следила за танцующими под радиолу, что кто-то просто-таки обязан был ее пригласить.

Нет, нисколько она не уставала. Скорее Лизиной маме веселость гостей начинала надоедать, и Лизу с братом в сон клонило, и папа Лизин поскучнел, зевнул откровенно, нелюбезно, мама грозно нахмурилась, он виновато ей улыбнулся: Бабуся ночевать у них оставалась. Либо в большой комнате, на диване, но накурено, и она предпочитала на раскладном кресле в детской. Долго ворочалась, что-то шептала, а как-то стала напевать: сердце, ах, се-ердце-е мое!

Но в тот раз, в тот день рождения бабуся с самого начала была какая-то притихшая. Собрались Петровы, Сидоровы, Иванов — другой — некто… И та же кулебяка на столе красовалась, и тот же холодец, но не очень почему-то казалось весело, а может быть, просто Лиза взрослела.

Они с братом расставляла посуду, брат оставался добродушным, Лиза же сделалась колючая, мрачная. Мама теперь не только за бабусино поведение опасалась, но и за Лизино.

Но отчего вдруг бабуся сникла? Быстрым, жестким взглядом Лиза усекла: хна не всюду одинаково седину прокрасила, некоторые пряди розоватым оттенком выделялись, и пучок на затылке будто усох, и что-то иное в бабусе проступило, старушечье.

То есть она всегда представлялась Лизе старой, но тут как бы еще грань была перейдена, еще одна сделана уступка, верно, и небольшая, по сразу изменилась осанка, опали, сузились плечи, глаза поблекли, дальше вглубь ушли.

Лизина мама бережно рядом с собой бабусю усадила: почувствовала, верно, сердцем толчок. Но как хозяйке ей следовало гостями заниматься: бабуся осталась без присмотра.

Справа от нее оказалась Зоя Петрова, давняя мамина подруга, и бабуся, видно, совсем потеряла голову, если именно Зое решила душу изливать.

Поначалу осторожно, по сторонам оглядываясь, но все более увлекаясь, возвышая тон, не замечая, что Зоя Петрова е ей не отвечает, смотрит растерянно, — и наконец: «Извините, Полина Александровна, но вы зря это говорите. О своей дочери. Совершенно зря».

Лизина мама услышала. Улыбка, вспорхнув, на губах ее засохла.

— Машенька, — всхлипнув, бабуся позвала. — Прости меня, прости старую дуру. Но Зоя не так поняла. Я ведь тебя люблю, поэтому мне и обидно.

— Да… конечно… да… хорошо, — Лизина мама отозвалась автоматически. — Кому с гарниром, кому без? — она привстала. — Алексей Дмитриевич, вам поджаристей кусочек? — С другого конца стола на нее глядел Лизин отец, и она, поймав его взгляд, быстро обернулась, проговорила еле слышно, одними губами: — Мама, прошу. В день моего рождения. Не порть, не мучь. Не надо, умоляю.

… Лизина мама не плакала. Плакала бабуся, в детской, на раскладном кресле, ночью. Брат уже спал. Лиза тоже хотела притвориться спящей, но пришлось встать, присесть сбоку, слышать, слушать, поглаживая старенький, в черно-белую клетку плед, которым бабуся укрылась с головой.

— Ведь знаю, знаю, — доносилось до Лизы из-под пледа, — знаю, что Маша ко мне добра. Столько у нее дел, хлопот, а она и обо мне заботится. Подарки шлет, гостинцы. Я понимаю… Не то чтобы я неблагодарная. Но только, — бабуся край пледа с лица отбросила, — ты, Лиза, не представляешь, какие матери бывают, прямо разбойницы. А их любят, уважают. Так за что же меня, почему?

Необразованная я, глупая, но ведь старалась, как могла, воспитывала Машу. У нее характер совсем другой и взгляды, значит… Она говорит: «А что мне твои бантики? Родители детей учить должны, а ты порхала». Так ведь нет! За мной Михаил Борисыч ухаживал, очень даже серьезно, но Маше он не понравился, и вот я осталась одна. Были и другие варианты… Да ведь я не о том!

Невозможно так жить! У меня очень развито родственное чувство, мне кого-то обязательно надо любить, Лиза, ты же меня знаешь… Я хочу кое-что рассказать из твоего детства, я все помню! Я гуляла с тобой, встречала тебя — и все прошло… Ты слышишь?

Глаза слипались. Лиза поглаживала машинально в черно-белую клетку плед, слушая и не слыша, воспринимая больше обрывки:

— Но чтобы она сказала: едемте к бабусе? А? Ну почему?.. Слушай, откуда у меня еще слезы берутся?.. Я для всех чужая. Я во всем себе отказывала… У меня хватило бы любви на всех вас. Лиза, ты понимаешь?

Лиза кивала и завидовала брату, который спал.

…Они поехали на рынок. В субботу, с утра. Сентябрьская солнечная дымка высветлила город. В решетчатых загонах лежали навалом арбузы. В резиновых сапогах по сухому шлепали с корзинами грибники. Золотая листва еще на деревьях держалась, шуршала при ветре. Лето кончилось, как всегда, неожиданно быстро. Но казалось, что новые радости принесет зима.

Лизина мама шла по рядам, где приезжие с юга торговали персиками, гранатами, виноградом. Смуглые усачи, глядя на нее, причмокивая, вращая глазами, произносили игриво: да задаром отдам! Лизина мама улыбалась, вздергивая верхнюю губу, но светлые ее глаза оставались строгими, внимательными. За ней плелись Лиза и младший брат. Густо пахло медовыми сладкими ароматами, жужжали пчелы, по одну сторону прилавков сновали озабоченные покупатели, с другой стороны на них взирали гордые продавцы.

Лизе больше нравились те ряды, где продавалась зелень, морковь, репа.

Цены там были куда скромней, и предлагали свой товар, как правило, старички, старушки, похожие друг на друга сходством одной породы, корневой, исконной, российской, сходством прожитых лет, сходством груза, что лег на их плечи, если и не притиснув к земле, то сильно придавив. Но как разнятся в лесу старые деревья, так, при общности, лица эти отличались штучной выразительностью, в исплаканных глазах вспыхивали веселые огонечки, морщинистые, запавшие губы улыбались лукаво. Торговаться до одури они не умели и не хотели. Если покупатель какой-нибудь оказывался уж очень приставучим, махали рукой — да ладно, бери. Может быть, то, что рождала земля, для них все еще представлялось благодатным даром, и забывался собственный тяжкий труд: лишь бы и в будущем ожидался урожай, а сегодня можно, казалось, уступить цену.

Лизина мама передала детям по авоське, сама тяжелую сумку несла. Уже при выходе у ворот они цветы купили, а брат выпросил себе деревянную копилку-кубышку, крашеную,

липнувшую к пальцам. Там же и мочалки, и веники продавались, похожие по форме на балалайки, с распущенной пшеничной бородой.

Сели в такси, ехать далеко предстояло. Мама за целое утро ни словом лишним не обмолвилась: думала о чем-то своем. А Лиза — не думала. Глядела по сторонам, где мчала их машина, и острая жажда жить трепетала в ней, а вместе с тем грусть, жалость ко всем и к себе самой тоже, и полнота такая чувств уже не укладывалась в разумение. Лиза боялась поглубже вздохнуть, чтобы слезы не пролились. Но все, что мелькало перед ней тогда, глубоко, крепко западало.

С шоссе съехали на боковую дорогу. Золотым пожаром парк горел. Водитель притормозил, они выгрузили свои сумки. Мама здесь хорошо уже ориентировалась, и они сразу направились к корпусу «б».

Лиза шла следом, будто во сне. Защитный рефлекс, верно, сработал. Эти долгие коридоры, линолеум тусклый, скользкий, ряды дверей, размытые лица хотелось вычеркнуть раз и навсегда. Это не следовало беречь, хранить. Это пугало.

Но мама все видела, все понимала, и она их вела. Стук ее каблуков разносился по коридору. Мама знала, что не смеет паниковать: за дверью в палате лежала бабуся.

Они вошли гуськом. Окна без занавесей, и свет их ослепил, ослепила белизна, больничная одинаковость. Под одеялами закопошились. «Маша!» — бабуся вскрикнула, и Лизина мама, точно ее толкнули, шагнула туда.

Маша, Маша… Ни на Лизу, ни на ее младшего брата бабуся не обратила внимания, вроде и не заметив их присутствия. Лизина мама сидела на краю постели, а Лиза с братом у спинки кровати стояли, металлической, крашенной белой краской. Лиза глядела и не узнавала: вдруг поняла, что прежде ни разу не видела бабусиной седины, не видела ее непричесанной — от разлохмаченных волос лицо бабуси сделалось меньше, сморщеннее, как у киснувшего младенца.

Мама стала доставать из сумок персики, яблоки, сливы. Бабуся лежала безучастно, зато другие больные в палате с откровенным любопытством ловили каждый мамин жест. Соседка бабусина, видимо, армянка, приподнявшись, на локоть для удобства оперлась. Подстриженная под мальчика, с горбатым носом, глазами, полуприкрытыми выпуклыми коричневатыми веками, похожая на скульптурный портрет какого-то римлянина, она бормотала: «Это очень важно — уход, очень важно — внимание». Лизина мама протянула ей в бумажной салфетке виноградную кисть. Старуха улыбнулась, сверкнув

противоестественной белизной искусственных зубов. «Это очень важно — внимание…» — снова Лиза услышала.

Никаких других посетителей в палате за это время не появилось. Бабуся оставалась в центре всеобщего наблюдения, и вдруг что-то будто до нее дошло.

Знакомое выражение в лице ее проступило.

— Маша, — она произнесла деланно небрежно, — а что, теперь такие каблуки вошли в моду? — указала на мамины туфли, которые видела не раз. — Это Павел привез? Там такие носят? — Обернулась к старухе армянке. — Знаете, мой зять…

Лизина мама склонилась зачем-то к уже пустой сумке.

— А моя дочь… — голос бабуси все горделивей звучал. — А мои внуки…

Лизина мама взглянула на часы. Бабуся мгновенно себя оборвала:

— Маша, ты уже уходишь? Маша, хоть еще немного посиди. Возьми меня отсюда, мне здесь плохо, Маша! Возьми меня с собой, к себе…

…Лет до двенадцати образцом во всем Лизе виделась мама. Спустя время родство с отцом стала все больше отмечать. Брата младшего долго не замечала, пока не обнаружила, как это увлекательно, важно, на кого-то самой влиять.

Защищать и командовать, делиться самым секретным, зная, что не выдаст, не продаст. И очень надежной представлялась семейная их крепость, где спрятаться, казалось, будет возможным всегда и в любой момент.

Поступки родителей, их решения воспринимались безоговорочно. Если Лиза и восставала когда, буянила, так потому, что огонь плавал в крови, дурной характер искал выхода во вспышках, неожиданных и неразумных, что Лиза сама сознавала и раскаивалась.

Вообще себя она оценивала сурово. Знала, что не хороша, не добра, и нет в ней общительности, легкости, а, значит, справедливо, что ее не любят. Но скрытую силу вынашивала в себе тайком, сплетая ее, как канат, из сомнений и уверенности, опасливости и риска, надменности и постоянного мучительного недовольства собой.

Но что она приняла как аксиому, так это необходимость свои чувства скрывать. Особенно те душевные переливы, где и ранятся всего глубже.

Специально ее скрытности не обучали, но как урок воспринимался и мамин холодноватый поцелуй, и ироничные отцовские словечки, сама атмосфера их дома, дружного,

спаянного и не допускающего вторжений извне. Гости, разумеется, не считались: их звали, когда были готовы. Всему задан был строгий, размеренный ритм. И мать, и отец шагали по жизни смело, но помнили об опасностях, гордились, что удавалось им их обходить. А значит, маршрут выбирался определенный, без нарушений, известных запретов, в согласии с нормами.

Чудачеств в доме не одобряли, хотя и сочувствовали некоторым чудакам, наблюдая со стороны. Ценили ум. Уважали труд. Бестолковые чьи-то метания осуждали.

И скорее жестковатость готовы были простить, подразумевая под ней недосказанное, сокровенное, чем мягкость, податливость, излишнюю откровенность, считая, что высказанное вслух обесценивается.

Следовать таким установкам было, возможно, полезно, но иногда тяжело.

Временами, точно муть со дна, поднималось всхлипывающее, жалкое что-то. И как ни отмахивалась, не могла Лиза, не признать, откуда, от кого это в ней.

Да, хотелось, чтобы ее, Лизу, любили, страстно, пылко. Невыносимо было чувствовать себя ни для кого не главной, не «самой». Набухала потребность против несправедливости такой восстать — орать, требовать, объясняться, оправдываться. Что же вы?.. Разве я так уже плоха? Ну не очень добра, не очень легка, но ведь я живу — живу! — и хочу любить, хочу, чтобы меня любили.

Ничего нет важнее, нужней… Бабуся, перестань смеяться, слышишь?

У них было три комнаты. В одной Лиза с братом жили, другая, родительская, считалась спальней, в той, что побольше, все собирались, и папа работал там по вечерам. Вроде площадь большая, но каждая вещь крепко с другими спаялась. Не втиснешься. И вот мама озабоченная ходила по комнатам, что-то вымеряла, подсчитывала. «А если телевизор передвинуть? — сама с собой рассуждала. — Не-ет, не встанет. А если кресло убрать?»…

И ничего так не решила, когда звонок в дверь раздался. Подруга пришла, Зоя Петрова, высокая, носатая, с сизым румянцем. Эдакая тетя-лошадь.

Процокала за мамой в спальню, и Лизе велели принести туда чай.

А муж у Зои Петровой был маленький, кучерявый. карманный. Очень общительный, что вынуждало Зою постоянно быть настороже. Пока он шутил, покачиваясь слегка с носка на

пятку, заложив руки в карманы брюк, так что фалды пиджака вздергивались залихватски, Зоя рядом стояла, тянула по-лошадиному длинную шею, косила глазом по сторонам. Она его любила, и он ее любил, но, часто бывая в гостях, они вдруг ссорились и уже до конца вечера самозабвенно ругались.

Тем не менее, в чужих семейных делах Зоя разбиралась как профессионал.

Даже Лизина мама призывала ее порой в советчицы, когда следовало обсудить, к примеру, ехать либо не ехать ей одной с детьми отдыхать или дождаться отпуска мужа.

Теперь же проблема, верно, возникла поважнее: Лизина мама и Зоя Петрова в спальне затворились, и ни разу хохот оттуда не раздался, сопутствующий обычно их беседам.

Лиза в кухне нагрузила на поднос чайник, чашки, вернулась, взяла еще сахарницу, блюдечки для варенья, приблизилась к двери, но не успела постучаться: говорила Зоя Петрова. Лиза застыла с подносом в руках.

— Ты подумай. Ты крепко подумай, — Зоя говорила. — Потом поздно будет, и ничего уже не вернешь.

— Знаю, — мама отзывалась слабо. — Раньше мне бы и в голову не могло прийти. Но сейчас… ты не представляешь, такой здесь камень…

— А что говорят врачи? — голос Зои ее перебил.

— Врачи как раз считают, что сердце великолепное и легкие… Себе бы, пошутили, пожелали. Не в том дело. Ты бы ее увидела… Так изменилась, так стала слаба.

— Месяц в больнице — каждый ослабеет. Без воздуха. Но обследование закончилось? Все в порядке?

— Да нет порядка! — мама воскликнула. — Нет и не может теперь его уже быть. Она, как ребенок, плачет, просит…

— Мне трудно тебе советовать, Маша. Но вспомни, такие слезы потом скандалами, ссорами заканчивались. И тебя она не щадила, ты — молодая, все, мол, выдержишь, а твое сердце… Нет, дай досказать!

— Я понимаю, — снова начала Зоя. — Абсолютно все понимаю. Это тяжелый в твоей жизни момент. Тем более надо с умом, внимательно разобраться. Не поддаваться излишне эмоциям. Именно… Как сделать разумней? Ты- дочь. Но и мать, и жена. У Полины Александровны есть своя прекрасная комната, в прекрасном районе. Меняться? Оставить как вариант, на случай если разругаетесь вдрызг? А это будет, будет. Она и вас всех еще перессорит…

Была бы другая какая-нибудь, ну, безобидная старушка, от которой пусть и нет помощи, но и выверта никакого не ждешь.

Помню, как она на твоем дне рождения… Да что там! Павел у тебя, конечно, золото, терпелив, благороден, но и тут бы я не поручилась. Ты только представь, представь, как это будет, может быть…

Лизина мама молчала. Зоя тоже не торопилась продолжать. Верно, обе они это себе представляли. И Лиза, слушающая за дверью, тоже.

— Боже мой, голова кругом, — Лизина мама вздохнула. — Не знаю, что и решать, С Павлом еще не говорила. Он, конечно…

— И не говори, — Зоя твердо произнесла. — Неизвестно, что еще дальше будет, боюсь накликать беду, но ведь если бы действительно какая-то неизлечимая была бы болезнь, беспомощность, неподвижность, твой долг, конечно… Но теперь? Почему? Старая? Но так это всех нас ждет. И заранее стоит подумать, чтобы не оказаться обузой.

— Да, правда, — Лизина мама обронила глухо. — Как это страшно, неужели…

— Ну, перестань. Живи и не выдумывай глупостей. Прекрасный у тебя муж, дети, Бога-то не гневи. Ты умница и все сумеешь. К матери съездишь, вкусненькое отвезешь, вернешься домой, к себе, — а так хорошо у тебя, ладно, дружно! Действительно, по-доброму завидую. Не осложняй, не омрачай. И не вынуждай меня к цинизму, но жизнь-то у нас одна.

Лизина мама молчала.

— И все же, — наконец она произнесла, — почему мы так жестоки? Так проще?

Но есть справедливость? Зоя, милая, если с нас спросят, успеем ли мы объяснить?

Дверь распахнулась. Лиза отпрянула, держа поднос обеими руками.

— Чай, — пробормотала, — готов. Только остыл наверно…

…Было лето. Не часто они себе позволяли вот так, встав спозаранку, отрешиться сразу от всех дел, которых и в воскресенье оказывалось достаточно. А тут — поехали купаться! Купальники, правда, не скоро нашлись.

Брат еле втиснулся в прошлогодние плавки, мама уверяла, что просто на берегу посидит, а папа надел «семейные» трусы, прошелся в них, и все чуть не попадали со смеху.

Погрузились в недавно купленный «Москвич», вела его мама, трусила, волновалась, жала резко на тормоз, из проезжающих мимо машин летела ругань, папа, сидевший рядом с мамой, в окно высовывался и тоже что-то едкое маминым обидчикам орал. Лиза с братом на заднем сиденье черешню ели, в горсть собирая

липкие косточки.

И снова Лиза чувствовала, как все туже, звонче натягивается в ней струна, восторгом грудь распирает, но ноет, щемит где-то в межреберье, и ликующий, тревожный шепот будто слышится со всех сторон — живи, гляди, спеши, не упусти, не медли.

На загородную трассу выехали, влились в поток машин, мама сделалась увереннее. Оборачивала к папе свой нежный профиль, и папа поглядывал на нее, губы их шевелились, но Лиза вдруг перестала их слышать: как им хорошо, думала, как они довольны, купаются в своем счастье, плывут, ныряют, отфыркиваются по-дельфиньи — глядела на их головы, профили, заговорщические улыбки.

И все туже, все больнее натягивалась в ней струна.

Белесое жаркое солнце глаза слепило, искали тенек, где можно оставить «Москвич». Лиза, вылезая, ударилась о дверцу колонкой, послюнила: коленка была шершавая, толстая. Сознавая свою непривлекательность, уязвленная этим, Лиза огляделась по сторонам и вздернула подбородок.

Пляж оказался песчаным, утоптанным. Плоская желтая вода теснилась в узких берегах. Брат попросил надуть резиновую зеленую в желтых пятнах лягушку, чтобы с ней плавать. Лиза, дыша больничным запахом нагретой резины, подумала: это большая разница — пять лет.

Мама шла впереди босая, оставляя маленькие округлые следки. Папа сказал, что можно взять напрокат лодку, лодочная станция во-о-он там!

Пока сталкивали в воду лодку, у мамы взмок подол, ноги облепил, ее усадили и уже вместе с ней лодку толкали. Папа на весла сел, греб, и река вдруг стала широкая, просторная, и берег с ее середины виделся четче, ярче, круто поднимались, проворачивались жестко весла в уключинах, смачно плюхались о воду, папа греб, греб…

…Мы плыли. Мама сидела на корме, улыбалась задумчиво, странно, ветер, на берегу неслышный, ее волосы перебирал, папа греб, наклонялся вперед, назад почти навзничь откидывался — и это конечно же было счастье, следовало его схватить, сжать в горсти, чтобы потом снова и снова, раскрывая ладонь, видеть, как мы плыли, как греб папа, мамины волосы перебирал ветер, и мы еще не подозревали, как она, наша мама, стара.

ЛОВУШКА

Это рассказ о городе и его жителях, которых я знала и любила. Теперь все стало другим.

До чего она развеселилась! Хохотала, запрокинув голову, и убегала, прячась за спину нянечки, — хотела, чтобы ее ловили, а дети из старшей группы наблюдали с почти уже взрослым безразличием. Пришлось схватить, одернуть, взглянуть строго в глаза: «Нюся, перестань сейчас же! Стой, я не могу тебя так одевать».

Она все смеялась. Сползала со скамьи, болтала ногами: валенок упал, шубка на полу оказалась, и на шлепок никак не отреагировала — вот бесенок.

И вдруг стихла. Огромные сиренево-серые глаза застали без всякого выражения: это каждый раз пугает — чужое, странное, ускользающее — в ней, пятилетней. Но ладошка была теплой, мягкой. В пятнистой шубе, подпоясанной ремешком, она шла вперевалочку, всем корпусом разворачиваясь, чтобы взглянуть направо, налево: там собака пробежала, тут тетя с коляской прошла.

— Будешь хорошо себя вести, получишь конфету. Взмах ресниц, недоверчивый, тоненький, на срыве голос:

— Сейчас?

— Нет, чуть погодя. Дойдем до метро, тогда вот…

— Хорошо. — Она со вздохом согласилась. Приняла условия, не вникая, не умея пока вникать. И снова внутри сдавило виноватой к ней жалостью: отчего дети должны покоряться взрослым, хотя они добрее, правдивее, а?

Но уж слишком она медлила в своей толстой шубе, а ведь скоро шесть, следовало спешить. Куда, зачем? Чтобы не задавать себе дурацких вопросов, прибавим шагу. Потянула за руку чересчур резко, да?

— Я не могу так быстро! Я устала… — капризно, хныкая.

Вот! Потакать нельзя. Неправедный взрослый гнев — не раз он уже оказывался спасительным — всколыхнулся:

— Дрянная девчонка! Что за нытье противное! Уйду. Оставайся здесь одна.

Пальчики слабо, бессильно вцепились в руку, но в глазах не испуг, а упрямство. Маленького человека нельзя унижать.

— Иди. Я знаю дорогу, — с обидой, тихо. Но пальчики крепче вжались: мол, не пущу.

Зима, а кругом одна слякоть. Город уничтожает белизну, а вообще снег, настоящий, сугробный, остался хоть где-то? И

бывает ли еще зеленая-зеленая трава, густая, неизмятая, неистоптанная, целебная даже своим цветом, запахом, нежно-горьковатым, от которого голова кружится и хочется упасть, запрокинувшись, чтобы небо плыло, уносило с собой куда-то, — бывает еще такое? И где?

У метро черным роем вылетали, залетали в распахивающиеся двери люди. А некоторые, неловко зацепенев, стояли поодаль, притворяясь, что не ждут, а так просто, от нечего делать разглядывают прохожих.

Действительно, стыдно ждать!

— Ну, если хочешь, вот конфета.

Лукаво-снисходительная улыбка тронула углы маленького рта. «Да неужели откажусь?» — вот что улыбка эта выражала. Не просто лакомка, нет, тут уже обозначен жизненный опыт: дают — бери. И как бы в подтверждение — конфету не в рот, а спешно, по-беличьи, в мохнатую варежку. В дупло. Для подслащения возможных в будущем неприятностей? Для продления удовольствия сознанием обладания? По привычке, выработанной в детском саду?

И наглый, произнесенный невинно вопрос:

— А больше нету?

Ожидание отнюдь не потерянное время. Успеваешь, начав с вялой уверенности (придет, куда денется!), пережить нетерпеливое беспокойство (запаздывает, почему?), разрастающееся в агрессивность, воинственность (а, черт побери!), постепенно переходящие в упрямство (дождусь-таки), и в безропотность (дождусь-дождусь), и уже в почти безнадежность (неужели?..).

Вот тут замираешь, не позволяя себе больше взглядывать на часы. В самом деле так унизительно ждать? Да ведь можно расслабиться, от всего отключиться — па-а-а-думаешь!

Ну что, собственно, отняли? До дому дойти каких-нибудь десять минут, неспешным прогулочным шагом, сохраняя в лице гордую озабоченность взрослой женщины, держащей за руку своего ребенка.

— Нюся, нам пора. Поужинаешь, и начнется твоя пе редача «Спокойной ночи, малыши». Скорей, а то опоздаем.

— Как? — Обиженный, снизу вверх, взгляд. — Ты же сказала: огоньки как на елке, и я постою, посмотрю…

— В другой раз.

— Ну, мама!

Только бы не сорвать на ней своего раздражения. Убедить, что никакого обмана нет, а просто…

И забыто. О вразумлениях, воспитательных мерах,

родительском терпении.

Забыто, потому что из мутных зимних сумерек, из безликой толпы посторонних, осаждающих вход в метро, он вышагнул своей ныряющей походкой, заведя вперед одно плечо, выгнув шею, точно принюхиваясь, подстерегая опасность, устремился к назначенному месту у телефонов-автоматов: увидел, но обрадоваться не успел.

Его лицо затвердело в удивлении. Неожиданность — эта фигурка в пятнистой шубке, подпоясанной ремешком. Кажется, у него мелькнула мысль: не пройти ли мимо…

Здравствуй. Здравствуй. Ну так вышло, пришлось из детсада забрать.

Зайдем в парк, подышим немножко, ладно?

— Нюся, раз ты настаиваешь, на каток, так и быть, сходим. Довольна?

Ах, как сказано великодушно! И снисходительно, с равнодушием притворным, чтобы заискивание скрыть. Но придется, придется к нему еще прибегнуть: вот конфетка, а огоньки разноцветные видишь? Потерпи, девочка, потерпи…

А он оробел в присутствии ребенка. Двинулся вместе с ними к входу в парк, но не рядом, не решаясь как бы сблизиться, головы даже не решаясь обернуть.

Его смущенность, конечно же, передалась мгновенно. Допустила бестактность, заповедь некую неписаную нарушила? Ну, виновата, прости. В этом-то и обнаруживалась от него зависимость, что вслушиваться постоянно старалась и в то, о чем не говорил, старалась уловить, угадать, точно паутиной он был окутан, которую зацепить, порвать боязно. Обучиться бы его чуткости. Точнее нюху, как у собак. Вот повел вбок настороженным, скользящим глазом — тут ухватиться. Поймала! Он улыбнулся.

— Не ожидал увидеть тебя не одну.

Странно слышать! Разве могли восприниматься они раздельно, она и льнущее к ее бедру сероглазое существо? Да, боже мой, какая чрезмерная осторожность — ребенок ведь, ребенок! Конфета за щекой, а впереди разноцветные огоньки.

Свое несогласие он выразил глазами, опущенными вниз, к белой пушистой шапочке на круглой головенке. Такой объект наблюдения был им избран. И еще — цепочка куцых следков, оставляемая валеночками.

Что ж, помолчим. Так пройдемся. Уже радость, что удалось встретиться. И убедиться: да, он есть, существует, вполне реален со своей переменчивой внешностью, расплывающейся при попытке мысленно ее представить, восстановить черту за чертой.

Не получалось. И в этом тоже, верно, была ловушка: усилие и еще усилие требовалось, чтобы просто даже облик припомнить. Глаза, нос, подбородок — все отдельно, а в лицо не складываются. Только живьем увидеть, вот тогда, как в прозрении: понятно, понятно!

Первоначальная, отпугивающая даже невзрачность вдруг, в мгновение, раскрывалась выразительнейшим несходством ни с кем. И каждый раз так, заново радуя, завораживая: вот он!

Любовь, что ли?..

Пожалуйста, доказательства. А если нечего предъявить?

Кроме… доказательств обратного. Невозможности, неоправданности, бесцельности каких бы то ни было попыток. Еще слово «обреченность» само тут в ряд напрашивалось. А в итоге никто так не беззаботен, как тот, кто обречен.

И легок, полон веселости отчаянной, дающей право целоваться на глазах у всех, утешаться прикосновением рукавами, зимней неуклюжей одеждой, взрывать неприличным смехом солидное молчание соседей по вагону в метро. Рисковать, рисковать, сознавая втайне, что риск — и тот им не даден. Все останется в незыблемости: дом, семья, будущее, как уже предначертано оно.

Его серьезное имя Виталий оказалось позволительно сокращать, оттаивать как бы, лишь отзвук на языке удерживая: Таля, Талик. И просто до умилительности не соответствовало сдержанно-суровой его внешности это сладкое: Та-ля. Потому, верно, и таким соблазном было имя его лишний раз произнести, позвать, призвать, без повода, а так, дозволяя себе как бы шалость.

Ну да, игра. В домашность, родственность. Взрослые люди, а от смеха болели животы, когда слонялись бездомно по улицам, веселясь беспричинно, благодарные друг другу, что на шуточки еще хватает, в такую-то холодрыгу, а ноги совсем уже ватные, от усталости в икрах аж дрожь.

Исключительно полезное времяпрепровождение — вышагивать километр за километром, вызнавая с удивлением, какие милые существуют, оказывается, переулки, особнячки, дворики, а на скамейках, не будь они завалены снегом, можно было бы и присесть. Вот ближе к весне, когда потеплеет, следует сюда вернуться: единственное, на что они могли рассчитывать, так это на смену времен года. Если только… Ну ничего не произойдет.

Какая роскошь — не лукавить ни в чем друг с другом, не обнадеживать попусту, не строить никаких планов, а просто вперед, вперед идти, до полного онемения ног. Но не попасться

бы в ловушку. Лучше, чем теперь, не будет никогда. Понять это трезвости у них хватало, что, в общем, и отличало их возраст от безоглядной, жадной, самоуверенной юности. Хотя шаткая жердочка — эти мотания, слоняния, но вот подольше бы на ней удержаться. А бывает такое, а?

О еде забывалось, пока живот не восставал, не напоминал о собственном интересе, и приходилось снизойти к призывам своего несовершенного организма.

Ну ладно, ладно, имелись же забегаловки, иной раз возомнившие о себе как о ресторане и потому особенно придирчивые в своих запретах, ограничениях, соблюдаемых прямо-таки с истовостью. И прятали в рукав сигарету курильщики, по-школярски, избегая грозного взгляда администратора. И склонялись над столом некто трое, доверяя, но проверяя справедливость руки, меткость глаза того, кто разливал. И уборщица начинала тыкать в ноги шваброй ровно за час до закрытия, а уже за полчаса гасили свет, по опыту зная, что посетители здешние не отличаются дисциплинированностью. И с грохотом на столы запрокидывали легконогие стулья. «Давай, давай, ребята», — по-свойски, еще благодушно бубнили официанты, придерживая напоследок тот словарный запас, что, по-видимому, только и будет действен.

Вокзальный этот шум и полутьма, допущенные не ради уюта, а как последнее предупреждение, тем не менее оказывались сюрпризом, подарком. В суматохе можно было коснуться друг друга, даже приникнуть щекой, зацепиться носами и успеть отпрянуть, чтобы не вытолкнули с позором вместе с самыми отпетыми: представление о приличиях все же удерживалось в их сознании.

И снова: ветер, простор, бесприютность, осознаваемая уже без восторга после недавнего тепла.

«Погоди, я шарф тебе повяжу поверх воротника, дуть не будет». «Спасибо.

Рука замерзла. Можно, суну к тебе в карман? Ой, сколько денег у тебя!

Сколько… мелочи. Могли бы еще бутылку пива взять. А это от дома ключи?»

«Угу». Молчание. «Да не выдергивай ты руку. Какая нервная. Ну что я такого сказал..»

Таля, Талик! При таком-то сердито-грозном лице, с набрякшими подглазьями, с выбухающей поперек лба жилой, с вмятинами на висках, впалостью щек — потрепали, повыдергивали из тебя перышки. Вот каким ты мне достался.

Уже пришли? Опять расставаться… А если до булочной

дойти? Нет, не крохоборство. За-а-автра! Какое завтра? Не смеши. Ладно, хорошо. Да я не собачусь. Страдаю я. А что? Я и не оглядываюсь никогда. И ты, между прочим, не оглядываешься. Ну, знаю. Подумаешь, поймал! Да, видела однажды, как уходил, спина такая мерзкая. Именно что решительная. Иди. А, ерунда! Для того и песня, чтоб наступать ей на горло.

А дома в окнах, оранжево просачиваясь сквозь занавеси, горел свет.

Заманивая, завлекая. Уютом, налаженностью, устойчивостью миропорядка. Обжиты стены, и столько усилий вложено в них. Шипение дрели до обморока доводило, пока не повесили то, что висеть должно. Быт: в нем семейная летопись, биография супружества. Как гарнитур чешский добывали — о, ратный подвиг. А в доставании немецких гардин понадобилась прямо-таки макиавеллевская изворотливость. А как телевизор везли на перекладных, у таксиста бензин кончился, и ищи-свищи попутку в чистом поле.

Что говорить, это все серьезно. Ты пойдешь в химчистку, а я в прачечную. Общая упряжка любого упрямца притирает: одна пристяжная налево привычно косится, другая направо. Громада быта по кирпичику складывается, и жуть берет представить, если рухнет… Вроде бы такая незатейливая механика у этих будней, с просыпанием, умыванием, завтраком, убеганием на работу, но только когда по накатанному скользит, вращение всех колесиков, шестеренок, видится бесперебойным мельканием, успокоительным, утешительным в своем однообразии. А если вдруг поломка и вникнуть понадобится в примитивное это устройство, ведь запаникуешь, как та сороконожка, что заинтересовалась, какой ногой она вначале ступает, а какой потом.

Привычка — сладость будней, сапоги-скороходы, укорачивающие нудный путь: по известному маршруту не тащишься, а мчишься: о чем хочешь думаешь, что хочешь воображаешь, а ноги сами до цели доведут. Привычки лишиться, как кожу содрать. А кому охота оказаться ободранным?

Так вот рассудить здраво, по-житейскому: глубокий вдох, глубокий выдох.

И тогда — переступить порог собственного жилья, ухоженного, обжитого, обустроенного.

… Удивительно, как в сказке: они жили в совершенно одинаковых домах одной той же застройки, выросшей на окраине города и заслонившей почти сплошными многоэтажными стенами

парк. Но, зажатый городом со всех сторон, он удержал все же в себе то, что именуется живой природой, хотя и в чахлом, выдрессированном цивилизацией обличье. Чтобы, верно, не напугать горожан тишиной, развесили на столбах громкоговорители, понаставили заботливо скамейки и палатки, киоски, пусть и пустующие, но призванные, вероятно, напоминать, что вы не где-нибудь в диком лесу и не надейтесь заблудиться. И все же там встречались деревья, не выстроенные как на плацу, по-солдатски, а вразброс растущие, беспорядочно, что порождало догадку, что природа сама по себе тоже на что-то способна, и сначала, быть может, она зародилась, а потом уже человек. Поддаваясь внушению, некоторые полагали, будто стоит только зайти за ограду, парк одарит их чистейшим воздухом, как в прериях каких-нибудь, пампасах. И они спешили им наглотаться, надеясь, верно, что с каждой минутой, здесь проведенной, на десятилетия продлевается их жизнь. А иные оказывались вообще спортсменами. Мчались на лыжах, вздергивая лихо палки, и их натужные лица выражали счастливое безмыслие.

Словом, парк был прекрасен. В нем торговали пивом, в розлив и разнос, в зимнее время почти бесперебойно, и юркие белки метались за высоким сетчатым заграждении, к которому лепились детишки, не более чем на шаг отпускаемые мамашами в пышных разбойничьих шапках.

В этом парке они и встречались, Нина и Таля, плелись по аллейкам, иной раз даже забывая о торчащих поблизости многоэтажных башнях, в одной из которых она жила, а в другой он.

В квартирах с одинаковой планировкой, одинаковой населенности — муж, жена, ребенок — с одинаково оборудованными прихожими (справа зеркало, слева. вешалка), в обстановке комнат, правда, имелись некоторые незначительные различия.

… Шли все быстрее, чуть не трусцой, чтобы согреться, и хотелось есть, потому что на работе не удалось толком перекусить. У него портфель оттягивал руку, но заскочить домой значило уже там пропасть.

Ах, сунуть ноги в разношенные тапочки и развалиться в кресле перед телевизором, неспешно поглощая дымящееся блюдо, что-то эдакое с гарниром, называемое домашней едой.

«Бедные мы, бедные», — вздыхала Нина с шутливой жалостью, но Таля, обнаруживая способность очевидное отмести и ухватить потаенное, преувеличенно энергично начинал ее разубеждать, в замерзших ладонях сжимая ее лицо, сдавливая

плечи, к груди притискивая, как бы намереваясь всю ее целиком в себя запрятать, чтобы она свернулась там калачиком, умолкла, не выдумывала глупостей.

А она стояла, такая большая, в громоздкой шубе, уже не греющей, но в какое-то мгновение успевала ощутить себя совсем крошечной и такой слабой, чтобы повиснуть на нем окончательно, навсегда, гирей.

«Э, нет, — усмехался он тогда кривоватой ухмылкой неопытного карманника, — твои неприятности — мои неприятности. И так уже напозволялись, скоро девять, пора по домам».

Получалось, он упорствовал в благоразумии, а она в риске. Тоже игра: он как бы исходил из общих их интересов, забот о будущем, а она, это самое будущее будто бы сокрушая, требовала: сегодня, сейчас.

Не две, а три бутылки пива, не полчаса, а сорок минут. Не до столба дойдем вместе, а вот до того киоска. И что же утешало? Что он достоит, досмотрит, как она улицу станет переходить?

Почему-то очень не хотелось расставаться. Однажды подумалось: легче вовсе не видеться, чем забирать и отпускать, получать — а вот сразу и отняли. Поначалу-то является чужой человек, и настороженность к нему постепенно уходит. Только привыкнешь, а тут уж и прощай. Такая нынешняя жизнь: столько всего за день наваливается, что и не нащупаешь связи сегодняшнего со вчерашним.

— И прекрасно, — заключал Таля весело. — Есть что друг другу принести, о чем рассказать, чем поделиться. А знаешь, — продолжал вкрадчиво, — если бы мы поженились, то немногим больше, чем теперь, виделись бы. Считай: полчаса утром, что-нибудь около двух вечером. Ну, не считая выходных.

Представить, жуть берет. На каком развале, в каком побоище три бы этих часа добылись, какой ценой… Нет, не такие уж они безумцы. Проще признать приземленность собственную. Не потянуть на роковые страсти и почему нетрудно объяснить. Труднее понять: откуда, почему взялась эта тяга?

«Почему, спросят? А ты так ответь: в нем та-а-кого… нет, что есть в каждом. Убеждает?»

Он тянул ее за собой, вынуждая бежать почти вприпрыжку. Ребячеством они щедро друг с другом делились, потому что охотников на такое, присущее им обоим свойство, немного выискивалось. Как-то не пользовалось ребячество спросом ни на работе, ни в супружестве, и столько его в них накопилось, что теперь лилось через край.

Их даже не могли предостеречь недоуменные взгляды

прохожих, когда она, шатаясь от хохота, припадала всей своей громоздкостью к его неспортивному плечу, только для нее одной, верно, и представляющемуся твердыней. Да и то, если честно, на момент, в восхищении его дурашливостью. Это ж надо, как он от уныния ее отвлек, сказал невпопад, не к месту, взглянув в сторону припорошенной снегом гипсовой статуи: «Ну уж о ней — никогда бы не подумал!»

А в самом деле, с ханжеской скукой в лице, а поза…Но он уже дальше увлекал ее забой за собой, а она все оглядывалась, смеясь, на творение безвестного мастера, переусердствовавшего в халтуре. Без него бы мимо прошла. А смех, говорят, витамин для души. От счастья же, тоже говорят, глупеют некоторые.

Хотя какое счастье? В телефонной будке целоваться шестнадцатилетним с большей ловкостью удавалось. А вскинуть голову, и взглядом упрешься в светящееся оранжевое окно своего жилья. Укор, сигнал тревоги: пора прощаться.

Кому рассказать, близкое такое соседство — это ж со смеху помереть.

Дома один к одному. И точь-в-точь квартиры. А в общем микрорайоне живешь, как на селе, в булочной, молочном, прачечной пересекаются тропки. Но что-то не учлось, напуталось, а?

Впрочем, если опять же взвесить все трезво: перемены возможны, реальны, желаемы? Да не дай Бог! Ноги-руки подкашиваются, только представить. Нет в тебе такой сатанинской энергии, чтобы действовать, засучив рукава.

Растревожив воображение, видишь поникшие плечи, загнанный взгляд, ухмылку кривую, и стоит Таля, бедный, с чемоданом в руке, не зная, куда, где его поставить, а это лишь первый акт печального зрелища. Ведь разве неизвестно, как мужчины слабы, беспомощны? Пока ханом-падишахом восседают среди привычного, налаженного, тогда могут хмурить в неудовольствии чело, грозя опалой, заманивая царственной милостью. Они, мужчины, в супружеской жизни такими неженками становятся, что ожидать активности, решительности от них по меньшей мере заблуждение. Одно остается: забирать их в полон, уводить, и они, спотыкаясь, пойдут с видом жертвы. А дальше? Надо их успокоить, устроить, силы вдохнуть: не беспокойся, милый, все будет хорошо. Самой же метаться, плакать в подушку, да так, чтобы не услышал он, дорогой. Уж коли взяла на себя ответственность. Так вот: не надо, не надо!

А что хотели? С чего, собственно, началось? В общем, с шалости. И это такой соблазн — раскрыть, понять, приблизить к себе другого человека.

Влюбленностью зовется тот этап, когда дивишься с какой податливостью сокровенное отдается, с каким интересом слушают, говорят, как временное измерение меняется: час вмещает год, сутки мгновением проскакивают.

Влюбленных лихорадит, от них веет безумием, они выпадают из реальности, чушь несут, а силятся притворяться, как все, нормальными. Поэтому у них такой смущенно-задиристый вид. Якобы стерегут свою тайну, а она написана у них на лбу. Если тут их пугнуть, они свалятся, как лунатики с карниза. Или еще натворят бед. В ловушку по неразумению попадутся.

Те, кто рядом с ними, должны катастрофу предотвратить. Переждать и не преувеличивать опасность. Лихорадка пройдет, и сами влюбленные приустанут.

Обязательства, что временно не брались в расчет, горой вырастут, и за небрежение такое придется втройне платить. Пожалуйста, вот вам ваша чечевица, подгулявшие Золушки, вот счета, что накопились, размечтавшиеся принцы. Ну и как, от ловушки спастись удалось?

По служебному Талиному телефону Нина старалась звонить только в крайности. Когда он брал трубку, у нее возникало противное чувство просительницы, настырно рвущейся к начальству и отрывающей занятого человека от куда более серьезных проблем. Представлялось: солидность обстановки, аскетическая деловитость в лицах, дисциплина, свято соблюдаемая, и грозная насупленность самого Тали, раздраженного телефонным трезвоном, с холодной любезностью отзывающегося: слушаю, да…

Поэтому набирала она его служебный номер только в случае исключительной необходимости, поразмыслив строго, стоит ли, действительно ли есть основание для звонка к нему. И каждый раз волновалась, нервно барабанила пальцами по поверхности своего рабочего стола, хмурилась, чтобы мобилизоваться, сосредоточиться целиком на том чрезвычайно важном, что намерена была ему сообщить. И, главное, в самой лаконичной форме. По имени-отчеству, естественно, обращаясь, уже ради собственного окружения, дабы не подумали, что у нее ветер в голове.

Гудки, и вот трубка снята. «Талик! — выпархивало у нее из горла неожиданно. Совсем не так она собиралась начать. — Я вот тут сидела..

Странно, знаешь, открыла форточку, и совсем весенний запах, а ведь еще февраль». «Сейчас понюхаю. Ты права, подтверждаю.» «А еще…» «Погоди, другой аппарат звонит.»

Долгая пауза. А что ей? Она могла, казалось, держать так

трубку вечно, пока бы он не возвратился к ней. Возвращался, но другим. В голосе уже возникала рассеянность, и тогда она с сожалением обуздывала себя: «Ладно, попозже перезвоню, ближе к вечеру».

Она, Нина, на службу являлась к девяти, в шесть заканчивала. В обеденный перерыв успевала в магазин забежать, вывешивала авоську за окно, а другую ставила под рабочий стол, придерживая ее ногами, чтобы не опрокинулась. Когда призывали к руководству, спешно пудрила нос, джемперок одергивала: волновалась, ожидая разноса, но не забывала и о своем женском достоинстве: «Да, Петр Иванович, я согласна, но, извините, у меня дом, и в ущерб интересам семьи…»

Аккуратно прикрывала за собой обитую дерматином дверь с проворачивающейся металлической ручкой, зная, что руководство с тоской глядит ей вслед. А что с ней сделаешь? При ее-то скромном положении, окладе в сто семьдесят рублей и, само собой, положительной характеристике, она практически неуязвима. Вот вам! Только присутствие секретарши удерживало от желания показать язык оставшемуся за пухлой дверью уважаемому Петру Ивановичу.

А ведь мужчины с работы домой налегке отправятся, с портфельчиками, папочками под мышкой, а женщины, их коллеги, столько на себе поволокут!

Банки трехлитровые с маринованными огурцами, и те им поднять по силам; одно опасение — как бы не разбить. Присесть в вагоне метро удастся, и такая разнеженность появляется в лицах, точно где-то у Черного моря на пляже греются. Блаженство! По крупицам женщины его хватают, изобретают из малости.

И чтобы еще угрызаться из-за недостаточного служебного рвения, нет, не дождетесь! Впрочем, существуют воительницы в юбках, честолюбием своим, ревностным нравом опережающие мужчин. Но это особая порода, и не о ней речь.

А Нина — обычная представительница женского племени. Орудовала локтями, втискиваясь в час «пик» в вагон, оберегая покупки, чтобы пакеты не изорвались, привыкла отстаивать себя и не стеснялась подтолкнуть кого-то, замешкавшегося на пути. На каблуках высоких нет устойчивости, и надо за поручень ухватиться, чтобы не свалиться при толчках. Ничего, если твоя вытянутая рука почти вплотную приблизилась к чьей-то физиономий: не до церемоний. На твоей ноге тоже кто-то с удобством разместился, а терпишь молча. Только взглядом выражая негодование тому, кто, спеша к выходу, саданул тебе по бедру чемоданом. Но, в общем, обиды особой не испытываешь:

все спешат, всем некогда, понятное дело.

А вот когда Нина встречалась в том же метро с Талей, к ней возвращалось сознание женской хрупкости, и она не искала поручень, не спешила забиться в угол, доверяя себя Талиным заботам, и так сладостно было это чувство собственной беспомощности, когда толпа прижимала ее к нему, а его к ней. Это казалось так естественно, нормально, что он оберегает ее, а у нее нет других задач, кроме как улыбаться ему благодарно, нежно. И неужели так могло длиться всю жизнь?

У него сбился шарф, открывая жилистую красноватую шею, а на пальто замусолены обшлага, один карман надорван по краю: от ее женской приметливости не ускользало ничего. Но неказистость его одежки воспринималась ею тепло, с умиленностью. Муж ее добротную дубленку носил, и, когда она приникала к зябкому Талиному пальтецу, дубленка та вспоминалась с неприязнью, отчужденно.

У нее с ним не было ничего. Ни дома обустроенного, ни мебельных гарнитуров, ни сервиза на двенадцать персон. Бесприютными, неимущими они оказывались, когда были вместе. И собственность как таковая переставала что-либо значить. Ничего не жалко, думала Нина, отрекаясь мысленно от всего нажитого, добытого. И смелела, окрылялась при мысли, что чувство к Тале облагораживает, возвышает ее.

Свою готовность презреть материальное, вещное она надеялась в себе удержать, пронести дальше, дольше, чтобы не только с присутствием Тали это увязывалось. Ей хотелось стать лучше, добрее, независимее — вот чего она себе желала, чтобы таков был результат, когда — а это было неизбежно-расстанутся они.

«…Скажи, хочу понять. Не только потому, что это нас с тобой касается, а вообще… Ведь мы не поженимся, хотя разводы разрешены, но есть другие преграды. Ясно какие. Тебе и мне ясно. Но если их назвать, определить, так ли это весомо? Да погоди, не перебивай. Хочу разобраться. Может, мы просто не тянем на действительно серьезное, а тогда… Как-то нехорошо».

Он не сразу ответил. Сидел напротив за пластиковым столиком, бросив шапку на соседний стул — в этой забегаловке гардероб не предусматривался — и лицо его приняло выражение сосредоточенности даже излишней: что уж она изрекла такого, над чем понадобилось столь глубокомысленно размышлять?

Но уже не в первый раз он тогда именно к ней особо прислушивался, когда она что-нибудь совсем простенькое, наивное изрекала, подставляясь как бы, незатейливость, недалекость обнаруживая. И вот тут он собирался, точно

воспитатель, сознающий ответственность перед своим подопечным. Очевидное тоже надо уметь разъяснить доходчиво, доступно, и его, видимо, эта задача воодушевляла.

Расстегнутое пальто горбом топорщилось на его спине, он наклонился к Нине, двигая туда-сюда стакан с недопитым пивом: «Как же тут не понять… — Он умолк, слова подыскивая. — И что ты все спешишь разложить по полочкам! А ведь еще рано. Зачем забегать вперед? На сегодняшний момент преграды есть, а потом… Потом их может не оказаться».

«Да?»- она переспросила недоверчиво. О чем сама спрашивала, в самом деле глубиной не отличалось, но его ответ тоже вовсе не убеждал. А что хотелось услышать? Некий довод, не предугадываемый, но столь веский, что заглушил бы те уколы, царапанья, что она стала все чаще ощущать.

Помимо желания и пока ненадолго всколыхивалась в ней вдруг враждебность к Тале по незначительному поводу, и, если его не оказывалось при этом рядом, глухой ропот успевал разрастись чуть ли не в ненависть, которой — попадись он в такой момент! — хотелось его испепелить.

За что, спрашивается? Так важно было бы подыскать мотивировки, но ни одна, если здраво судить, не подходила. Ничем он ее не обидел, ничего дурного не совершил. Да и в благоразумии его, как бы она тут ни восставала, нельзя было не заметить к ней бережности. И за это корить? Да, да, да!

Хотя разводы и последующие за ними браки разве не случаются частенько по недосмотру? Потом их выдают за торжество любви. Но ведет порой к такому «торжеству» ряд оплошностей, венчающихся скандалом. Тогда уже виновник, виновница, сознавая, что нет пути к отступлению, с вызовом признают: а я люблю! Но спросить их: а если бы удалось обойтись без кровопролитий, к былому вернуться, ничем не нарушенному? Не все бы, пожалуй, решились на незамедлительный ответ. И правильно, и честно, и по-человечески.

Было же: Нина стояла в телефонной будке, терла глаза озлобленно, как бывает, когда побить себя хочется, монотонно повторяя: «Я люблю мужа, люблю его. Не хочу, чтобы ему было больно. Он хороший, хороший…»

Таля рылся в карманах в поисках монет. «На, — сказал, — держи». И вышел, прикрыв плотно дверцу. И это он понимал? Впрочем, его деликатность граничила с холодностью, как и рассудочность с благородством. Кому-то из них двоих следовало трезвость сохранять, он принял такую заботу на себя, но признательности за это Нина почему-то в себе не находила.

Выйдя, вывалившись из телефонной будки, подошла к нему,

машинально взяла под руку. Но догадалась не сразу, что и после взрыва раскаяния, злых слез опору-то именно в нем ищет, в своем сообщнике, на которого собиралась, было, свалить всю вину. Шли молча, но ощущение твердости его руки показалось важнее любых объяснений.

Потом сказал, по обыкновению хмыкнув: «А ты мне даже как-то ближе стала. И обнадеживающая мысль мелькнула, что, когда соберешься меня бросать, все же, может быть, призадумаешься». Развеселить ее ему всегда удавалось.

Годится это как аргумент? Поэтому, еще издали его завидев, у нее губы расползались в улыбке.

А время шло… У каждого, известно, имеется репертуар, вполне отработанный, но рассчитывать на его успех можно только при новой аудитории.

Репертуар этот: я, имярек, родился и жил, увидел, испытал то-то и то-то.

Рассказываешь, и заново все переживаешь, и возвышаешься в собственных глазах, и сам себе становишься куда интереснее, встречая внимание к своей персоне у собеседника. Дайте выговориться! А за это и вас послушать готов. В попеременном солировании что только не пригрезится: ну полное понимание, неслыханное душевное родство.

Хотя запас пережитого, как ни подавай его увлекательно, рано или поздно исчерпывается. Уже проглядывает дно: все спето, все исполнено, и чем развлечь терпеливого слушателя? Он ждет. Вот-вот заметит, что в обычном существовании твоем в избытке и серости и скуки. Так, значит, прощай, любовь?

Тут-то, привыкнув к говорливости, незаметно для себя начинаешь и буднями своими делиться, уже не соблазняя ничем красочным, а ища отклика в обыкновенном. И если слушать продолжают, стоит насторожиться: это уже может грозить серьезным. Так подлинное доверие завязывается. Мне все интересно про тебя. Мне ты интересен, дорог. Стоп, оглядитесь по сторонам.

Вначале они только лица друг друга видели, крупным планом. Но вот стал проясняться и фон, на котором существование каждого проистекало из месяца в месяц, из недели в неделю, изо дня в день. Всплывали сюжеты, люди, подробности, совсем порой пустячные. Возможно, они слишком часто общались, по телефону перезванивались почем зря, не пренебрегали встречаться даже урывками, выкраивая хоть полчаса. И уже не успевали подготовиться, о праздничности, парадности забывали. Нина в разношенных сапогах на низком каблуке, с лоснящимся носом, усталой бледностью, мчалась со

всех ног к месту встречи, вцеплялась в руку Тали и, не отдышавшись, начинала говорить.

О продуктовом заказе, выданном им на работе, очень удачном, даже с банкой красной икры. О невыносимо нудном собрании, где докладчику, хоть он и из руководства, пришлось напомнить о регламенте. О туфлях, купленных одной из сотрудниц, примеряемых всем отделом, но никому не оказавшихся впору. О предстоящей свадьбе дочери их заведующей. Трещала без умолку и без разбора, но в этой куче новостей все же было зерно: она, Нина, не провисает в безвоздушном пространстве, а довольно прочно стоит на ногах и, что бы там ни было, не помрет с голоду, через местком путевки в санаторий добудет и, между прочим, ей удалось устроить Нюсю в ведомственный детский сад, хотя вот так, с улицы, там никакого не принимали.

Прежде она как-то не особо вникала в важность своей ну что ли социальной роли Но, к счастью, ей тоже приходилось время на свидания с Талей выкраивать, а если ждать его постоянно — это же с ума сойти!

Считается, что у женщин в прошлом имелись большие преимущества, но не преувеличены ли нынешние представления о неспешности, раздумчивости, плавности ритма той жизни? В романах- да, нежный трепет героинь с утра настаивался, к вечеру разрастаясь в бурю, в страсть. Но как не известись в любовной тоске, если ничем иным себя не занять, в очередях магазинных не потолкаться, не протрезветь в троллейбусной толчее и, наконец, не обмякнуть в привычном коллективе: в обеденный перерыв в кафетерии за стойкой многоопытные сослуживицы разом разъяснят, что к чему; не одна ты, мол, скажут, такая, вот у Галочки из машбюро, действительно, не слыхала? Булочку с маком будешь брать?

Бедные женщины прошлого! Конечно, томление в ожидании и вынуждало затейливые прически себе сооружать, выдумывать немыслимые фасоны платьев, не жалея материи на них, и шляпы, шляпки такие изобретать, что только обезумевшая фантазия подсказать способна. Другое дело нынче… При встречах с Талей кокетства у Нины хватало, чтобы ушанку не снимать, памятуя, как давно она в парикмахерскую не наведывалась. А уж из великодушия к его мужскому достоинству не давала ему авоську нести: не тяжело, сосиски в целлофановой упаковке мало весят, апельсины тоже не груз. Пусть он лучше ее под руку держит, а то не свидание получается, а невесть что.

Он, Таля, тоже посвящал ее в свои деловые заботы. И такие страсти разыгрывались над каким-то проектом, так темпераменты

схлестывались! В Талином изложении получасовое рабочее совещание разворачивалось в театр военных действий, и выезжали богатыри на конях в блестящей сбруе, чтобы сразиться не на живот, а на смерть. «Потому что, известно, он свою линию намерен гнуть, своего ставленника отстаивать, а объективность где?»

Скрежетали мечи, горели на солнце доспехи. «Рано ли, поздно выяснится моя правота. Я столько материала перелопатил, и доказательства-вот они!»

В такие моменты, он, Таля, у Нины вызывал восхищение. Негодование по поводу возвращенной на доработку справки, ущемляющей интересы его отдела, опаляло непривычным румянцем впалость его щек. Он жестикулировал, взглядывал на Нину временами так, точно она перевоплотилась в его противника, с торжествующей язвительностью, грозно, дерзко, хотя она всем своим видом, напротив, являла полное согласие с ним. Правда, иной раз сожаление проскальзывало, что этот азарт, эта пламенная увлеченность не ею вызваны.

Да, кажется, она отвлеклась, перестала слушать.

А в самом деле где жизнь человеческая в основном проходит? На службе.

Симпатии и антипатии, эмоциональные перепады, сплочении одних и других, конфликтные ситуации- да вся, так называемая, душевная деятельность сосредоточилась нынче как раз в деловой сфере, сферу личную потеснив. Дома людям нужен покой, сытный ужин, горячий завтрак и хороший сон. Чтобы со свежими силами — за работу!

Нина слушала, не смея отказать во внимании к профессиональным заботам Тали, утешаясь доверием, им ей оказанным, и мало-помалу втягивалась в этот пусть и не особо увлекательный, но его мир. А как-то, вытирая вымытую посуду на кухне, поймала себя на том, что беспокойство ее сверлит, как там прошло собрание, где решался важный для Тали вопрос. И сама же себя в неудовольствии одернула: вот еще не хватало! Кто он такой, чтобы еще о служебных его интересах печься? Вот именно — кто?

Наверно, возникнуть такое должно было неотвратимо: вдруг утрачиваются одновременно и те права, что влюбленность дает, и основательность прежнего своего состояния. Кажется, почва из-под ног ускользает, слабеешь от собственной нерешительности и чувствуешь перед всеми свою вину. Вплоть до шести часов Нина ждала телефонного звонка Тали. Ждала без воодушевления предстоящей встречей, так как тяготила жертва, принесенная ради этой своей радости. Муж согласился забрать дочку из сада,

хотя и удивился, что в пятницу назначили вдруг собрание. «А чем Нюсю покормить?» — спросил.

Внимательно — она видела мысленно его лицо, чуть нахмуренное, с волевым подбородком, прямым взглядом светлых хороших глаз — все выслушал. Она положила трубку со вздохом — нет, вовсе не облегчения. Кругом виновата. Но сама нуждалась в жалости. Так хотелось расплакаться, взахлеб, и чтобы гладили по голове, утешали.

Сотрудницы домой собирались, прибирали столы, снимали туфли, надевали сапоги, а Нина сидела в бездействии, подперев рукой щеку: извечный бабий жест, свидетельствующий о тоскливом раздумье.

С ней прощались, и она замечала недоумение в лицах, но подыскивать еще и тут объяснения не находилось сил. Комната опустела, обнажилась казенность обстановки: столы одинаковые, канцелярские, с жесткой спинкой стулья, желтая репсовая штора на окне. Только телефонный аппарат был веселенький, красненький, с игриво, как хвостик, закрученным тугим шнуром. Нина на него глядела, но пустыми глазами, все так же подперев щеку рукой.

И вздрогнула, когда он затрещал, схватила трубку с чрезмерной, быть может, поспешностью: значит, все же ждала, себя обманывала, что безразлично и даже не нужно это ей.

Но голос Тали прозвучал с такой, ничем не омраченной, беспечностью, что она рассердилась. Ладно, сказала, договорились. И положила трубку.

Он ожидал ее на станции «Площадь Революции». Успела заметить, как отсекал взглядом проскакивающие мимо вагоны. И как долго?

Шагнула навстречу, неулыбчивостью уже готовя месть. Да, пусть потрудится. Не все же ей звенеть, как колокольчик. Пусть попробует развеять, рассеять то сумрачное, что накопилось в ней.

Улыбка и с его лица стерлась. Насторожился — и отлично. Но, не расспрашивая, взял ее за руку, повел, лавируя в толпе. Она вроде слушалась, но изнутри всеми силами сопротивлялась, предугадывая со злорадством бесполезность его усилий на настроение ее повлиять. Не найдется, говорила себе, такой в нем изобретательности, чтобы, как прежде, развлечь ее пустячным. Миновало. Шалости ребяческие, беспричинная веселость, выпадение из реальности, окрыляющее, утягивающее ввысь — это прошло. А что теперь будет?

Вышли из метро на улицу: Москва-река между каменных парапетов поднималась волглым туманом, размывающим силуэты недавно отреставрированных, в ряд поставленных особнячков.

Пестрые церквушки тоже будто хвастались обновкой: наконец-то всерьез отнеслись к сердцу старой Москвы. Право же, есть на что посмотреть, чем гордиться. Нина глядела с ворчливой ублаженностью, по-старушечьи: так-так, как бы с недоверчивостью соглашаясь, хо-ро-шо.

Шла, глядя рассеянно по сторонам, и удивилась, когда Таля развернул ее вдруг лицом к себе, вгляделся пристально. «Ну, — спросил, — уже отпустило? Вот здесь», — и показал на середину груди, на межреберье, где обычно и ноет, когда душа болит.

«Да-а», — она протянула, сраженная его проницательностью. В самом деле?

Было у нее право его любить? Вот за это, что не поддается разъяснению. Ведь она все искала, как чувство свое обосновать, что ж, теперь получила подтверждение?

Уж никак не скажешь, чтобы в выходные дни Нине занять себя было нечем: в субботу и воскресенье современным женщинам приходится платить за все те издержки, что претерпевают в условиях пресловутой эмансипации их мужья. А потому уж два раза в неделю извольте: приготовить настоящий обед, с борщом или щами, уж в крайности, бульоном, и квартиру как следует в порядок привести, и брюки- ну, допустим, из тактических соображений- погладить, а кроме того, своей бодростью воодушевить близких так, чтобы заряда хватило на всю неделю. И в сжатые сроки успеть свой материнский долг осуществить: обласкать, почитать, еще две буквы алфавита выучить и вывести на прогулку.

Чтобы ребенок, воспитываемый в коллективе, не забыл, что все же мама его родила. Да и самой маме вспомнить об этом недурно. Такая вот идиллия должна воцаряться в воскресные дни в семье. Надо, надо постараться.

И Нина старалась. Гладила, терла, мыла, стояла у плиты, только вот еще и улыбаться при этом не всегда получалось. В последнее время как бы что-то заклинилось: губы склеились и не разлипались, в глазах стояла пеленой мрачность, и не удавалось ее скрыть.

Так вот и рушится налаженная жизнь, когда огрызаешься без повода, изобретая обиды и ожидая трусливо, когда, вот уж действительно за дело, начнут обвинять тебя.

Состояние ее точнее всего можно было назвать раздраженным. Потребность оправдаться, свою тайную радость искупить, компенсировать примерным поведением дома уже не возникала в ней, так как она перестала понимать, что, собственно, выиграла, за что должна просить прощение. Ее

отношения с Талей из опасно-сладостных, запретно влекущих все больше склонялись к дружественности, и не столько предстоящее манило, сколько ценилось прошедшее.

Это была та близость людей, не связанных никакими обязательствами, которая рождает необходимость видеть друг друга, говорить, общаться, но всегда как бы с с затаенной печалью. Насмешливый тон, некая как бы небрежность, снисходительность в обращении являлись, очевидно, самозащитой, попыткой грусть скрыть, но одинаковость используемых и одной и другой стороной приемов взаимообман разоблачала. Жаль было себя, жаль другого, молча они улыбались будто бы ободряюще.

Так банально: жизнь разводила, уносила в разные стороны. Вырастала стена. Из рабочих будней, каждодневных хлопот, встреч с приятелями, друзьями, где исключалось в одном случае участие Тали, в другом Нины. Через стену можно было переговариваться, даже делать вид, что ее не замечаешь. Но стена существовала, росла.

А общественное мнение, как же оно держит крепко! И как раз тогда, когда ничем не грозит, не устрашает, а скорее даже льстит, вынуждая беречь сложившуюся репутацию. Хорошая жена, хорошая мать, семья благополучная — оценка такая кое-чего стоит. В глазах людей непозволительно ею пренебречь.

Приходят, скажем, гости в дом, и это не просто милое времяпрепровождение.

Проверяются бастионы, сторожевые посты, мощь крепостных стен данной семьи.

Семья тоже себя проверяет глазами пришельцев.

Нина желала предстать хорошей хозяйкой, а потому усердно готовила, резала, натирала, выжимала; и свитер пушисто-серый мужа, как и уверенность его манер, как и смех дочки, и стол, уже сервированный, — все это вместе укладывалось в твердыню, над созданием которой она потрудилась достаточно.

Твердыню укрепляли и друзья, многолетние, надежные. Рассаживая их за стол, Нина вдруг судорожно вспомнила: а ведь не поймут, не простят, осудят…

Представила, как что-то подобное происходит у Тали. Конечно, каждому хочется украсить свою жизнь, но ведь не в ущерб фундаменту. Она понимала…

Мужчины, тем более в возрасте, не в праве швыряться достигнутым, создаваемым долгие годы. Романтическому порыву поддаться — красиво. А может оказаться и легкомысленно. Тут уж как подойти, как оценить. Она сама, если честно, за безоглядный риск не ратовала, хотела все же гарантий. А с такой

своей приземленностью как смела Талину осмотрительность осуждать?

Вот и получалось все шатко, а с кем сомнения свои обсудить? Разве только с самой близкой подругой…

Темненькая, носатенькая, с глазами-буравчиками и желтоватыми больными белками, она своей понятливостью и великодушием вызывала Нину на откровенность, хотя и воздерживалась обычно советы давать. Но Нина советов и не ждала, а радовалась возможности выговориться. Без последствий.

Снесла посуду на кухню, и пока оставшиеся гости, пригретые ее мужем, допивали чай, присела ненадолго с подругой на кухонные табуретки. «Понимаю, все способна понять, даже неизведанное», — говорил внимательный взгляд темных глаз-буравчиков. О стольком хотелось рассказать, стольким поделиться, но вместо того, как бы не дорожа драгоценной минутой, Нина сидела, зацепенев, водя ложкой по пустому блюдцу.

— Не знаю, — произнесла, наконец. — Не могу разобраться.

Подруга вздохнула.

— Можно перехитрить кого угодно, — Нина продолжила, — только не себя. Хочу быть разумной, а по пустякам срываюсь. Вскидываюсь, потому что кажется выражение лица не то, не так ответил.

— Ты о муже?

— Ну конечно! И сама знаю, глупо воображать, что в ином случае сплошное бы обеспечивалось понимание, от взгляда, от вздоха. Да не бывает! Надолго, по крайней мере, не может хватить. И просто я придираюсь: юмора, мол, недостаточно, говорит плоско.

— Насчет юмора… — подруга не договорила.

— Что? — Нина отрывисто переспросила.

— Ну, с юмором у твоего мужа действительно не всегда ладно обстоит.

— Ты не права! — оборвала ее Нина, сама дивясь своей горячности. — Юмора достаточно. И вообще он благородный, достойный человек.

Подруга удивленно на нее взглянула, Нина поймала этот взгляд.

— В том-то и дело… Я нормально живу. И даже, мне кажется, могу обойтись без этих… ну, свидании. Бывает даже с неохотой иду, но потом…

Трудно расставаться, больно, тоскливо, будто задубелая кожа сползает, и то, незащищенное, так странно, так меня самою удивляет, просто себя не узнаю.

Подруга молчала.

— А потом домой прихожу, и тоже вроде все неплохо. Только дома я сытая, и ни с какого угла не дует, а там голодно, зябко, ни в чем нет опоры, но ощущение такой легкости, отрыва, что ли. И что еще странно, вроде не лучшим образом поступаю, а ни капельки чего-то дурного не чувствую в себе.

— Это, верно, и есть главное, — пробормотала подруга.

— Не знаю. Постоянно настороже: вдруг преувеличиваю, обманываюсь.

Понимаешь, гляжу и все стараюсь приспособиться построже, но отвлекаюсь…

Чем-то он все время отвлекает меня. — Она улыбнулась. — Смеюсь, как дура, дурацким его шуточкам, а где-то в самой глубине царапает: и все же разберись, все же присмотрись внимательнее. Но времени всегда мало, видимся-то урывками. И думается: да ладно, в следующий раз, а пока так, пообмякну…

— Ага, — подруга кивала понятливо, но в глазах ее Нина ловила как бы вялое сожаление: мол, говори, говори, а, впрочем, все и без того образуется.

Однажды так и высказалась напрямик: «Не терзайся понапрасну. Само пройдет!»

Умозаключению такому нельзя было отказать в прямодушии, но Нина не хотела соглашаться, быть может, и из-за упрямства. Пусть все вокруг недоверчиво усмехаются, главное, чтобы она сама не сомневалась. Вот только это и было важно: собственную уверенность укрепить.

Существовала еще другая подруга, полагающая, что у нее особые права на признания Нины, на ее тайну. Ведь именно ей эти двое были обязаны знакомством, а значит, как жрица, могла она восседать в ожидании приносимых жертв: информации жаждала она, информации.

Большая, крупная, выплескивающаяся из своих одежд, кофт, жилетов, безрукавок, надеваемых одна на другую, отпадающих от ее тела, как капустные листья, она с выражением жгучего нетерпения в округлом, с тугими щеками, кирпично-румяном лице глядела на Нину, еле сдерживаясь, казалось, от понукания: ну расскажи же, ну!

А поскольку Нина медлила, в глазах ее возгоралась обида, губы поджимались, принимая форму сердечка. «Уж кто-кто, — выговаривала она с укором, — а я-то умею секреты хранить». Действительно, возникало ощущение, что ее обделили, а она не заслужила такого обращения, нет.

Но алкающий огонь в ее зрачках удерживал Нину от откровений. Эта другая подруга с ее готовностью сопереживать

внушала чувство опасности именно по причине чрезмерной своей заинтересованности сюжетом. Опытная кулинарка, она была напичкана рецептами, как надо, а чего не надо, где приперчить, когда подсластить. Но Нине представлялось, что ее в этом супе живьем сварят, вот с тем же выражением усердия, истовой заинтересованности на округлом, кирпично-румяном лице.

Эта другая подруга как бы олицетворяла собой молву. Прожорливую, перемалывающую любые события, любых персонажей в однообразную серую кашу, которую не только глотать, нюхать было бы мерзко. Нине не хотелось обращать свою жизнь в подобный корм, поэтому она и уклонялась от расспросов, и другая подруга ее не одобряла.

В результате получалось, что оставалась Нина со своими проблемами одна.

Ну да, супружество упрочивается еще и отношениями с другими людьми, а влюбленность сугубо личное дело, каждый тут разбирается сам, рискует в одиночку.

…- Да! — кричал ей зачем-то Таля, хотя они были одни, стояли лицом друг к другу у торца многоквартирной башни, рядом с лестницей, ведущей в подвальное помещение, как бы в укрытии. — Да, сейчас доведу тебя до дома! Ну так уж вышло, что мне выпало решать, как правильно, как надо. А ты такая сумасбродная, нельзя на тебя положиться, слышишь? Тебе, значит, наплевать, тебе все равно, не дорожишь ты ничем. Ты слышишь?

Он держал на разлете полы своего пальто, укрывая Нину от ветра, гудящего, воющего на пустыре, а сверху тоже с каким-то зловещим гулом, скрежетом срывалась снежная, талая масса: только наутро они узнали, что то была схватка зимы с весной и наступил первый день оттепели.

Накануне они еще в зиме существовали, промозглой, сумрачной.

Встретились, и Нина что-то чужое сразу учуяла в Тале: оказалось, другая на нем шапка, впрочем, почти такая же, что и прежняя. Но проснувшийся в ней почти звериный инстинкт действовал сильнее рассудка: не понравился ей в этот первый миг Таля, потому что не хотела она никаких в нем перемен, извне привнесенных. Другая шапка? Нет, не пустяки.

Шла и косила глазом, не одобряя его облика, будто вместе с заменой прежней шапки у него и цвет волос стал иным, подбородок заострился, нос склонился на сторону. И в нем она учуяла смущение, точно в самом деле он в чем-то провинился. Один, другой раз сказала дерзость. Он смолчал, улыбнулся, правда, с усилием. Вошли в метро, в вагоне встали друг против

друга, толпа их слепила. «Потому что отвыкла я от тебя», — Нина вдруг призналась, нарушив молчание. «И я тоже», — сказал он в ответ. Ничего себе ободрил! Но ведь так и было, на правду обижаться нехорошо, с чем Нина и согласилась мысленно.

Может, и он, отсутствуя, думал о ней не меньше, чем она о нем, может, и в нем развилась привычка все свои наблюдения выверять ее глазами, обращать их по ходу действия как бы в устный рассказ, надеясь на занимательность, ожидая совпадения в оценках, и такой, неосознаваемый вполне процесс накопления увиденного, услышанного в разлуке и ему помогал заполнить пустоты между их встречами.

Пожалуй, что так. По крайней мере кое-что, чем он с ней делился, несло в себе след заведомого, заботливого отбора. И все же в первые мгновения свидания оба оказывались настороженными, чуя как бы дыру, образовавшуюся, пока они существовали раздельно.

Даже коснуться губами щеки друг друга представлялось недопустимой вольностью, точно каждый раз они сначала, с азов начинали знакомство, шли рядом, опасаясь вглядеться друг в друга пристальнее. Время им требовалось, чтобы сродниться, то возвратить, что уже было достигнуто. А только это, казалось, забрезжило, приходилось прощаться.

Прощания затягивались. Каждый раз. Хотя сами заранее определяли срок: ну до половины десятого, скажем, время есть. И вот уже десять, одиннадцатый, а все топтались, блуждали вокруг одинаковых домов-башен, взглядывая мельком на светящиеся окна своих квартир просительно, с мольбой, точно дети на взрослых, клянча еще минутку свободы, а потом, ну честное слово, зубы почищу, и одежду аккуратно развешу, и лягу послушно спать.

Нина как-то заметила, а после утвердилась в наблюденном, что Таля являлся к ней с одним лицом, а когда они расставались, оно у него уже было другое: так губка морская, называемая греческой, в сухом виде оказывается сморщенной, жесткой, колючей, но только влага ее напитает, пушисто распускается, ласкает своей мякотью утяжеленной. Вот и лицо Тали распускалось, разглаживалось, пока они были вместе. И даже глаза становились как бы крупнее, ярче, хотя разве так может быть? Однажды она спросила, а он ответил: «Конечно. Ведь это ты.»

Значит, надо понимать, из-за нее случались с ним такие превращения? А что с ней происходило? Себя-то она не видела. Хотела, правда, побольше вобрать от каждой встречи, запомнить слова, жесты, взгляд, чтобы, как добычу, утащить к себе в

берлогу, и после осмыслить, разобраться. Состоянию своему, пока он был рядом, она не доверяла, чересчур оказывалась возбуждена.

Завороженно ему внимала, тонула в потоке его речей, но, когда намеревалась вникнуть во все на трезвую, так сказать, голову, вдруг убеждалась: а ничего нет, дым, туман, хотя и радужный, искрящийся как бы.

Что он ей говорил? От каких слов она тогда опьянела, укрываемая от ветра полами его пальто, которые он распахнул, как жук при взлете? Что-то очень убедительное ей втолковывал, отчего она опять виноватой себя ощутила: мол, все гораздо серьезнее, чем ей мнится при ее легкомыслии…..

Важно, просто необходимо было вспомнить! Упорно она себя пытала, стараясь по минутам свидание восстановить. Пока ехала на работу, стояла в очереди за продуктами, когда уже засыпала с надеждой: а вдруг во сне ее озарит?

Но вот странная штука: его слова, если их удавалось припомнить, как камушки, вынутые из моря, обесцвечивались, тускнели, не только не радуя, а вынуждая даже заподозрить обман. Пожалуй, она ошибалась, призывая в помощь рассудок: вера ее тогда не укреплялась, а скорее расшатывалась. Опасалась же она не его коварства и не своей беспомощности, не того, что может вдруг жертвой оказаться. Нет, ее другое беспокоило: хотелось подлинность установить их отношений, их чувств.

Таля позвонил к концу рабочего дня: «Есть предложение пивка попить, не возражаешь?» Боже, как это пиво надоело! Но там, где его давали, им по карману оказывалось бывать. Не обсуждалось, но обоим ясно было, что шиковать, ущемляя интересы своих семей, ни ему, ни ей не хотелось. А потому — пиво, пиво, до отвращения, до бульканья в ушах.

Встретились. Он взял ее под руку, она, незаметно высвобождаясь, произнесла, глядя в сторону: «Выйдем у Арбата. Подождешь, я зайду в редакцию к Алене, возьму у нее ключи.»

Он ничего не сказал, шел рядом. Спустились в подземный переход.

— Пока буду у Алены, можешь в магазин напротив зайти, купить пиво, если уж так хочется. И сыр.

Он кивнул. Она зашла в обшарпанный подъезд, по крутой узкой лестнице поднялась в редакцию, состоящую из крохотных конурок, сплошь обклеенных афишами, плакатами, где Алена, самая близкая подруга, отнюдь не процветала, но крепко прижилась. Поднялась из-за заваленного рукописями стола Нине навстречу.

— Садись вот здесь, — захлопотала, — кофейку сварю. — Потупилась. — Хотя ведь ты спешишь, наверно… — Подошла к

стенному, тоже обклеенному яркими картинками шкафу, где висело ее пальто. Пошарила в карманах. — Провожу до лестницы. — И, кивнув сотрудницами, сейчас вернусь… Вот этот ключ, — объяснила, — длинный, повернешь два раза, а потом оставишь при входе под половиком. Да ничего, — отмахнулась. — У меня красть, воры чуют, нечего. Ну, беги Таля ждал на другой стороне улицы, к стене привалившись.

— Нет пива, — такими словами ее встретил.

— Может быть, в гастрономе у Алениного дома купим, — она пробормотала.

Старалась не вникать ни в его интонации, ни в выражение лица: время поджимало, два часа каких-то, и неужели он не чувствовал, как каждая минута дорога?

Между тем по пути указывала ему на продуктовые магазины: «Зайди, спроси, вдруг есть». Следила сквозь витринное стекло, как он движется к прилавку, и росло, набухало в ней нечто, что она хотела побороть, но с чем вот-вот могла уже и не справиться.

— Увы! — Он разочарованно развел руками. Слепящая вспышка вдруг застлала ей глаза, горло перехватило.

— Вот что, — она из себя выдавила, — давай тихо-тихо разбежимся. Ты за пивом, я по своим делам. Привет. — Развернулась, но он удержал ее за локоть.

Не сильно.

— Погоди, — сказал шепотом. — Не надо пива, расхотелось мне.

— И мне, — она поглядела на него с прищуром, — расхотелось.

Нарочито медленно пошли рядом, еще не зная куда, не решив. Завидев киоск с мороженым, он сказал, улыбаясь: «А между прочим, два брикета пломбира то же, что четыре бутылки пива по калорийности.»

— Ну, давай, — пробурчала.

Замок в Алениной двери не сразу поддался: как и в редакционной конурке, сплошь стены афишами, плакатами облеплены. И, в соответствии с характером хозяйки, полный кавардак. «Никогда, — Нина подумала, — не оставила бы я столько грязной посуды в раковине». Но тут же неблагодарности своей устыдилась. Ведь никогда бы она и не пустила никого в свой дом. Не столько по причинам морального характера, сколько из принципа: мое — это мое.

Тем временем Таля с интересом разглядывал обстановку чужого жилья. В изучение книжных полок погрузился, точно явился в библиотеку. А время мчалось: сколько еще осталось у них?

Нина выложила пломбир, одно блюдце дала ему, другое перед собой поставила. Сели рядом на диване с этим детским, никому сейчас не нужным лакомством. Но ели, облизывали ложки, выскребали дно у блюдец.

— А знаешь, — сказал, — я согрелся.

— Да? — Она подняла на него взгляд. — Как это у тебя получилось?

— А просто! Зябко было снаружи, теперь изнутри, и общая температура уравновесилась.

— Ну ты и тип! она усмехнулась.

— Какой же? — спросил с любопытством.

— Не важно какой, просто — тип.

— Понял! — он весело отозвался. Положил руку ей на плечо, она отдернулась. Притянул к себе, и оба замерли, боясь шевельнуться.

И тут, уткнувшись носом ему в шею, Нина почувствовала, как слезы из глаз полились, теплые, легкие, нестрашные. Будто вышибло пробку, и ничего уже не поделать, пусть все выльются. Крепилась она, крепилась, и вот…

Заросший Талин затылок и даже воротник рубашки стали мокрыми. Сидел, не двигаясь, будто ничего не замечая, а она все не могла, не хотела остановиться.

— Ну что ты, — осторожно коснулся губами ее виска, щеки, поцелуями промокая зареванное ее лицо. — Что ты, что ты…

— Что? — Она громко всхлипнула. — Да то! Не могу больше! Конечно, не трагедия, я справлюсь. Просто совпало, одно к одному. На работе так надо держаться, чтобы в случае чего себя убедить: мелкие-де неприятности, и, как пух, их сдувать. И дома воз вези, и еще с тобой… А я ведь женщина, неужели не понятно?

— Понятно. И поэтому не надо так со мной.

— Да? — Отодвинувшись, она в него вгляделась. — Скажи тогда, а как надо?

…Необыкновенно удачно Нина заболела. Гнусный кашель рвал внутренности, как под током, заставлял содрогаться. Обессиленная приступами, лежала она под толстым ватным одеялом, вытянув поверх слабые руки, догадываясь, какое бледное у нее должно быть лицо, но в этой жалкости представлялась себе даже трогательной.

Пустой дом. Нюся в детском саду, муж на работе, а она одиноко лежит, и на столике лекарства, аптекарские бутылочки со шлейфами рецептов, окна зашторены, а на улице-то, верно, весна…

Ни о чем не думалось, ничего не желалось, такая отрада.

Книжки раскрытые распластались на одеяле, но не хотелось и читать. Возникало ощущение глубокого подполья, куда она запряталась, и никому оттуда ее не достать.

И высокая температура радовала, как обоснование ее безделья. Когда еще такое выпадет, чтобы ни о чем не заботиться! Прямо блаженство. Как лодка на волнах, слегка кровать покачивалась, стоило только смежить веки, барахтаясь на поверхности то ли яви, то ли сна. А если сильно прижмуриться, всполохи яркие, многоцветные взрывались. В болезни удается иной раз юркнуть в детство: оказывается, не так уж плотно прикрыта туда дверь. Динь — дон, ничего не надо. Поболеешь, и все само уляжется, в норму придет.

А телефон, видимо, звонил долго. Нина вскочила, рванулась в коридор: эх, надо было бы аппарат подле кровати поставить.

— Слушаю, — произнесла хриплым басом. Если с работы звонят, могут удостовериться, что не симулянтка. — Слушаю, — повторила, плохо соображая.

— Да-а, — протянула озадаченно. — Н-да… Буду рада.

Она была рада! Положила телефонную трубку с такой предосторожностью, точно то было взрывное устройство. Осмотрелась и кинулась в ванную, взглянула в зеркало на свое лицо.

Нечто расплывчатое, сизо-голубое, с всклокоченными волосами там ее встретило. Решительно отвернула краны: вода полилась чуть тепленькая, но это ее не остановило. Влезла в ванну. Душ слабый, в нитку, но она подставила под эту струйку темя, готовая к любой пытке. Намылила голову едким шампунем — жуть! Вот ведь какими идиотками женщины порой бывают! С намотанным на голову полотенцем, до постели, пошатываюсь, доползла. Но не могла же она показаться ему, Тале, с волосами, точно войлок свалявшийся. Нет и нет. Она встретит его как эта… «дама с камелиями», благородная, великодушная, обессиленная болезнью. Ей, может, быть этого и не недоставало, слабости, беспомощности, что, говорят, очень действует на мужчин. А в самом деле, что-то тут есть, в таком вот безропотном состоянии, когда лежишь поверженная, ожидая терпеливо, зная, что от тебя лично не зависит ничего.

Она и ждала и вроде бы долго, пока вновь телефонный трезвон не раздался. Сняла трубку. «Знаешь, — услышала поспешный, с придыханиями его голос. — Совещание, как назло, внезапное. Сегодня не получится. Ну никак вырваться не смогу».

Все было несправедливо, не по правилам. Зимой, когда следовало в тепло, домой стремиться, и пальто, шарфы, шапки

сковывали, тянули книзу, как тяжкая ноша, — пожалуйста, воспарить понадобилось! А вот когда зазвенели капели, и даже у самых добродетельных натур в лицах объявилось плутовское выражение, тогда-то Нина вдруг надумала всерьез хозяйством заняться: толкалась у прилавков, подбирала обои, линолеум, предполагая летом затеять ремонт. К тому же ввергласъ с неожиданным героизмом в затяжное лечение зубов. И, хотя обычно при первых весенних солнечных днях спешила надеть туфли, пройтись с непокрытой головой, теперь благоразумие и тут ее овладело.

На улице она цепко всматривалась, где народ толпится и не дают ли, скажем, свежие огурцы. Если давали, с видом каменной решимости вставала в хвост очереди, и по мере приближения к цели волнующий трепет ее охватывал: достанется ли на ее долю ценный продукт.

На работе от телефонных звонков уже не вздрагивала, и что-то даже полупрезрительное всколыхивалось в ней, когда наблюдала, как кто-то другой к аппарату кидался, пытаясь скрыть опаску, надежду и страх разочароваться, рвущиеся из зыбких глаз.

До чего же нелепы, банальны оказывались такие переговоры — при чем в служебное время! — состоящие из междометий, смешков, похожих на всхлипы, просто уши вяли. Приходилось делать вид, что не вникаешь о чем речь, не до того, совершенно тебя не касается.

По нынешним-то временам ханжество тоже осуждалось, это надо было учитывать, проявлять во взглядах, широту. И все же изнутри раздражение кололо: ну что уж, право, как не совестно! В прежнее-то время люди куда большую целомудренность выказывали в своих чувствах.

Однажды Нина, негодуя от чрезмерной болтливости одной из сотрудниц, вышла в коридор, в конце которого стояло зеркало. Взглянула на себя без особого интереса, и вдруг: затверделость скул, воспаленных, шершавых, как после кухонной брани, глаза сужены, нацелены зло — неужели то была она, неужели так окружающее воспринимала, и люди прочитывали это на ее лице?

Прижала ладони к щекам. Приблизилась вплотную, лбом коснувшись зеркала.

И отдернулась.

Жизнь оборачивалась и так и эдак, несла, крутила, но что же самое главное надо было ухватить, чтобы не ощутить себя обобранной? А мудрой, щедрой, смелой. И как, не заискивая перед чужими мнениями, ориентируясь на собственное чутье, существовать все же в согласии с общечеловеческими представлениями о дурном и хорошем, цельном и

раздробленном?

Вернулась в комнату, где за одинаковыми канцелярскими столами сидели ее сослуживицы. Желтая репсовая штора, пропитанная ярким солнцем, висела на окне. Приближался обеденный перерыв, когда большинство работающих женщин рванется в продуктовые магазины, а голод лютый печеньицем, конфеткой заглушат, привычно жертвуя собой ради интересов семьи, родных, близких.

«Милые вы мои!» — расчувствовавшись внезапно, произнесла мысленно Нина.

Но порыв этот так и остался сокрытым от ее коллег. Они сидели, склонившись над бумагами, с усердием, может, и притворным, но придающим особую выразительность их утомленным лицам.

«Вот было бы великолепно бананы для Нюси достать», — Нина подумала мечтательно, тоже не отрывая взгляда от изучаемого текста. Нежность, и вместе жалость, и вина- такое чувство в ней только Нюсе принадлежало.

Прикосновение детской теплой ладошки вытесняло все суетное, тягостное, сомнительное, и силы удваивались и уверенность, как и ради чего стоит жить.

Пожалуй, Нина подумала, именно материнское чувство должно бы быть образцом для всех любящих, желающих любить. Хотя бы стремиться к такому идеалу следовало бы.

Вспомнилось: в притертости, прилаженности супружеских отношений излишним сделался ласковый взгляд, а небрежность, грубоватость воспринимались уже и без обиды, потому что казалось: а чего еще ждать? Точно для любви теперь и не находилось места, и ее подталкивали, гнали в спину, мол, и так полно дел, забот. Вместо любви гарнитуры в доме расставили, не соображая, что рано ли, поздно ли сбежать захочется из такого дома, куда угодно и даже неважно к кому. Потому что только в любви человек — человек и только любя он живет по-человечески.

Вспомнилось и другое: как-то Таля ей позвонил, невнятное, маловразумительное что-то мямлил, долго, томительно, что было вовсе не сообразно с обычной для него запаркой в середине дня, чему она удивилась, удивление свое с насмешкой ему высказала. И только после узнала, что звонил он ей в пиковой ситуации, в перерыве совещания, где подвергся разносу, полностью его расчихвостили, и вместо того, чтобы сосредоточиться, подыскать доводы для защиты, набрал ее телефонный номер. Она спросила: как же в такой момент он мог подумать о ней? 0н улыбнулся: именно в такой момент. Тогда она не поняла. А что она вообще

понимала?

Нет, она не допустила слабости, не стоило так определять. Все решено, наиболее опасные отрезки пройдены, никто не обижен, ничто ни у кого не отнято. Но она все как-то забывала сказать Тале, именно голубые рубашки ему и следует носить, и жаль, что пропала возможность ему об этом сообщить.

Возможность возникла… Он позвонил, она услышала хрипловатый, со сдавленным как бы смешком его голос, и точно много-много лет прошло, от обид и следа не осталось, ничто вообще в расчет не бралось, кроме дивящей радости возврата.

Когда и где? Шанс столкнуться случайно, живя по соседству, вполне был реален, но, слава Богу, не выпал им. Иначе подчеркнутая сдержанность в лицах, кивок, улыбка притворной любезности — это бы уж наверняка подвело черту. Шлагбаум бы опустился. Но получилось иначе. Где-то он путешествовал, где-то она пребывала, но срок разлуки, причины которой размылись, истек: нельзя, невозможно им было не встретиться.

В метро, у первого вагона, на станции «Маяковская» вечером, в шесть тридцать.

Нина прихватила с собой журнал на случай, если он запоздает, хотя ей мнилось, уж на сей раз он должен вовремя прийти. Но, верно, чувство опасности никогда не должно притупляться. Благодушная рыхлая безмятежность наказывается, и поделом.

Нина время от времени отрывала взгляд от страниц и убеждалась: вновь толпа схлынула, оставив лишь нескольких ожидающих, но и они расходились, появлялись другие, и только она стояла, как часовой, которого забыли сменить.

Загорался красный свет, потом зеленый, на облицованной плиткой стене отражались световые блики, электропоезд выползал из туннеля, останавливался, раздергивались двери вагонов, опять смыкались, и снова обнажался длинный ров, на дне которого тянулись, черно-бурые рельсы. Нина взглядывала туда, вниз, потом на табло со светящимися цифрами, указующими время, и в ней росло ощущение, что она в плену, ни рукой, ни ногой не может двинуть, заворожил ее этот мерный ритм.

Двадцать ноль-ноль. «Ничего себе!»- попыталась она возмутиться, но такая вялость, слабость, до головокружения, до тошноты, возникли в ней, что только бы до дому добраться сил хватило.

Ехала, плелась по туннельным переходам, застывала на эскалаторах, втискивалась в вагоны: все как бы в забытьи.

Пустота и давящая тяжесть- вот как это бывает. Что ж, тоже придется пережить.

А когда из метро вышла, первое, что заприметил ее взгляд — ссутулившаяся фигура на фоне газетного киоска.

И он, Таля, смеялся. Складывался буквально пополам от хохота, разевая рот до ушей: шаг за шагом она к нему приближалась, глядя отстраненно, как бы не узнавая.

— Я не успел туда, успел сюда! — он выкрикнул. Она кивнула, принимая такое его объяснение.

— Предвидел, что здесь непременно тебя поймаю! — Он был в восторге от своей прозорливости.

— Могли и разминуться, — она сказала.

— Нет! — Упоенность его собой вызвала у нее улыбку. Вполне доброжелательную, только…

Он взял ее за руку, и они пошли в сторону парка.

— Знаешь, — он продолжал говорить с короткими вздохами, будто после пробежки, — ведь поразительно! Только подумал: должна ты сейчас появиться, и тут — представляешь? — ты и идешь! Ну, понимаешь, сообразил, что на «Маяковскую» к половине седьмого запаздываю, а будешь ли ты ждать и сколько, как подгадать? Вот и решил: тут подкараулю. Тоже, конечно, процентов на пятьдесят вероятности, но подумал, рискну. И тут — ты. Вдруг — ты! Здорово, правда?

Кивнула, слегка от него отодвинувшись, высвобождая руку: он не заметил.

Привычно тянул ее за собой, вынуждая почти бежать.

Прежде на этом месте был каток, разноцветные лампочки сияли, теперь асфальт обнажился, лужи натекли, за ночь, правда, тоненькой корочкой подергивались, так, напоследок.

А Таля — он был все тот же, если справедливо, беспристрастно судить.

Нина шла с ним рядом и думала…

Пора понять, пора привыкнуть, что именно нам, женщинам, решать, действовать. А все вот жмемся, то есть ждем, что не мы, а к нам ринутся навстречу. Дудки! Потому, верно, и получается так все сложно, что те, кто другого пола, уже признали нашу силу, а мы сами еще не осознали ее по-настоящему в себе. Пора, пора… И, если что-то не клеится, значит, без достаточной уверенности мы взялись за дело. Да, именно от нас, женщин, все и зависит. А жаль… Нина вздохнула. Взглянула на Талю и улыбнулась ему.

МИККИ ВТОРОЙ

Уже одно то, что ему дали это имя, обязывало ко многому. Ожидалось, что он будет невероятно храбр, исключительно умен, замечательно добр и благороден, — а как же, ведь недаром его назвали в честь Микки, Микки Первого.

Микки Второй должен был стать его преемником, а может, даже кое в чем своего тезку и превзойти.

Так ожидалось…

Его взяли двухмесячным. Выбрали из шести других щенков, хотя он был рыжим, а Микки Первый тигровым, но решили, ладно, лишь бы порода одна. Они хотели именно боксера, считали боксеров умнейшими из собак. Наверно, тоже из-за Микки Первого — они его так любили!

Микки Второго поместили туда же, где жил Микки Первый, в углу, рядом с буфетом. Там на обоях осталось продолговатое пятно- как бы тень Микки Первого.

Но Микки Второй ничего о предшественнике своем не знал. Воспринимал жизнь, окружающих по-щенячьи беспечно: грыз хозяйскую обувь, расплескивал молоко, пытался ухватить себя за хвост и злился, что у него это никак не получается.

Ему исполнился год, что приравнивается примерно к человеческому шестнадцатилетию. Он стал сильным, ловким, но все еще был наивен и в чем-то даже, пожалуй, глуп. И развлечения его оставались все теми же щенячьими, и он все так же по-щенячьи забывал, что ему можно делать, а что нельзя: влезал на диван, хотя его оттуда сгоняли, прыгал, чуть не сбивая хозяев с ног. Но однажды услышал, как они сказали: «Да, Микки Первый был в этом возрасте умней».

Наверно, они уже не в первый раз так говорили, сравнивали Микки Второго с Микки Первым, но для него это было неожиданностью-их опечаленные, разочарованные лица.

Микки Второй посмотрел на них недоуменно: ревность, соперничество не были пока ему знакомы, но он почувствовал какую-то странную слабость, и будто что-то сдавило в груди.

А ведь они ему прекрасную жизнь создали: сыт, ухожен, и ответственности почти никакой.

Но, может, ответственности как раз ему и недоставало?

Его существование было абсолютно безмятежным. Вот другие собаки, бывает, ночи напролет не спят, сторожат, охраняют покой своих хозяев. А Микки Второй таких забот не знал: спал крепко, сладко и только иногда пугался вдруг чего-то во сне, но ему говорили: «Спи, все в порядке», — и он снова засыпал, без тревог,

без волнений.

Он и не думал, что у собак могут быть какие-то обязанности. Как-то так получилось, что забыли ему объяснить. А может, и считали это ненужным. Ведь они хотели его просто любить- только любить. А еще, чтобы он заменил им Микки Первого.

Но собачье время летит так же быстро, как и у людей. Микки Второй, сам того не заметив, стал солидным взрослым псом, но только внешне, потому что в душе он по-прежнему оставался щенком, и восторги у него были щенячьи, и огорчения. К примеру, он мог весь день грустить, что задевалась куда-то его кость, хотя он сам же ее запрятал у ножки дивана- но забыл, потому что память у него была тоже щенячья.

Его любили. Правда, с оттенком некоторого сожаления, как дурачка, обделенного от природы умом. И очень боялись, как бы он не сбежал: ведь, говорили, пропадет, совсем он не приспособлен к жизни.

А он и не думал удирать. Ему и в голову не приходило, что такое возможно. Он прекрасно себя чувствовал за зеленым высоким забором и считал, что это и есть весь мир.

Они удивлялись почему он такой нелюбопытный. И вспоминали Микки Первого, который…

О, Микки Первый- это была личность! В поселке его знали все. С ним постоянно случались какие-то приключения. Не столько даже потому, что он сам к ним стремился, сколько из-за его образа жизни, не очень, надо признать, размеренного. Хотя он рос в том же доме, с теми же людьми, что и Микки Второй. Но судьба его сложилась иначе.

… Это было двадцать лет назад. Микки попал к людям сравнительно молодым, но уже самостоятельным, отвечающим за все свои решения и рассчитывающим только на себя. Людей такого возраста называют средним поколением, несущим двойную ответственность, потому что, с одной стороны, они опора своим детям, а с другой- престарелым родителям. В этом возрасте люди набирают наибольшую силу- это, можно считать, их пик.

И это очень счастливое время, если только не думать тогда, что сейчас вот ты на вершине, а потом будет только- с горы. Микки Первый попал в эту семью не случайно. Собака была им очень нужна. Правда, породу они тогда не обговаривали: боксер так боксер- неважно, лишь бы сторож, лишь бы бабушка не боялась оставаться одна с пятилетней внучкой в дощатой даче, которую они недавно приобрели вместе с участком в пятнадцать соток, где, кроме бузины, ничего не росло.

Они жили там зимой, и осенью, и весной, и летом — старая

женщина, девочка и щенок. Сколько точно времени прошло, Микки не знал, но ему казалось — долго. Во всяком случае, это был очень важный период для него — становления, закаливания характера. Осознания ответственности, долга и обязательств своих перед людьми. Он чувствовал себя в этом доме не игрушкой, не забавой, а защитником. Он слышал, как говорили: у боксеров мертвая хватка. Да, совершенно верно. Он знал уже страшную силу своих челюстей, и окрестные псы ее тоже узнали.

Они поначалу пренебрежительно отнеслись к нему. Смеялись над его уродливой, им казалось, внешностью. Боксеров они никогда раньше не видели, и его курносость, обрубленный хвост, тигровая масть- все это казалось им странным, неприличным, и они издевались над ним.

Он какое-то время терпел, страдал, хотел объясниться с ними по-хорошему. Но однажды… О, это было сладостное чувство — бешенство, захлестнувшее его горячей волной, почти до слез, до спазма в горле, — и мгновенная решимость, мгновенный прыжок к ближайшей жертве, секунду назад еще ухмыляющейся, упивающейся безнаказанными издевками.

Какое облегчение, какое мстительное удовлетворение испытал он, когда отвалился от поверженного противника и медленно, нарочито медленно прошел под взглядами своих врагов, чувствуя спиной, затылком их ненависть, но в то же время робость, усмиренность, сломленность и уже подлую рабскую готовность их ему служить, потому что он оказался сильнее.

Но когда он дошел до ворот своего дома, чувство торжества сменилось в нем какой-то подавленностью, точно не он подмял под себя своего врага, а его подмяли, — и пусто, тоскливо стало внутри. Он сел на крыльцо и вдруг почувствовал, что дрожит.

Такое случалось с ним потом не раз: пережитое волнение отзывалось после слабостью, дрожью и какой-то непонятной тоской. Он вообще был по натуре впечатлительным и даже сам недоумевал иной раз, как быстро сменяются у него настроения. К примеру, при всей своей деликатности, он мог вдруг ни за что ни про что надерзить хозяевам, огрызнуться на самый безобидный вопрос, хотя после чувствовал себя очень неловко. Или, будучи от природы обязательным, верным, вдруг на сутки куда-то пропадал, а возвратившись, вел себя просто нагло: отъедался и заваливался спать. В такие черные дни он сам себе бывал противен, но держался так, будто хотел сказать: «А пропади оно все…» И с расспросами приставать тогда к нему было бесполезно.

Отчего это на него вдруг находило? Он и сам не понимал. Просто, можно сказать, накатывало. И уже никакие запоры, запреты не могли его удержать. Он стекла бы вышиб, сквозь огонь

бы прошел- ничто бы его не остановило.

Но появилось все же такое в его характере не вдруг, не без причин. Не потянет просто так на бродяжничество породистого пса. И сваливать все на дурное влияние окрестных дворняг тоже неверно. Нет, как ни грустно об этом вспоминать, виноваты были сами люди. И вот почему…

Микки Первый рано почувствовал себя взрослым. С ним мало нянчились, мало баловали, а отнеслись к нему сразу как к вполне серьезному псу, на которого можно положиться.

Бабушка говорила: «Микки, послушай, там никто не идет? Не по себе мне как-то, может, выйдешь?»

И Микки выходил на крыльцо, оглашал двор воинственным рыком, подбегал к калитке, обнюхивал, хотя отлично знал, что никого нет, все тихо, спокойно, но раз бабушка просит, раз ее что-то беспокоит — пожалуйста, что ему стоит обежать двор.

Он был послушным, исполнительным, каким, верно, и должен быть пес, сознающий главным своим предназначением служение людям. И ему казалась единственно правильной, разумной такая жизнь: он чутко спал, аккуратно по часам ел и радовался, заслужив одобрение хозяев. А что его в будущем ждет, каким оно будет, это будущее, он не задумывался: зачем?

Так прошло две зимы, две весны, два лета и две осени. А на третью осень внучке надо было в школу идти. Дачу решили закрыть, но вот что с Микки делать? В город его взять? Там тесная квартира. Договорились, что временно за ним присмотрит лесник. А весной они решат, как быть. Конечно, отдавать его насовсем они не собирались: это был бы большой грех.

А у лесника еще жила лайка. Он сказал: «Что одна собака, что две — какая разница? Уж как-нибудь справимся, не беспокойтесь. Все будет в порядке, говорю».

Он, лесник, дурного не хотел, еду делил между собаками поровну. Но вот с ночлегом… Лайка-то в будке спала — что ей мороз, когда такая шуба! А у Микки шерсть коротенькая, почти голым, можно считать, ходил, а его спать определили на открытой веранде.

Странно, что он вообще выжил тогда. Даже окрестные псы удивлялись: «Ну люди! Не соображают ничего…» У них даже злость к Микки пропала: пусть он и задавака, но ведь подумать, какая беда — совершенно раздетый в такой мороз, брр! — страшно представить.

Но Микки выжил. Потому что на верандочке, конечно, не спал. А заползал в будку к лайке и там жался к ее шубе, к ее живому теплу, и она его не прогоняла.

И такое не только у людей бывает, но и у собак, когда на

пределе отчаяния вдруг сила какая-то рождается в душе и смелость, уверенность- да, выживу. Потому что хочу жить! Но все будто сдвигается внутри плотнее, клеточка к клеточке, — и внешне кажется, такой же вроде, как был, — но нет, все уже теперь по-другому.

Микки не знал, почему с ним так поступили. Но растерянность, смятение, боль — все это уже было им изжито, когда они вернулись за ним весной и снова его к себе забрали.

Он не озлобился, нет. Но за ту зиму он столько всего перевидал, что прежняя размеренная благополучная жизнь стала казаться ему далекой-далекой и даже зыбкой какой-то, как сон. И неужели он мог всерьез считать, что лаять в пустое пространство, устрашая неизвестно кого, в самом деле стоящее занятие?

И исполнительность, послушность — самые главные добродетели? Какая наивность!..

А бахвальство его своей породой, положением комнатного пса — глупо, стыдно! Гордиться можно было другим: тем, что он выжил, что не боялся теперь ничего.

Он даже драться стал иначе, не как раньше, когда победа доставалась ему огромным напряжением всех сил и ему казалось- все решала. Нет, теперь ему было, в общем, все равно, кто победит: ему ли порвут ухо, он ли кому порвет, — дрались на равных и расходились беззлобно. Ведь что ему было теперь доказывать? И кому? Они видели его унижения, видели его в беде- он подбирал их объедки- и они его тогда не трогали.

Но он не был сломлен. Просто, познав вкус свободы, бродяжничества, горький вкус сиротства, он не мог уже оставаться прежним холеным псом, всегда послушным воле хозяев. Теперь на него вдруг что-то находило — воспоминания? тоска? — и он пропадал, убегал из дому. И то, что хозяева за эти побеги его не наказывали, как бы даже и не замечали, — в этом было их молчаливое признание своей вины.

…Микки исполнилось шесть лет, что приравнивается примерно к человеческому тридцатилетию. То есть он был в самом расцвете сил. Крупный, статный, редкой тигровой масти, но в шрамах, ссадинах, как какой-нибудь подзаборный пес. И что-то было вызывающе-отчаянное в его взгляде, хотя он бывал и мягким, кротким, ласковым — уж как на него найдет. Но если бы его спросили: «Ты любишь своих хозяев?»- он бы, не раздумывая, ответил: да.

Тогда почему однажды он ушел и прожил в другой семье почти месяц — почему, спрашивается?

Его искали. Расклеили повсюду объявления: так надолго он еще ни разу не пропадал. Обещали вознаграждение, но никто

ничего о нем не слышал. Потом какая-то женщина в магазине сказала, что видела его за переездом, у дома с резными балкончиками. Нет, он не был привязан. Сидел у калитки, чего-то ждал. Нет, вид у него вовсе не казался угнетенным.

Они, конечно, не поверили. Микки, считали они, украли, похитили и держат взаперти. Бедный, как он, наверно, истосковался!

Хозяин кинулся его вызволять. Выяснил адрес, нашел дом. Калитка была открыта. Он позвонил. Никто не вышел. Он поднялся на крыльцо. Толкнул дверь — и замер на пороге.

За обеденным столом сидела семья: мужчина, женщина, дети. А на подстилке в углу в царственной позе возлежал — кто же? — Микки!

Он не вздрогнул, не взвизгнул от радости, увидев хозяина, а не спеша, как бы даже нехотя, поднялся, подошел, взглянул ему в лицо: мол, что ж, пошли…

Что было сказано между людьми, не столь важно: как-то они объяснились.

Но вот молчание хозяина и пса, идущих рядом обратной дорогой, было красноречивей, весомей слов. В нем выразилось и недоумение, и гнев, и растерянность, и упрямство, — только когда они уже к своей калитке подошли, хозяин посмотрел собаке в глаза:

— Ну что? Расквитались?..

… Но пяднадцать собачьих лет- уже старость. И побаливает где-то внутри, и нога временами немеет: дает знать о себе старая рана. И характер меняется, потому что меняются желания, замедляется жизненный ритм.

Кто-то принимает такой удел покорно, согласно — и в старости можно найти свои радости, в старости есть особое благородство. Ну а кому-то это как удар под дых — можно ли, кажется, дальше жить, когда ты уж не самый сильный, не самый смелый.

У людей хоть отрада есть- выговориться, поделиться с другими людьми. А у собак не принято обсуждать свои болячки: может, они считают, зачем душу бередить?..

Но вот Микки Первый явно томился, точно хотел объясниться с людьми, высказать им что-то, что лежало у него на сердце. Он давно уже никуда не убегал, сидел дома как абсолютно добропорядочный, смирный пес, готовый исправно нести свою службу. Но у него ввалились бока, осунулась морда, и если раньше он являл собой великолепного представителя своей породы, то теперь в нем как бы выявились, обострились индивидуальные черты- в его глазах не было теперь почти ничего

собачьего.

Хотя ведь это людям кажется, что все животные хотели бы быть похожими на них, а у самих животных на этот счет, может быть, совершенно другое мнение- печальный, глубокий Миккин взгляд был, пожалуй, проникновеннее человеческого.

А впрочем, сравнивать- к чему? Срок жизни собак куда короче срока жизни людей, но тут уж природа, наверно, позаботилась, чтобы каждый живущий успел начать, продолжить и завершить свою судьбу- даже жук-плавунец, даже бабочка-однодневка, — узнать детство, юность, зрелость и… и всегда всем ну вот вздоха еще одного не хватает.

И Микки не хватило, как и всем. Хотя он прожил шестнадцать лет, для собак возраст почти аксакальный.

Но, возможно, только став старым, он нашел время задуматься о том, как была прекрасна жизнь- лес, солнце, снег, весенние запахи, — только когда тело его ослабело, когда он перестал удирать куда-то, зачем-то спешить, он понял вдруг, как хороша эта жизнь, которую он оставляет. Сидел на крыльце вялый, задумчивый, и что-то новое появилось в выражении его поседевшей морды: людям казалось- улыбка.

…Микки Второй появился в семье на семнадцать лет позже Микки Первого.

Конечно, за эти годы многое произошло. Дом стал благоустроеннее. Вместо шаткой изгороди поставили высокий зеленый забор. К поселку приблизился город. Стало больше машин. Компания окрестных псов поредела, их и не слышно стало почти. И теперь, когда случались у собак конфликты, то вовсе не потому, что кто-то из них жил на улице, а кто-то в доме, — нет, теперь это их мало занимало. Они и ругались и дрались уже по другим причинам. И кто какого обличья, тоже перестало их волновать: они теперь были информированы о самых необыкновенных породах. И когда к ним как-то пристала болонка с розовым бантом, они приняли ее- потому ведь, что ж, в самом деле, все одна она да одна…

Но Микки Второй с окрестными псами знаком не был. Хозяева опасались отпускать его с участка: опыт с Микки Первым научил их осторожности, и теперь они предпочитали не рисковать.

И Микки бегал туда-сюда вдоль забора, подсматривая иной раз в щель, а потом возвращался в дом, ложился в свой угол рядом с буфетом, то ли дремал, то ли мечтал — ждал, когда его позовут кормиться.

Отношения у него с хозяевами были ровные, они и не

ссорились почти никогда.

Но вот однажды — Микки Второй был тогда во дворе, грелся на солнышке — зеленые ворота открылись, въехал автомобиль, а Микки кликнули в дом: «Иди, иди скорее…» И заперли его в комнате одного.

Он возмутился. Так с ним не поступали еще никогда. Он не сделал никому ничего дурного. Он был добрый, ласковый — зачем понадобилось его запирать?

Он ни разу в жизни никого не тронул, кто угодно мог прийти в дом, он всех радостно приветствовал. Над ним даже подсмеивались: «Уж ты сторож…»

И вдруг его закрыли… Зачем? За что? Он кидался на дверь в отчаянии, плакал, скулил — и весь горел от любопытства: в доме что-то происходило, какие-то новые слышались запахи, голоса…

В изнеможении он уснул и проснулся, когда дверь приоткрылась: ему подсунули миску с едой и снова повернули ключ — снова он был в одиночестве.

Есть он не стал. Все это было так оскорбительно, непонятно, что у него совершенно пропал аппетит. Впервые он подумал, что можно, оказывается, чего угодно ожидать от людей, что в них есть коварство и они бывают несправедливыми.

«Сбегу, — мстительно решил он. — Тогда увидят».

Но, представив, как он будет скитаться, одинокий, голодный, неприкаянный, заныл от жалости к себе, к ним- ну зачем они так поступают!

Сколько времени прошло, он не знал. И не поднялся, когда в комнату вошел хозяин, сказал: «Микки, обещаешь, что будешь хорошо себя вести? Имей в виду, я взял на себя всю ответственность».

Его встретили настороженным молчанием, и лица у всех были напряженные и точно чужие, у Микки даже как-то неприятно засосало внутри, хотя, может, это от голода, он ведь так ничего и не ел…

«Ну, — произнес хозяин, будто тоже, как Микки, томился и хотел поскорее разрядить обстановку, — проходи, проходи, не стесняйся. Что это ты вдруг такой робкий стал?»

А Микки и правда почему-то весь сжался, попятился даже было к двери, но не от робости, а от какой-то странной, неведомой ему раньше тревоги, точно ему сердце подсказало: что-то важное, серьезное ждет его впереди.

Он оглянулся на хозяина и снова сделал шаг вперед — к тому, что лежало посреди широкой хозяйской кровати — и было живым.

Живым! Он сразу это понял, хотя оно и не шевелилось.

Он приблизился. И, еще ничего не увидев, не осознав — кто? — почувствовал вдруг мгновенную боль и слабость в сердце, и будто все в нем опустилось — он узнал.

Нет, он не видел такого никогда раньше — сморщенное красное личико человечьего детеныша, — он узнал то, что в каждом живом существе природой заложено и так или иначе должно проявиться, — желание, готовность любить.

Жаркий алый туман поплыл у него перед глазами. Они ничего не поняли!

Испугались, вскочили, замахали руками: «Уходи, уходи!» Неужели они решили, что он задумал что-нибудь дурное? Да разве он мог?! Ведь он только хотел…

Вообще-то он даже не успел захотеть что-либо определенное. Может, только ткнуться в это теплое, нежное, беспомощное, лизнуть его, вдохнуть глубже его запах — и унести, спрятать, скрыть от всех. Чтобы не мешали.

Он не сообразил. Надо было действовать быстрее, пока они не опомнились. А теперь они кричали, выталкивали его из комнаты, а он вдруг, наверное, впервые в жизни, ожесточился, потому что впервые что-то по-настоящему стало нужно ему. И это у него отнимали.

Неужели они считали, что он всегда будет счастлив только своей сытостью? И они сумеют от него скрыть то, что всему живому положено?

«Пустите! — он рычал. — Пустите!»

Но они не открывали. И ему были ненавистны сейчас их голоса. Он и сам не знал, какое в нем, оказывается, сидит бешенство и злоба, страсть, — вот он, оказывается, какой!

Но он не мог уже себя нынешнего с собой прежним сравнивать: прошлое вдруг отвалилось, как пустая высохшая скорлупа. И от прежней его беззаботности и следа не осталось — он лежал на полу посреди комнаты и тусклыми глазами глядел на дверь.

Он даже как-то весь отяжелел от своего ожидания — что будет, как они решат? И когда дверь снова наконец отворилась, он замер, так ему страшно вдруг сделалось.

Дверь отворилась, но никто к нему не вошел. Верно, они опять какое-то испытание ему придумали. Но теперь уж он сразу себя не выдаст, будет настороже.

А… ну понятно. Они решили сделать вид, будто ничего не изменилось, ничего не произошло, — сидели все за столом, а его будто и не замечали.

Отлично. Он тоже будет так себя вести: прошел с безразличным видом, ни на кого не глядя, и улегся в углу. Но

внутри весь дрожал, потому что чувствовал тот новый запах и особое какое-то тепло, идущее к нему из приоткрытой двери в другую комнату.

Интересно, смогли бы они, люди, вот так выдерживать характер, такую волю в себе найти, чтобы не рвануться, не выдать свой восторг, нетерпение — увидеть, вдохнуть, лизнуть.

Во всяком случае, они должны были оценить его выдержку, а в награду дать ему хоть одним глазком взглянуть, — и тут из горла его вдруг вырвалось что-то жалобное.

«Ну ладно, — встал хозяин. — Пошли. — И на ходу, обернувшись: — Собака не может причинить зла ребенку».

Он не решился подойти поближе, присел на пороге комнаты и застыл. Они следили за ним, он чувствовал. И знал, что каждая выжданная им минута поднимает его в их глазах, что больше они его не накажут, не запрут.

Затянувшееся детство Микки Второго кончилось, это было ясно. И теперь ему предстояла другая, взрослая жизнь, в которой будет и грусть, и сомнения, и надежды, и потери. Только детства уже у него никогда не будет — детство прошло.

Потому, наверно, и глядели на него люди сочувственно. А может, они думали вовсе и не о нем, не о его будущем, а о будущем другого существа, спавшего в комнате напротив, чье тепло люди чувствовали теперь постоянно, где бы они ни находились, и оно согревало им сердце.

Да, место Микки Первого занял Микки Второй. Но и маленький беспомощный пока человек, спящий рядом на широкой хозяйской постели, тоже пришел в эту жизнь, чтобы сменить кого-то ушедшего. И может, это жестоко, а может, и справедливо, но так уж устроено в этом мире — ничье место не должно пустовать.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Конечно, когда Ира Волкова наконец, вышла замуж, у избранника ее собственной жилой площади не оказалось. Конечно, все, что было, он оставил первой жене. Конечно, Ире, как победительнице, разлучнице, злодейке, следовало запастись терпением и верой-бесстрашием, чтобы хватило на двоих — и ей, и ее любимому.

В квартиру на Старом Арбате Петя Орлов явился с пишущей портативной машинкой, своим портретом, подаренным приятелем-художником, маслом, на картоне, но в хорошей добротной рамочке, в портфеле бритвенные принадлежности и свернутые туго джинсы. Прожил Петя на свете тридцать восемь лет, чуть располнел, облысел, зато отпустил усы и полагал, что на многое еще способен.

— Мой дорогой… — шепнула Ира, прижавшись к Петиному кожаному пиджаку, и тут же отпрянула, крикнула в бесконечность темного гулкого коридора: — Мама! Это мы. Пожалуйста, познакомься…

Но Маргарита Аркадьевна не спешила. Хватило воли, выдержки. И появлению ее предшествовал шум спускаемой в туалете воды, громыхание дверной задвижки, с которой она якобы боролась, преувеличенное шарканье разношенных тапочек.

Ее ждали, и вот она приблизилась к ним. Вгляделась. Волнение следовало скрыть, и потому она прищурилась, разглядывая, будто что-то за их спинами.

— Дверь- то можно было прикрыть, — произнесла. — Дует!

И прошествовала налево в большую, но все равно тесную кухню. Высокая, громоздкая, в пестром до полу халате, устрашающе победоносная. Так со стороны казалось. В висках же у Маргариты Аркадьевны стучало.

«Не то», — подумала она в первый же миг. «Нет, не то», — повторила про себя, гремя чайником, передвигая вовсе не нужные ей сейчас кастрюли. Не то, совершенно не то ждала она для своей единственной дочери — и долго, ожидание затянулось, а в результате дочь подвела, Квартира их была коммунальной, но преотличной. С высокими дворцовыми потолками, дубовыми крупными паркетинами, подоконником, шириной в стол. А главное, в самом центре! И что бы ни говорили о некоторых неудобствах, скажем, о газовой колонке, тараканах, пронизавших подобные дома насквозь, что бы ни говорили, Маргарита Аркадьевна, например, чувствовала себя в своей квартире аристократкой.

Им с Ирой принадлежала просторная, как зала, комната, с зарешеченным окном- увы, первый этаж- и с нишей, настолько глубокой, что получалось уже два помещения, почти квартирка. Они чудесно жили. «Мы жили чудесно!»-всхлипнуло в Маргарите Аркадьевне, и она ненавистно, как живую, швырнула сковородку в раковину.

Ей не надо было ничего объяснять- она и слушать не хотела никаких объяснений. Ее дочь, ее Ирочка, глядела пустыми козьими глазами и улыбалась бессмысленно.

Понятно, в дела подобного рода нельзя, недопустимо вмешиваться. Но Маргарите Аркадьевне с такой несомненной очевидностью открылось не то, что деликатничать, церемониться она не пожелала. И опыт, и возраст- да, позволяли.

Что- то вдруг помутилось: неужели набежала слеза? Маргарита Аркадьевна удивилась, рассердилась и выплыла из кухни царственно, надеясь унять дрожание подбородка.

В свои двадцать восемь Ира Волкова выглядела, по крайней мере, на двадцать два и при благоприятных обстоятельствах могла бы продержаться в такой вот форме еще долго. Ведь главное в женщине ее тонус, ее самоощущение — отсюда и походка, и интонация, и взгляд: Ира Волкова тонкостями такими владела.

Приходилось владеть. Независимая, свободная жизнь дает закалку. Но, наращивая тут класс, почему- то ожесточаешься. И нахлестываешь, гонишь все злее, пока вдруг кто- то не пожалеет тебя. Тогда конец. Катастрофа. Только замужества хочется, и ничего больше.

Ира Волкова до того существовала в полном порядке. Прелестная, как бы невольная улыбка таилась в уголках ее нежного рта, а в глазах плескалось, искрилось нечто столь же пленительное, игриво-томное. И никакого расслабления Ира не допускала. Иначе стой вместе со всеми в очередях, сноси разнос начальства, не опаздывай, не отлынивай, участвуй в нудных бабских пересудах, осознав удрученно, что перестали тебе завидовать, ненавидеть тебя.

А зависть, ненависть — необходимый допинг, чтобы скакать резво веселой лошадкой. Ужалит злобный взгляд, и такую можно скорость развить! Победную почти. Почти…

Ира Волкова успешно трудилась в ульеподобном здании, в одном из кабинетов- сот, окно которого и летом нельзя было раскрыть, потому как звук сразу пропадал, глухо, немо лишь шевелились губы, а все покрывала, выла, клокотала, ворвавшись, улица. Зато это тоже был центр, самый- самый. С толпой обезумевших приезжих и привычно безумных коренных жителей,

с магазинами, соблазнами современного большого города, которые Ира обожала. По окончании рабочего дня выбегала из светло- серой наскоро сложенной, блочно-бетонной пещеры и на мгновение застывала на ступеньке, прежде чем нырнуть в пучину с головой. Предстоящий вечер манил, сулил многое. Умея гибко, змейкой, проникнуть к прилавку, можно было вдруг беспрепятственно, без переплаты, сорвать что- нибудь сколь приятное, столь и незначительное — перчатки, скажем, колготки, помаду импортную — и так же вдруг в расплывчатом месиве незнакомых лиц, не думая, не гадая, столкнуться нос к носу со школьной подругой, потерянной давным-давно, или с останками былых романов, по прошествии времени обретающими как бы новый знак, вызывающими и тепло, и симпатию, вполне даже искреннюю.

Ира лицемерием не грешила. И безвинной жертвой себя не считала. В начале жизни, может, и случались у нее ошибки, слезы, терзания молодости, но постепенно выработался навык не доверяться, не доверять. Без мелодрамы. К тому же, не став ничьей женой, она оставалась дочерью.

Они чудесно жили! Мама, Маргарита Аркадьевна, пекла, варила, шила, гладила, а Ира, прокрутившись на службе положенные часы, возвращалась в тепло, в уют: ее ждали, расспрашивали, и она отдыхала.

Порядок, чистота. Паркет, натертый воском, по старинке, на подоконнике цветы в горшках, полка книг, разрозненно-случайных, обеденный круглый стол, стулья с гнутыми, кривоватыми, как у таксы, ножками, ковер над диваном, по семейным преданиям, ценный.

Они справлялись. Мамина пенсия плюс Ирина зарплата: иной раз даже удавалось и шикануть. Или занять, перекрутиться, но появляться в модных сапогах, отглаженной, шуршащей, обаятельной.

Ира не унывала. Мама, как прежде, наставляла, подбадривала, утешала.

Постельное белье в их доме пахло резедой.

Ну а действительность предоставляла тысячи поводов ощутить себя то счастливой, то несчастной от малости. Хотя от мелочей следовало уже научиться отмахиваться. Разве род мужской ненадежностью своей еще мог удивлять? Разве все слова не обесценились? Разве обиды, срывы, невезение чужое вызывали сочувствие, а не облегченный вздох: ох, не со мной?..

Ира даже по-своему преуспевала. Так о ней думали. Она садилась в такси, шла, помахивая сумочкой, чувствуя на себе хоть и безвольные, а все же лестные мужские взгляды, и еще стройнее

становилась. Дома ее ждал салат, цыпленок под чесночным соусом, нега, ласка. Ма-ми-на.

В общем ущемлений особых не ощущалось. Мир женщин, отвыкших от мужчин, или, по крайней мере, ничего хорошего от них не ждущих, по-своему организован, стоек.

И, пожалуй, мир этот обрел бы еще большую слаженность, если бы время от времени в него не проникали чуждые элементы: мужчины.

Как многие ее подруги, Ира Волкова три раза в неделю посещала открытый бассейн «Москва», что рядом с Музеем изящных искусств имени Пушкина. Кстати, музей она посещала тоже. Как и концерты в филармонии, как и спектакли театров «Современник» и на Малой Бронной. Область литературы тоже не была для нее чужда. И подобные ее интересы отнюдь не носили поверхностный характер: Ира жаждала всего, что могло насытить ее голодное, зябнущее нутро.

То есть период затянувшегося ожидания не проходил для нее даром. Как, впрочем, и для многих ее подруг. Временами они и вовсе отключались от состояния ожидания. А чего, собственно, было ждать?

В меру сообразительная, опытная, тактичная, Ира, как и многие ее подруги, усвоила, что то, что обсуждается между близкими людьми — проблемы искусства, политики, смысла и направления жизни, — исключается в общении с противоположным полом. Там возможен лишь птичий язык полунамеков, напополам с кокетливо- пошлыми ужимками. Как это утомляло!

После, утром Ира терла брусочками льда лицо, постепенно приходя в норму от выпитого и выкуренного. Страдать уже себе не позволяла: ее мутило от глухого, злобного, бессмысленного раздражения.

Она очаровательно смеялась, чуть запрокинув голову, поглядывая на собеседника из- под длинных ресниц- смеялась, сколько хватало дыхания, сама, по собственному усмотрению, в какой- то момент хватаясь за рычажок «стоп». В семь утра надо было вставать, сделать гимнастику, принять душ, выпить кофе, поцеловать маму в морщинистый висок- надо было продолжать жить дальше.

Мама Иры Маргарита Аркадьевна следила, чтобы дочь не выскакивала в капроне в мороз, не пренебрегала супом, дабы язву не нажить, не садилась под форточку после ванны, но то, о чем Маргарита Аркадьевна думала, о чем тревожилась, ныло ее сердце, она не говорила никому. Пенсионерка, вдова, хлопотунья, она сознавала, что может уберечь свою дочь лишь от того, от чего

оберегала ее в детсадовском возрасте. С остальным ей не справиться — остальное она не могла и не хотела знать. У них с дочерью все обстояло идеально, как и положено в любящей маленькой семье: свои крохотные радости, свои незначащие ссоры, но в подтексте всегда читалось: прости меня, родная, я люблю тебя.

Ира Волкова плаксивость бабскую презирала. Но в тот раз, едва переступив домашний порог, не раздеваясь, как была в югославском плаще с приподнятыми по моде плечами, цвета сливочного мороженого, на скользящей переливчатой подкладке, с мокрыми от дождя волосами, оставляя на навощенном паркете гадкие следы, бросилась в комнату — и ничком на диван, под ковер, может, и ценный, но надоевший до чертиков.

Ира рыдала. Тушь размазалась, пряди слиплись — сразу нахлынули все двадцать восемь и даже тридцать лет. А мама, Маргарита Аркадьевна, растерянно металась, суя дочери то платок, то стакан с водой.

… За окном бушевал ливень. Он бушевал и тогда, когда Петя некий позвонил, промычал, пробормотал что-то, из чего Ира поняла: он просит ее с ним встретиться. Сегодня, сейчас же.

Ира слушала скачущий Петин говор, глядя в окно, заливаемое дождем, белое, непроницаемое от мути, соображала: плащ, сапоги, зонт и, слава богу, если попадется такси.

Она очень быстро оделась. Мама, не произнося ни слова, выразительно поглядывала. Ира взгляды эти как бы не замечала: вытянув напряженно шею, твердой, умелой рукой накладывала на веки тени, серебристые, потом голубые.

Мама хмыкнула. Ира, как ужаленная, обернулась. Мама пристыженно произнесла: «Носки поддень. С мокрыми ногами простудишься».

Как катер, рассекая лужи, Ира мчалась на высоких каблуках к условленному месту, через переход, сбоку от ресторана «София». Пети не было еще. Она вздохнула, сердце билось у горла — не от чего- нибудь там, просто бежать пришлось. Встала поудобнее под карнизом, оглянулась, не заляпан ли подол, с лицом своим мысленно разобралась, припомнив, что нужно придать глазам, каковое выражение им сейчас приличествует. В дождь, в слякоть, в броске по первому зову. Ира задумалась: а что, а может, любовь?

Она ждала. С карниза капало на самое темя и стекало вниз по лбу. Ира засомневалась: а если она ошиблась, если Петя имел в виду, что вовнутрь, в ресторан она войдет?

Вошла. С полубезумным видом выкрикнула что- то полубезумное, и ее не посмели остановить. Она искала Петю. Все,

сидящие за столиками, бородатые, лысоватые, лохматые, в первый миг ей казались похожими на него. В следующий миг она от них отскакивала, и сердце падало все ниже, пока не потерялось вовсе — Ира вышла из ресторана оглушенная, пустая, мертвая.

Дождь лил. Она еле добралась до дому. Да что Петя! Разве дело в нем?

«Мама, мама! — выкрикивала Ира точно в горячечном детском бреду. — Мама, мамочка!»

И, разом вдруг успокоившись, села. «Я отомщу, — сказала тихо, твердо. — Отомщу за все».

Какая разница, отчего он тогда не пришел? Ну забыл, запутался, заболел, попал в катастрофу! На следующий день позвонил. Хо-ро-шо. «Милый, — сладостно, гибельно простонала в телефонную трубку Ира. — Я так хочу тебя видеть». Бедный, он не видел в тот миг выражения ее лица.

Маргарита Аркадьевна Волкова овдовела, когда дочери исполнилось четыре года. Дочь была хилая, тощая, с чахлыми волосенками, которые Маргарита Аркадьевна с вдохновением отчаянья ежевечерне намазывала касторкой. Время шло послевоенное, быстрое, дружное, как казалось теперь Маргарите Аркадьевне, да и многим ее погодкам.

Мытье дочери превращалось в событие. Нагревались кастрюли с водой, окна запотевали, пол забрызгивался мутными потоками, дочь стояла в тазу, и Маргарита Аркадьевна, весело причитая, терла ее мочалкой: «С гуся вода, с Ирочки худоба».

При мытье присутствовали соседки. Как вспоминалось, соседи, товарки, люди, словом, присутствовали в ту пору постоянно, соучаствуя, переплетаясь судьбами, бытом: все всем что-то советовали, за что-то друг друга осуждали, делились мнениями и выносили приговор. Строгий, четкий. Существовали критерии. И даже в кухонных коммунальных склоках обнаруживались закономерности, а не просто — стихия.

Маргарита Аркадьевна, молодая вдова, работала секретарем у заместителя начальника строительного треста, а вечерами шила. Заказчицы были в курсе, что из остатков ткани портниха своей дочери одежку шьет. Это входило в уговор: с материей в те годы обстояло худо.

Ирочка выглядела нарядной, что хоть как-то скрадывало ее невзрачность.

Хотя невзрачность понятие относительное. Просто мода тогдашняя предпочитала другие образцы, другой тип: в скудную пору бледность, хрупкость не воспринимаются привлекательными.

А вот Маргарита Аркадьевна и тогда в дочери не сомневалась. «Ты моя красавица», — шептала, правда, когда Ира уже спала. У нее был отцовский узкий нос, шелковистые гордые брови, а полуоткрытый, спекшийся в углах рот у матери вызывал боль: казалось, что во сне девочка ее страдает.

Маргарита Аркадьевна, можно сказать, не знала в своей жизни соблазнов.

Если вставать каждый день в шесть утра, с болью душевной тормошить, одевать, умывать вялого, как кукла, ребенка, утаскивать его с собой в мороз, отдирать от себя, а после целый день только о встрече с ним и думать — если годы так жить, нутро твердеет и поддается лишь одной звенящей струне. Материнской, истовой.

По воскресеньям мать и дочь посещали парк, неподалеку от дома. Шли напрямик к очередям, где, расправляясь от будней, стояли принаряженные родители рука об руку со своими детьми. Смирно стояли, молча. К отдыху, к праздникам сохранялось торжественно-скованное, благолепное отношение.

Очередь постепенно продвигалась, и все больше, все чаще воспаряли вверх воздушные шары, к которым тянулись осчастливленные детские физиономии и не менее счастливые, гордо-смущенные лица их пап и мам. Дарить — такая радость.

Наконец Ира с мамой оказывались перед толстой тетей, с мрачной деловитостью раздающей копеечное счастье, быстро, ловко подставляя резиновую мятую шкурку в остатках талька под шипящий азотом кран — и вот шар надут, звенит, лоснится. Бери, беги. Как хорошо. А рядом где-то здесь же в парке играет духовой оркестр. На дощатой полукруглой эстраде, в окружении редких слушателей. Бесплатно. Оркестранты в форменных темных пиджаках глядели прямо перед собой. Оберегаясь от излишних обид? Думая о чем-то сугубо личном? О разном думали наверняка. Что было слышно. Форменная одежда подчеркивала, обостряла разительное несходство лиц.

Расставив колени, разложив на них дряблый живот, гипертонически-краснощекий тромбонист соседствовал с тромбонистом- юношей, держащим свой инструмент как рог с вином. Коротко стриженный, круглоголовый, он, точно смелый пловец, выныривал в волнах монотонного вальса, и неподвижная поза на жестком стуле не могла усмирить его юной нетерпеливости.

Маргарита Аркадьевна слушала. Что- то, быть может, навевалось.

Шевиотовое бордовое пальто сидело на ней плотно. Прядь волос, вчера попорченная не в меру раскаленными щипцами,

свидетельствовала о не заглохшем еще кокетстве. Наивном, целомудренном. Так диктовало время. Женщин осталось вдвое больше мужчин. Одной существовать- ну а как иначе? Да и думать некогда на этот счет.

«Что же такого? — вспоминала теперь Маргарита Аркадьевна. — Я тоже жила одна. То есть вдвоем. И теперь мы живем вместе».

Жизнь становилась сытнее, богаче. Ира ездила к морю отдыхать, возвращалась загорелая, красивая. А мужчин, значит, больше не сделалось. То есть хуже даже- те, что остались, и вовсе перестали быть мужчинами.

По крайней мере, на взгляд матери. Она знала, понимала свое. Что все понимали в ее время. И так она с мужем недолго прожила, так существовала с памятью о нем остальные годы. Муж был хорош, надежен, добр. Другого не встретилось — и что же?

Ира Волкова тоже кое- что знала. Например, только подлинное, настоящее оказывается простым, ясным. Начались сложности, непонятности- значит, снова ошибка. Ее же подругам, как и ей самой, именно непонятное выпадало, и приходилось голову ломать: почему не пришел, не позвонил, не проявил, как ожидалось, решительности? Ответ напрашивался однозначный, но однозначности-то и хотелось избежать. Умно, утонченно, проникая в глубины, бездны- лишь бы одинокой, брошенной не ощутить себя.

Мать говорила:

— Почему, если ты вымыла голову, обязательно надо куда- то бежать? Ну что случится, если просто посидишь дома?

Дочь молчала. Как было объяснить, что вечер в этой комнате-пропажа?

Потеря шанса, обманутость. Ну да, разве можно признаться, что готовность в ней нарастает, может и к взрыву привести? Взрывы, правда, уже случались. И ничем не заканчивались. А надежды снова пробуждались- с каждым мытьем головы. И с чистыми, душистыми, пышными волосами остаться дома? Да ни за что!

Мать вспоминала. Она ехала поздно в трамвае, а дочь совсем маленькая была. Мать в комнате ее одну закрывала, повторив, что спички нельзя трогать, и это нельзя, и то… А все равно кровь к голове приливала, и сердце падало тошнотно: а вдруг…

Трамвай катился, тарахтел и словно споткнулся, заскользил, заспешил с обезумевшей гибельной торопливостью туда, где ясно уже обозначился край. Все замерли, не успев ахнуть, мать же с

чудовищной, небывалой быстротой увидела все наперед: дочь, запертую на ключ, ждущую и никогда не дождавшуюся. «У-у!»- мать зарычала, рванувшись. Трамвай встал.

Мать вспоминала. Бег с утра, бег днем, бег вечером, а к ночи корыто и плита. Обед готовился дня на два, на три. Черная, с въевшейся землей морковь, лук, распространявший сладковатую вонь тления, взрывы чадящего масла на сковороде. А у кровати, куда в темноте, не зажигая света, она добиралась, на тумбочке стояла баночка крема «Персик» и флакон цветочных духов. В приемной зама начальника треста от секретарши должно было хорошо пахнуть.

А соблазны? Даже смешно. Соблазн, постоянно преследующий, — рухнуть, заснуть, спать и спать.

«Ми- и- лый», — произнесла Ира, держась за Петю, припадая в спешке на высоких каблуках. Она вела игру, лавировала, и опасалась одного- что возненавидит его, любимого, настолько, что победа уже станет не нужна.

Потом, позднее, она ему все припомнит. Если только понадобится — припоминать… А вообще- то зачем? Так хочется покоя, правды, будней.

Скатывать выстиранные носки, пара к паре, ворча, любя- вот нормальность. И на этой основе можно выстроить все.

Так Ира рассуждала. Они стояли с Петей на эскалаторе, лицом к лицу, как в поцелуе, отдельно ото всех- да ладно, и пусть смотрят! Сколько раз сама Ира смотрела, завидовала, встречая такие пары. И отводила глаза.

— Мама, я замуж выхожу! — крикнула с порога. И сразу к холодильнику, старенькому, с отбитой эмалью, что в углу, натужно урча, стоял. Ну, плавленые сырки, суп в кастрюле, соленые помидоры- и роскошная золотистая, в желе застывшая утка. Скорее ее в целлофан, и к Пете бегом, ужасно они оба проголодались.

— Ну уж это — нет! — вступила вдруг грозно Маргарита Аркадьевна. — С доставкой на дом? А не слишком ли? Не оголодает. А замуж, — обронила с усмешкой, — замуж? Пожалуйста. Иди!

… Ира Волкова плохо стала выглядеть. Многие отмечали. Полгода брака, и уж никак не скажешь, что девчонка, нет, женщина, с грузом, с заботами, с быстрым, неусыпным взглядом. Растерянность в нем и вместе с тем цепкость: как все успеть? И в магазин, и постирушку, и на собрании выступить, и мужу угодить. Разумеется, без всяких там трепетаний: вот тебе,

дорогой, рубашка, вот котлета с картошкой — ешь.

А муж оказался замечательный, как ни странно! Хороший, милый, Петенька ты мой… Работящий, заботливый. И никакой гульбы, как выяснилось, вовсе ему было не надо. Утром газета «Футбол- хоккей», вечером программа «Время». И прибить, сколотить- все умел. Его, Петины, сто двадцать да Ирины сто восемьдесят- жили вполне. И тоже, подумать, оба обнаружились как домоседы, скромники. Все предшествующее существование- тьфу! Пили вечерами чай со сливовым джемом, ворковали. Рука в руку выходили прогуляться перед сном.

Идиллия. Только вот Ирина мама…

Маргарита Аркадьевна, почему вы не рады? Ваша дочь замужем наконец- то, как все… И все нормально, обыкновенно, именно по- семейному. Лицо дочери спокойно, непроницаемо, как положено лицу жены. Так почему же?

Ира с Петей тихонько, славненько пили чай, удобно расположившись, и внезапно возникала Маргарита Аркадьевна-фурией. Молодые замирали, замолкали. Взгляд зловещий, как лезвие ножа в ночи. «Маргарита Аркадьевна, — лепетал Петя, — присаживайтесь». — «Нет уж, — глухой, с издевкой, смешок. — Спасибо!»

Ира с Петей, единая плоть, переглядывались, ища друг в друге поддержки.

Маргарита Аркадьевна, переглядывание это перехватив, убеждалась еще раз: предала! И вылетала вихрем, на помеле.

Она страдала. Придиралась, скандалила и готова была от муки своей завыть. Да, теща, типичная теща. Вообще все типично. Жизнь.

Ее, мать, отстранили, выдворили. Она им мешала, мозолила глаза. И это в своем же доме, где каждый квадратик был вычищен, выскоблен ее руками, где она вырастила, поставила на ноги дочь.

«Мама, ты, может, в кино с нами сходишь? Фильм, говорят, хороший. А, пойдем?»- «Нет, без меня идите». И мысленно: «Ха, не поймаете. Не проведете на пустяках».

Она страдала. Ей зять не нравился. У него был неприятный затылок, пряди волос торчали неопрятно, а шея могучая, как у быка. И дочь его, быка, обхаживала. Клуша! Дочь просто было не узнать. Обмякла, поблекла и поглупела разом. Вот оно что, оказывается, — замужество, брак.

Мать, наблюдая, цепенела в дикой догадке: кончилась в ней материнская любовь. Скучно, пусто. Мертвая, выжженная земля вокруг- где страсть, дающая силы?

Страсть питалась трудностями, преодолениями тяжкого быта, одиночества женского, страхом постоянным за дочь, заботами,

жертвами ради дочери. А теперь что? Лучше вовсе исчезнуть, перестать быть, не узнав дальнейших разочарований.

Разочарований и в себе самой. Выходит, ждала все же награды, возвращения отданного, вложенного. Да, дочерней ответной любви. Вот откуда теперь унизительная, подлая зависимость. Стариковская злость.

— А что делать? — советовалась Ира с Петей. — На кооператив денег нет.

Да и попробуй найди, добейся. Размен? Ты как думаешь?

Петя из деликатности отмалчивался. Чинил утюг. Ссоры с матерью терзали Иру, но он не мог тут жену защитить. Гладил по голове, целовал, пока не врывалась тайфуном теща.

Ад кромешный. Соседи, кстати, в их коммуналке собрались расчудесные, неслышные: старушка с сиамской кошкой Фросей, по коридору слева. Первая дверь направо — Игорь Петрович, педантичный холостяк. Склоку, коммунальный дух вносила только теща. Так дело обстояло на Петин, в целом благодушный, взгляд.

Первые месяцы брака — период бурливый, заковыристый, но Петя с Ирой прожили его на диво ладно, в полном единодушии. От внутрисемейных конфликтов их отвлекала Маргарита Аркадьевна. Чтобы в борьбе с ней выстоять, им нельзя было разъединиться ни на миг. Она- то и сплачивала их, скрепляла их судьбы, жизни. А они не подозревали, кому обязаны своим счастьем. Дети неблагодарны, взрослые дети- вдвойне.

Маргарита Аркадьевна ощущала себя в осаде. Страшно, душно. Молодые научились увиливать от ссор с ней. Зять, верно, дочку обучил. Они все больше делались похожими. Манерами, голосами, точно Маргарита Аркадьевна родила их обоих- точно она не рожала никогда никого.

Держались как соседи, вежливо. Маргарита Аркадьевна задыхалась. Впервые в жизни, пожалуй, жаль сделалось себя. И о себе, о своей одинокости, заброшенности все мысли. Ох, старость. Наконец- то все ясно, всему цена открылась, и глупость не сделаешь, не обольстишься- теперь бы и начать…

Ох, старость. Сердце, врачи говорят, выносливое. А сил нет.

«Простите, извините, позвольте, Маргарита Аркадьевна…» Да, чужие.

Своих бы отлупцевала, поплакали бы вместе, и в слезах, с отмякшим сердцем испекла бы им на радость с яблоками пирог!

Зять Петя, честно говоря, был ни при чем. Хорош не хорош- не в том дело. Но он вторгся и каждый день здесь торчал, усатый,

противно реальный, реальный до оскорбительности. Мылся, брился, отфыркивался в ванной. Тапочки его в коридоре стояли, с замятыми задниками.

Мать наблюдала чужую семейную жизнь с ревнивой, девичьей брезгливостью.

И хотелось то дочь одернуть, то прикрикнуть, то вступиться перед зятем за нее.

Но дочь в защите теперь не нуждалась. Вот что оказывалось тяжелее всего.

Мать видела зорко. Спешные движения дочери, беспокойство в ее напряженных зрачках- и все ради того, чтобы удержать своего собственного мужчину.

Смешно, глупо. Но дочь ведь довольна? Тогда и жалеть ее не за что- и незачем любить. Вот как. Вот почему все. Маргарита Аркадьевна ощупью добиралась до предела, где ее что- то новое, неведомое ждало.

Ира Волкова настолько сдала, что все просто диву давались. Мешки под глазами, дряблая кожа, походка совсем иная, устало-грузная. Обсуждали, лишь только Ира выходила за дверь. Сочувствовали, и всем становилось будто легче: значит, норма, правило. Замужество- серьезное дело.

Сама Ира тоже осознавала в себе перемены, но не делилась ни с кем. Из гордости, от отчаяния, страха: никто ведь не предупреждал, что это может оказаться так.

Нормально, обыкновенно. Пустяковые ссоры, поспешные примирения, и все налипает, наворачивается липкий ком, и вязнешь в нем, и уже не вырваться.

Странно. До свадьбы они с Петей говорили взахлеб, всем делясь, до самого дна себя выскребая: смотри, вот такими мы друг к другу идем — принимаешь?

А оказалось, ребяческая болтовня. Все началось потом. У Иры за ночь лицо отекало, и она неслась в ванную, пока Петя спал, в ужасе от разоблачения. Когда же телефон звонил, снова ее дергало, как под током: что, чей голос услышит Петя, сумеет ли она ему объяснить?

Петя слушал, и лицо его становилось гипсовым. «Ну конечно, — произносил бесцветно, — у тебя была своя жизнь». Ира вжимала голову в плечи, язык прикусывала, чтобы не завопить: «Да, своя! А у тебя, что ли, чужая? И не в чем мне оправдываться, и ты мне не судья».

Молчала. Или вопила. А что толку? Их сплющило- вместе завтракали, вместе засыпали, просыпались плечом к плечу. И каждое слово, каждый вздох воспринимались оглушительно. Быть

может, с непривычки. Быть может, потому, что, сбросив добровольно панцирь, и в малейшем уколе подозреваешь предательство.

В этом, наверно, особенность существования людей близких. И радость, и драма молодой семьи. Не научились еще отбегать, уютно, надежно в самих себе прятаться. Все наружу. Ира деревенела, Петя куксился, обоим хотелось каждую секунду безоглядно, восторженно любить.

С красными пятнами на щеках, жалкая, озлобленная, Ира гладила Петины рубашки. Никто ничего не должен знать. Хоть режьте, ни в чем не признаюсь.

Петя на завтрак любит сырники. А главное, чтобы не догадалась мама.

Вот что тяжко. Раньше- то как? Прибегала, плакалась, ждала ободрения, совета и, всхлипывая, жалуясь, винясь, чувствовала, что уже выход есть, боль рассасывается, отпускает. Рядом мама.

Теперь мама уже рядом не была, хотя жила за стеной, в комнатке, то есть нише, отделенной фанерой. Молчала, слушала — мешала.

Ира складывала рубашки стопкой, поплевывая, утюг шипел. Ну вот, не хватало еще разреветься. Входила Маргарита Аркадьевна. Дочь оборачивала к ней твердое лицо, в котором читалось: «А в чем дело?»

Мать вспоминала. Дочери шел восьмой год, кружок хореографический она посещала, черт- те куда приходилось ее возить и полтора часа топтаться на морозе, в сырости, время от времени заглядывая в полуподвал, где…

В другой жизни, другом мире, беззвучно, недоступно, непонятно как, без всякого видимого усилия дочь взлетала. Летела… Узкое тельце, восторженное, чужое, всему, все забывшее, запрокинутое лицо- мать глядела, не узнавала, пугаясь, гордясь, предчувствуя уже что- то опасное. И притоптывала неуклюже в снегу, похлопывала себя, как тюлениха, чтобы окончательно не закоченеть.

Дочь летала.

Вечером они, отогреваясь, пили чай. Мать беспокоилась, хлопотала: ведь, возможно, девочка ее еще продолжала летать.

А однажды так случилось, что мать попыталась взлететь и сама. Неудачно, запоздало. Ключ в дверной замок не получалось вставить, и она смеялась, оглядывалась, прикладывала палец к губам, понимая, что нелепа, беззащитна сейчас — и права. Только так, иначе нет никакого смысла.

Вошли. Перешептываясь, оступаясь в темноте, дурачась:

помолодевшие, развеселившиеся, поверившие друг другу в этот час, который мог стать решающим. Так, по крайней мере, казалось.

Прошли на кухню. Ту же самую, коммунальную, в безупречном казарменном порядке, где каждый помнил наизусть свои обязанности, не задумываясь о правах. Но там было тепло, и ни алюминиевый мятый чайник, ни клеенка истертая, ни шаткий столик не отвращали своей убогостью. Лампочка под потолком без абажура выжигала и намек на какой- либо уют, но им двоим представлялось, что они сумерничают, что никого вокруг нет, что ночь эта будет длиться, длиться.

Чай остывал, а они сидели, взявшись за руки, когда распахнулась дверь, и на пороге, босиком, в ночной, в цветочек, ситцевой рубашке появилась Ира.

И закричала. Мать подняло, понесло на этот крик. Прижала, подхватила дочку на руки. Дочь кричала: «Пусть он уйдет! Сейчас же. Мама, он уйдет, уйдет?!»

«Уходи», — из нутра матери вырвалось, и что- то лопнуло там. «Уходите, уходите!», — кричали они уже вместе в голос. Дверной замок щелкнул. Обе прислушались. Дочь исподлобья поглядела на мать. Ей в ту пору исполнилось десять. Сколько матери- не имеет значения. Она знала: теперь — все.

Маргарита Аркадьевна вроде бы присмирела. Вроде бы обнаружились у нее свои дела: уходила куда- то, беседовала с кем- то по телефону. Молодые, Ира с Петей, боялись сглазить: неужели наладятся отношения в семье?

Насчет зятя теща, правда, оставалась прежнего мнения. Классического. С добавлениями, характерными для сегодняшнего дня. Да вот, пожалуйста, судите сами: въехал на женину площадь, зарплату приносил меньшую, чем жена (и алименты, кстати). Словом, вариант незавидный. А по повадкам, по запросам — принц. Усы свои холил, ежедневно менял рубашки, на службу отправлялся ну как министр.

Тещу гнев распирал. Не соглашалась она, что по нынешним временам муж такой более чем типичен. Да что там- еще поискать. И не пьет, и не бьет.

Сокровище. Без присмотра оставить, вмиг утащат. Но, что бы там ни говорили, теща упрямо стояла на своем.

Вспоминала. Себя молодую, собственную семейную жизнь. Улыбку белозубую мужа, его шею, плечи, рубашку с твердым воротничком, в полоску…

А дальше, глубже страшно погружаться, можно и не выплыть, не выдержать.

Но ведь выдержала, устояла, себе на удивление. Запоздалый испуг. И так, значит, бывает. Ее крутило, корежило, а она обшивала кружавчиками дочкин подол, скребла пол, душилась духами «Ландыш», старела, ждала дочь- ждала, ждала, ничего в ней от себя, для себя не осталось, но ведь уцелела, а?

А что, если теперь рискнуть задуматься? Почему она именно так прожила жизнь? Да потому, что человек обязан выстоять. Нащупать опоры и оставить хоть какой- то след. У кого- то сложный, затейливый, у кого- то простой, как считалка. Я дочь родила, вырастила. Но дочь ничего мне не должна. Я растила ее, — она помогла мне выжить. Выжить в любви. Если бы любить было некого?..

Приближались праздники. Ира с Петей заранее знали: предстоит маета.

Вялый ужин в грозовой атмосфере, с переглядами, паузами-тоска!

Но Маргарита Аркадьевна вдруг куда- то засобиралась. Ответила на недоуменный Ирин вопрос: «К Рите Соболевой. Пригласила. На три дня. А уж вы отдыхайте, веселитесь. Без меня».

Сказала спокойно, чуть ли не ласково. Ира с Петей оторопели. Неужели свобода? Гости, праздник? Без надзора, без окриков? Ура!

Маргарита Аркадьевна уходила. В передней стояла хозяйственная, из черного дерматина, уродливо распухшая сумка. «Что это ты, мама, столько-то набрала? — улыбаясь лживо, виновато спросила Ира. — Прямо как на Северный полюс. А платок пуховый зачем?»

Маргарита Аркадьевна на дочь взглянула. Долго, пристально, точно через все преграды, пустые, суетные. «Ну, как же, — увещевающе произнесла. — Тапочки домашние надо? Ночную рубашку, халат, то да се. Да и гостинцы, не с пустыми же руками…»

«А-а!» — дочь протянула с облегчением. Радуясь, что все так понятно, просто. Ну что поделать — старики. Свои у них представления, свои привычки- и ладно.

В коричневом добротном пальто с каракулевым изжелта-серым воротником и такими же манжетами, в пуховом платке, Маргарита Аркадьевна уходила. За ручку двери уже взялась. «Мама, ведь теплынь!»- выкрикнула Ира, и голос почему- то сорвался.

— Что ты, дочка. Это вам, молодым, так кажется. А я зябну.

— А когда ты вернешься? — Ира топталась, цепляясь, не

давая матери пройти.

— Да что ты! — Маргарита Аркадьевна поглядела строго. — Я же сказала.

Договорились мы. Посуду лень за собой помыть, что ли?

Ну слава богу! Влепила под конец, не удержалась. Или специально заготовила? Чтобы уже без сомнений возликовали они: да, уходит она, уходит!

Целых три дня. В комнате Иры и Пети дым стоял коромыслом. Друзья-приятели нагрянули, танцы, песни. И квартира- то в самом центре, всем удобно. Ира, как застоявшаяся лошадка, рванулась, закружилась, сверкала глазами, зубами. Временами всплывало мутно, зыбко Петино лицо и все не попадало в фокус. Сквозь шквал музыки слов было не разобрать. Смех, галдеж, пик радости, вершина наслаждения.

А на утро — помойка. На третье, кажется, утро. Тут только они пришли в себя. Приходили постепенно. Озираясь, принюхиваясь. Вонь, грязища, а главное, какая- то внутренняя замаранность. От перебора во всем, со всеми.

Тормоза, значит, не сработали. Взрослые люди, а вели себя как взбесившиеся щенки. Ничего особенного, но очень противно. На себя, друг на друга- ох, лучше бы не смотреть.

Но за работу пора. Петя объедки, мусор выкидывал, Ира посуду мыла, загаженный пол. Терла и терла, ползая на-карачках, а все не оттиралось, хоть до крови костяшки сдери.

— Хватит, — услышала голос мужа. — Садись, передохни. Сюда, поближе. Не в том ведь дело, понимаешь? — Ира вздохнула, кивнула. — А в чем, догадываешься? — Ира молчала. — Сорвались мы без нее, — сказал тихо. — Выходит, она нас как- то сдерживала.

Смолк. Но Ира слышала его мысли. То есть свои собственные, дочерние.

Сквозь детский забытый беспомощный всхлип: ма- ма… мама, ты ушла, а мы еще не готовы. Мы обязаны были считаться с тобой, жить вместе, тогда бы нас не затопило, не захлестнуло. Ты поторопилась, мама. Нас нельзя еще оставлять.

Никого нельзя. Все люди либо чьи- то дети, либо сироты, мама, ты слышишь? Ты вернешься?

— Давай-давай, мы бутылки еще не вынесли, — заторопился Петя. — А то, представляешь, как она начнет ворчать.

ГАРАНТИЯ УСПЕХА

1. Детский праздник

Началось все с праздника, устроенного в квартире у одного мальчика, тоже посещавшего прогулочную группу. Группа состояла из десяти детей дошкольного возраста. Под присмотром воспитательницы, сухонькой, шустрой, с оранжевыми губами и на очень высоких каблуках, дети выводились в сквер, резвились там, а к обеду возвращались домой к родителям.

Почему-то группа называлась английской: считалось, что на воздухе, в непроизвольной, так сказать, обстановке, дети обучаются основам иностранного языка, но метод такой совершенно нов, необычен, и напрасно ждать быстрых результатов: дети не должны знать, что их чему-то учат, и, возможно, не обнаружат это никогда.

Считалось, что дети не просто посещают группу, а занимаются, хотя заняты, озабочены оказывались только их родители: кому-то из них постоянно что-то поручалось. То подготовить карнавальный вечер, то организовать выезд на лоно природы, то наготовить на всю ораву пирожные безе — словом, родители были при деле.

А детей, как водится, только ставили в известность, что завтра, к примеру, все вместе пойдут во МХАТ на «Синюю птицу», а послезавтра в кинотеатр на фильм «Илья Муромец», а через два дня домой к мальчику Ване явится знаменитый преподаватель музыки Юрий Саныч и скажет свое веское слово, у кого из детей есть способности к музыке, а у кого, увы, нет.

У мальчика Вани в квартире стоял инструмент, кабинетный, тускло-коричневый рояль с завитушками. И там устроили танцы.

Одна из мам, особенно энергичная, с врожденными задатками массовика-затейника, села к инструменту и, вонзая с силой пальцы в клавиши, стала наигрывать польку. Дети жались по углам. Родители, возбужденные, скрывая раздражение и нетерпение, шепотом их уговаривали: «Васенька, ну спляши, ты ведь умеешь — „Эх, яблочко“…»

Дети упрямились. Их нарядили в карнавальные костюмы, оставшиеся с новогоднего праздника, — снежинки, красные шапочки, мушкетеры, царевны, айболиты сбились в кучу, исподлобья разглядывая незнакомого человека, сидевшего в кресле у окна и пьющего чай.

Человек был сед, толст и, казалось, ни на кого не обращал внимания. Но вот он вынул из кармана жилета часы с цепочкой, вгляделся и снова их спрятал.

Родители еще больше заволновались. «Маша! — взмолилась

мама. — Ну Машенька!..»

Маше исполнилось пять. Она была в костюме Красной Шапочки. Косицы жгутиками, и на них, словно гири, огромные банты. Сладкая физиономия балованного дитя, пухлые щечки, пухлые ручки, пухлые ножки, которые так умиляли взрослых.

Маша насупилась и — руки в бок — вышла на середину комнаты. Два притопа, три прихлопа — Маша важно прошлась по кругу. Поймала мамин благодарный взгляд и настороженное внимание всех присутствующих, — ей стало весело, как после удачной шалости. Подняла руку, согнула в локте, потопала, похлопала — бросилась к маме и уткнулась лицом ей в грудь.

— Браво, браво!

Маша заслужила пирожное, и ее оставили в покое. Но она-то думала, что все уже позади, а это было только начало. Откуда ей было знать, что ее смелость будет столь высоко оценена взрослыми, что знаменитый Юрий Саныч, сделав серьезное лицо, удостоит беседой ее маму, и мама будет внимать, внимать! А через месяц домой доставят пианино…

Пианино. Крутящийся на винте стул и маленькая скамеечка под ноги — мама решилась. А Маша еще не подозревала ни о чем.

Она спала. Ее разбудили, хотя было темно. Вгляделась испуганно в лицо мамы, оно было холодно-сердитым.

— Одевайся, — сказала мама резко. Ей самой ужасно хотелось спать.

Маша встала. Хотя ее баловали, она детским инстинктом знала, что нельзя не подчиняться воле взрослых, пусть даже эта воля и совершенно непонятная, пугающая.

— Что ты копаешься! — прикрикнула мама.

Каждый человек, и маленький тоже, внутренне всегда готов к самым неожиданным переменам. Маша, не замечая дрожи в пальцах, торопливо натянула чулки, сунула голову в душную горловину платья, путаясь, застегнула крючки: совсем недавно она гордилась, что научилась одеваться самостоятельно, но сейчас гордиться уже, видно, было нечем — наоборот, она неловкая, и на нее осуждающе глядела мама.

Пока она завтракала, мама часто взглядывала на часы. Маша чувствовала, что с каждой минутой это приближается- беда, несчастье, — но покорно продолжала жевать: деваться было некуда.

И вот раздался звонок в дверь. Вошла женщина. Маша ее не знала, но так как мама себя с ней держала, бывало только когда в дом приходил врач, кто-то был болен и всем было тревожно. Маша уже знала это ощущение.

— А вот Маша, — сказала мама и подтолкнула ее вперед.

Маша подняла глаза. Она увидела пушистые пепельно-седые волосы, узкое с желтизной лицо, печальную несмелую улыбку.

— Раиса Михайловна, — сказала женщина и протянула Маше руку- Я буду учить тебя музыке.

Мама оставила их одних. Когда дверь за мамой закрылась, Маше почудилось, что с бледных губ ее учитель ницы слетел облегченный вздох. И уж точно, после ухода мамы выражение глаз учительницы изменилось. С любопытством, оживленно она огляделась вокруг.

— Ты тут одна живешь? — спросила Машу.

— Да… — протянула та.

— Ну ладно… — Словно себя одернув, учительница пододвинула к пианино стул. — Садись. Нет, низковато… Что-то надо подложить. Может быть, «Сказки» Пушкина?

— Давайте «Сказки»…

Маша не могла тогда еще уяснить, что именно уловила она в своей учительнице, что сразу ее обнадежило: подсознательно она опасалась грубой власти, диктата, беспощадной требовательности, но тут почуяла: можно будет ускользнуть, и власть эта, пожалуй, никогда не утвердится.

Учительница сказала:

— Дай руку. — Положила что-то в протянутую Машей ладонь. — А теперь, — сказала, — сожми.

Маша увидела: в руке у нее шар размером с яблоко, обернутый в целлофан.

Учительница улыбнулась.

— Когда будешь играть, руку ставь округло, будто держишь вот это… такое должно быть ощущение.

— А это что?

Учительница развернула целлофан:

— Попробуй.

Маша сунула в рот дольку:

— Леденец?

— Это называется «сахарный апельсин». Вкусно?

— Мгу-у!

— Ну вот видишь!

Так прошел первый урок. По окончании его учительница говорила о чем-то в маминой комнате, а Маша досасывала последнюю дольку «сахарного апельсина».

«Ничего, — решила она про себя, — не так уж страшно».

Действительно, можно считать, обошлось. Даже вставать не пришлось так рано: выяснилось, что Раиса Михайловна не очень занята и может найти для уроков с Машей и более удобное время.

Спустя, наверно, месяц Маша догадалась, что учительница

вовсе даже не занята, но что она это скрывает — прежде всего от Машиной мамы. И в Маше возникло сла достно-мстительное чувство: а я знаю! Но маме не скажу… А вот учительница-то знает, что я знаю.

Маша не забывала тот свой утренний страх и беспомощность, бессилие, покорность: взрослые могут сделать с детьми все, что угодно- это она поняла.

Так постепенно выстраивались отношения между учительницей и ученицей, ну и мало-помалу шли занятия музыкой.

Заниматься было скучно. Но — тоже радостное открытие — скучала не только Маша, но и ее учительница. Зато им обеим очень нравилось беседовать на посторонние темы, обмениваться последними новостями, наряжать кукол, менять им прически, повязывать плюшевому медведю новый бант.

Но время от времени учительница с очевидной тревогой поглядывала на дверь.

— Ничего, — успокаивала ее Маша, — мамы нет дома.

— Да не в том дело! — досадливо говорила учительница и отводила глаза.

Надо сказать, учительница проводила с Машей значительно больше означенного по договору времени, и Маша уже не сомневалась, что она — единственная у Раисы Михайловны ученица и что вообще она у нее одна.

Маша привыкла, что ее любили, и любовь своей учительницы спокойно приняла. Но вот мама, к примеру, любила Машу, но это была любовь-власть, которая вынуждала к подчинению. А Раиса Михайловна, любя, зависела — да, от Маши и от Машиной мамы, и еще от чего-то, о чем Маша еще не могла знать.

Маше хотелось одного: чтобы уроки музыки не оказывались уж очень нудными, чтобы можно было хоть ненадолго развлечься, отвлечься, и тогда она ластилась к Раисе Михайловне, и жаловалась, хныкала, просила, и знала, что та не сможет устоять.

Но иной раз в комнату входила мама, и у Маши замирало от восторга сердце — музыка была тут ни при чем, музыка не имела никакого значения, — был страшный, почти смертельный, казалось Маше, риск, и она, и Раиса Михайловна боялись маму, а мама что-то чуяла, хотела их поймать, но ей пока это не удавалось!

А еще Маша жалела Раису Михайловну, но в то же время «подставляла» ее.

Да, она понимала, что если что-то произойдет, хуже всего придется Раисе Михайловне, но если бы не риск и не коварное выжидание чего-то, желание вырвать у взрослых какую-то их

тайну — да без этого она. Маша, со скуки бы на уроках умерла!

Но были не только уроки. Однажды Раиса Михайловна спросила у мамы разрешения немного с Машей погулять. «Не беспокойтесь, — сказала она, — я буду все время держать Машу за руку», — и на губах ее появилась все та же несмелая улыбка.

Маша считала, что те люди, у которых волосы седые, те старые. У Раисы Михайловны была седая голова. Но вот она надела маленькую меховую шапочку, узкое, в талию, пальто — и сделалась сразу стройная, молодая.

Они шли по улице, держась за руки. Раиса Михайловна оживленно что-то рассказывала, а Маша искоса, удивленно поглядывала на нее: на улице, на воле, учительница была другая.

Маша ощутила вдруг новое чувство: сопереживание.

То, что она услышала в тот раз от своей учительницы и в другие, последующие их прогулки, по-своему уложилось в детском сознании, но именно в такой форме, в таком видении застряло навсегда.

У Раисы Михайловны были руки в синих жилках и казались крапчатыми, а пальцы длинные, с выпирающими костяшками, на безымянном — гладкое, тяжелое золотое кольцо. Раиса Михайловна, когда нервничала, двигала его то вперед, то назад. Кольцо называлось обручальным: Маша узнала, что Раиса Михайловна была замужем, была любимой, счастливой, но муж у нее умер.

«Если бы он был жив!» — повторяла Раиса Михайловна, и в голосе ее звучала не столько даже печаль, сколько обида, точно Раиса Михайловна кого-то порицала и бессильно кому-то грозилась — вот-де, был бы жив муж, тогда бы не смогли, не посмели…

Счастливую, безоблачную — ну как сейчас у Маши — жизнь Раиса Михайловна называла довоенной. В довоенной жизни они с мужем жили в прекрасной квартире, где в одной из комнат окно было фонариком, — Маша живо это представила, такое округлое, выступающее над фасадом здания окно, глядя в которое кажется, что ты висишь в воздухе, под ногами нет пола, и ты вот-вот взлетишь. Так ей казалось.

А еще в той квартире мебель стояла из карельской березы (карельская — что-то, значит, наверно, хрупкое, хрустальное, сверкающее, может быть изо льда)…

Муж приходил с работы, Раиса Михайловна играла ему на рояле, а он, стоя рядом, гладил ее по голове — гладил, гладил, и это завораживало, усыпляло…

Потом однажды муж купил радиоприемник, очень большой, очень красивый, чтобы слушать музыку. Они включили его в сеть

— они были тогда очень счастливые, — и тут голос по радио сказал: война.

Так ли было на самом деле?.. Но Маша поверила сразу, точно с ней это тоже случалось: тебе хорошо, ты радуешься и не подозреваешь, что беда уже крадется, и чей-то четкий, раздельный голос произносит: вой-на.

И все рухнуло. Муж ушел воевать, а Раиса Михайловна, взяв самое необходимое, тоже уехала.

Маша задумалась: что бы она в таком случае взяла? Что для нее было самое необходимое?.. Сидела в своей комнате на полу, перебирая игрушки, книжки. И вдруг заплакала — ей было всего жалко! Заплакала не от жадности — просто она поняла, что не вещи только оставляет и, чтобы ни увезла с собой, все равно придется с самым лучшим, самым дорогим расстаться — самое лучшее, самое дорогое останется в той, довоенной поре.

Война закончилась, но квартиру Раиса Михайловна потеряла: туда вселились чужие люди. Нужны были какие-то справки, но их очень трудно оказалось достать.

— Мы этого не умели — ходить, просить, — сказала Раиса Михайловна, и сказала почему-то гордо.

Маша это расслышала — гордость, и с недоумением подняла на учительницу глаза.

— Понимаешь, — та разъяснила, — люди тоже бывают разной породы. И тут ничего не поделаешь: мы с мужем не могли и не должны были делать то, на что способны некоторые. Возможно, даже это не так уж и дурно, но мне было бы неловко перед мужем, а ему, наверное, передо мной.

— Но если не дурно…

— Ну как тебе объяснить! — Раиса Михайловна затеребила кольцо, вперед-назад, вперед-назад. — Есть люди, которые стыдятся, когда им плохо, не повезло, а вот мне кажется, в каждой судьбе случаются и беды и радости, но и то, и другое ценно — и все помни, все старайся в себе сохранить. Мы получили комнату, — она продолжала, — маленькую, тесную, но тоже в центре. Вот если бы нас поселили не в центре, — она вздохнула, — тогда бы, признаться, трудно бы пришлось…

— А вы тогда, наверно, очень хорошо играть умели? — спросила Маша.

— Я? — Раиса Михайловна задумалась. — Тогда я играла больше для себя…

Хорошо ли? У меня, видишь, рука узкая, плохая растяжка, и ладонь плосковата, суха — хорошей пианисткой я бы не смогла быть.

Признание такое Машу разочаровало:

— А я думала…

Раиса Михайловна спохватилась:

— Но зато у меня абсолютный слух, и музыку я люблю — очень! И очень хочу, чтобы ты научилась по-настоящему хорошо играть. Представляю: ты выходишь на сцену, а я сижу в уголке, и никто не догадывается, что я тебя знала совсем маленькую.

— Почему в уголке? Вы будете сидеть в первом ряду рядом с мамой. И когда мне подарят цветы, я один букет отдам маме, а другой вам — тут все и поймут…

— Да, конечно, — торопливо сказала учительница. Взглянула на часы. — А ведь нам пора, мы с тобой загулялись.

… Занятия длились до весны, и вот однажды в один из уроков дверь распахнулась настежь, в комнату вошла мама и вместе с ней толстый, важный Юрий Саныч. Маша взглянула на учительницу и по лицу ее поняла, что для нее это тоже неожиданность — и неприятная.

Учительница встала, а на ее место рядом с Машей уселся толстый Юрий Саныч.

— Ну-с, — произнес гулко, — посмотрим, каковы наши успехи.

Мама и Раиса Михайловна сели позади Маши на диван; спиной она чувствовала исходящее от них напряжение, и оно передалось ей.

Юрий Саныч холодно, равнодушно, точно из бездонной какой-то глубины, взирал на Машу.

— Ну-с, — прогудел, — что сыграем?

И Маша с треском провалилась. Ни одну пьеску она не сыграла толком до конца: начинала сначала, снова путалась, застревала — страх выморозил в ней обычную веселость, детскую милую непосредственность, — как щенок, она барахталась, захлебывалась, а взрослые молча наблюдали. В отчаянии, обессилев, она остановилась, не смея поднять глаза.

— Мнда-а, — произнес безжалостный Юрий Саныч и обернулся всем туловищем к маме и Раисе Михайловне, — что ж, обсудим!

А Машу выдворили из комнаты.

Долго, бесконечно долго она ждала, слонялась по квартире и думала: все кончилось, никогда уже ей не будет хорошо, не будет радости, праздника, веселья, — пусть даже ей подарят много-много подарков и обещанный на день рождения велосипед, но она к нему не притронется, она пройдет мимо, будто его и не заметив, пройдет усталая, сгорбленная, как старушка, и вот тогда они, взрослые, может быть, поймут, что наделали, а она никогда никому из них не улыбнется.

Ее мрачная решимость, увлеченная сосредоточенность на своем воображаемом горе немножко ее отвлекли: она увидела яблоко, надкусила рассеянно и по рассеянности съела.

И тут услышала, как хлопнула входная дверь. Значит, они что-то решили — и разошлись. А до Маши никому из них нет дела. Они, взрослые, всегда за одно и об одном заботятся, чтобы покрепче, подольше держать детей в повиновении, — так если не подумала, то, во всяком случае, почувствовала пятилетняя Маша и из гордости удержалась от слез…

Действительно, все познается в сравнении: после своего провала Маша убедилась, что раньше заниматься музыкой было несложно, а вот теперь уроки превратились в настоящую повинность. Обрелись рамки — и в отношениях, и в программе. Появилась тетрадь, куда учительница вписывала задание и где ставила отметки, отдельно за поведение, отдельно за успеваемость.

Ну а в девочке Маше никто не заметил никаких перемен. Разве только, что она стала дисциплинированней?

Конечно, взрослые хотели ей добра. Мама повторяла: главное в жизни — научиться трудиться. Маша слушала: выражение довольства на ее румяном пухлом личике все чаще уступало место другому — упрямо-насупленному, скрытному, как бывает у подростков. И никто не знал, что в эти моменты Маша думает о будущем- о том будущем, к которому ее готовят взрослые и которое — она уже ощутила — не избежать.

Старая учительница с седыми волосами, в неновом скучно-строгом платье, отсчитывала бледными губами: и — раз, и- два, легонько пришлепывая сухой ладонью по по плечу Маши, не замечая, что при каждом таком шлепке ученица напрягается, деревенеет, тая свою неприязнь, накапливая ее, наращивая, готовясь и желая взрыва.

Они уже не говорили о постороннем. Вели себя теперь по отношению друг к другу так, точно в комнате сидел некто третий, посторонний наблюдатель, но ведь никого-то на самом деле не было, а значит, они сами друг за другом наблюдали, и наблюдали не как друзья.

Бывает, что и взрослые люди не умеют объясниться, а Маше всего-то исполнилось пять, и она, не рассуждая, не обдумывая, просто, можно сказать, вломилась в новое для себя состояние — враждебности к человеку, который еще совсем недавно был мил.

Теперь все в Раисе Михайловне ее раздражало: и темное, как бы пыльное, заношенное платье, и тонкие слабые волосы, которые не держались в прическе, свисали прядями у щек, и манера вертеть на пальце кольцо, вперед-назад, и сами пальцы: вялые,

бледные, с выпирающими костяшками, и — что вовсе казалось непереносимым — дрожь в пальцах.

Учительница сделалась жалка. Но в жалкости своей вредна, опасна. Она ведь угнетала Машу — такое угнетение, такую власть выдерживать оказалось особенно унизительно.

А фоном всего была музыка, глупые пьески, нудные гаммы, — Маша барабанила, лупила по клавишам и только так безнаказанно могла выразить свою злость. Учительница, в такт, легонько, похлопывала по ее плечу; Маша костенела, замирала — и ждала…

— … Ты что — нарочно? Ты решительно не намерена заниматься? — спросила учительница чьим-то чужим, очень неприятным голосом. — Ну что же, считай, что сама меня вынудила. — И встала.

— Вы куда? — пробормотала Маша и тоже вскочила.

— Я вынуждена поставить в известность твою маму. У меня уже нет сил справляться с тобой. — Раиса Михайловна взялась за дверную ручку.

— Нет! — Маша бросилась ей наперерез, прижалась спиной к двери. — Нет, подождите!

Мне надо поговорить с твоей мамой, — повторила учительница. — Я больше не намерена…

Нет! — не дала ей договорить Маша. — Пожалуйста, я вас умоляю!

У нее дрожал подбородок, она вся дрожала, и с губ слетали недетские, но где-то когда-то слышанные слова, жалящие гордость, растаптывающие достоинство — слова, при произнесении которых сам себе ненавистен и которые могут возникнуть только, наверно, в умопомрачении перед чем-то таким ужасным, что и не вообразить.

Маша не соображала в тот момент, что может случиться, если учительница пожалуется маме, но ей казалось, что, если она только выйдет до окончания урока из комнаты, беда неминуема.

Бе-да! Лицо мамы — уже достаточно.

— Дай, пожалуйста, пройти, — сказала учительница нетерпеливо и потянула к себе дверную ручку.

И тут Маша — это она никогда не забудет — бухнулась на колени, схватила руку учительницы и, задыхаясь от ненависти, брезгливости, отчаяния, прижалась губами.

— Что ты! — учительница вскрикнула, подалась назад. Но — поздно.

В комнату вошла мама.

— Мама! — кинулась к ней Маша, мгновенно забыв, что маму-то она больше всего и боялась, что именно страх перед

маминым наказанием… Она рыдала и билась в руках у матери, повторяя несвязно:

— Уберите, ненавижу, ненавижу…

Повторяла, пока ее не уложили в постель, задернули шторы, и потом она лежала, глядя перед собой, ощущая странную заторможенность, опустошенность, близкую к облегчению, точно долго болела и вот выздоровела, но очень пока еще слаба, и покачивает ее, подташнивает от слабости.

И еще ей казалось, что какая-то сила внезапно ее подняла и выбросила вперед — к тому будущему, о котором говорили и к которому готовили ее взрослые.

Она привстала, оглянулась на дверь, откинулась на подушки, потом медленно, с замершим лицом поднесла свою руку к губам, понюхала — и снова увидела, как все это было- понять, осознать еще не могла, но знала уже, что это никогда ее не отпустит.

2. Консультация

В определенном возрасте дети вдруг перестают задавать вопросы.

Покорные, послушные, они идут туда, куда ведут их взрослые. Молчат. Но с удесятеренным вниманием ловят все случайно, вскользь оброненные намеки.

Маше исполнилось шесть.

Они долго ехали с мамой в метро, потом на троллейбусе, потом в трамвае.

Потом мама расспрашивала прохожих, а Маша безучастно стояла рядом. Наконец нашли песочно-желтый дом с башенкой. Вошли в парадное. Поднимаясь по лестнице, услышали звуки рояля. Мама облегченно сказала: «Здесь».

Комната, куда они вошли, была проходной: ряды стульев, на столе кипы журналов — обстановка такая, какая бывает у частно практикующих врачей.

Темно, безлико, зябко, душно. Мама стянула с шеи шарф, улыбнулась Маше ободряюще, и Маше стало маму жалко. Мама, бедная, очень волновалась, — и опять ее волнение было связано с музыкой, к этому Маша уже привыкла.

Они сидели вдвоем в проходной комнате, но вскоре появились еще двое, женщина с мальчиком, шепотом поздоровались, сели. А сбоку, за стеной, звучал рояль. Было в этих звуках нечто такое, что, казалось Маше, не предвещало ничего хорошего: удручающее однообразие пассажей, механическое выделение сильных долей, и не было вроде этому конца.

Но вот все же конец настал, рояль замолк. Дверь отворилась, и вошла высокая горбоносая женщина, улыбнулась, но улыбка не изменила выражения ее лица, деловито-нетерпеливого.

Зазвонил телефон, и она, оборвав фразу на полуслове, схватила трубку:

— Игорек! — воскликнула восторженно и замолкла. Слушала, поглаживая ласково пальцами трубку. — Да что ты говоришь! Ну поздравляю, поздравляю.

Спасибо, милый. Конечно, приду…

Звонок, видно, очень ее взбодрил. И она не удержалась, пояснила гордо присутствующим:

— Игорь Кубов звонил — ученик мой. Ну, знаете, Первая премия в Брюсселе.

Сразу стала как-то выше и еще горбоносое: чувствовалось, что она переживает момент торжества. Но и в такой момент

деловитость ее не покидала.

Прищурившись, взглянула на Машу, взяла ее за подбородок.

— Аппетитная девочка.

Наверно, это следовало воспринять как поощрение, но пальцы у горбоносой были жесткие, холодные.

Маша стояла спиной к роялю, горбоносая нажимала то одну, то другую клавишу, Маше надо было чисто пропеть ноту, а после сказать, что это — то ли «до», то ли «ре», то ли «ми».

Маму свою Маша не видела, но наблюдала, как все больше скучнеет лицо у горбоносой.

— Видите ли… — закончив испытания, обратилась она к Машиной маме, и Маша не стала слушать, подошла к шкафчику, где за стеклом стояли фарфоровые финтифлюшки.

Как все дети, Маша была любопытна. В ней еще не проявилось свойство людей взрослых все видеть, воспринимать только с точки зрения собственной персоны, — она видела живо, ярко, непосредственно, и все новое возбуждало ее интерес. Детское видение, детское восприятие тем и хорошо, что свободно, не угнетается никакими правилами, ограничениями, и занято не собой, а окружающим и окружающими.

Пока мама и горбоносая говорили. Маша разглядывала комнату. Мебель стояла тесно, впритирку, потому что очень много места занимал рояль. На круглом столе, покрытом темной скатертью, сахарница, вазочка с печеньем, стакан с простывшим чаем, а на подставке закопченный алюминиевый чайник.

По-видимому, горбоносая не особо пеклась о домашнем уюте, ей было недосуг.

А на стенах висели фотографии в рамочках. Молодые лица, в анфас и в профиль, совсем не похожие, но с каким-то неуловимым сходством. Сходство, вероятно, возникало из-за общности выражения: юношески откровенное торжество, слегка надменное, холодноватое, ощущалось и в темных, и в светлых глазах, и в острых, и в округлых подбородках. А наискосок, или внизу, или сбоку шли надписи: «Первой моей учительнице», «Дорогой Ираиде Сумбатовне», «Моей наставнице» и т. д.

Количество фотографий — их было не меньше десятка, и все аккуратно окантованы, застеклены, — вызывало двойственное впечатление: уважительное — вот, значит, она какая, Ираида Сумбатовна! Но вместе с тем и снисходительное — тщеславие всегда уязвимо. Демонстрируют свое сокровенное обычно те люди, чье самолюбие ущемлено. И именно такие люди стараются вести себя с особой властностью, авторитарность.

Мама Маши сидела перед Ираидой Сумбатовной на кончике

стула, прижимая к груди сумочку, и точно в чем-то винилась. Мама была молодая, светловолосая, нарядная, душистая, и все всегда во всем ее слушались, но теперь перед Ираидой Сумбатовной она как бы вдруг потерялась, поникла.

Маша еще не знала, что в отношениях взрослых людей существуют тысячи всевозможных оттенков, и что маме полагалось так, с преувеличенным вниманием, покорностью, взирать на Ираиду Сумбатовну, что никто ее к этому не принуждал и ей самой это вовсе не было обидно.

Что-то мама знала об Ираиде Сумбатовне, что позволяло ей употреблять самые заискивающие выражения без всякого ущерба для собственной гордости. Но Маша-то об этом не ведала, оскорбилась за маму — встала рядом, точно за нее выступившись, и посмотрела на Ираиду Сумбатовну в упор.

Мама слегка подтолкнула Машу к двери, а сама замешкалась, что-то шепотом быстро проговорила. Маша услышала возглас Ираиды Сумбатовны: «Да что вы, зачем!» Потом какое-то нечленораздельное воркование, и мама появилась, заметно удовлетворенная, а Ираида Сумбатовна вышла их проводить.

… Маша с мамой возвращались домой. Маша узнала новое слово: консультация. Ираида Сумбатовна консультировала детей, поступающих в музыкальную школу, где она преподавала. Машиной маме она сказала, что «у девочки способности есть». То есть без особого восторга, но обнадежила. А маме на данном этапе этого было вполне достаточно! И теперь она неслась домой, чтобы сообщить новость Машиному папе, довольно скептически настроенному к музыкальному будущему дочки и к ее успехам на этом поприще.

Мама, можно сказать, сражалась одна, и тем дороже для нее было даже мало-мальское поощрение и каждый сдвиг, каждый взятый барьер.

3. Экзамен

Такое случилось впервые, чтобы в весеннюю пору, солнечную, тревожно-радостную, каждый раз так много всего обещавшую, вклинилось тяжелое напряжение, удручающее беспокойство, и точно поезд со всего разгона мчался на тебя, все ближе, ближе: эк-за-мен, эк-за-мен.

Потом это сделалось привычным — именно в лучшее время года, весной, школьники, студенты должны от всего отрешиться и готовиться, готовиться к испытаниям.

Но тогда привыкшее к воле и независимости существо сопротивлялось насилию и не хотело, чтобы ему мешали вдыхать острый, чуть солоноватый весенний воздух, не хотело отлучаться с, казалось бы, всем доступного, всему живому необходимого весеннего праздника. Не хотело забот, ничего нудного не хотело: да что вы пристаете, в конце концов!

— Маша! — звала мама, высунувшись из окна четвертого этажа, а Маша не поднимала головы, делала вид, что не слышит, хлестко била веревкой об асфальт во дворе среди своих сверстниц.

Сверстницы были куда счастливей — им разрешили в этот теплый майский день надеть гольфы, а кое-кому даже носки, и они вольно встряхивали волосами и, отдуваясь, распахивали пальтишки, курточки. Маша глядела и завидовала: она-то была в рейтузах, в шапке, и сверху за ней зорко следила мама. Мама беспокоилась, как бы дочка не простудилась перед экзаменами. А у Машиных сверстниц никаких экзаменов не маячило: стукнуло семь лет — пожалуйте в школу… Но мама не понимала, что эта ее осторожность — не дай бог насморк! — ранит самолюбие дочки, отдаляет ее от ровесников и вынуждает детское сознание срочно выискивать особые причины тому, что ты не такая, как все.

Подумаешь, казалось бы, рейтузы! Но в этих рейтузах Маша самой себе была противна, неуклюжа, и о сказала ловкой, юркой девчушке, удачнее всех ловившей мяч: «А ты умеешь плавать? Ты плавала в море? А я туда езжу каждое лето, поеду и на этот раз».

Девчушка Машу оглядела, и ее глаза вспыхнули по-кошачьи. Она ничего не ответила, подбросила мяч вверх, поймала и звонко выкрикнула: «Кто будет играть в лапту? Айда за мной!»

Все отбежали в другую часть двора, и Маша одна осталась.

Она присела на корточки, вынула из кармана мел и стала рисовать на асфальте скрипичный ключ, побольше, поменьше, и ключ басовый, и нотные линейки: лицо у нее было красное,

сердитое, она хотела взять реванш, возвыситься над теми, кто ее презрел — пусть увидят, что она тут начертила, и ничего не поймут!

Скрипичный и басовый ключи для них — загадка. Так Маша утверждалась в своей особости. Какие-то должны быть утешения, уж раз они все вместе, а она нет.

Маша! Ты идешь, наконец! — снова звала мама.

— Иду, мама, иду…

И вот настал день экзамена.

Во дворе, где находилась знаменитая детская музыкальная школа, цвели вишни, низкорослые кривенькие деревца, а большие разросшиеся липы подступали совсем близко к зданию, закрывали почти его кирпично-бурый, длинный, как трамвайное депо, фасад. Окна в классах были распахнуты, и оттуда неслись звуки скрипки, рояля, виолончели, мешались с детскими голосами во дворе, с отдаленным гулом автомобилей. Было шумно, оживленно… и боязно.

Маша жалась к маме, но одновременно вглядывалась в лица таких же, как она, испытуемых, желая отыскать в них те же чувства, что переживала сама.

Она увидела темноволосого мальчика в коротких штанишках и длинных носках ромбами, он тоже стоял рядом со своей мамой, но как бы отдельно от нее, независимо, шнырял глазами, будто обдумывал какую-то шалость, то есть держался, как показалось Маше, абсолютно безответственно.

А у нее самой — теперь уже привычно — сжималось сердце от страха огорчить маму. Бедная мама! Маша время от времени взглядывала снизу вверх на нее, видела округлый, напряженный, точно от сдерживаемого плача подбородок: чтобы только маму успокоить, Маша была готова на все.

Ждать пришлось долго, и неизвестно, когда кого вызовут. Маша устала бояться и, когда пришел ее черед, пошла к высокой белой двери почти спокойно и будто в какой-то забывчивости.

И тут столкнулась лицом к лицу с Ираидой Сумбатовной: та взглянула мельком — и не узнала. Маша остановилась, приоткрыв от удивления рот, хотела было сказать: «Ираида Сумбатовна, это я, Маша», но горбоносая Ираида Сумбатовна так строго, угрожающе сдвинула брови, что Маша не посмела ее окликнуть. Ничего не понимая, с приоткрытым от удивления ртом, жалкая, испуганная, приблизилась к столу экзаменаторов и остановилась.

Ее о чем-то спросили, потом она спела, потом подошла к роялю — это длилось миг. А когда ей сказали: «Можешь идти, девочка», она от радости, что все наконец закончилось, и все

страхи позади, и дальше можно жить легко, свободно, поддавшись неясному какому-то порыву, вернулась к столу экзаменаторов, оперлась пальцами о зеленое сукно, оглядела устало-пасмурные лица сияющими, благодарными глазами, сказала горячо, с воодушевлением:

— Спасибо, большое спасибо! — и бегом кинулась прочь.

— Мамочка, — закричала издали, — все хорошо, все замечательно!

Но руки мамы, обнявшие ее, показались какими-то бессильными, безвольными. Маша удивленно заглянула маме в лицо: оказалось, Ираида Сумбатовна, появившись на мгновение, успела подать маме знак — разочарованно развела руками…

И Маша с мамой медленно, убито поплелись домой. Мама молчала, а Маша ее утешала как могла:

— Ничего, — она говорила, — я стану балериной. Или художницей. Или летчицей знаменитой. Или врачом — вот увидишь!

Но мама молчала. И в Маше все вдруг вскипело.

— Эта проклятая школа! — гневно она вскрикнула. — Никогда, никогда я не переступлю ее порог! Это самая плохая школа на свете, и очень хорошо, что я не буду там учиться.

… А через несколько дней в вестибюле «проклятой» школы были вывешены фамилии принятых, и среди них Маша.

4. Быть талантливым — здорово!

Как после выяснилось, мама вовсе не рассчитывала сделать из Маши профессионального музыканта. Она только хотела приучить дочь трудиться и ценить время, потому что, мама часто повторяла, все зло от лени, а кто умеет работать, тот добьется всего.

И еще, по выражению мамы, в той школе ее пленила атмосфера: собранные, сосредоточенные, одухотворенные лица ребят, — музыка, мама твердила, облагораживает.

Действительно, та школа так и называлась — для одаренных. Одаренные приезжали со всех концов страны — при школе имелся интернат, — и набор учащихся во все классы проводился каждую весну в течение всех одиннадцати лет обучения.

Ну а раз принимались новые, то, значит, проводилась, так сказать, чистка принятых прежде. Ежегодно, каждую весну. Почивать на лаврах не представлялось возможным — никаких расслаблений, постоянная мобилизованность. Время рассчитывалось до минуты. Программа общеобразовательного обучения была такая же, как и в других школах, ну а музыке отводились все оставшиеся часы, то есть буквально все, кроме сна.

Машина мама не ошиблась, в той школе дети вправду воспитывались трудягами. Но занятно: все, даже первоклашки, говорили, что они занимаются по специальности, то есть музыкой, куда меньше, чем это было на самом деле.

И вот почему… Считалось, что подлинному таланту все дается легко, с лету, а вот посредственность вынуждена потеть. И какой-нибудь девятилетний пузырь небрежно ронял в кругу одноклассников, что разучил сонатину Клементи в два вечера и что вообще он — ужасный лентяй. Только вот пальцы у «лентяя» были с мозолистыми подушечками: вчера, бесконечно играя этюды Черни, он разбил пятый палец в кровь, и теперь на мизинце его был надет колпачок из лейкопластыря.

… Пройдет время, и они поймут, что именно самые талантливые из них и есть самые трудолюбивые и что талант — это прежде всего выбор, приводящий к тому, что человека целиком поглощает его работа, и все остальное уже неважно, всем остальным он готов пожертвовать, и это единственный для таланта путь.

Но это случится позднее… А пока, с лживой искренностью глядя в глаза друг другу, они уверяли, что занимаются вовсе немного и все получается ну как-то так…

Принято было, вот и говорили. Но только кончались уроки, сбегали вниз, в вестибюль, и тут их подхватывали мамы, запихивали в пальтишки, курточки, привозили домой, кормили — и за инструменты!

«Ты лишаешь ребенка детства», — иной раз, не выдержав, бурчал папа. Но для Маши его заступничество уже не имело значения: папа не понимал — Маша теперь сама усаживалась за инструмент. Папа не понимал: это ей, а не только маме хотелось теперь быть среди первых. Ужасно хотелось быть талантливой!

Талант — вот что главное. К талантливым все иначе относились. Трудно объяснить как, но иначе. Талантливых знали в лицо. И Маша навсегда запомнила того, первого в ее жизни очень талантливого, с которым она оказалась в одной очереди в школьном буфете.

Талантливый был из иногородних, то есть жил в интернате, лет ему было, верно, тринадцать-четырнадцать. Щупленький, узкоплечий, он стоял впереди Маши, и она видела его затылок, худую жилистую шею, серые волосы прядками ложились на сильно оттопыренные и какие-то необыкновенно нежные, хрупко-прозрачные уши.

На мгновение он обернулся, мелькнуло лицо, невзрачное, тусклое, но в этой невзрачности было нечто загадочное — а как же, ведь он был талант!

Глаза тоже оказались тусклыми, дремотными и как бы невидящими: неловко он принял из рук буфетчицы тарелку с борщом, боком, точно теряя равновесие, прошел к столику, взял ложку и начал есть.

Ел, низко склонившись над тарелкой, резко двигая челюстями, и лицо его вообще ничего не выражало, но и это, верно, тоже было отличие, выделявшее талант среди всех прочих.

Маша глядела на него как завороженная и вдруг подумала, что борщ, который он ест, наверняка невкусный, а вот она сегодня дома ела куриный бульон. Ей сделалось стыдно, жарко от такой несправедливости, даже в носу защипало. И возникла невозможная мысль. Вот бы подойти к нему, взять за руку, сказать — идем, дома нас обоих моя мама накормит- но тут же она представила, как бы он тогда на нее взглянул, и сделалось зябко.

Талантливый доел свой борщ и встал. Маша глядела ему вслед, пока он пробирался между столиков, и то, что она чувствовала, было обожанием, на которое способны существа женского пола, ищущие и создающие себе кумира, с готовностью помогать ему во всем, что он, впрочем, вполне в состоянии и без них сделать.

Это впервые возникшее в ней чувство Маша перенесла на одноклассника своего Колю.

У Коли был абсолютный слух, и на вступительных экзаменах он всех им поразил, но играть умел только на аккордеоне. Рояль ему пришлось постигать с самых азов, в то время как остальные дети еще до школы прошли серьезную подготовку. А приехал Коля из Забайкалья, где в военной части служил его отец.

Коля явно чувствовал себя угнетенно среди бойких одноклассников, и потому, что жил у каких-то дальних родственников, и потому, что заикался, и потому, что любил играть на аккордеоне, а тут аккордеонами не интересовались, а усадили его за рояль.

Он был маленький — когда их выстраивали по росту у дверей класса, стоял первым — смуглый, круглоголовый, с мелким обезьяньим личиком, что подчеркивалось его привычкой морщить лоб. А глаза черные-пречерные, с непроглядью зрачков, и всегда печальные, тоскующие.

Он был тихий, замкнутый, слова не вытянешь, и даже на переменках старался из класса не выходить, хотя дежурные всех выставляли.

Но случались и у него мгновения торжества, когда на уроках сольфеджио учительница брала аккорд, сколько могла захватить клавиш, и Коля чисто, хотя и слабым голосом, пропевал каждую ноту, а после безошибочно находил их на инструменте. У него была поразительная музыкальная память, был дар, но дар этот надо было еще извлечь, отшлифовать, обработать, а пока он скрывался под толстым слоем Колиной неразвитости.

Да, Коля был очень тихий, очень скрытный, но однажды кто-то принес в школу мяч, мальчишки принялись гонять его по коридору, и Коля оказался из самых азартных: он вопил, он кидался в «ворота» и вот с силой подбросил мяч ногой — это все видели, — раздался звон стекла. Окно в коридоре разбилось.

Разбирательство началось тут же, на первом уроке. Ученики сидели, не поднимая глаз. Все было ясно: виноватого ждет исключение. Маша на секунду обернулась и увидела круглую сморщенную физиономию Коли с огромными, казалось, в пол-лица черно-пречерными глазами, застывшими, умирающими, — он медленно поднимался со своей парты. И тут что-то ее толкнуло, она вскочила, крикнула звонко, боясь, что Коля ее опередит:

— Это я, Нина Ивановна, я разбила! — И помедлив: — Нечайно…

Почему-то она знала, что ее не исключат, что исключить могут только Колю — такого талантливого! — а она вовсе даже и

не рискует, и главное теперь, чтобы он не полез, чтобы молчал, молчал, и тогда она в голос, с завываниями зарыдала.

В ее оглушительном реве в самом деле потерялись неясные бормотания Коли, и тогда он стал тянуть вверх руку, требуя слова. Маша увидела по его лицу, что он таки вылезет, таки выскажется, и тут она, быстро обернувшись (он сидел как раз позади нее), не прекращая рева, нагнулась и треснула его с размаху по голове учебником.

— Хулиганство… — в совершенной растерянности вымолвила учительница. — Безобразие… Сейчас же прекратить!

В этот день, унося в портфеле грозную записку учительницы, адресованную маме, Маша была счастлива — она не дала загубить талант!

5. Рыженький

Но именно на примере Коли, по прошествии некоторого времени, Маша стала задумываться: а что же это такое- талант?..

Почему один играет плохо, а другой хорошо? Почему плохо играет тот, кто блистательно прошел вступительные экзамены, у кого имелись исключительные данные, и вот он застрял, его обходят те, у кого в момент поступления были куда более низкие показатели.

Как же так? Ведь талант — это от природы, врожденное, беспроигрышный, можно сказать, билет, и с ним проигрывают?

Абсолютный слух, изумительная память, а играет человек серо, скучно и без всякого проблеска. Вот и Коля — такой одаренный! — был отчислен из школы как неуспевающий. Маша слышала его исполнение на одном из зачетов: он честно старался выполнить заданное, но боялся инструмента, нисколько не любил его.

Абсолютный слух — оказалось, это не главное. А главное — что же?

Колю отчислили весной, а осенью в их классе появился Рыженький.

Впоследствии выяснилось, что Рыженький пытался поступить в школу неоднократно, но его забраковывали. И вот, наконец, зачислили в четвертый класс. Он добился этой победы действительно, можно сказать, с кровью.

Надо сказать, что в той школе к новеньким относились иначе, чем это бывает обычно, — с настороженной уважительностью. Потому что поступить, скажем, в третий, пятый, восьмой класс оказывалось труднее, чем в первый: первоклашек все же набирали, как котят в мешке- сырой материал, что дальше будет, не угадаешь. А чем дальше, тем точнее можно было уже прогнозировать станет ли вот этот, скажем, паренек профессиональным музыкантом или пусть ищет для себя иной путь.

Рыженький ступил за порог школы как испытанный боец, в синяках, ссадинах, — и очень гордый. А у Маши было чувство, что он занял место Коли, и потому она отнеслась к Рыженькому враждебно, как к агрессору.

На переменах глядела в веснушчатую переносицу Рыженького, давая так понять, что он для нее — не существует. Но Рыженького ее отношение, по-видимому, вовсе не интересовало: сразу, с момента своего поступления в школу он начал пробиваться в лидеры, и, забегая вперед, скажем, что

задуманного достиг. Но Маша долгое время видела в Рыженьком только одно — полную противоположность милому, застенчивому Коле.

Единственное, что было между этими мальчиками общего, так это рост: Рыженький занял в классе место Коли буквально как самый маленький. Но при этом выглядел взрослее других, и очень хотел так именно выглядеть. Носил курточку особого покроя, ботинки без шнурков, часто доставал из верхнего кармана расческу, приглаживал волосы, но рыжие вихры тут же вновь вставали торчком. Но, пожалуй, самым большим для него достижением была особая отработанная усмешка: слегка, почти незаметно, углы рта кривились, губам придавалась округлость, точно пушинка сдувалась, и медленно-медленно улыбка растягивалась до ушей — неотразимый эффект, и все побеждены, все в растерянности.

Рыженький алкал власти.

На переменках он подходил к инструменту и, придерживая одной рукой крышку, другой выдавал нечто сверхсложное — фейерверк пассажей, хлопал крышкой и небрежно отходил — тоже получалось очень эффектно.

На уроках, хотя он был прилежный ученик, педагоги часто делали ему замечания: все время он ерзал, шептался, и в этом тоже сказывалось его желание постоянно быть на виду, всеми силами привлечь к себе внимание.

Пожалуй, тут было уже не столько детское озорство, сколько натура.

Маша на Рыженького негодовала, хотя сама считалась озорницей. И у нее столько уже накопилось грехов, что однажды учительница не выдержала, прихлопнула ладонью по столу и велела Маше пересесть с уютной задней парты на первую, прямо перед учительским столом. Соседом же ее определила такого же неуемного шалуна — так Маша и Рыженький оказались плечом к плечу.

Несколько дней они делали вид, что не замечают друг друга: Маше казалось, что чувствительной у нее осталась только левая половина туловища, а правая, в соседстве с ненавистным Рыженьким, закаменела, отмерла. Все ее мысли, все чувства заняты были только этим — враждой с Рыженьким. Что происходило, что говорилось на уроках, она не воспринимала начисто.

А однажды случилась на переменке драка. Ну драка — это, наверно, сильно сказано. Одаренные дети драться всерьез не смели, может быть, руки свои берегли или не овладели необходимыми для настоящей потасовки навыками.

Короче, больше было крику. Учебники на пол падали, хлопали дверьми, но вот Маша и Рыженький впились друг в друга мертвой хваткой.

Прозвенел звонок, в класс уже направлялась учительница, а они все еще с пыхтением мутузили один другого. Маша вцепилась в волосы Рыженького и не отпускала.

Их еле разняли. Лица у обоих свирепые, а у Маши в руке остался клок рыжих волос. И вот с этого дня они с Рыженьким подружились.

То есть, скорее, это было не дружбой — доверие между ними так и не возникло, — а больше походило на уважительное отношение соперников. Но соперничали они характерами — в музыке Маша соперничать с Рыженьким не могла.

Своими исполнительскими возможностями Рыженький обставил всех в классе.

У него была прекрасная техника, но главное, он по своему сознанию, своему отношению к работе был много профессиональнее остальных.

Наверно, имело значение, что он вырос в семье музыкантов. Помимо педагогов в школе, им дома руководили люди весьма опытные. И будущая деятельность не представлялась ему, как большинству, туманной, а загодя четко планировалась.

Но все это лишь благоприятствующие обстоятельства. Рыженькому, можно считать, повезло, но везение только тогда дает о себе знать, когда человек способен его использовать, когда он, иными словами, везения достоин.

Рыженький, нельзя не признать, обладал природным даром. Именно к музыке, именно к фортепьяно. По виду вялые, бледные его пальцы, коснувшись клавиш, обретали силу, жадность, мощь. Честолюбивая его натура жаждала первенства во всем, но за роялем он действительно побеждал, и эту победу нельзя было оспорить.

Да, артистичен. Но артистизм — свойство отнюдь не отвлеченное, а связанное с общей природой, характером его обладателя. Артистизм Рыженького следовало бы определить как трезво-расчетливый. Для него, казалось, не существовало барьера перед залом, слушателями. Собранный, деловитый, выходил он на сцену- и никого, ничего не боялся, во всяком случае держался так.

Такая бестрепетность явно тешила его самолюбие. Тешило самолюбие и то, что о н играет, а все слушают.

Это было слышно — его отношение, его позиция. Но возмущения не вызывало — публика любит смелых, любит удачливых, искусных, искушенных в своем ремесле.

И Рыженький имел успех. Маша аплодировала ему вместе со всеми, но не могла подавить в себе тайного чувства, что это несправедливо, неправильно, что именно Рыженький так играет, что ему дано так играть.

6. Володя

Соперничество, и зависть, и ревность пробуждаются, как известно, в людях довольно рано. И детскому взгляду многое приметно. Но в той школе, по издавна сложившейся традиции, все расценивалось по единственной шкале: есть у тебя способности к музыке или нет. То есть вовсе не способные отсутствовали, но имелись более способные и менее. По этому критерию отношения и выстраивались. И бородатый математик, бывало, прощал какому-нибудь таланту вопиющее невежество в геометрии, потому что намедни, скажем, слушал в концерте в консерваторском зале, как этот — тьфу, двоечник! — играл Моцарта.

Казалось бы, замечательно: не имело значения, из какой ребенок семьи, и никто не хвастал ни знаменитыми родителями, ни обладанием дачей, скажем, автомобилем. Но ничто так не ущемляет, как сознание своей природной личностной неполноценности, тут ни родителей нельзя упрекнуть, ни судьбу, а просто ты сам, как есть, способностями, значит, не вышел.

При всей одухотворенной, облагораживающей атмосфере в той школе действовал жестокий закон: детям давали понять ясно и без прикрас: ты, мол, посредственность, а вот тот, сидящий у окна слева, — тот одаренный. Выживали в такой обстановке действительно стойкие.

И, пожалуй, что самое болезненное, — дети, приобщенные к музыке с младых ногтей, другой судьбы для себя не видели, точно не существовало иных специальностей, иной работы — навек, получалось, обречены теперь быть с музыкой, и ужасно, если при этом подлинного таланта нет.

Потом кое-кто перестраивался, обнаруживал в себе способности, скажем, к рисованию или становился впоследствии неплохим инженером, врачом, но все же в глубине сознания это сохранялось — клеймо, которое поставили в той школе.

Не сказать об этом было бы нечестно. Ведь заниматься искусством сколь заманчиво, столь и больно — самолюбии там не щадят.

Не щадили их и в той школе. Все, вплоть до нянечки в раздевалке, были в курсе, кто из учащихся подает надежды, а кто — увы… Придурь, взбалмошность талантливому с умилением прощались, а симпатичная, добросердечная посредственность постоянно ощущала на себе снисходительно-небрежный, обидно-сожалеющий взгляд.

Увы, увы!..

До класса восьмого все ребята, учившиеся с Машей, считали твердо, что они будут профессиональными музыкантами — иного пути, им казалось, нет. Все, за исключением Володи.

А Володя был — гений. Его родители, люди скромные, отдали мальчика в ту школу со слабой надеждой, что, может, музыка хоть ненадолго Володю отвлечет, хоть как-то притормозятся его математические сверхспособности: ведь ужас! — уже в три года он умножал трехзначные цифры в уме!

К их сожалению, и слух, и музыкальная память у Володи тоже оказались феноменальными, а они-то надеялись, что хотя бы в этой области их чудо-сын окажется «середняком»…

А вот их дочка, говорили с забавной гордостью, совсем нормальная девочка и учится в школе на тройки. Откуда же это в Володе?! Они сокрушались, пугаясь невероятного будущего, ожидающего их вундеркинда.

Володя сидел на последней парте у окна, педагоги редко его спрашивали, возможно, опасаясь его ответов и вопросов, опрокидывающих, как океанская волна.

Так он сидел, прилежно слушал, но, случалось, в какие-то моменты из реальности выбывал: слюнил палец и чертил по черной глади парты математические уравнения. Вот, значит, даже и той школе не удавалось его притормозить. Хотя ведь там привыкли иметь дело с талантами, а Володя был — гений!

Ну а в обычном общении Володя был добрый, удивительно деликатный мальчик. Особо он ни с кем не дружил, но держался со всеми приязненно, искренне, мило, — его естественности, натуральности, благородной простоте могли бы поучиться как таланты, так и неталанты.

Никогда он не выказывал перед другими никакого превосходства. И не старался показаться ни более взрослым, ни подчеркнуто ребячливым. Когда задумывался, это просто оказывалось сильнее его, и утягивало, увлекало — те мысли.

Белобрысый, улыбчивый, светлоглазый, немножко увалень, — жаль, что в пятнадцать лет он покинул школу: его приняли в университет. Родители смирились. Устали бороться с его гениальностью.

А на рояле, при всем своем блистательном слухе, Володя плохо играл, какая-то у него получалась манная каша. По правилам той школы это было из ряда вон, чтобы такой одаренный — гений! — и плохо на рояле играл?!

7. Родители

Постороннему взгляду непременно бы бросилось в глаза небывалое скопление в той школе родителей учащихся, причем отнюдь не в дни родительских собраний, а постоянно, всегда. Пожалуй, родителей было столько же, сколько и детей: они сидели плотными рядами в вестибюле или ожидали у классов, где шли занятия по специальности, или толклись у дверей школьного зала в дни зачетов, экзаменов, приникая ухом к замочной скважине, вслушиваясь, как там играет их дитя.

Если бы это были родители только младших школьников, ну тогда еще понятно: школа находится далеко от дома и ребенка надо встречать-провожать.

Так нет, караул несли и те, чьи сыновья и дочери учились уже в старших классах, вот что удивительно. По-видимому, эти родители уже просто не могли существовать вне стен той школы, самое для них важное, самое существенное происходило именно там. У них, пожалуй, уже не было собственных интересов, а только интересы их детей.

Стремление человека улучшить свою породу, дать своему ребенку то, чего не имел сам, в основе своей благородно, но иногда это обращается в страсть, единственную, всепоглощающую. И тогда человек превращается в фанатика, задается одной целью, чтобы сын его или дочь непременно воплотили в своем лице его, родительские идеалы. Да, заманчиво лелеять мечту о том, что твое порождение достигнет для тебя недостижимое, что губы его коснутся того сладчайшего, редчайшего плода, к которому столько лет — всю жизнь и безрезультатно — тянулись твои губы. О слава!.. О успех!..

Родители сидели или стояли в вестибюле школы, как бы неся вахту, и когда с лестницы спускался кто-нибудь из учащихся, чья плоть мощно выпирала из тесной школьной формы и кто уже вряд ли нуждался в неусыпной опеке, к нему тем не менее подбегала мама, что-то бормотала в беспокойстве и совала бутерброд, чтобы сын хоть червячка заморил, раз у него нет времени ехать домой обедать.

Такая сценка была для той школы будничной: жертвенность, героизм родителей сделались там как бы уже традиционными. Одна вот мама бросила в Краснодарском крае собственный дом и в течение многих лет снимала угол ради того, чтобы быть рядом с дочерью, живущей в школьном общежитии. А мама Виталика, волоокого, с темным пушком над верхней губой, с лицом красивым, но грубым, невыразительным, поступила работать

нянечкой в школьную раздевалку: сидела, выставив в окошко пышные плечи, пышную грудь, просила протяжным, с украинским акцентом голосом: «Увидите Виталика, скажите, мама ждет…»

Ну а мама высокоодаренной девочки Любы пришла однажды на свое место под школьными часами вялая и как бы в недоумении, но не в растерянности, нет!

Сказала маме Виталика, с которой успела подружиться, что ее муж, отец высокоодаренной Любы, вдруг взбунтовался, то есть взял и подал на развод.

Надоело — так он выразился — жить полоумной жизнью, в которой его дочь — придаток к инструменту, а жена вообще придаток неизвестно к чему. Надоело — он был очень разгневан — и черт-те чем питаться, и всегда быть одному, и нет до тебя никому никакого дела — все только музыка да музыка, провались она совсем! Собрал вещи — и отбыл.

Мама Любы поведала об этих событиях спокойно, и даже вроде нисколько не заинтересованно, и постоянно поглядывала на часы: в половине второго должна была появиться Люба, и надо было успеть ее покормить и мчаться в консерваторию, к профессору, в чей класс Люба недавно поступила.

… Прошли годы, девочка Люба стала знаменитой скрипачкой, гастролирующей по всему миру, на чьи концерты билеты немыслимо было достать, — все это свершилось, но только тогда, когда ее мамы уже не стало.

Но она так и стоит перед глазами, эта женщина в накинутом на плечи пальто с облезлой лисой, во внесезонной и вне всякой моды странной шляпке, и, близоруко щурясь, глядит туда, откуда должна появиться ее дочь.

И дочь появляется, спускается неровными шагами по лестнице, скользя рукой по перилам. У нее невидящий взгляд, бледное, болезненное лицо подростка- оно и осталось таким навсегда. Дочь стоит недвижно, мать застегивает на ней пальто. Потом дочь вытягивает, как слепая, руки, и мать надевает ей варежки. Они уходят, идут молча, мать не мешает дочери думать.

Так она и удержалась в памяти — Любина мама.

8. Зяма

Итак, в этой школе было привычно всем жертвовать ради детей. Это сделалось нормой. И те дети, чьи родители придерживались иной позиции, в школу «для одаренных» просто не попадали. Ну, за очень редким исключением.

Только к какой категории отнести маму Зямы? Определить трудновато. В школе она появлялась крайне редко, маленькая смуглая женщина, молчаливая то ли от робости, то ли от высокомерия. Выходило, что ее не волнуют успехи сына? А может, она просто не сомневалась, что, кроме музыки, иной судьбы для него нет?

Как уже говорилось, отношение к новичкам в школе «для одаренных» было несколько иным, чем в других учебных заведениях. Учащиеся существовали там в условиях неослабляемой конкуренции: каждый год кого-то отчисляли и принимали новых, более способных, более подготовленных. Таким образом, состав класса постоянно улучшался, и по идее к выпуску должны были остаться только «самые-самые».

Зяма влился в коллектив на седьмом году обучения- раньше он жил в другом городе, — и тринадцатилетние школьники встретили его, как и положено встречать сильного соперника. Интересовались, что он играет, у кого учился прежде и к кому поступил теперь.

И- да будь все же, несмотря ни на что, благословенна та школа! — внешность Зямы, его толщина, его уродство не оказались в центре внимания.

Школьников занимало другое: когда в переменках между уроками Зяма присаживался к инструменту, стоявшему тут же, в классе, ребята обступали его, смотрели, слушали.

А за инструментом сидел человечек, эдакий Крошка Цахес, с почти квадратным туловищем, с лицом в воспаленно-шершавых пятнах, как при диатезе, с крючковатым носом и безгубым ртом, с ногами, едва достающими до педалей, короткорукий, но пальцы были длинные, тонкие, прогибающиеся на концах, как бы даже не пальцы — щупальца: ими он, казалось, видел, познавал мир.

А кисть руки изящна, женственна. Кисть точно принадлежала другому человеку. Изысканная, точеная кисть с бело-мраморной кожей, в то время как лицо, уши, шея пылали воспаленной краснотой.

Он играл. Выражение его лица было поначалу брюзгливое, потом насмешливое, потом издевательское, а потом оно вдруг становилось просветленно- печальным.

У одноклассников Зямы благоговение перед талантом было столь глубоким, что он не только никогда не подвергался насмешкам за свою внешность — ему, скорее, даже завидовали.

Но предстояло еще испытание и для Зямы, и для его сверстников: семиклассникам разрешили устроить вечер впервые с танцами, и кто-то обещал принести магнитофон.

Принаряженные школьники выглядели совсем как взрослые, и оказалось, что между ними возникают уже недетские проблемы и недетские мысли заботят их.

Класс вдруг раскололся на два лагеря, мужской и женский. Но полного согласия не было ни тут, ни там. Девочки только изображали видимое сплочение, а на самом деле ревностно оценивали одна другую. Шушукались.

«Галка нос напудрила… шу-шу, шу-шу». «Наринэ надела такой облегающий джемпер! Фи-шу-шу». «Рыженький третий раз подходил к Наринэ, и она совершенно некстати заливисто хохотала… Шу-шу!»

Надо сказать, Наринэ уже не впервые осуждалась подружками — ну такая кокетка! В их возрасте кто больше походил на взрослых, тот и вызывал наибольший интерес. Наринэ в своем развитии обогнала сверстниц, и они ей завидовали — мальчишки так к ней и липли!

А носатая армяночка Наринэ, с нежным пушком над ярким ртом, грозившим разрастись в жесткие усики, ничуть не смущалась укоряющих взглядов, скорее ее даже подстегивало коллективное неодобрение девичьего лагеря, и в душе она, верно, потешалась над уныло-ханжескими их лицами — эй, курятник, нате вам!

Стояла посреди зала под перекрестом взглядов, чуть отставив ногу и запрокинув голову, смеялась — пусть некстати и чересчур громко, — но ведь это к ней подошел Рыженький, к ней, и ни к кому другому!

А когда заработал магнитофон, такой старый, что чьи-то родители не пожалели отдать его на вынос, на котором звук плыл и пленка рвалась, но который все же наконец заработал, Наринэ подняла голые по локоть руки на плечи обомлевшего Рыженького, и в этом движении было столько даже не женской, а дамской обольстительной грации, столько торжества и рвущейся наружу молодой силы, счастливой уверенности в себе, что все замерли и даже забыли осуждать.

Рыженький, как он ни пыжился, все равно был — мальчишка! А вот Наринэ, Наринэ…

Их танец длился, казалось, очень долго, и все так пристально на них смотрели! Но у обоих хватило выдержки держаться так,

точно они ничего вокруг не замечают. Потом к ним присоединились еще несколько пар, а потом уже танцевали почти все.

Не танцевал Зяма. Он стоял у подоконника и играл сам с собой в «коробок», украдкой бросая взгляды на танцующих.

А еще не танцевала Маша, и делала вид, что целиком поглощена беседой с тощей, смертельно скучной флейтисткой Олей. Оля сонно кивала, а Маша, жестикулируя, гримасничая, то поднимая брови, округляя глаза, то прищуриваясь, изображала необыкновенную оживленность, а на самом деле ей плакать хотелось от унижения и от жалости к себе.

Вдруг Оля зевнула и хотела было подняться. Но Маша вцепилась ей в руку, потянула вниз. «Сиди, — пригрозила шепотом, — сиди, а я буду рассказывать».

Оля, испуганная, удивленная, снова плюхнулась рядом.

Почему Маша не уходила? Вероятно, она все же на что-то надеялась. Никто из мальчишек в классе ей не нравился — но неужели она хуже всех!

На танцующих она не глядела, но несколько раз встретилась глазами с Зямой, играющим у подоконника в «коробок». Да, Зяма тоже не танцевал, но это Машу не утешало. И вот они снова столкнулись взглядами, Маша досадливо отвернулась, шепнула что-то Оле, но тут все в ней опустилось: широкими решительными шагами через весь зал, чуть не наталкиваясь на танцующих, Зяма шел к ней.

К ней?! Маша заметалась, оглядываясь, — может, все же не к ней, а?..

Нет, к ней. Остановился, набычив голову с проволочно-курчавыми волосами. Его маленькие глазки глядели куда-то поверх ее лица, он не произнес ни слова, но она встала и пошла к нему.

Когда ее руки коснулись его плеч, ей показалось, что он весь набит ватой, как мягкая игрушка. Она не могла поднять на него глаз и не могла глядеть ни на кого вокруг — уж лучше бы она вовсе не приходила!

Он тоже на нее не глядел, и вдруг она угадала, всем существом почувствовала его состояние — и мгновенно забыла о себе. В ней все тогда запротестовало: как, они с Зямой кого-то, чего-то стыдятся, что, мол, другие подумают?! Да это вдвойне унизительно! Да захотели танцевать — и танцуют.

Чудесная музыка. Зяма, с твоей музыкальностью, ты что, не чувствуешь ритм?

Машины пальцы легко, но настойчиво проиграли на Зямином плече ритмический рисунок — вот-вот, вот, вот, вот-вот…

Конечно, Зяма, я не сомневалась, ты должен уметь превосходно танцевать.

Вот-вот, вот-вот..

Они танцевали вместе со всеми. А потом все встали в круг. А после снова разбились на пары. Маша из-за плеча своего партнера увидела, что Зяма танцует с Наринэ — ну и что удивительного?

9. Сольфеджио

Помимо общеобразовательных предметов в школьное расписание включались еще и такие дисциплины, как-то: музыкальная литература, теория, гармония, сольфеджио.

Сольфеджио преподавала Ядвига Яновна. Она являлась в класс всегда в одном и том же темно-синем, мужского покроя пиджаке, в простых, в рубчик, коричневых чулках, с портфелем, почти истлевшим от времени.

Он, этот ее портфель, настолько износился, что казался тряпично-матерчатым, но замочки на нем звонко выщелкивали, когда Ядвига Яновна его открывала, чтобы вынуть текст очередного одноголосого, или двух-, или трехголосого диктанта.

Мелодия для диктантов выбиралась нарочно незапоминающаяся, и Ядвига Яновна, сидя за пианино, спиной к классу, с нарочитой невыразительностью, сухо, бойко ее отчеканивала. Смолкала. Ученики кидались записывать кто что запомнил. Ядвига Яновна ходила туда-сюда. Снова повторяла диктант. И снова… Потом вдруг говорила: «Прошу сдать тетради».

Списать диктант не представлялось возможным, так как ученики сидели по одному за партами, писали карандашом, стирали ластиком: издали ничего не разберешь.

Но Маша пыталась хоть что-то подсмотреть, вертелась, оглядывалась — и холодела, чувствуя на себе тяжелый, пристальный взгляд Ядвиги Яновны.

Бывает, ловишь на себе подобный взгляд и видишь самого себя глазами того человека, но почему-то не протестуешь, а с унизительной поспешностью как бы стараешься подтвердить собственную тупость, пустяшность, мелкость.

Будто киваешь с мерзким недобастрастием: да, вы совершенно правы — ну полное я ничтожество!

Это было так стыдно — воровски у кого-то списывать, Маша понимала, но именно на уроках сольфеджио, именно в присутствии Ядвиги Яновны просто не могла иначе вести себя. Уроки сольфеджио превратились для нее в бесконечное унижение.

Но вот любопытно: к примеру, по физике она тоже отнюдь не блистала, но это вовсе ее не ущемляло, разносы физика она выдерживала со сдержанным спокойствием и даже несколько иронично: ореол круглой отличницы ее никогда не прельщал. Но сольфеджио- тут было другое дело…

Хотя после выяснилось, что абсолютный слух еще отнюдь не

есть гарантия успеха, все же это было прекрасно — им обладать. Качество слуха — как проба на золоте. Да, он поддавался развитию, совершенствованию, и вообще, как известно, у Чайковского, к примеру, слух был не абсолютный, и все же, все же… Можно стать прекрасной балериной, хотя ноги у тебя коротковаты, тоже примеры есть. Можно и в живописи добиться успеха при дальтонизме. Все можно!

И тем не менее… Ты — музыкант, а у тебя не абсолютный слух — обидно!

И обидно, когда ущербность твою не только не обходят деликатным молчанием, а постоянно тебе о ней напоминают, ужасаются, негодуют! Ты гадкий утенок среди белых лебедей.

Ядвига Яновна, преподавательница сольфеджио, являлась поборником «чистых кровей», безупречной породы. Только люди с абсолютным слухом, она считала, достойны служения музыке. Для нее самой музыка была, вероятно, тем же, что Игра в бисер для членов Касталийского Ордена в романе Германа Гессе: только для посвященных, и чтобы ни одного со стороны.

И тут она была непреклонна: пусть ее любимчики- «слухачи» — впоследствии оказывались негодными музыкантами, а, напротив, те, кого та забраковывала, набирали все большую высоту, — пусть, она не сдавалась.

И мало того: тем, кто не умел на ее уроках точно записать диктант, она отказывала не только в музыкальном даре, но и в других каких-либо способностях, и даже в уме, и даже просто в серьезности.

Когда она вдруг случайно узнавала, что бывший ее троечник, что называется, вышел в люди, выражение лица у нее делалось такое, точно она хотела стукнуть кулаком по столу: не верю! не может быть!

Но в своем деле она, Ядвига Яновна, нельзя не признать, была первоклассным специалистом. Самые мудреные вещи она объясняла просто, кратко, и как замечательно было бы у нее учиться, если бы Маша не ощущала себя на ее уроках «черной костью», если бы попыталась хоть однажды что-то понять, а не падала бы камнем на дно, оглушенная, тупая как чурка, с одной мыслью — только бы не чувствовать своего унижения.

… Бывает, что взрослым людям снится, как они стоят у школьной доски, никак не могут решить задачу, и они просыпаются в холодной испарине. А Маше впоследствии являлась в сновидении Ядвига Яновна, и это был действительно кошмарный сон.

Но однажды Ядвига Яновна явилась в яви…

В овощном магазине много набилось народу, Маша встала

уже было в очередь к кассе, а тут свежую капусту подвезли. Маша обернулась к стоящей за ней старушке, сказала: «Я на минутку отойду…»

Сказала, отошла и вдруг остановилась как вкопанная: эта старушка была Ядвига Яновна.

Сколько лет прошло? Сколько теперь было Ядвиге Яновне: шестьдесят? семьдесят? восемьдесят?.. Она стояла в очереди к кассе, высохшая, маленькая, сгорбленная, в каком-то плащике явно с чужого плеча, а может, то был ее плащ, но только она так ссохлась, уменьшилась? Голова ее мелко-мелко подергивалась, а в руках она держала круглые яркие, будто детские мячики, апельсины в сетчатой упаковке.

Маша аж задохнулась: неизжитый страх, обиды прежних. лет разом на нее нахлынули, но обнаружилось и новое — какое-то самодовольно-злорадное чувство.

Ну да, уважаемая Ядвига Яновна, теперь я вас не боюсь, не страшны мне ваши диктанты, ваши уроки сольфеджио — ох как я далеко!

Взрослая, большая, самостоятельная Маша точно нависла над сухонькой, сгорбленной бывшей своей учительницей, сказала с улыбкой:

— Здравствуйте, Ядвига Яновна, вы меня узнаете?

Учительница будто в испуге вскинула блеклые, старчески затуманенные глаза. И вдруг вцепилась в Машину руку:

— Узнаю! Узнаю! — голос ее оказался неожиданно высоким как-то по-детски, и детской была радостная в нем искренность: — Узнаю, узнаю!

«Забыла, — подумалось Маше. — Точно забыла…» Учительница все еще не отпускала ее руки. И Маша стояла рядом, не зная, что говорить, как о себе напомнить.

Напомнить — о чем?.. Маленькая старушка в просторном, не по размеру плащике глядела на нее с обезоруживающей доверчивостью. И в Маше от ее злорадного самодовольства не осталось и следа. Наоборот, ей отчего-то вдруг сделалось стыдно. И грустно, и она почти угадала почему…

10. Летние развлечения

При завершении учебного года помимо отметки на экзамене был еще один показатель успехов: какие произведения рекомендовал тебе твой педагог для разучивания летом.

Как, верно, актеры ждут новой роли, так Маша ждала листочек, исписанный широким размашистым почерком. Ах, Моцарт, соната — какая именно? Бах — «Хорошо темперированный клавир». Шопен — скерцо! Бетховен — фортепьянный концерт, и Паганини — Лист, ну если получится.

В тех случаях, где учительница выказывала сомнения — мол, по силам ли, не рановато? — тут именно Маша особенно воодушевлялась: конечно, осилю, да-да!

И бегала по нотным магазинам, на Герцена и на Неглинку, закупала нарядные издания Петерса, бледно-салатовые, глянцевые, в сафьяне, издания букинистические, с пожелтевшими рыхловатыми листами, пахнувшими осенней травой, на обложках которых иной раз сохранялись фамилии прежних владельцев, выведенные порыжелыми чернилами и чуть ли не гусиным пером.

Это было прекрасно — притащиться домой, навьюченной толстыми фолиантами, чей вес само по себе уже казался многообещающим, пролистать их вначале без инструмента, а потом сесть к роялю и, пусть коряво, путано, узнать — что там, о чем?..

Так перед праздничным застольем хочется все попробовать, от всего отщипнуть — ну до чего лакомо, до чего вкусно! И можно не думать пока о предстоящей работе, о технических сложностях, какие придется преодолевать, — случайной аппликатурой выхватываешь то, что доступно, соблазнительное, напевное, тревожащее.

Эта дилетантская «объедаловка», впрочем, быстро кончалась и начинались обычные занятия: летом то же, что и зимой, и весной, и осенью — часов пять, шесть, восемь за инструментом.

Можно представить, как удручающе действовали на прохожих звуки рояля, с утра до вечера слышные за зеленым забором одной из дач, и каким сочувствием проникались они к несчастной затворнице, все долбившей и долбившей по клавишам.

А уж на юге, в близости моря, когда люди возвращались после купания с пляжа, — уж тут доносившиеся до них упражнения на расстроенном инструменте вызывали, верно, просто-таки тошноту. И понятно, надо все же знать меру!

Но у Маши была своя мера. По приезде в какой-нибудь санаторий или дома отдыха она первым делом узнавала имеется

ли там инструмент, и сколько клавиш в нем западает, и какое количество порванных струн, и где оно стоит, в биллиардной ли, в кинозале, столовой? И когда, в какие часы, и разрешат ли вообще ей там заниматься?

Однажды очень, можно считать, повезло: кино и танцы в том санатории устраивали под открытым небом, а роскошный, весь в дубовых панелях, и мраморе и в плюше кинозал оставался свободен: сколько хочешь, столько и сиди за новеньким тугим роялем фирмы «Эстония», никому не мешая.

Маша позволяла себе даже открывать у рояля крышку целиком, чтобы звучало по-настоящему.

Но вот как-то она пришла в свой зал (она считала его уже своим), поднялась на сцену, поставила ноты на пюпитр — и замерла: в артистической, что находилась слева от сцены, кто-то играл на баяне.

Смолкло. Маша начала скерцо Шопена, и вместе с ней вступил и баян. Она заиграла громче, и звуки баяна окрепли. Мужественный шопеновский аккорд не заглушил разудалой плясовой. Ну и ну! Маша все наращивала мощь, но и баянист не смирился.

Он что, нарочно? Благородное негодование шопеновского скерцо под напором «зажигательных» вскриков баяна вот-вот могло уже перейти в кухонный скандал.

Хватит! Маша отдернула от клавиатуры руки, и звуки баяна тоже смолкли.

Маша встала, двинулась к низенькой двери артистической, но не успела приблизиться, как дверь распахнулась: в обнимку со своим инструментом перед ней вырос баянист.

Маша узнала в нем местного культработника, довольно меланхолического вида коренастого мужчину, слоняющегося в тренировочных штанах и в сандалетах на босу ногу по санаторию и изредка прикнопливающего к доске объявлений призывы посетить некие достопамятные места, куда тогда-то и тогда-то будут организованы экскурсии.

Сейчас же обычная меланхолия с него слетела: он уставился на Машу, шумно дыша, верно подыскивая пристойные фразы для выражения своего гнева.

— Я… я, — наконец проговорил он, — всегда упражняюсь в эти часы.

— И я.

— Вы — отдыхающая. Когда захотите, тогда и придете, а у меня уговор с администрацией: мое время с двенадцати до двух.

— И мне так удобно — до обеда. Потом ведь не разрешают, мертвый час.

— Да не слышно же ничего — кому мешает?

— Так, знаете же, на ключ закрывают — не убедишь.

— Ну вечером приходите…

— Ну да! Уж и в кино, значит, не сходить?!

Он глухо повторил:

— С двенадцати до двух — мое время.

— А я уже тут неделю, и что-то не слышала вас.

— Так я в командировке был! За волейбольными мячами ездил…

— Вообще не разговор, — Маша скрестила руки. — У вас — баян, взяли под мышку — и играйте где вздумается. А мне рояль на себя не взвалить.

Он явно обиделся, крепче обхватил свой инструмент:

— У меня здесь специальное помещение, и с двенадцати до двух — мое время.

— И мое, — Маша шагнула к роялю.

Рояль зазвучал одновременно с баяном, и оба позанимались ровно два часа, точно по стартовому выстрелу, вышли, не глядя друг на друга, поклявшись про себя — не сдаваться.

Теперь Маша отправлялась на занятия со злорадно-мстительным чувством и играла только что-нибудь бравурное, что могло заглушить баяниста. Он тоже, в свою очередь, терзал свой инструмент, приближая его звучание к мощному реву бульдозера, и, пожалуй, ни тот, ни другой в себя уже не вслушивался, заботясь только об одном — как бы не просочилось в твои уши ненавистное чужое исполнение.

Так бились друг с другом, не думая о бесполезности подобных занятий, каждый себя подхлестывая для дальнейшей и совершенно бессмысленной схватки.

Но однажды…

Маша пришла, села к роялю. Сыграла несколько тактов. Прислушалась: тишина. Не веря, опасаясь верить, начала ноктюрн нежнейший, на пианиссимо — почтительная благородная тишина стояла вокруг. И вдруг ей сделалось грустно.

Она играла ноктюрны задумчиво, печально и наслаждаясь, как умела наслаждаться только играя для себя, чуть напевая, глуховато, сквозь стиснутые губы, что всегда как-то обостряло, усиливало в ней ощущение одиночества и той сладостной боли, от которой начинает теснить в груди.

Два часа промелькнули незаметно, она убрала ноты, закрыла крышку инструмента, но зачем-то осталась сидеть, облокотившись о черную гладь рояльной поверхности: так, не думая ни о чем, просто слушая тишину.

И тут в этой тишине, ни рядом, ни близко, пробиваясь

неведомо откуда, возникла мелодия, не спетая, не сыгранная, а как бы в вышептывании, тайном, почти невнятном, для одного себя. Так старухи поют, доставая из закоулков памяти то, что было их молодостью и что теперь возвращается со вздохом недоуменно-грустным. Такая вот была мелодия, заунывная и все же что-то еще обещающая, не новую жизнь, не новую молодость, но то, что, наверно, сознаешь только на закате дней.

Маша слушала и вдруг узнала баян. Дернулась было, но сама себя удержала. Собрала свои ноты и на цыпочках вышла, осторожно прикрыв за собой дверь.

11. Софочка

Самой высокой девочкой в классе была Софочка. Она носила форму с плиссированной юбкой, и, когда широко шагала на своих длиннющих ногах, юбка мелко-мелко вибрировала и напоминала дрожание веера. А личико у Софочки было маленькое, с мелкими чертами и профиль гончей.

Папа Софочки, в прошлом прославленный спортсмен, участник мировых первенств, являлся активнейшим членом родительского комитета — единственный мужчина среди женщин.

Поздний ребенок от третьего брака, Софочка стала для своего отца воплощением его честолюбивых чаяний. Папа Софочку обожал, но, будучи человеком порядка, фанатиком дисциплины, яростным педантом, воспитывал ее по лично изобретенной методе, которая, по его расчетам, должна была принести потрясающие результаты.

Великолепно поставленным командным баритоном Софочкин папа излагал свою доктрину многим мамам, но те, вслух восхищаясь, про себя тем не менее думали: нет, это не для меня. И воли бы не хватило, чтобы постоянно держать однажды избранную линию, да и душа сопротивлялась тому казарменному духу, который исходил от всех начинаний Софочкина папы, обожающего дочь.

Софочкин папа, казалось бы, человек очень реальный, практичный, на самом деле относился к типу одержимых фанатиков, изобретателей регретuum mobile: как некогда средневековые алхимики бились над секретом изготовления золота, так и он неутомимо искал для своей дочери формулу успеха.

У него был опыт спортивных побед, и он решил, что этот опыт вполне годится и для достижения вершин в области музыки, — решил, что будет лично тренировать свою дочь.

Когда Софочка поступила в ту школу, у нее была блистательная мелкая техника. Как бисер рассыпались нотки под тонкими Софочкиными пальчиками, а она сидела за роялем, точно проглотив аршин, с олимпийским спокойствием в лице, напоминающем профиль гончей.

Софочка была очень послушной девочкой, слова папы ею воспринимались как закон, но хотя она была его любимицей и все, что он делал, он делал ради нее, где-то, видно, папа пережал, и Софочка сломалась.

То есть она по-прежнему блистательно справлялась с

высшими техническими трудностями, но исполнение ее стало напоминать механическое звучание пианолы, точно ее заводили, и она воспроизводила заданное, но где в этот момент парила ее душа, куда обращался ум — загадка.

И прежде бледненькое личико Софочки обрело прозрачную голубизну, а лобик морщился в какой-то неразрешимой думе: вот-вот, казалось, должно было нечто забрезжить, но пробуксовывалось…

Это жалостное выражение личика Софочки поразительно не сочеталось с ее гренадерским ростом, длинню щими ногами, гордым разворотом плеч, — казалось, лицо у нее от одного человека, а туловище от другого.

Но и у Софочки имелись свои пристрастия. В отличие от многих «одаренных детей», она любила занятия по физкультуре. А как она играла в волейбол — вот где действительно была ее стихия!

Но как-то Софочка пришла на занятия пасмурная, сказала преподавательнице, что в волейбол играть не будет — папа не разрешил, она-де может повредить пальцы. И вид при этом у нее был такой несчастный, что преподавательница не стала настаивать: ну, сказала, тогда посиди.

Так она сидела на деревянной скамье в спортзале, сгорбившись, подобрав длиннющие ноги, в то время как другие играли в волейбол — играли плохо, а вот она бы сыграла!

…В той школе случалось нередко, что ученики, прежде державшие первенство, постепенно все дальше отступали в задние ряды, так и Софочка со своей безупречной техникой оказалась вначале в числе «середняков», а потом и вовсе посредственностей.

На нее перестали обращать внимание, тихая, неразговорчивая, она в классе стала совсем незаметной, тем более что и рост не так уж ее выделял — другие продолжали тянуться вверх, а она приостановилась.

Папа ее появлялся в школе все реже, а потом и вовсе исчез.

Но вот в десятом классе о Софочке снова заговорили, и не столько школьники, сколько их родители. Это случилось после летних каникул: Софочка появилась- и то была уже совсем не она.

То была длинноногая статная красотка с распущенными до плеч тяжелыми русыми волосами, с лукавой скромностью взглядывающая из-под темных ресниц и ничего вокруг не замечающая, глядящая в человеческие лица как в зеркало с ее собственным отражением.

Она собой упивалась. Бессмысленная и тем не менее прелестная улыбка порхала на ее нежных губах. Она была

воплощение женственности — той женственности, которую и глупость украшает.

Потом она первая среди одноклассниц вышла замуж, народила детей, и, по слухам, у нее все сложилось удачно, счастливо. Она нашла свою формулу успеха — совсем не ту, над которой бился ее папа.

12. Маришино пианино

Ежегодное обновление состава класса теми, кого принимали на место отчисленных, безусловно вносило дополнительное оживление в каждое первое сентября. Что говорить, интересно было, приветствуя своих, привычных, полюбопытствовать и на свеженького, кого на этот раз Бог послал.

На шестом году обучения «Бог послал» Маришу, и Маша невзлюбила ее с первого взгляда. Ей сразу не понравилась Маришина внешность, все эти бантики, кружавчики, рюшечки, чрезмерная аккуратность, крахмально-отглаженность, и весь набор девчачьих ужимок, от задавленного хихиканья до поджимания губ бантиком, от которого у Маши — брр! — прямо-таки начинался зуд.

В первый же день своего появления Мариша выложила на парту столько штучек, точно вышла торговать с лотком. Все тетрадки и учебники у нее были в пестрых обложках, и для каждого имелась своя закладочка: то ли она сама, то ли кто-то наловчился делать эти закладки из фотопленки, по краям сшитой яркой ниткой и проложенной изнутри какой-нибудь картиночкой, — Мариша была снабжена такими закладками во множестве.

Она сидела очень прямо, выложив свои тщательно отмытые пальчики на край парты, и преданно глядела в лицо учительнице. Казалось бы- и что? — стандартный тип отличницы, всего лишь. Но вот однажды математичка, не поддавшись на Маришины верноподданнические взгляды, вдруг прервала объяснение, отложила указку: «Марина, ты меня слушаешь?» — и по тому, как та вздрогнула, когда ее окликнули, и как заметался ее взгляд, стало ясно: ничего она не слышала и не слушала и была вообще неведомо где…

Потом это стало чуть ли не ритуальным: «Марина, ты меня слушаешь?» — и испуганное, растерянное, виноватое Маришино лицо: «Да-да, Анна Дмитриевна, да-да».

Убедившись, что Мариша не из «положительных», Маша, по идее, должна была милостивее отнестись к ней, но ее по-прежнему раздражало обилие рюшечек и бантиков, чересчур выпуклый Маришин лоб, ее раздвоенный на конце, как бы целлулоидный носик, ямка под нижней пухлой губой, небесно-голубые глаза, какие бывают, Маше казалось, только у глупых кукол.

«Мещанка», — так отозвалась двенадцатилетняя Маша о своей сверстнице, а поскольку в классе к ее мнению

прислушивались, то за Маришей эта характеристика утвердилось, подкрепляясь все новыми доказательствами ее недалекости, ограниченности, дурного вкуса.

И сколько же времени прошло, когда Маша уже сама услышала недоуменное: «Ну как ты можешь дружить с этой мещанкой?..» Да и что послужило их сближению, таких вроде бы разных и поначалу столь явно друг другу не симпатизирующих?

Когда, в какой момент Маша вдруг взглянула на Маришу другими глазами?

Быть может, толчком стало вот что…

Маша всегда считала, что в классе ее любят, ценят, так сказать, в ней оригинальность, — давно и добросовестно выполняла она в их коллективе роль «рыжего у ковра». В амплуа школьного «рыжего» входили иной раз и срывы уроков, и препирательства с педагогами, когда отчаянное шутовство вот-вот могло уже пе рейти в прямое и грубое неповиновение власти, но ведь такова была вековая традиция, шуты, в погоне за красным словцом, нередко рисковали головой. Маша действовала согласно этой традиции и не сомневалась, что ее ценят и любят.

Но вот однажды ей передали мнение девочки из параллельного класса, весьма авторитетной, которая-де выразилась так: «Ну Маша… Что с нее взять?

Экзальтированная дурочка».

Дурочка?! Она?! Авторитетное лицо из параллельного, по фамилии Дедушкина, так позволила о ней отозваться?! Маша представила кругленькое личико авторитетной Дедушкиной с носом пупочкой, ее бровки в форме запятых, — так, значит, она Машу презирала?..

Ну, Дедушкина, погоди! Маша затаилась. На переменках глядела на Дедушкину с ледяной пристальностью, про себя ужасаясь коварству, двойственности человеческой породы: эта Дедушкина с ней ворковала, в глаза-то льстила, а за спиной, оказывается, говорила вот что…

И тут, может, чтобы в себе утвердиться, а может, еще почему, ее и потянуло к недалекой мещаночке Марише: ну дура, а может… а вдруг…

Маша сделала первый, другим еще не заметный, не видный шажок, и, к ее удивлению, Мариша навстречу к ней прямо-таки рванулась. Наверно, истосковалась в одиночестве, измаялась от постоянных насмешек, тычков и надеялась в Маше найти защитницу.

Маша приняла ее под свое крыло. Приняла со всеми бантиками, рюшечками, закладочками, ужимками, сдавленным хихиканьем- со всем этим девчачьим сором, от которого Маша все

же была намерена свою приятельницу освободить.

И вот тогда последовала реакция: «Ну, как ты можешь дружить с этой мещанкой!»

Но Маша не стала никому ничего объяснять, просто где была она, там с нею вместе оказывалась и Мариша, но если при посторонних она к Маше жалась и не пыталась выйти из явно подчиненного положения, то когда они оставались наедине…

Наедине она просто ошарашивала Машу своей прямотой: все, что думала, то в лицо и выдавала, резко так, убежденно, ну прямо Рахметов какой-то.

Как это нередко случается. Маша и внешне стала уже иначе воспринимать свою подругу: небесно-голубые Маришины глаза больше не казались ей глупо-кукольными, а немножко даже и сумасшедшими, и ей даже боязно делалось, когда Мариша, бывало, входила в раж.

А в раж Мариша впадала, когда разговор у них заходил о музыке. «Ты знаешь, — она говорила, — это так подступает, подступает, и в висках начинает пульсировать, и зябко, но постепенно тепло разливается, и жутко так хорошо!»

Так, она уверяла, чувствует, когда играет Шопена. Маша слушала, и не дай Бог ей было выказать в этот момент насмешливое недоверие, Мариша тут же вскидывалась: «Ты… ты не можешь понять… как ты!» — «Скромнее, Мариша, скромнее», — улыбалась Маша. «Да я… я же только тебе, самое-самое, тайну…» И тут же бросалась к инструменту: «Послушай, послушай…» Маша, пряча усмешку, слушала, как, преисполненная великой гордыней, Мариша встряхивала своими пышными бантами, склоняясь над клавиатурой. А после, стыдливо опуская ресницы, выговаривала шепотом: «Я это в себе чувствую, да…»

Отношения их обрели натянутость, когда Маша узнала, что, ощущая это в себе, Мариша отказывает в этом ей, своей подруге, — ну, не совсем отказывает, но считает, что у нее самой ярче, глубже музыкальный дар. Мариша, со свойственной ей чрезмерной прямотой, так в глаза все Маше и выложила и тут же бросилась утешать: мол, у тебя меньше способностей, но все равно ты моя любимая подруга.

От полного разрыва Машу удержало только то, что все его так и ждали.

Поэтому она виду не подала, но к Марише охладела.

… Ну что это за школа, в самом деле, где даже самые близкие подруги не переставали оставаться соперницами и спорили до хрипоты, кто лучше играет и кто талантливей, кто станет лауреатом международных конкурсов, а кто не станет — кто, кто,

кто?!

В классе над Маришей продолжали посмеиваться, а Маша по инерции ее защищала. Но подруги уже реже уходили из школы вместе и реже говорили друг с другом по телефону — словом, все уже было совсем не так, как прежде.

И вот однажды…

Та школа находилась близко к консерватории, а если знать проходные дворы, то вовсе рядом, и как-то Марише и Маше, обеим, понадобилось забежать после уроков в консерваторские билетные кассы, обе спешили, выбрали самый короткий путь, но во дворике, позади овощного магазина, где стояли мусорные баки, Мариша вдруг тронула Машу за плечо: «Подожди, я хотела сказать…»

Они остановились…

Мариша еще не успела произнести ни слова, но Маша, точно они годы не виделись, вдруг заметила в своей подруге перемены, обнаружила Маришину худобу и тени под глазами, заострившийся нос, сухие, бледные, как у больной, губы.

Что случилось, что?

Мариша сглотнула, хотела улыбнуться, но не сумела, сдавила веки пальцами, и у нее вырвался тоненький горестный всхлип.

— Не могу я больше, — вздыхая с трудом от слез, она выговорила. — Я так устала… не могу.

Маша слушала потрясенная. Маришины родители, она узнала, собрались разводиться. Но комната у них одна, хоть и большая, — и как ее делить? И вот они каждый день это обсуждают, кричат друг на друга, и Мариша тоже кричит: «Перестаньте, перестаньте!»

— Не могу, — она повторила. — Не могу больше с ними. Ушла бы куда глаза глядят, но ведь там мое пианино…

Маша вспомнила: она бывала у Мариши дома, видела черное пианино «Беккер» с двумя медными подсвечниками по бокам, гипсовый Бетховен стоял наверху на крышке, и, когда Мариша играла, он глядел сверху очень внимательно.

Маришин папа, высокий, худой, с редкими волосами, зачесанными на пробор очень низко, почти у самого уха, все время шутил и сам своим шуткам смеялся, тогда как Маришина мама — Маша теперь это вспомнила — ни разу не улыбнулась, и выражение лица у нее все время сохранялось такое, точно ей было неловко за своего мужа, и пару раз она ему сказала: «Ну не мешай ты детям, не мешай!»

Теперь все это всплыло…

Девочек тогда напоили чаем, Маришин папа шутил, и мама Мариши поглядывала на него настороженно, сама же Мариша все

больше молчала, и Маша сейчас подумала, что в тот вечер все трое они с напряжением ждали, когда же наконец она уйдет.

Маришиного папу Маша запомнила прочно, но вот лицо ее мамы расплывалось, точно у нее и не было лица — что-то плоское, бесцветное, безгубое. Почти бесплотный облик измотанной, издерганной женщины, какие тысячами едут в вагонах метро и тащат на себе авоськи, сумки, глядя куда-то слепо вперед и давно-давно позабыв, что где-то существует счастье…

— Еще что скажу, — сказала Мариша хриплым шепотом, — он пьет! Он так ужасно напивается, кричит, скандалит, а я за пианино своим сижу и играю, играю! — И вдруг улыбнулась. — Но вот увидишь, я стану пианисткой, известной, прославленной, я буду так играть! — Стиснула пальцы. — Только надо немножко потерпеть. Я бы сейчас ушла, но ведь там мое пианино…

13. Капа Вихтяк

Капа Вихтяк приехала в Москву из Закарпатья и поселилась в школьном общежитии. Ее появлению предшествовали слухи почти легендарные: грядет новый Паганини.

Роста в Капе было, верно, чуть больше метра и примерно столько же в ширину. Физиономия абсолютно круглая с размятым коротким носом и строго-презрительно сжатым ртом. Волосы начинали расти у Капы от переносья, — неукротимой буйности шевелюра вздымалась над ее головой. Держалась же она важно, величественно, и всегда при ней была скрипка. Она умудрялась использовать для занятий даже переменки между уроками: бывало, из женского туалета неслись воинствующие звуки скрипки — это Капа готовилась к выступлению.

На сцену она выходила, как тяжелоатлет, и поднимала скрипку, точно штангу, впечатление такое усиливалось выражением ее лица, каменно-напряженным, полным зловещей решимости.

В классе Капа ни с кем не сближалась: ей было не до того. Взгляд ее цепких коричневых глаз был устремлен всегда прямо перед собой и всегда через головы окружающих. Кажется, она ничего не читала и даже не посещала концертов — вкалывала денно и нощно на своей скрипке, которая могла, пожалуй, от такой непосильной нагрузки расколоться. Но, наверно, если бы такое и произошло, Капа и глазом бы не моргнула — продолжала бы играть на том, что от бедной скрипки осталось, даже без единой струны, то есть перещеголяла бы легендарного Паганини!

И вот, казалось бы, такое адское трудолюбие должно было быть вознаграждено, но, увы, Капа даже в консерваторию не попала. И выпало ей на долю служить в плохоньком оркестре в группе вторых скрипок, занять там самый последний пульт. Вот как бывает…

14. Дмитрий и Нина

Когда с начала нового учебного года в классе появился Дмитрий Бобров, женская половина девятого «Б» дрогнула. Оказалось, что своим внешним обликом, манерой держаться и даже глуховатым тембром голоса он поразительно точно совпал с тем идеалом, который именно к этому моменту окончательно сформировался в девичьих сердцах. И даже имя его и фамилия звучали как-то особенно благородно.

Его встретили с трепетом.

А он, Дмитрий Бобров, казалось, ничего не замечал. Немножко сблизился с Рыженьким, но к остальным вроде бы не испытывал никакого интереса.

Он был высок, с лицом резко суженным к подбородку, а глаза цвета ртути, тяжелые, пристальные, в глубоких глазницах, и очень яркий, в темноватом пушке рот.

Движения у него были медлительные и вместе с тем как бы судорожные — это был очень гордый мальчик, и, как многие в той школе, он жаждал первенства. Но, если, скажем, сравнить его с Рыженьким, с которым он не случайно сошелся, то Рыженький был открыто тщеславен и натура у него была агрессивно-самоуверенная, а вот Дмитрий свое тщеславие скрывал и болезненно в себе сомневался, нередко сам над собой иронизировал, но другим никаких насмешек не прощал.

Он играл на виолончели, и к нему как-то очень шел этот инструмент с низким бархатным звучанием, вкрадчивыми и одновременно властными интонациями — инструмент вроде бы громоздкий и в то же время плавно-изящный в каждой своей линии.

Когда Дмитрий играл, характер его обнаруживался полностью. Однажды состоялся концерт, посвященный творчеству Шостаковича. Исполнялось четыре квартета. На сцену вышли: первая скрипка, вторая скрипка, альт и виолончель — Бобров Дмитрий. Он сел, поставил между ног инструмент, оглядел зал отрешенно-рассеянно. И вот началось. Он ухватил виолончель с яростью, терзая ее, наслаждаясь, властвуя. Из-под печально набрякших, покорно-опущенных век на мгновение прорезался взгляд — на первую скрипку, — полный предвкушения сладчайшей мести, ненависти, соперничества.

А первая скрипка, Славик Оршанский, признанный в школе виртуоз, казалось, забавлялся муками ревности подчиненной ему по квартетному закону виолончели. Его исполнение было обходительно- изящным, и в то же время не оставалось сомнений,

что это деспот, не терпящий ни слова наперекор. Эдакий просвещенный тиран. Виолончель гудела возмущенно, но не смела не повиноваться… Чудесное было исполнение, все четверо играли превосходно.

Дмитрий Бобров пручился в той школе год, так и не удосужившись стать героем чьего-либо романа.

Но вот в десятом классе он появился как-то рука об руку с Ниной.

Да-да, не с Наринэ, которая считалась первой претенденткой, а с Ниной, тихоней и молчуньей, у которой была такая странная походка, неслышная и вперевалочку, и пугливо-настороженный взгляд темных матовых глаз.

Дмитрий Бобров появился с ней рука об руку и сел рядом на задней парте у окна, а по окончании уроков они ушли вместе: в одной руке он нес свою виолончель, в другой Нинину скрипку.

Он что-то ей говорил, и Нина стыдливо опускала голову и съеживалась вся под наблюдающими взглядами, а Дмитрий, напротив, распрямлялся, точно готовился дать отпор, и выражение лица у него при этом было вызывающее.

За ними затаенно наблюдали.

Отношения этих двоих абсолютно не походили на те влюбленности, что случались иной раз между старшеклассниками. Во-первых, удивляло полное отсутствие игры — кокетства, подначек, преувеличенных ухаживаний и преувеличенных придирок, каковыми пользуются юные, дабы выказать свой интерес. Дмитрий и Нина вели же себя так, будто между ними уже нет никакой неясности, будто они все решили и, более того, готовы за свое решение бороться и предвидят, что дастся оно им не без труда. Выражение их лиц было трагически-серьезным, упрямым, пасмурным: они избрали одиночество, лишь бы быть вместе.

Они действительно оказались в изоляции. Их не то чтобы даже осуждали — над ними подсмеивались. Неготовые еще к серьезности чувств, школьники видели в такой серьезности лишь ограниченность, недалекость. Вот когда у Рыженького был с Наринэ роман, они не замыкались только на себе, но постоянно держали в поле зрения и публику: реакция общественности обоим вовсе не стала безразлична.

А эти… Их основная ошибка, пожалуй, состояла в том, что они не считались с мнением большинства, выказали к этому мнению полное пренебрежение — шли рука об руку, сжигая за собой мосты, а это не прощалось.

Даже учителя и те не удержались от иронических замечаний; очень живая, очень общительная учительница по химии

высказалась, не утерпев: «Этот выбор Дмитрия… не понимаю!»

Отчего-то все считали, что должны понимать. Впрочем, это часто бывает…

Так постепенно Нину и Дмитрия, вроде бы поглощенных только друг другом, все больше затягивала борьба. С кем? С чем?.. Никто вроде бы никаких препон им не ставил. И разве можно было возмущаться, что он несет не только свою виолончель, но и ее скрипку?

И тем не менее, спустя какое-то время, сражаясь с ветряными мельницами, Дмитрий и Нина обессилели. Сдались. А может, были еще причины? Но, словом, в один из дней Нина ушла по окончании уроков, самостоятельно неся свою скрипку, а Дмитрий, верно, нарочно задержался, и больше уже вместе их не видели.

«Ну конечно, это можно было предвидеть, — с облегчением констатировало большинство. — Ведь не пара они, ну совсем не пара!»

И все же, как ни странно, в лицах того же большинства почему-то не замечалось удовлетворения. Значит ли это, что люди, мешая серьезному чувству, все же втайне надеются, что оно победит?

15. Маша

Маше исполнилось пятнадцать. Она носила очки, постоянно сползавшие с ее короткого носа, и поправляла их растопыренной пятерней. Остриглась и волосы закладывала пряди за уши.

В старших классах учащиеся уже не надевали форменных платьев, и школьная администрация как бы не замечала этой вольности. Маша являлась на уроки в папином свитере и в серой, перешитой из маминой, юбке — к этим вещам она привыкла и чувствовала себя в них хорошо.

Вообще же она чувствовала себя плохо. Ей мешали собственные руки, ноги, и затекала спина, когда приходилось проходить под чьими-то взглядами: она опускала глаза, сутулилась, стараясь прошмыгнуть незаметно.

При этом самолюбие развилось в ней чрезвычайно. Она постоянно то вспыхивала, то бледнела, ощущая себя всегда во враждебной среде, готовая к любым подвохам, неприятностям, и выставляла колючки. Даже родители, казалось, ее опасались.

А ведь было время, когда она. Маша, считалась самой веселой, самой улыбчивой девочкой — сладкая физиономия, ямочки на щечках, и полное доверие, полная доброжелательность ко всему, ко всем.

А теперь она как бы разучилась улыбаться, но собственная мрачность ее не огорчала, а скорее доставляла своеобразное удовольствие — пожалуй, она даже упивалась своей воинствующей нелюдимостью, неприкаянностью, втайне любуясь собой.

Переходный возраст тягостен прежде всего потерей натуральности, непосредственности — главными приметами детства. И наверно, это самый эгоистичный период в человеческом развитии: ничто и никто не интересен, кроме самого себя.

Но увлечение самим собой проистекает одновременно с самоанализом: обнаруживаешь как достоинства, так и крупные свои недостатки. Познай самого себя — слова эти находят самый глубокий отклик в душе подростка.

Но подросток зловредное существо. Инстинктивно ощущая свою беспомощность, неопытность перед миром взрослых, он как бы постоянно ищет чем бы их компенсировать, ищет слабые струны, болевые точки в окружающих его людях и с поразительной меткостью — бьет.

Даже в том, как Маша одевалась, как причесывалась, подчеркивая свою нескладность, обнаруживалась некая

мстительность: да, мама, гляди, ты такая красивая, счастливая, а я буду несчастлива, одинока. И ты видишь, какой у меня мерзкий характер — меня никто не станет любить! Ага-ага!.. Но я посвящу себя музыке. Музыка — вот единственная моя радость, единственная цель…

Маша сидела за роялем сутками, но, как ни странно, чем больше она занималась, тем добивалась меньшего, точно конфликт ее со всем окружающим распространился и на музыку тоже.

Техника у нее никогда не была блестящей, но когда она играла, то испытывала трепетный восторг, пронзительное наслаждение, передававшееся и слушателям, и вот вдруг в ней это пропало. Исполнение стало бездумным, выхолощенным, хотя она горела внутри, но это перестало быть слышным.

Почему, отчего? Маша переживала кризис.

И появился безумный страх перед сценой. Дома еще что-то получалось, но в момент выступления в панике сминалось все, и она так себя тогда ненавидела, что готова была сквозь землю провалиться.

Неужели все так в человеческой природе связано, что и профессиональные навыки искажаются под воздействием душевного состояния, и мироощущение, отношение твое к людям пронизает буквально все?

Маша одного желала — успеха в своей работе. Но это, казалось бы, благородное стремление все больше ее ожесточало. Она точно билась о каменную стену и играла все хуже и хуже.

Преподавательница музыки, Вера Ильинична, у которой Маша занималась, наблюдала за своей ученицей в растерянности. Она ведь в Машу верила, гордилась ею, и вот такой неожиданный поворот.

Кроме того, прежде отношения у Веры Ильиничны с Машей были дружеские, Маша учительнице во всем доверяла, а тут будто ее подменили: что ей ни скажут, она упирается, глядит упрямо исподлобья, и нехорошая улыбочка таится в углах губ.

Да, это правда, Маша в учительнице своей ра-зо-ча-ро-ва-лась. Подростки ведь бескомпромиссны, либо видят полное совершенство, либо полное ничтожество.

Вера Ильинична концертирующей пианисткой никогда не была. И среди ее учеников никто в знаменитости не вышел. Но это был достойный, интеллигентный, порядочный человек: интриги, междоусобицы, борьба за власть — нет, это все было не для нее. Но Маша, заметив вдруг скромное положение своей учительницы, ее запрезирала. И стала совершенно неуправляемой.

И вот, после очередного зачета по специальности, произошел взрыв.

Маша подготовила новую программу, трансцендентные, то есть высшей трудности, этюды Листа, и потому особенно волновалась. И про себя надеялась — всех поразить.

Ведь в самом деле у нее получалось! Поздно ночью, не щадя ни родных, ни соседей, она разыгрывала эти сверхтрудные этюды как бы уже перед публикой, и, верно, так чувствуют себя спортсмены, когда берут новый мировой рекорд.

Хотя трудились только руки, Маша всю себя ощущала ловкой, гибкой, стройной — ей удавалось, какое счастье! Даже разбитый мизинец не болел, хотя оставлял на белых клавишах коричневые пятна. Маша оттирала с клавиатуры кровь, ложилась в постель: ныла спина — других ощущений, мыслей у нее не было.

И вот — день выступления, правда закрытого, перед комиссией. Вялое, заторможенное, противоестественно-бездеятельное состояние: все силы надо сберечь к вечеру. Тихо. Инструмент закрыт. Маша ходит вокруг неприкаянная. А чем ближе к назначенному часу, тем резче боли в животе, тошнота, головокружение.

Но после умывания холодной водой, после того как была надета белая крахмальная кофточка и новые лаковые туфли, шевельнулась в душе надежда, что-то радостное и вместе с тем робкое — а вдруг все будет хорошо?

Но, поднимаясь по лестнице к залу, слыша приглушенные звуки рояля, Маша уже мало что соображала: переступив три ступеньки, ведущие на сцену, она споткнулась, чуть не упала. Боком подошла к инструменту, поклонилась — в глазах мельканье, нестерпимый, слепящий свет — села.

Глубоко вздохнуть! Унять прыгающую дрожь в ноге. Досуха вытереть ладони, они отвратительно мокрые. Собраться — Боже мой, Боже мой…

Казалось, была в беспамятстве, но точно знала, что играет плохо, совсем не так, как надо бы и как могла. И чем очевидней становилось ее поражение, тем большее равнодушие она ощущала — ну и ладно, ну и пусть.

Доиграла. Но когда спускалась с эстрады — снова три ступени, — шла через весь зал мимо экзаменационной комиссии, вдруг подумала: а что, если они слышали совсем иначе, чем слышала себя я, что если им… понравилось? И не удержалась, взглянула на лица экзаменаторов искательно, и тут же отвела взгляд.

Ожидая результатов, слонялась по школьным коридорам и даже трепалась о чем-то, даже смеялась, а в голове пульсировало:

ну как там, как?..

И вот они стали выходить, члены комиссии, степенно, неторопливо, и снова Маша спохватилась, что смотрит заискивающе, просительно в эти безучастные лица, и все проходят мимо нее.

Но вот, цепляясь за лестничные перила, появилась Вера Ильинична.

Низенькая, тучная, в просторном платье, с бледным лицом, которое в молодости было, верно, прелестным, но прежде точеные черты потускнели, расплылись. Она издали увидела Машу и как-то так улыбнулась, что слабая, жалостливая эта улыбка привела Машу в ярость.

Они пошли друг к другу навстречу.

— Ну что? — теряя уже над собой контроль, с грубой требовательностью спросила Маша.

Поди сюда, — спокойно, терпеливо сказала Вера Ильинична, — поговорим.

В темноватом коридоре в углу стояли стулья: Вера Ильинична усадила Машу, а сама села так, точно желала загородить собой ученицу, заслонить ее, защитить.

— Маша… — начала она.

— А я знаю! — вдруг выкрикнула Маша. — Я все знаю, и не надо мне ничего говорить. И пустите меня, пустите!

… Это тоже останется навсегда в памяти — склоненное лицо учительницы, растерянная ее улыбка, ее серьезные, печальные глаза, большие руки в старческих пигментных пятнах, которыми она пыталась обнять, удержать Машу, а та вырывалась от нее, царапалась с отчаянной дикостью.

— Маша! — звала учительница.

А Маша уже неслась по коридору и по лестнице, не видя ступеней, вниз — куда-то, куда, сама не зная…

Тогда инцидент этот как бы вымылся из сознания — уже на следующий день Маша плохо что помнила, — но по прошествии времени снова возник во всех подробностях, свежо, ярко. Возник вместе с запоздалым раскаянием, с горьким чувством собственной неблагодарности.

Но это пришло позднее, а тогда Вера Ильинична посоветовала Машиной маме перевести дочь к другому педагогу, объяснив, что сама она мало что может теперь своей ученице дать.

16. Татьяна Львовна

В той школе не было редкостью, когда кого-либо из учащихся принимал в свой класс педагог консерватории. Это считалось почетным и давало ощущение, что ты как бы приблизился к своей мечте — да, еще школьник, но уже вхож вместе со студентами в желтоватое здание на улице Герцена, перед которым сидит бронзовый Петр Ильич Чайковский.

И вот с осени нового учебного года Маша поступила в класс доцента консерватории Татьяны Львовны.

Это было счастье. Ни до, ни после не приходилось Маше испытывать того благоговения, какое возникало в ней, когда она, потянув на себя тяжелую, с бронзовой ручкой дверь, входила в учебный консерваторский корпус, поднималась к раздевалке с низким потолком и, мимо столика вахтера, шла по долгому коридору, минуя лифт, которым пользовались в основном преподаватели, а студенты взбегали на нужный этаж по широким ступеням лестницы, опережая неспешный ход старого лифта.

Здание гудело от смешанного звучания рояля, скрипки, виолончели, в паузы которого вклинивались фиоритуры вокалистов, и этот гул казался Маше праздничным, воодушевляющим, с невольной улыбкой она шла по коридору к белым двустворчатым двойным дверям класса, где занималась со своими учениками доцент Татьяна Львовна.

Татьяна Львовна была одной из самых молодых в преподавательском составе консерватории, но выделялась не только молодостью, но и подчеркнутым интересом к собственной внешности, не желала приносить свою женственность в жертву бытующим представлениям об обязательно строгом, скромном облике педагога. Нет, она позволяла себе надевать очень короткие, по тогдашней моде, юбки, поскольку обладала стройными ногами, и подолгу стояла в раздевалке у зеркала, не обращая внимания ни на чьи взгляды. В этом тоже сказывалась ее независимость, хотя прежде всего независима она была в деле, и ее мнение, ее оценки пользовались уважением среди коллег: несмотря на молодость, она считалась авторитетом.

Она принадлежала к той породе женщин, которых одни находят дурнушками, а другие, напротив, прелестными. Фигура у нее была бесспорно хорошей, но длинный и к концу расширяющийся нос, нижняя губа заметно оттопыривалась, посредине зубов расщелина, в припухших веках медвежьи глазки.

Подобное описание может показаться нелестным, но думается, что сама Татьяна Львовна в отношении себя была более

чем трезва.

Однажды, придя на урок сердитая, она вдруг обернулась к сидящей за роялем ученице. «Ну ты представляешь, — сказала, — челка им моя не нравится!

Говорят, вид не солидный. А вот, гляди, — резким движением она отбросила волосы со лба, сжала голову обеими руками, — без челки я какова? Ну ведь жуткая уродина!» — и засмеялась.

Что касается Маши, то она находила Татьяну Львовну обворожительной. Для нее, нескладного подростка, казалось непостижимой та свобода, с которой Татьяна Львовна держалась, и очаровательным слышался смех, и кокетство воспринималось без тени вульгарности.

Иными словами, Маша Татьяну Львовну боготворила. Для нее это стало нерасторжимым- Татьяна Львовна, и консерватория, и музыка. Она входила в просторный, с двумя роялями класс, слышала запах духов Татьяны Львовны и вся размякала от взгляда учительницы, брошенного хотя и вскользь, но доброжелательно, с умной, нисколько не обидной насмешкой.

— А вот и дети пришли! — говорила Татьяна Львовна, сидя у рояля чуть боком и заложив ногу на ногу — длинную стройную ногу в прозрачном чулке.

Это приветствие — «Вот и дети пришли!» — вошло в привычку.

Действительно, все в классе были взрослыми, студентами, и только Маша — школьница, малявка. Но Маше нравилось такое обращение, нравилось, что она — «дети», что Татьяна Львовна выделяет ее среди прочих, даже балует, ну как самую младшую.

А вообще-то Татьяна Львовна была строга-а! Итак порой зло насмешничала, что у взрослых парней чуть ли не слезы на глаза навертывались, — это случалось, когда кто-то из них обнаруживал свое невежество, и даже не в области музыки, а, скажем, в живописи, в литературе.

Татьяна Львовна возмущалась, как правило, не случайным незнанием, вполне, конечно, простительным, а самой позицией: мол, общая эрудиция способностей не прибавляет, и вообще талант отнюдь не одно и то же, что ум, и, безусловно, ума как такового и выше, и ценнее. И приводились примеры: такой-то — дурак дураком, а как играет!.. Подобные разговоры приводили Татьяну Львовну в бешенство, и она клеймила невежд, их ограниченность, и тоже приводила свои примеры, и, безусловно, была права, но только в ее энергичном отстаивании бесспорного проявлялась и некая личная ее ущемленность: она сама была больше умна, чем талантлива, а догадка такая человека искусства задевает.

Для Маши это открылось позднее, а тогда она была целиком на стороне Татьяны Львовны, тем более что в процессе занятий они с учительницей нередко говорили о поэзии, о картинах, музеях, и Маша была очень в такие моменты горда: ей казалось, что Татьяна Львовна отводит с ней душу.

На этой основе, литературной и вообще, так сказать, культурной, и началось у Маши с Татьяной Львовной сближение, уже вне консерваторских стен, с провожаниями, с допущениями в дом, что порождало в Маше неизъяснимое блаженство.

Она опьянялась общением с Татьяной Львовной, как опьяняются только влюбленные, когда часы кажутся минутами, и ожидание вовсе не скучно, потому как заполнено предвкушением встречи, и каждая интонация, каждый жест объекта твоего преклонения наполняется особым смыслом, грацией, и наблюдать за ним даже просто со стороны представляется невероятно увлекательным.

Татьяна Львовна надевала в раздевалке свое пальто с капюшоном, с этим пальто обычное чутье ей изменило, лицо, в обрамлении капюшона казалось не просто носатым, а как бы шаржированным, но это мелочи, Маша отмахивалась от них, глядя, как Татьяна Львовна взбивает у зеркала челку, как надевает перчатки, кивает покровительственно ожидающей ее Маше — мол, пошли.

Однажды, идя по улице Герцена рядом с Татьяной Львовной, Маша встретила прежнюю свою учительницу, Веру Ильиничну, и снисходительно-небрежно с ней поздоровалась. На мгновение ей сделалось неловко, но влюбленные всегда целиком устремлены в будущее, и тени прошлого их не занимают.

17. Приближение

Неоднократные провожания Татьяны Львовны до дома, где она жила, привели к тому, что однажды Маша таки порог этого дома переступила — оказалась допущенной в святая святых, такое у нее было ощущение.

«Святая святых» оказалась квартирой на шестом этаже серого многоподъездного дома, прорезанного арками и с большим мрачным проходным двором, — квартирой, где в тесной передней лежали сбившиеся половики и груда разношенных тапочек, в которые Татьяна Львовна, сняв свои высокие каблуки, тут же сунула ноги.

Прозаически пахло щами. Из кухни вышла женщина, как выяснилось, тетя Татьяны Львовны, сказала: «Садитесь скорее обедать, а то некому будет разогревать».

При всей своей субтильности, Татьяна Львовна оказалась в состоянии съесть много и с большим аппетитом, — впрочем, из-за спешки ела она толком один раз в день.

В комнате, где она жила, стоял старенький рояль фирмы «Ратке», диван, застеленный выцветшим пледом, а на стенах висели в рамочках вышивки с надписями готическим шрифтом. На абажуре в торшере прожженное пятно, он стоял у изголовья постели. Такая обстановка никоим образом не соответствовала ни характеру, ни облику Татьяны Львовны: насколько она тщательно ухаживала за собой, настолько же была, очевидно, безразлична к быту. И безразличие это имело обоснование, в чем Маша не сразу разобралась.

В квартире на шестом этаже многоподъездного дома, помимо Татьяны Львовны, жила ее мать, долгие годы прикованная к постели, сестра матери, на которой держалось хозяйство и которая ухаживала за больной, сынишка Татьяны Львовны и ее муж Игорь Павлович.

Игорь Павлович поначалу понравился Маше своей доброжелательностью и простотой, которая говорила о хорошем воспитании. В обращении же его к жене прорывалась нежность, не истребленная годами брака, но которую он почему-то пытался скрыть. Он говорил: «Танюша…»- и тут же точно сам себя одергивал, придавал лицу ироническое выражение, но оно не могло проникнуть в глубь его глаз, остающихся нежными и грустными. А вот Татьяна Львовна от каждого такого «Танюша» напрягалась, спрашивала с холодным нетерпением: «Нда, слушаю!..» Но тут же, точно чего-то застыдившись, продолжала с притворной ласковостью: «Слушаю тебя, Игорек…»

Такое нарочитое соблюдение приличий вместе с очевидным неравновесием в отношениях между супругами настораживало: как Татьяна Львовна ни сдерживалась, она постоянно унижала мужа, а он почему-то терпел- почему?

Маше трудно было пока разобраться в беде Татьяны Львовны, чья властность, честолюбивая требовательность в личной жизни обретала разрушительную силу: при всем своем уме она, видимо, не в состоянии оказывалась понять, что менторский ее тон с близкими людьми бестактен, и в жалком положении своего мужа прежде всего виновата она сама.

Но никакие семейные неурядицы не могли еще в тот момент дать Маше усомниться в своем кумире: не вникая в суть дела, она прониклась пренебрежением к Игорю Павловичу, мужу Татьяны Львовны, — чего он еще достоин, если позволяет безнаказанно себя унижать?

И сделала вывод: есть женщины, которым просто противопоказана семейная обстановка, на ее фоне они как бы линяют, жухнут, а, напротив, официально-академический и, может даже, слегка казенный фон, дух выигрышно их оттеняют, там они обольстительно хороши, и вот Татьяна Львовна именно из такой породы.

18. Отступление в будущее

Первое чувство… Некоторые довольно быстро его изживают, а иные проносят через всю жизнь. Но, думается, так или иначе, образ того (или той), кто впервые вызвал чувство влюбленности, хранится в памяти и в какой-то степени влияет и на последующие встречи.

Обстоятельства сложились так, что для Маши излюбленным типом стали светловолосые мужчины с несколько неправильными чертами лица, скорее длинноносые, желательно с ямочкой на подбородке, улыбающиеся с эдакой небрежной снисходительностью.

Иной раз сходство, которое Маша вдруг ощущала, оказывалось весьма притянутым, но она удерживала себя от разочарования, уверяя: ведь похож, похож… Как сказал поэт:

Ошибается ль еще тоска?
Шепчет ли потом: «Казалось- вылитая».
Приготовясь с футов с сорока
Разлететься восклицаньем: «Вы ли это?»

Пощадят ли площади меня?
Ах, когда б вы знали, как тоскуется,
Когда вас раз сто в теченье дня
На ходу на сходствах ловит улица.

Подобная ловля сходства долго не изживалась. Однажды Маша обнаружила черты его в одном из пациентов больницы, где лежала с осложнением после гриппа: парень тот на нее никакого внимания не обращал, с утра до вечера, несмотря на протесты медицинского персонала, резался в карты и вообще был довольно груб и нагл, и все же…

В другой раз она обедала с мужем в ресторане, и обслуживающий их официант — да-да, уж был точно ну вылитый…

А как-то двойником оказался известный киноартист, оскорбившийся, когда узнал, что интерес к нему у Маши был вызван только тем, что он показался похожим…

Словом, тот образ не желал покидать ее сознания, хотя она уже отдавала себе отчет, что подобные образчики не говорили о ее хорошем вкусе. Да, она соглашалась, некоторая женственность и даже пошловатость, сусальная картиночность как раз являлись

приметами и того, и всех ему подобных. Но, она вздыхала, что делать, тут она не властна, так уж сложились обстоятельства.

А сложились они вот как…

19. Адик

Начиная с того момента, как Маша поступила в класс Татьяны Львовны, для нее существенным сделалось только то, что имело отношение к консерватории.

Два раза в неделю она приходила в учебный консерваторский корпус и все остальное время готовилась к этим дням.

Она не изменила своим привычкам: по-прежнему носила папин свитер и серую, перешитую из маминой, юбку, волосы заправляла за уши, очки все так же сваливались с ее короткого носа, и она поправляла их растопыренной пятерней.

Входила в консерваторский класс, Татьяна Львовна мельком ее оглядывала, произносила: «А, дети пришли», — и Маша таяла.

Ждала, сидя на длинном диване, обитом искусственной и кое-где лопнувшей кожей, пока Татьяна Львовна занималась со студентами, восхищалась ее эрудицией, музыкальным ее чутьем, требовательностью и властностью ее характера, тем, что все ученики перед ней трепещут.

Не трепетал только один — аспирант по имени Адик.

Он заглядывал в класс всегда как бы невзначай, точно вот оказался поблизости и подумал: не зайти ли?.. Точно у него не было ни перед кем никаких обязательств, и существующие правила, дисциплина его лично не касались, — говорили, что он позволял так себя вести и будучи студентом, за что не раз навлекал на себя гнев ректората.

И, тем не менее, ему все сходило: в консерватории, как и в той школе, к талантам было особое отношение, но Адик уж очень этим злоупотреблял — и проносило!

Когда он появлялся, в классе возникало оживление и некая настороженность, как случается в присутствии личности известной и часто обсуждаемой, а сам он, что тоже, думается, положено известному лицу, точно не замечал удвоенного к себе внимания, рассеянно улыбался, с ленцой подходил к дивану и небрежно разваливался, далеко выставив ноги.

Движениям его была свойственна как бы развинченность и вместе с тем изящество, легкость. Дикция у него почти отсутствовала, и трудно оказывалось понять, что он говорит, но почему-то это не раздражало, а, наоборот, усиливало внимание к каждому его слову. Вообще все в нем рождало двойственное отношение, включая внешность: лицо, казавшееся безупречно прекрасным, на самом деле не имело ни одной правильной черты.

Больше того, лицо было асимметричным — что называется,

нос на сторону, — отчего разными получались профили. Верхняя губа неровная, и улыбался он криво. Глаза небольшие, серо-зеленые и всегда как бы затуманенные, сонливые, а брови светлые и, как бывает у блондинов, негустые и незаметные.

И, несмотря на все это, он казался неприлично красив. Такая внешность почему-то раздражающе действует на мужчин, хотя, быть может, именно потому, что так нравится женщинам. Мужчины же находят в подобных лицах нечто унижающее их мужскую породу, расслабленно-разнеженное и потому несовместимое, им, верно, кажется, с мужским достоинством, и, безусловно, опасно обольстительное, хотя в этом они уже не признаются.

Таков был Адик, золотоволосый Дориан Грей, с кошачьи-вкрадчивыми движениями, с разными профилями и кривой улыбкой, с богом данным музыкальным даром, отчего ему многое прощалось, и он нередко этим злоупотреблял.

Когда он появлялся. Маша поправляла растопыренной пятерней очки и забивалась в самый угол дивана, чтобы, сев, он не оказался слишком близко к ней.

Она глядела на него, как глядят из последних рядов на экранного героя: восхищалась, но душа ее была холодна. Единственное, ей бы очень не хотелось играть в его присутствии. Однажды она даже взбунтовалась. Подошла ее очередь сесть к инструменту, а Адик все еще оставался в классе. Маша встала, поставила на пюпитр перед учительницей ноты, но за рояль не села. Татьяна Львовна выжидательно на нее взглянула, и тогда Маша пробурчала: «При нем — не буду играть».

Татьяна Львовна рассмеялась и попросила Адика выйти, и только тогда Маша с ошпаренным лицом подошла к инструменту.

Она очень его уважала, этого уже известного, концертирующего пианиста, и не хотела плохо выглядеть в его глазах — ведь она принесла на урок совсем сырую вещь!

Помимо профессионального пиетета, ничего у нее к нему не было, ну абсолютно. Ей и в голову не приходило, ведь она была школьница, девчонка, а он большой.

Ей исполнилось семнадцать лет, а ему двадцать четыре года — разница, ей казалось, колоссальная! Ну и стоит заметить, что Татьяне Львовне в то время было чуть больше тридцати…

20. Соната старого аббата

Маша не могла видеть выражения лица Адика в тот день, когда она отказалась играть в его присутствии — она стояла к нему спиной, — не видела и улыбок, которыми он обменялся с Татьяной Львовной. Впрочем, такие частности ее не интересовали: она хотела, чтобы урок прошел нормально, с пользой, и своего добилась.

В тот период она, как никогда, ощущала себя в «полном порядке», и потому ее не задела фраза, сказанная как-то маминой приятельницей: мол, девочка для своих лет несколько э… ребячлива…

Ребячлива? Вот чепуха! Как раз сейчас она начала делать явные успехи, перестала бессмысленно долдонить по клавишам, обнаружила способность мыслить, обдумывать общую концепцию произведения, то есть узнала, что существует не только работа за инструментом, не только «получается — не получается», но и внутренний процесс поиска, который только и делает исполнителя творцом.

Конечно, до творца ей было куда как далеко! Но она уже поняла, где и почему оказалась припертой к стенке, и надеялась, что поняла не поздно.

Помимо природной музыкальности и инстинктивного артистизма, исполнителю еще необходим артистизм сознательный, строго вымеренный и четко вычисленный, повинующийся определенному плану, — вот тогда, пожалуйста, моли о вдохновении, о божественном огне — тогда, когда уже все сделано.

Такое понимание уже был рывок, и Маша оказалась в состоянии его сделать только благодаря Татьяне Львовне.

И та же Татьяна Львовна помогла ей в какой-то мере освободиться от панического, парализующего ужаса перед сценой. Оказалось, что когда произведение до последней ноты осмыслено, когда идея автора настолько в тебя вошла, что стала уже как бы твой собственной идеей, откуда-то и силы и храбрость берутся отстаивать ее перед слушателями, перед залом — и побеждать. В этом случае неприязнь к ним, уютно устроившимся в креслах, в то время как ты в беспощадном свете юпитеров корчишься в одиночестве на сцене — и все же они (ты это ощущаешь безошибочно) пошли за тобой, тебе удалось их увлечь, заставить слушать, — в этом случае неприязнь сменяется благодарностью — и победа! победа!

В предстоящем в Малом зале консерватории концерте

учащихся класса доцента Татьяны Львовны Маша должна была исполнить сонату Гайдна, и она радостно ждала этого дня.

Малый зал — какая там прекрасная акустика! Если ты слушатель и сидишь в амфитеатре, зал кажется действительно малым и очень уютным, и сцена от тебя вроде бы близко, золотисто сияет паркетом, и деревянное обрамление органа того же солнечного тона, с которым контрастирует матовое серебро его труб.

Но если ты исполнитель, то зал тебе кажется необъятным, величественным и, точно бездна, притягивает, когда подходишь кланяться к кромке сцены.

Маша Гайдном открывала концерт, заканчивал же его Адик сонатой Листа.

Отыграв, и успешно, она из артистической поднялась по лестнице в амфитеатр и превратилась уже в слушателя.

Черным пятном по золотому паркету сцены распластался рояль- неужели совсем недавно она за ним сидела? Приятное чувство облегчения, но в кончиках пальцев все еще не проходила дрожь: она сжала пальцы в кулак, и он тут же разжался — уже ни на какое усилие не осталось сил. Подумать, все, значит, забрала, казалось бы, не осо бенно сложная, игриво-кокетливая и на забаву-то сочиненная соната Гайдна!

Из артистической, пересекая сцену, к роялю шел Адик. Так сильно откинул свою золотистую гриву, что, казалось, вот-вот мог упасть навзничь. Сел.

Склонился к нижнему басовому регистру — и вот оно, всегда неожиданное, зловещее нашептывание сатанинского начала си-минорной листовской сонаты.

Так и видится: старец Лист в коричневой сутане аббата, подпоясанный простой веревкой, седые волосы откинуты со лба, царственный профиль, в лице смирение- и неясная улыбка бледного узкого рта.

Силы небесные — сгинь, сатана! Но все же, может, послушать напоследок, что ты, сатана, скажешь? Очень, очень интересно — ну говори! Говори…

Вот какая она, эта соната h-moll Ференца Листа, принявшего-таки сан аббата: сатанинские нашептывания и взрывы негодования, небесные сферы, открывшиеся заблудшей душе, рвущейся ввысь и вместе с тем с сожалением расстающейся со всем земным, грешным.

(Жаль, что в текст для иллюстрации нельзя вписать эти нотки — нашептывания дьявола, от которых спина холодеет и ощущаешь то самое шевеление волос на голове…)

Это ли играл Адик? Вроде бы да — зал, по крайней мере,

взорвался аплодисментами. Но когда Маша снова спустилась в артистическую, все участники концерта наличествовали, а Адик исчез. Сгинул и ни с кем не попрощался. «Он собой недоволен, — шепнула Маше студентка третьего курса по имени Лена, — и потому все, верно, отменяется. К и на не будет», — и она усмехнулась.

Действительно, все были явно смущены, а Татьяна Львовна не скрывала своей тревоги. «Куда он пошел? — говорила как бы про себя. — Сумасшедший, ну сумасшедший».

И тут даже природа заволновалась, хлынул ливень, и тоже какой-то прямо дьявольский, с завываниями ветра, жутко напористый — стена воды! За этой стеной исчез Адик. Маше представилось, как он мчится куда-то, во мраке ночи, исхлестанный ливнем, непонятый, несчастный, — вот что наделал этот коварный Лист, принявший сан аббата!

21. Гриша

И все же было обидно, что из-за Адика радость омрачилась. Ведь это несправедливо — почему из-за одного должны страдать все? Да, они пошли, как было запланировано, к Лене, где их ждал торт, вино, бутерброды, но веселья не получилось: Татьяна Львовна сидела мрачная и часто выходила в другую комнату кому-то звонить.

Для Маши же полное равнодушие учительницы к ее удаче- ведь она-то сыграла Гайдна хорошо! — показалось и странным, и уязвляющим. Впервые Маша Татьяну Львовну осудила и нашла себе единомышленника в лице студента второго курса Гриши Горского.

Гриша сидел в кресле рядом и, наклонившись к Машиному уху, недовольно бубнил. Да, он тоже преисполнился негодования, что было поразительным при его сдержанности и преданнейшем поклонении своему педагогу. Но потому Маша и выбрала его в наперсники, что знала — одно у них с Гришей божество. С другими, скептиками, она бы обсуждать поведение Татьяны Львовны не стала.

А Гриша, как и она, относился к своей учительнице с безграничной благодарностью: Татьяна Львовна действительно очень ему помогла. До поступления в Московскую консерваторию Гриша жил в Харькове, занимался у местной знаменитости и до семнадцати лет, то есть вплоть до приезда в Москву, не сомневался, что будущее его прекрасно. Но, оказавшись в консерватории, как-то сразу сник: выяснилось, что в музыкальном его воспитании было много погрешностей, что он того не умеет и это не знает, тут зияет дыра и здесь провал, а вкус ну просто чудовищный — полное отсутствие вкуса!

Его исполнительская манера в тот период была какой-то папуасской: чем громче, тем лучше, и без всякого смысла наращивался бешеный темп, и пыхтел, и урчал он за инструментом — словом, что-то невообразимое.

И внешне производил диковатое впечатление: отрастил чуть ли не до плеч шевелюру пышнейших смоляных волос, что при небольшом росте, щуплости приводило к явной несоразмерности.

Татьяна Львовна взялась его «цивилизовать». И первый ее приказ был — остричься. Выполнять последующие требования пришлось уже с большими усилиями, большим трудом, но Гриша в умелых руках оказался благодатнейшим материалом.

За короткое время он сделал огромные успехи — это была очень восприимчивая, одаренная натура. Только вот с темпами

его продолжало заносить: захватывала скорость, как гонщика, и он не в состоянии был противостоять тому наслаждению, которое доставляла ему собственная виртуозность.

И еще: как исполнитель Гриша обладал необузданным темпераментом и предпочитал тех композиторов, которые предоставляли ему возможность, что называется, раздаться вширь. А когда он не играл, лицо его принимало нежно-мечтательное выражение и держался он робко.

Одевался в какие-то куцые пиджачки и светлые коротковатые брючки, из-под которых торчали его неуклюжие детские, по щиколотку зашнурованные башмаки. Такая экипировка в сочетании с провинциальной скованностью оставляла впечатление довольно жалкое, но при этом, если вглядеться, вдруг обнаруживалось, что Гриша замечательно красив.

Это было одно из тех лиц, от которых глаза современных людей как бы уже отвыкли, разучились понимать, ценить подобную безупречность черт, тонкость рисунка и первозданную яркость красок, как на иконах, — такие лица кажутся выплывшими из древности, из тьмы веков, и скорее воспринимаются как музейное чудо.

Парадокс: Адик, чье лицо не имело ни одной правильной черты, считался в консерватории признанным красавцем, а на Гришу с его безупречной внешностью никто и внимания не обращал: ну, считали, славный парень…

И Маша была того же мнения. Присутствуя на занятиях Гриши с Татьяной Львовной, она сделала вывод: как исполнители она и Гриша стоят на противоположных полюсах, и одного учительница старается приблизить к «северу», а другую — к «югу». Если бы можно было их обоих смешать, получилось бы то, что надо! Гришины технические возможности плюс Машин «культурный слой» — вот был бы пианист! Но, увы, каждый из них со своими проблемами маялся, и каждый недоумевал про себя: ну как он это не может понять?! Ну неужели она не в состоянии это сделать?!

Но, возможно, именно контрастность, музыкантская и человеческая, Машу с Гришей и сблизила. А Татьяна Львовна, со своей стороны, всячески эту дружбу поощряла. Говорила даже с излишней прямотой: «Пойди, Гриша, проводи Машу, тебе полезно с ней пообщаться».

«Полезно?» Ничего себе выраженьице! Точно она, Татьяна Львовна, была садовник и рассчитывала, скрестив яблоню с березой, получить ананас.

Маша подумала про ананасы, когда Татьяна Львовна, вернувшись из другой комнаты после телефонного разговора,

милостиво их оглядела, и Маша сразу же от Гриши отодвинулась. То, что она в тот момент к своей учительнице испытывала, было не чем иным, как ревностью: да, она ревновала Татьяну Львовну к Адику — что же он для нее, дороже всех?

И тут Татьяна Львовна состояние ее обострила, произнеся облегченно: «Ну, слава богу, он дома, — и, вздохнув- дурачок!»

«Это она — об Адике?» — шепнула Маша в ухо Грише. «А то о ком же!» — с той же, что и у нее, ревнивой интонацией отозвался он.

22. Самый длинный автомобиль

Среди студентов консерватории существовала своя иерархия: на самой низкой ступени стояли те, кто мог рассчитывать только на диплом об окончании высшего учебного заведения, — и все, и дальше карабкайтесь как сумеете. Чуть выше располагались претенденты на участие в международных конкурсах. Еще выше — те, кто в конкурсах уже участвовал, но не занял первые места. И, наконец, шла когорта победителей — обладателей первых премий, золотых медалей — у этих с будущим все уже было ясно, они и залы концертные получат, и гастроли им обеспечат, все у них будет, все.

Дорога к Олимпу велась только через конкурсные сражения. Да, говорили, что это неправильно, что многие очень одаренные музыканты не выдерживают самой атмосферы конкурса, где все подсчитывается на очки, на баллы, и потому впереди нередко оказывается тот, у кого просто нервы крепче, — неправильно, мол, не всегда справедливо, но иного способа отбора, помимо конкурсов, так и не могли найти.

Итак, оставался один путь: подготовиться к конкурсу и победить. По тому же принципу, что и на спортивных состязаниях- раньше всех коснуться финишной ленточки, выше всех прыгнуть, и чтобы без сбоя, без единой промашки, чтобы судьи твою победу могли доказать как дважды два. И при всем при том еще малость: чтобы твое исполнение было не только безупречным, но и чарующим, ошарашивающим, чтобы ахнули слушатели — вот это да-а!..

Вот такова была конкурсная процедура. После внутриконсерваторского прослушивания отбирались те, кто должен был ехать на конкурс в какую-нибудь заморскую страну, где о советской исполнительской школе были наслышаны, — и не подкачай, парень!

Студент, живший, скажем, в консерваторском общежитии, в комнате, где еле умещались кровати, в путь собирался быстро, потому как личным имуществом отнюдь не был обременен — имущество как таковое у студента, будущего конкурсанта, вообще, можно сказать, отсутствовало. Ну имелся костюм, годный для выхода на сцену. Впрочем, костюм можно было одолжить, по первому разу…

И вот получал студент авиабилет, садился в серебристый лайнер и отправлялся, ну скажем, в Париж.

В Париж так в Париж — какая разница! Будь то хоть Рим, хоть Лондон — конкурсанту не до их красот. Не за тем он ехал —

а за Премией. Между турами ему заниматься надо было, к новым штурмам готовиться, а Париж — куда он денется? — не убежит.

Ослепленный своими тревогами, конкурсант ничего не видел и ничего не желал, кроме Первой премии. А что она ему эта самая Первая премия даст, тоже из суеверия думать опасался — просто желал ее, и все.

И до последнего мгновения не знал, не верил, пока в самом деле — гляди-ка, ба-бах! — вот она. Первая премия! Ему! Прямо в руки. А он все еще не верит, а его уже поздравляют, обнимают, магний вспыхивает, трещат кинокамеры — и лицо его на завтрашних газетных снимках будет обалделое и точно спросонья: а правда, а не снится ли это все?..

Черт возьми, листочек с золотым ободком, документ, удостоверяющий… В плоской коробочке на красном муаре золотая медаль с чьим-то профилем. Чей это, в самом деле, профиль — конкурс-то был имени кого?..

И деньги. И еще деньги за выступление в таком-то зале и на телевидении.

И еще предлагают контракт — приезжайте, мол, приезжайте.

А ведь домой пора. И времени в обрез. Зато есть деньги. Что бы такое купить повесомее, а?..

А ведь это действительно не шуточка — «и проснуться знаменитым», устал, ох устал…

И вот наш студент-лауреат самой Первой премии уже дома. Сидит в автомобиле цвета канарейки, в котором в узкий переулок так просто не въедешь, потому как нужен простор. Потому как что в длину, что в ширину этот автомобиль, цвета канарейки, точно два составленных вместе «КамАЗа». Самый длинный автомобиль — только победители на таких ездят. На самых-самых что ни на есть желтых. Или на самых-самых красных. Или еще какого-нибудь «самого-самого» цвета, от которого искры в глазах.

И можно, конечно, позубоскалить по поводу этого «самого-самого» автомобиля, но ведь если парень действительно играет здорово, так пусть, а?..

… Гриша Горский тоже в путь собирался недолго, даром что за океан. В Канаду. На конкурс. За премией.

И вернулся. Его самый-самый синий автомобиль еле втиснулся в улицу Герцена и еще борта тротуара захватил. Остановился, заприметив Машу. Вылез, пошел ей навстречу, сияющий победной улыбкой. Маша ахнула. Гриша шел к ней в том же своем куцем пиджачке, в светлых коротковатых брючках, из-под которых торчали его детские, по щиколотку зашнурованные башмаки. Верно, времени не хватило обновки купить. Он шел к Маше, а за ним, тихо урча, автомобиль его ехал.

Гриша остановился, и тут же замер и автомобиль. Самый-самый синий, самый длинный, как и положено победителю.

23. Буба — и опять отступление в будущее

Буба — настоящее ее имя выговорить было трудно, а запомнить вообще немыслимо — родилась в Элисте, но с восьми лет жила в Москве, в интернате, что имелся при той школе.

И вот она, Буба, эта маленькая, чернявая, диковатая калмычка, оказалась для Маши впоследствии единственным по-настоящему близким другом. А ведь так бывает достаточно редко, чтобы школьная дружба продлилась и закрепилась в поре уже зрелой, когда вроде бы столько всего обнаруживается, что могло бы и совсем развести.

Но, учась пока в школе, ни Маша, ни Буба не очень задумывались о возможных когда-либо срывах, разочарованиях, неудачах — у кого-то в личной, у кого-то в профессиональной судьбе.

Юность… Верно, основная примета этого возраста сказывается в постоянных и ничем пока не заглушенных мечтаниях о будущем, туманных надеждах, и столько времени отдано серьезной чепухе, вздорным умствованиям, но вот как раз в такой чепухе, и вздоре, и в бескорыстии вынашиваемых планов — в этом, думается, и есть счастье юности.

Им было по пятнадцати лет — так о чем же они говорили? Ходили по городу вдвоем, забредая в какие-то переулки, тупички, которых потом никогда уже нельзя было найти, и несли в абсолютном, только юным доступном доверии, отвлеченный от всякой реальности бред, но воспринимался он ими как исповедь.

Они рассказывали друг другу сюжеты прочитанных только что книг, с наивным воодушевлением делясь возникшими догадками, прозрениями, и можно было бы отнестись со снисходительной усмешкой к тем их речам, если бы не признать, что впоследствии, в будущем они уже никогда так много не читали и столько не передумывали.

Да, согласитесь, взрослые люди часто лишь используют тот багаж, что нажит ими в юные годы. Юность верит в ум, благоговеет перед знаниями, пусть и не обращенными ни в какой капитал, не дающими вовсе пока процентов.

Поэтому, возможно, столько и глотается книг, впечатлений-без раздумий, куда это, зачем и в какой степени будет способствовать делу, но только так, только в таком бескорыстии и задействована по-настоящему душа, и глаза видят, слышат уши.

Они ходили, блуждали, брели… И никогда Буба не расставалась со своей виолончелью. Она всюду ее за собой таскала: если виолончель была с ней, она уже ни о чем не

беспокоилась. Быть может, так ее древние пращуры-кочевники относились к своей лошади, как она к своему инструменту.

Маша иной раз позволяла себе подначки:

— Я бы на твоем месте, Буба, давно бы поменяла этот сундук на что-нибудь полегче, поизящнее — на скрипку, например. А еще лучше на флейту.

Насколько бы тебе стало удобней жить. Ты бы не шла по улице — летела А то ведь смотреть жалко, такое таскаешь на себе!

— Она тяжелая из-за футляра, — произносила Буба, не поднимая глаз. — Когда она в мягком, то не тяжелее твоего портфеля. Но в жестком футляре мне за нее спокойней. Пусть будет в жестком, — и прижимала свой инструмент к бедру теснее, — пусть.

В их возрасте казалось, что надежды непременно должны сбываться, мечта становиться явью и что есть в жизни справедливость, есть! И все, в конце концов, по заслугам воздается. Так просто, так ясно — по зас-лу-гам. Но как-то они забывали, что существует еще и удача. Да, удача. А она капризна, и может от чего-то надолго, на целые годы, куда-то исчезнуть, никак себя не обнаруживать — да, задремать в каком-то тихом уголке и не расслышать, что ее зовут, зовут…

… Они закончили школу и высшие учебные заведения — стали взрослыми, можно сказать, но когда встречались — а это удавалось не часто, — утыкались носом друг в друга, что у них означало поцелуи, по-дурацки как-то хмыкали, и снова им было пятнадцать лет.

Только случалось это, если никого посторонних рядом. не было. А любой третий оказывался для них посторонним. Они и в школе так дружили — только вдвоем.

И всегда Буба являлась со своей виолончелью. Говорила:

— Пожалуйста, положи ее, где уютно, тепло. — Передавала Маше инструмент как спящего ребенка. — И главное, чтобы она была в безопасности.

Она была некрасива, Буба: тощая, нескладная, сутулая и двигалась всегда как-то боком, точно старалась проскользнуть незаметно, не привлекая внимания к себе.

И только на эстраде менялась. Почему-то там множество устремленных на нее глаз ее не пугало: она выходила из артистической на сцену со вздернутой головой, мелко шагая в длинном концертном платье, маленькая, гордая, с очень бледным лицом.

Насколько она была застенчива в жизни, настолько беспредельно откровенна в музыке. Иные даже говорили: «Ну это

уже чересчур…» Хотя вряд ли сумели бы объяснить, что именно кажется им чрезмерным в Бубином исполнении: темперамент, страстность, томление, призывность, обнажение душевной муки?

Она и Баха так играла: отчаяние титана, бессилие мощи, великое одиночество- вот каким у нее был Бах.

И потом, как бы опомнившись, отводила смычок и, вскинув голову, уходила.

У нее взмокала даже кожа головы, волосы липли ко лбу и на верхней губе проступали бисеринки пота.

В артистической пахло работой, конюшней. Входили друзья, почитатели — Буба совала им холодную влажную руку, слегка дрожащую от перенапряжения, и складывала шуршащие целлофаном букеты на рояль.

У нее были темные зверюшечные глаза с желтоватыми белками, широкие брови и нос всегда блестел, сколько она его ни припудривала. А руки как бы крапчатые, в сине-красных жилках, зябкие, ногтей почти не было, одни подушечки, и широкая мускулистая ладонь. Даже весной она носила варежки на выворотке из засаленной замши и всегда ходила в брюках: платье у нее было только одно — концертное.

Родные ее, мать, сестры, жили в Элисте, а у нее была однокомнатная квартира в Москве, но она так и не успела ее обжить — все моталась по поездкам.

Она была кормилицей и поилицей большого семейства и почти все, что привозила с гастролей, отправляла родственникам в Элисту, но сама от тамошней жизни давно отвыкла, редко наведывалась туда.

Да, у нее случались гастроли, случались интересные выступления, но лауреатством она не обзавелась, не было у нее такой «охранной грамоты», и потому отношение к ней концертных организаций оставалось небрежным.

Пробивные способности у нее тоже оказались развиты слабы. И совершенно чужда была ей страсть к наращиванию все новых и новых знакомств, хотя в ее среде многие увлекались подобным коллекционированием, полагая, по-видимому, что это придает им значительность, вес. «Меня все знают, и я всех знаю» — такое сознание как бы возвышало человека в собственных глазах, воспринималось как доказательство его популярности, хотя на самом деле ничего утешительного в этом не было: и незаметное, и безликое может при мелькаться настолько, что станет узнаваемым, — всего лишь.

Бубу такие проблемы не занимали вовсе, не столько даже потому, что она была мудра, сколько оттого, что у нее очень мало оставалось свободного времени: его еле-еле хватало на тех, кем

она действительно дорожила.

И вот она приходила к Маше. Они дурачились, слегка друг над другом подтрунивали, но перемены, что в них произошли, давали все же о себе знать, и Маша иной раз ловила себя на грубой догадке: а ведь Буба-то неудачница…

Жалко, обидно за подругу, но хотелось, бывало, при этом ее и одернуть: «Опомнись, ведь кое в чем и сама виновата. Да, ты сама…»

В чем же? Да в том, что принято считать добродетелью, чем принято восхищаться, но что в чистом, беспримесном виде часто приводит к поражению, — такая вот цельность, душевная целомудренность.

Ну, стоило ли, считала повзрослевшая Маша, еще и на ноги-то как следует не встав, сцепляться с теми, кто, очевидно, тебя сильнее. Буба — вот бестолковая! — буквально с пеной у рта спорила с заведующим кафедрой о трактовке Бетховена; ей бы обзавестись его поддержкой, а она — вот дуреха! — гордо сообщила, что ему пришлось признать ее правоту. И объясняла, морщась, что не станет исполнять сонату такого-то композитора, пусть он и очень влиятелен, потому как он по-человечески ей, видите ли, не симпатичен: есть у нее основания, она бы не стала так попусту говорить…

Маша слушала… И хотелось, бывало, ей больно треснуть любимую свою подругу: «Опомнись, опомнись… Разве может просто способный человек навязывать себе режим существования гения? Просто способный должен думать о том, чтобы пробиться. Иначе никто его не услышит, никогда…»

А Буба… Она сидела на кончике стула сутулясь и, точно не удерживая равновесие, вытягивала вперед свои крапчатые зябкие руки:

— Понимаешь, — говорила, глядя в пол, — я не могу иначе… Ну, не могу — что делать? Но что-то постепенно у меня проклевывается, ведь так? — А как-то сказала: Я начинаю верить, что буду когда-нибудь очень хорошо играть, потому что… — вздохнула, — кроме музыки, у меня ничего нет. Слышишь? Ну, как объяснить… Человеку даны какие-то силы, и считается, что надо их распределить- на работу, на детей, на семью. Но у меня ничего нет- только музыка. — Улыбнулась. — Мне холодно, одиноко, больно, тошно, но чем больнее — вот странность! — тем ближе я к музыке. Я чувствую, что погружаюсь в нее все глубже. И думаю: дано ли благополучным, счастливым людям понять то, что понимаю я?

Взглянула в упор на Машу. Та промолчала…

…Концерт, на который Буба попросила прийти Машу, считался абонементным, и- разумеется, Бубино везение! — не успели расклеить по городу афиши, программок тоже не было.

Маша явилась за двадцать минут до начала: пустая раздевалка, пустой вестибюль — ах, Буба, Буба… Две старушки с седым перманентом оживленно беседовали о чем-то в углу: какие-нибудь бывшие учительницы музыки, вроде Машиной Раисы Михайловны, отчаянные меломанки — они на все концерты ходят, неважно, кто играет, что…

Гулкая безрадостная тишина — как не похоже на праздничное оживление тех вечеров, когда выступают знаменитости! Принимая из рук раздевальщицы номерок, Маша вдруг ощутила в себе что-то близкое к предательству: стыд, что она пришла вот на такой концерт, куда никто не рвался, никто не спрашивал лишнего билетика, — вот что в ней промелькнуло.

Признать в знаменитости друга детства — ну, это, конечно, всем льстит.

А если друг твой неудачник, от него, что же, отмахиваться?

С неприязнью к самой себе, и все же подавленная тишиной, безлюдьем, Маша поднялась на второй этаж, — и даже буфет не работал!

Вошла в зал. Села. Сцена в глубине была задрапирована темно-бордовой тканью, а по бокам спускались оранжево-морковные занавеси — ничего себе сочетание, бездна вкуса!

Но зал постепенно заполнялся. И с каждым вновь прибывшим у Маши будто что-то отпускало внутри, но она старалась не оглядываться, не хотела видеть пустой амфитеатр.

На эстраду вышел конферансье, и Маша с неприязнью отметила его обвисшие на коленях брюки, и стоял он, выгнув икры отчего кривизна ног особенно подчеркивалась. Произнося имя и фамилию Бубы, он как бы слегка запнулся, и Маша чуть не привскочила от негодования, увидев в том дополнительное оскорбление — да, им обеим, и Бубе, и ей…

Но вот, стуча каблуками по дощатому настилу сцены, появилась Буба. У Маши горячее тепло разлилось в груди, она невольно улыбнулась, точно ее улыбка могла сейчас ободрить Бубу, но, наверно, тогда и искренни твои чувства, когда ты улыбаешься, глядя на друга, зная, что в этот момент он не может видеть тебя.

Буба играла Шуберта.

Профессионалы, верно, слушают иначе, но Маша слушала сейчас не как профессионал, а как те самые обычные люди, что заполняют залы, прибежав на концерт со службы, не переодевшись, а бывает, и на голодный желудок, но с жаждой,

неистребимой потребностью слушать живое исполнение, потому что дома в грамзаписи уже будет вовсе не то…

Это приходит не сразу — духовное и вместе физическое наслаждение музыкой, потребность в ней как в самом необходимом — ну точно в кислороде для живущих в задымленных городах. Расслабление мышц, нервов и мобилизация того, что в другие моменты дремлет.

Только музыка, верно, способна растопить, размягчить затвердевшее в будничных суетливых судорогах нутро современного человека. И как близко, оказывается, подступают к горлу его слезы, как нуждается он в милосердии — да, в скорбном милосердии композитора Франца Шуберта, жившего сто лет назад.

А когда Шуберт кончился и те слушатели, что оказались на этом абонементном концерте, зааплодировали- и каждый старался за двоих, — Маша взглянула на Бубу; она стояла у кромки сцены и как-то растерянно улыбалась.

Что же такое талант? Наверно, не только дар божий, но еще и выбор пути, и умение себе самому во многом отказывать — так, наверно…

Но всегда ли приходит вознаграждение? Удача — ведь она действительно может надолго вздремнуть. И в таком случае все добродетели, благородство, бескомпромиссность, — много ли тогда это стоит, если не знают, не слышат, не признают тебя?

… Можно было бы так закончить рассказ о Бубе, если бы жизнь, правдивая реальность, сама не предложила иной конец. Возможно, и прямолинейный, с излишними моральными акцентами. Но как не поддаться искушению сообщить правду, действительный, всамделишный факт: Маша, на счастье, оказалась дома, когда раздался телефонный звонок.

За океаном, далеко-далеко, Буба на сложном, престижном международном конкурсе получила Первую премию. И Маша закричала: «Ура!»

— Ура, ура, ура! — кричала Маша в телефонную трубку.

Но, быть может, совсем некстати, еще одна подробность: когда Буба вернулась домой из-за океана, оказалось, что во время ее отсутствия лопнула в ванной труба, квартиру затопило, паркет вспучило, предстоял капитальный ремонт.

Сообщила и эту новость Маше.

— Ну конечно, — Маша проворчала — твое везение!

24. Ве-е-ес-на!

Приближалась весна, а вместе с ней и пора экзаменов, выпускных в школе и вступительных в консерваторию. Но Маша за три года — девятый, десятый, одиннадцатый класс — настолько уже в консерваторских стенах обжилась, что не представляла себе существования вне их. Ее даже нянечки в консерваторской раздевалке узнавали!

Апрель месяц. Маша с облегчением скинула толстую шубу и надела куртку, туфли на тонкой подошве, а на голову любимую свою замшевую зеленую кепочку, выменянную у приятеля на зажигалку, которую, в свою очередь, она чуть ли не со слезами вымолила у папы.

В кепочке с надвинутым на левый глаз козырьком у нее даже походка изменилась и другое было выражение лица, когда она шла, руки в карманы, сумка через плечо, бойко, скрывая подслеповатость, поглядывая на прохожих.

Да, очки никак не сочетались с кепочкой, и потому Маша решила их снять: надевала только в консерватории, чтобы знать, с кем здороваться.

А на улице плыла в радужном тумане — достаточно, чтобы видели ее! И так плыла однажды, пока не уперлась кому-то носом в середину груди — тому, кто зачем-то преградил ей дорогу.

Подняв голову, Маша узнала: Адик. Молча, недоуменно она в него уставилась, забыв даже поздороваться. А он глядел на нее с высоты своего роста, с обычной своей снисходительно-небрежной ухмылкой и тоже молчал. И что-то необычное, странное, новое в его взгляде привело Машу в полное замешательство.

Она ничуть не была рада этой встрече! Ей ни разу еще не приходилось так с ним сталкиваться, лицом к лицу, и не разумом, но инстинктом она уже знала, что это очень опасно — хотя бы однажды случайно взглянуть ему так вот в глаза.

И она не ошиблась. Три года учения в одном консерваторском классе, где он изредка появлялся, намеки, недомолвки, которыми обменивались студенты на его счет, легенды, что повсюду его сопровождали, — все это вроде бы пролетало мимо ее сознания, но на самом деле оседало там. В результате к моменту этой неожиданной встречи она превратилась в тот самый сухой хворост, что должен был вспыхнуть при первой же искорке.

И вспыхнуло… Она стояла перед ним в своей зеленой кепочке, выменянной у приятеля на зажигалку, с беспомощно

опущенными руками, застыло-покорная, подавленная, и вот по такому своему состоянию ей суждено было и в будущем угадывать в себе любовь.

Ему же, взрослому, умудренному, определить ее чувство не представляло сложности. И он широко, покровительственно улыбнулся. Спросил: «Ну как, программа к экзаменам готова?» Она немо кивнула. «А хочешь, — предложил вдруг, — я как-нибудь тебя послушаю?» Ей нужно было отвечать?! Он поглядел на часы: «А что, если прямо сейчас, если найдем свободный класс?»

И пошли. То есть он шел, а она плелась за ним следом. Как маленькое суденышко за большим судном, покачиваясь на волнах, рожденных его стремительным ходом, и взгляды, обращенные на него, скользили по ней: она на себе почувствовала, что это значит — греться в лучах чужой славы.

Но удивительно, что за тот недолгий отрезок времени, пока они дошли до консерваторской раздевалки, миновали коридор, поднялись по лестнице, она как-то вдруг осмелела. Казалось, всего лишь мгновение, но она проживала его как часы, так и после случалось, когда она бывала с ним вместе.

Вошли в класс, счастливо оказавшийся свободным, она села за инструмент, он за другой. Опять же странно, но ей удалось сосредоточиться. Она сыграла программу, и он не перебивал ее, но после стал делать замечания. Они вовсе не были пространны и лишены тех многословных обоснований, коими, выказывая недюжую эрудицию, любила пользоваться Татьяна Львовна. Нет, его замечания были очень кратки — даже не фраза, а как бы ее обрывок, произнесенный со свойственной ему неясной дикцией, но воспринималось это мгновенно и точно, настолько все было емко по смыслу и диктовалось безошибочным музыкантским чутьем. Опереться в пассаже на мизинец, и тогда эта нота неожиданно высверкивала, обретала звонкость, боль и нежность, точно признание, а после тихий вздох.

Он не столько говорил, сколько показывал, и она чуть ли не отпихивала его от инструмента, спеша доказать, что поняла — да, поняла!

Они прозанимались довольно долго, и все это время он был серьезен, вдумчив, а прежде она считала, что серьезным он не способен быть никогда.

И больше того, в его серьезности обнаруживалась та человеческая теплота, заботливость и то сознание своей ответственности как старшего, что она с надеждой подумала: а вдруг он к тому же еще хороший человек?..

Он спросил:

— У тебя когда с Татьяной Львовной урок? Не опоздаешь?

Она сложила в папку ноты, и они вместе вышли. Но, подойдя к дверям класса, где занималась со студентами Татьяна Львовна, он вдруг сказал:

— Пожалуй, я не буду заходить…

Кивнул и зашагал обратно по коридору; она с недоумением поглядела ему вслед.

… На уроке, когда Маша сыграла этюд Шопена, Татьяна Львовна тут же обнаружила в одном из мест иную, чем раньше, аппликатуру.

— Что это, — она спросила, — ты вдруг решила переменить?

— Мне Адик показал, — не подумав, ответила Маша.

— Да-а? — В голосе Татьяны Львовны отчетливо прозвучали нотки недовольства. Пауза. — Запомни, у каждого свои возможности. Та аппликатура, что о н тебе показал, совершенная нелепица, но с его руками можно все. Тебе же… тебе же лучше делать то, что я рекомендую.

Окончание фразы она произнесла почти ласково, но вкрадчивость эта показалась Маше почему-то зловещей.

25. Выпускные экзамены

В начале июня в школе начались выпускные экзамены. Главный из них, по специальности, проводился в актовом зале, и туда допускалась публика.

За Машу пришли болеть кое-кто из студентов класса Татьяны Львовны, и Адик был среди них.

Маша сыграла прилично, получила пятерку, но пятерки многим ставили, это было еще отнюдь не все, ее шанс для поступления в консерваторию, многие считали, состоял в том, что она уже занималась у консерваторского педагога, и если еще к тому же Татьяна Львовна войдет в состав приемной комиссии, тогда скорее всего…

Но Татьяна Львовна сказала, что в этом году в приеме участвовать не будет — прошлый раз уже отсидела, и вообще у нее масса дел. «Но ты не волнуйся, — ободрила она Машу, — все будет хорошо».

В последнее время она стала обращаться с Машей особенно терпеливо, ну точно с больной, а когда ободряла, то вроде как с сожалением, утешая — точно уже следовало утешать…

А Маша существовала в тот июнь в каком-то лихорадочном отупении. Когда заметила, что Адик пришел на ее экзамен, подумала, что это хорошо, но и плохо тоже. Почему — она не вдумывалась, но так ей подсказывало чутье. И жалась, ластилась к Татьяне Львовне, сознавая, что теперь, как никогда, целиком от нее зависит, что учительница — главная опора. Но вот действительно ли надежная — в этом Маша начала сомневаться, хотя тоже бы не могла толком объяснить почему.

И неприятно было, что в ее собственном отношении к учительнице появилось нечто показное, ложное, заискивающее — какое-то сознание вины, хотя вроде бы в чем?..

Ах, некстати, некстати возник этот разброд! — ведь теперь ей следовало быть особенно собранной. Как и прежде, она страстно жаждала одного — стать музыкантом и пожертвовала бы ради этого, ей казалось, всем. И Адиком… Если бы ее только прямо спросили, она бы так и ответила.

Но ее не спрашивали… Приближались вступительные экзамены в консерваторию, и Адик, которого она за три года видела какие-то считанные разы, тут, в эту июньскую пору, как нарочно, повсюду маячил — делать ему, что ли, было нечего! — и она застывала под его взглядом, безропотно куда-то шла за ним, сознавая с ужасом, что идет в совершенно противоположную от вожделенной консерватории сторону.

Он же — он вел себя безупречно! Все с той же доброй снисходительностью старшего к младшему, держался так, что казалось, ничто не должно было ее смутить, а она с тоской думала: да, он хороший человек, но как же это все некстати!

Неправдоподобная случайность их встреч точно нарочно кем-то подстраивалась, что и у него, и у нее вызывало искреннейшее удивление: ну надо же…

Однажды она допоздна прозанималась в консерватории и потому решила сесть в такси, и когда уже отъехали, таксист, даже ее не спросив, решил подсадить еще одного пассажира, призывно махающего рукой с обочины, — и им оказался Адик, ну надо же!

А еще они как-то столкнулись в кинотеатре Повторного фильма — подумать!

Итак еще и еще, и все так же случайно, и по-прежнему он вел себя безупречно, участливо произносил: «Да не беспокойся… насчет экзаменов.

Обойдется…»

Сюжета, то есть развития, в их отношениях не было никакого. Только взгляды и отсутствие слов. Адик вообще был не мастер на разговоры, а Маша, вообще-то болтушка, цепенела в его присутствии.

А ведь прежде — и после, к сожалению, тоже — она считала, что для того, чтобы другой тебя понял, надо ему себя объяснить. Адик был и остался единственным в ее жизни случаем бессловесного понимания — ни до, ни после ей встретить такого не довелось.

А быть может, ей только казалось, что он понимает, ведь доказательств на этот счет, как и на любой другой, у нее не было никаких.

26. Экзамены вступительные

Приемные экзамены в консерваторию проходили в Малом зале.

Экзаменующийся, выходя на сцену, видел пустые ряды кресел- в партере никого, — но знал, что за ним наблюдают сверху, члены приемной комиссии сидели в амфитеатре, и оттуда раздавался голос: пожалуйста… достаточно… довольно…

Поступающим было заранее известно, что всю программу целиком слушать не будут, спросят, что захотят, но когда Маша, отыграв первую часть сонаты, собралась уже начать вторую, а сверху грохнуло: «Спасибо, достаточно», у нее все оборвалось внутри.

Сказали, чтобы она сыграла этюд Шопена. Она кинулась выполнять команду, порабощенная властным голосом сверху, лишившим ее воли, желания победы и даже тени радости от исполнения чудесной музыки.

Да, она всегда была чересчур подвержена эмоциям, настроению, атмосфере, — ее сбил тот голос, и она чувствовала себя глубоко оскорбленной, униженной самой процедурой прослушивания, — пылала негодованием, но играла при этом Шопена с трусливой робостью. Вот если бы ее гнев выразился в игре!

Увы, этого она не сумела.

«Достаточно. Вы свободны». Она встала, поклонилась в пустой зал и ушла со сцены.

Сколько все это длилось? Ей показалось — мгновение. И неужели они сумели во всем разобраться? Понять, что она может и каковы перспективы?..

Она вышла как оглушенная: двенадцать лет жить, работать вот ради этих минут? Минут! — и вся судьба от них зависит, все будущее. Что-то они решат — что?..

В консерваторской раздевалке она увидела Рыженького. Он стоял у окна и курил — нет, не от волнения, а, как сам выражался, для кайфа.

— Ну как? — спросил, увидев Машу.

— Ужасно противно, когда перебивают. Точно барышники, в рот заглядывают. Бр-р!

— Да перестань… — Рыженький с удовольствием выпустил колечко дыма. — Обычная процедура. С их сноровкой в два счета ясно, кто годится, а кто — нет.

— Так ведь сбивают!

— Сбивают? Ну, меня, положим, не собьешь. Что могу, то

могу, и в любом состоянии.

— А я нет, — тихо сказала Маша.

И тут Рыженький посмотрел на нее пристально, с несвойственной ему углубленностью, и Маша подумала, что так глядят при расставании — без особого сожаления, но желая на всякий случай запомнить… А что, может, действительно больше случая не предвидится?

Она подумала об этом с внезапным спокойствием, а что, если… Впервые, пожалуй, за все двенадцать лет: а если, то тогда…

— Ну что я точно знаю, — она сказала, взглянув в глаза Рыженькому, — второй попытки у меня не будет.

— Да что ты заранее… — он ее взгляда не выдержал, отвел глаза.

— А вот увидишь, — произнесла почти весело. — Сейчас не получится — все, значит.

— Сама накликиваешь, — Рыженький даже поежился.

И тут она на него поглядела, как — она вспомнила — обычно он глядел на нее: снисходительно, как взрослый на несмышленыша. Теперь несмышленышем показался ей он. Ведь ни разу — ни разу! — ему, везунчику, не приходилось пока врезаться башкой в стену — на самом ходу, да так, что искры из глаз.

Он, может, даже еще и не подозревал, что так бывает — вырастает вдруг стенка. И надо быстро-быстро перестраиваться, дальше жить, не теряя темпа, ни в коем случае не теряя темпа!

Он удачник, к которому судьба пока что была такой щедрой, привык экономить, крохоборничать: куда капитал вложил, там и ждал процентов. А вот попробуй, попробуй бухнуть двенадцать лет жизни, все, что имеешь, и дотла прогореть — обнаружить в кармане пятак и решить: что ж, начнем по новой.

Он, Рыженький, не знал еще рискового веселья отчаявшихся, не знал, не знал….

Ей еще предстояла бессонная ночь — впервые в ее жизни бессонная ночь с тошнотой и головокружением на рассвете; предстояло утро, яичница, кофе — недоумение по поводу своего волчьего аппетита, своей живучести, выживаемости, — ведь надо же, уже на следующее же утро она начала строить планы на будущее! И мельком взглянула на рояль с закрытой крышкой, не пуская в себя боль. Сдержалась. Но ведь целых двенадцать лет. Сколько вложено! А что обретено? Она еще не знала. Это тоже еще предстояло — узнать.

ЗОЛУШКА

У Катаева в «Святом колодце» она явлена в образе молодой белокурой молочницы, промчавшей на мотороллере с сыном героя повествования, а после застигнутой с ним же рядом спящей, как отмечает автор, сном праведницы, разбросав на полу «красное платье, чулки без шва, на спинке стула висел черный девичий бюстгальтер с белыми пуговицами».

Тогда, в середине шестидесятых, классик советской литературы возник перед читателями в новом качестве стилиста-экспериментатора, от книги к книге все больше смелея, все решительнее своевольничая с прошлым, и эпизод с «молочницей» для литературной общественности, конечно же, заслонился другими, виртуозно вкрапленными в его тексты ребусами: «птицелов», «ключик», «синеглазый», «человек-дятел» возбуждали разгадыванием прототипов, что, впрочем, не составляло труда. То, что и «молочница» существовала в реальности, знали, верно, лишь в Переделкине, где «Святой колодец» писался, и откуда «молочница» была родом. Как и я.

Помню ее белобрысой, с туго стянутыми косицами. Помню страстное свое ожидание, маяту у калитки, волнение: придет, не придет? А завидев, как в подзорной трубе, наметившуюся в конце улицы фигурку, не умела сдержаться, бежала навстречу. Она была меня старше на год. Ей было шесть, мне пять. Ее взрослость мною воспринималась бесспорной и навсегда определенной дистанцией. Ко мне она шла уверенно, неспешно, я же кидалась, бесилась от радости, как щенок.

Она решала во что нам играть. Ей полагалось быть принцессой, а мне то пажом, то служанкой, ее обряжающей к свиданию с тем, кому она гордо скажет: нет, я тебя не люблю!

Эти слова, то, как она их произносила, доводило меня до слез. И когда нас звали обедать, жуя котлету, шептала в том образе, что она мне внушила: ну, пожалуйста, умоляю, не покидай меня…

Ничего подобного я потом никогда не произносила. Мука зависимости, сладостной и влекущей, как омут, изжилась у дачной калитки, где мы с ней расставались. «Да не цепляйся, — я слышала, — доиграем завтра». И уходила, не оглядываясь.

Хотя мы жили совсем близко друг от друга, практически на одной улице, но как бы по разные стороны барьера, сообщению не препятствующего, но и неодолимого. Оттуда — сюда приносили свежий творог, ягоды, еще теплые яйца, впрочем, все реже, и в итоге и дачники, и местные жители вместе стали томиться в

очереди тесного вонючего магазина.

Но спайка между тем и другим миром еще оставалось прочной. Кто в ком больше нуждался трудно сказать. Так называемый, писательский городок состоял не только из дач, там базировалось и Литфондовское хозяйство со своей ремонтно-строительной конторой, автобазой и, конечно же, домом творчества, обслуживанием которого занималось местное население.

В той, ну скажем, подсобной среде имелись свои легендарные личности.

Истопник дядя Вася был среди писателей и популярнее, и почитаемее, чем какой-нибудь лауреат каких-то там премий. Если котел вышел из строя, а мороз градусов под тридцать, тут взвоешь, а кроме как от дяди Васи спасения неоткуда ждать. Мой папа, к примеру, первым спешил пожать дяде Васе руку, что вовсе не наблюдалось при встречах с коллегами.

Краснодеревщика Сашу Коровкина могли развратить неумеренной лестью, но он на заманы не поддавался, и жестко, и, надо сказать, справедливо выстраивал драматургов, прозаиков, критиков в затылок друг к другу, нетерпеливых одергивая: «Не-е, вначале Арбузову обещал, вы будете, за Леоновым, но нескоро, там беседку сооружаем. — Помолчав солидно, — Узорчатую».

Медсестра Валя за многие годы в решето исколола все почти знаменитые задницы, и когда с ней, уже пожилой, Андрей Вознесенский опубликовал интервью, спокойная взвешенность ее интонаций контрастировала с заискиваньями — впрочем, понятными — его, поэта.

Никин отец в той иерархии занимал особое место: лесничий. В бурном послевоенном строительстве столетние ели на участках владельцам мешали, но без санкции, данной лесничеством, их не решались валить.

Потом, спустя много лет, при ельцинской разудалой «демократии», ни о чем уже спрашивать не будут. Но отец Ники успел умереть до того. Помню, как в ожидании его к нам прихода, сидела, залипнув, на сыром от смолы пне, ожидая возмездия, вплоть до того, что папу и маму арестуют, посадят в тюрьму.

Никин отец считался неподкупным, нарушителей штрафовал. Если бы я знала, что речь идет лишь о деньгах! Когда окликнули: «Надя, где ты? Иди сюда!» — дернулась, но смола, слезы дерева, не пускали. И я тоже заплакала, с облегчением, и, вместе с тем, с ощущением смутной вины.

Тогда же узнала про Никины измены. Оказалось, я у нее не одна, она дружит еще с Варей Фединой и с Варей Тихоновой, а меня обманывает, ссылаясь то на простуду или что ее не пустили

ко мне. Я делала вид, что верю, хотя ее склонность без надобности привирать не раз уже обнаруживалась.

Как-то, под строжайшим секретам сообщила, что она сирота и настоящие ее родители погибли в авиационной катастрофе. Рассказывая, рыдала, и я вместе с ней. Но после возникла другая версия: якобы отец похитил ее мать у своего начальника, пришлось скрываться, скитаться, и здесь, в поселке, они живут под чужой фамилией. Но я видела ее маму, суетливую, с бегающими, вороватыми глазками, и романтическая история с ней, вот такой, совершенно не вязалась.

Зачем Ника несуразицу плетет, было и непонятно, и неприятно. Но я не осмеливалась объясниться с ней напрямик.

У меня уже в детстве проявилась запальчивость, свое мнение, настроение скрывать не умела, отвергала любые попытки меня обуздать, а вот Нике не только позволяла верховодить, но и опасалась ее огорчить.

Хотя держалась она уверенно, властно, что-то мелькало уязвимое, но что именно я не понимала. Может быть, социальные перегородки в нашем «бесклассовом» обществе ей открылись раньше, чем мне? Доказывала свое надо мной превосходство иной раз с жестокостью. Однажды поймала ее усмешку, когда удалось в очередной раз довести меня до слез.

Столько забылось, а это посейчас помню. В общей комнате с младшей сестрой я металась в бреду. Мама, войдя к нам, пощупала лоб и врача вызвала.

Откуда инфекция, никто не знал. А я молчала. Организм мой много способен выдержать, а вот с психикой иначе, но беречь себя тут труднее, чем от простуды.

Случай, впрочем, был из банальных, никем не минуемых. Непременно находится тот, или та, кто впервые сообщает ужасную тайну: как, в результате чего, появляются дети. У меня этапы взросления проходили всегда с запозданием, кризисно, воспаленно, как корь, опасная осложнениями, если ей вовремя не переболеть.

Учась в школе, анекдотом соленым смеялась последней, уже над собой вызвав дружный хохот. Впрочем, с одноклассниками мне повезло: я не стала объектом травли, хотя подставлялась упорно, упрямо. Апогей был достигнут в каникулы, на традиционном праздновании новогодней елки. По возрасту нам уже полагалась вечеринка, но я отстала и тут, ожидая привычного: хороводов, раздачи подарков? Но вдруг обнаружила, что гости куда-то исчезли: в квартире родителей на Лаврушинском найти укромные уголки не составляло труда. Вот тут, наконец, прозрела: коварство, предательство! Билась в дверь

запертой ванной, выискивала парочек, затаившихся на кухне, в коридорах: в доме, так называемого, сталинского стиля, помещения обладали коленчатыми извивами, как свернутый в кольца удав. Хорошо играть в прятки или загонять в угол преследуемых. В этом я преуспела. Всех выгнала, и к приходу родителей продолжала неистовствовать Уснула под елкой. Но когда возобновились занятия, одноклассники меня встретили, как ни в чем не бывало: в тот период столько нового открывалось, захватывающего, что им оказалось не до меня.

Ника куда большую выказала заинтересованность: ей что ли наслаждение доставляло наблюдать, как я снова чему-то ужасаюсь, что мне абсолютно не хотелось знать? Но, пожалуй, переусердствовала: я перестала искать с ней встреч. А окончательно нас разлучила школа.

Она пошла в поселковую, куда ученики зимой отправлялись на лыжах, а меня в музыкальную определили, при консерватории, знаменитую, ЦМШ. Ввела в заблуждение экзаменаторов, забыв фортепьянную пьеску, но сказав, не смутившись: я лучше спою! И приняли, с диагнозом: артистичность.

Знатоки допустили ошибку. Не способности к музыке меня отличали, а безмятежное, вольное, сельское детство. И оно закончилось.

Контраст между тем, какой я была и какой стала в окружении юных гениев, был столь разителен, что родители пугливо затихли. Фанатизм от меня нисколько не ожидался, и вроде бы не от кого было его унаследовать. В семье жизнелюбов выродок объявился, исступленно себя истязающий за пыточным агрегатом, то бишь роялем фирмы «Бехштейн», приобретенным мамой по случаю за цену, значительно уступающую его стоимости.

Не только с Никой, но и ни с кем из сверстников — не музыкантов я не общалась. Рояль вытеснил все. Но хотя исполнительская карьера мне не далась, какое блаженство — твердо знать, ясно видеть поставленную цель. Без этого жизнь превращается в хаос.

Ника возникла вновь, когда я уже заканчивала школу, остервенело готовилась к выпускным экзаменом. Мы ехали с дачи в город, и мама, сидя за рулем «москвича», воскликнула: поглядите, как Ника расцвела, ну просто красавица! И папа кивнул с видом знатока.

Стояла на обочине, и мама, притормозив, предложила ее подвезти. Но Ника отказалась. На ней было что-то синие, под цвет глаз, и белое, загар оттеняющее. А главное, она была счастлива, ликующе, упоенно. В маме, стопроцентной женщине, это мгновенно нашло отклик. Сказала, лишь мы отъехали: девочка

влюблена.

В кого — узнать оказалось не трудно. В поселке в тайне ничего не удерживалось. Его звали Андрюша, он был сыном литературного босса, учился в МГИМО, водил отцовский «ЗИМ», зимой ходил без шапки, носил джинсы, ну словом, парень хоть куда.

У нас он бывал со своими родителями, но всегда торопился: к ней, Нике.

Мы ведь рядом жили, на одной улице. Как-то обряжали с ним елку, и я зорко следила, чтобы не халтурил, аккуратно вдевал петли игрушек на колючие веточки.

Как развивается их любовь, интереса не вызывало. И удивило не то, что они расстались, а что это обсуждается так горячо. Дачных романов в поселке случалось до черта, и, что называется, без последствий. А тут вдруг: опозорил, бросил! Или: да не пара она ему! Или: каков негодяй! Ну, прямо как в пьесах Островского.

То, что ей сочувствовали как потерпевшей, Ника, думаю, воспринимала особо болезненно. Пощечина — прослыть неудачницей. Плюнуть бы на сплетни, но она не смогла. По обе же стороны барьера учуяли подоплеку: ее намерение вырваться из своей среды.

Мечтанья Золушки трогательны, пока скрыты. Если до времени они обнародуются, Золушка выставляется на потеху. Выясняется, что она не бескорыстна, а в притязаниях своих смешна. Если нет счастливой развязки, окружающие упиваются собственной трезвостью, обывательской, зато оберегающей от соблазнов. То, что их-то никто не скушал, в расчет не берется. На амбиции всегда ополчаются, если их не венчает успех.

И вот мы еще раз с ней совпали: я не состоялась в профессии, она в роли Золушки провалилась. Но мне-то рояль уже только снился, а она продолжала пытаться утвердиться в том же амплуа.

Старый греховодник Катаев подметил точно: «молочница» охмуряла и его сына, в числе прочих. От игр не отказывались, но жениться?

А Нику будто заклинило: именно здесь, в Переделкине, желала одержать победу, на глазах тех, кто, считала, ее отверг. Но, увы, ресурс дачников мужского пола был не безграничен.

В институт поступить не удалось. Потом рассказывала: хотела найти работу на телевидении, пришла с просьбой похлопотать к обозревателю, тогда известному, «Литературной газеты», но жена к нему не пустила, мол, занят. И посоветовала: «А почему бы тебе не устроиться на почту, здесь же, по месту жительства, и в электричках не будешь толкаться, чтобы добираться до Москвы».

Обида не забылась. «Ты представляешь, — повторяла потом возмущенно, — на почту решила меня определить! Сама-то кто? Из массажисток. Окрутила мужа, пока он в санатории отдыхал. А ни кожи — ни рожи».

В гневе язык ее опрощался, и она не стеснялась в выражениях. А вот когда говорила в моем присутствии по телефону, от ее томно-вкрадчивых интонаций меня смех разбирал. Дурачится, думала. Но как-то на мой смешок сверкнула негодующим взглядом. Закончив, сказала сердито: «Это был важный разговор, а ты мне мешала».

На телевидение, правда, сумела проникнуть, но чем конкретно там занималась, не уточнялось. По ее словам, ведущие популярных программ, телевизионные звезды в гости ее к себе зазывали и к ней в Переделкино наведывались. Вот буквально вчера устроили шашлыки, шампанского- залейся! И, вздохнув: «Жаль, ты была, в городе, а все получилось спонтанно. Но в следующий раз заранее договоримся». Так выходило, что эти пиры всегда случались в мое отсутствие.

Я удивилась бы, впрочем, если бы ею обещанное сбылось. Да и, признаться, пугало: в сравнении с ее вдохновенным враньем, реальность раскрылась бы во всем убожестве. Одно присутствие ее матери, заискивающей, угодливой, уронило бы Нику в глазах присутствующих. И, что важнее, в моих.

Короче, поддакивая, я не столько ее оберегала, сколько себя. Вглядеться в изнанку наших отношений по-прежнему не хватало решительности.

Одевалась Ника модно, дорого, пахла французскими духами, и, гуляя с ней по Переделкино, я гордость испытывала, что она затмевает встречаемых писательских жен и дочек. Ни жалоб, ни бабьих пошлостей я от нее никогда не слыхала. У нее было замечательное, от природы, чутье — главный, пожалуй, ее дар. И шлифовался в борьбе за выживание.

Я приходила в бревенчатый дом лесника, где в холодном тамбуре пахло соленьями, огурчиками с огорода, капустой квашенной. На пороге снимала обувь, на дощатый, выскобленный пол ступала босиком: опрятность в комнатах вызывала робость. На кухне за круглым, покрытым клеенкой столом, у меня пробуждался зверский аппетит: сметала борщ, блинчики, пироги с луком, пока Ника, растопырив пальцы, ждала, когда лак на ногтях обсохнет. Свою мать она называла теперь по имени, Серафимой, обращалось с ней как с прислугой, но я чувствовала, что эта женщина с ее притворной покорностью дочь свою держит в когтях.

Жили они, конечно, не на зарплату Ники вместе с вдовьей

материной пенсией. Продукты с рынка, туалеты роскошные — явно сказывался иной приработок. Но во мне что-то сопротивлялось, чтобы назвать вещи своими именами. В раскрытые окна кухни ветви яблонь заглядывали, посаженные Никиным отцом. В саду между двух сосен гамак натянут. А в спальню можно не заходить: там все пространство занимала кровать под атласным, цветастым покрывалом.

Не выдержала моя мама: «Не понимаю, что может быть у вас общего!»

Спокойный тон ей с трудом давался. Я собралась обороняться, но она замолчала. Впрочем, то, что имелось ввиду, разъяснений не требовало. Тем более, что косые взгляды жен-дочек дали возможность подготовиться: наш с Никой альянс воспринимался вызовом, демонстрацией и стал тоже предметом для сплетен. Вот они и до мамы дошли. Но я проявила находчивость, выставив беременный живот: «А как же прогулки? Нужно, полезно, а с кем? В такую слякоть все ведь в город удрали». И шмыгнула носом для убедительности.

Муж утром уезжал на работу, и пришло в голову: почему бы ему Нику до Москвы не подхватывать? Реакцию, что мое предложение вызовет, никак не ожидала.

Считая, что обсуждать тут особо нечего, предупредила: только, пожалуйста, не опаздывай, будь у калитки точно к восьми. И тут она взвыла, монотонно, утробно, не меняясь в лице, с сухими глазами. Ее мать вбежала, выказав неожиданную сноровку: едко запахло лекарствами. Знала, что делала, не в первый, видимо, раз. С мокрым полотенцем в руке, подталкивала меня к двери: иди-иди, это так… обойдется… Пропихнула уже в тамбур, когда раздался Никин звонкий смех. И я ринулась обратно.

На диване, с холодным компрессом, сползшим со лба к щеке, она, в корчах хохота, еле выговорила: «Ты что, вправду такая дура? Да от меня бабы мужей своих по чуланам прячут, а то укушу, проглочу!»

Я буркнула: сама дура, и, как договорились, завтра к восьми. Но она не явилась, муж напрасно прождал. А вот прогулки наши продолжались, и когда у меня родилась дочка.

Шли однажды, толкая коляску, я, как обычно, смеялась над очередной ее байкой — она умела по-снайперски углядеть в людях, в ситуациях несуразности — и вдруг услышала, сказанное совершенно некстати и мрачно, с агрессивностью: «Все, пора замуж!» И, после паузы: «Знаю, за кого. Этот не увернется, не получится, попался, парень».

Так появился Леня. Невзрачный, неловкий, но сразило меня

то, как Ника сияла, нас с ним знакомив — со своим, собственным, ей безраздельно принадлежащим, что он, видимо, еще не вполне усвоил.

Ниоткуда возник, вне всякой связи с прошлым, что и являлось в нем самым ценным, составляло сокровище, которое Ника из всех сил берегла, стерегла.

Призналась, что дико боится телефонных звонков, и что Леня возьмет трубку, а сволочь какая-нибудь, из подлости…

Но сволочи не нашлось, ни по соседству, ни еще где-либо. Людское злословие смолкло, отступило. Решили, что грешница за все расплатилась сполна? Насытились, напились кровушки? Но может именно внезапность такого замирения Нику и подкосила.

Сразу как-то поблекла, состарилась. Волосы стянула резинкой, на лице ни тени косметики, и взгляд, боязливый, искательный — на хозяина. Вот, значит, дождалась.

В тот период они стали к нам часто захаживать: мы сами еще не забыли, что на определенном этапе влюбленным тесно становится только друг с другом, возникает потребность на людях бывать, нуждаясь в поддержке постороннего взгляда, мнения. Да, хочется, чтобы признали, пригрели. Но вот годился ли наш личный опыт в данной ситуации?

Это давно вызревало, чувство как бы вины. Почему мне, не красавице, не праведнице, без усилий дается, что от Ники требует таких непомерных затрат?

Терпит, когда Леня хамит, позволяет ему напиваться, он чушь несет, она же, с ее острым, как бритва, языком, рабски молчит. А я, еле сдерживалась, чтобы не вдарить по его плешивой башке чем-нибудь тяжелым.

Свой-то изъян я знала — жить прошлым и в совершенно новых реалиях.

Поэтому она, Ника, для меня оставалось той, кого я в детстве так страстно у калитки ждала. И теперь ревновала к мужлану ее, гордячку, на наших глазах унижающую.

Оставалось надеяться, что когда она-таки его на себе женит, ему все припомнится. Но он в загс бросаться не спешил. А если соскочит? Тогда — катастрофа. Такого еще удара Ника может не перенести. Вернуться к прежней себе, вызывающе дерзкой, независимой, после того, как сама добровольно надела ярмо, не получится. Но в любом случае, как чутье подсказывало, даже став вынужденно ее сообщницей, я Нику потеряю.

Как свойственно натурам недалеким, Леня был и хитер, и приметлив. Такие пуще всего бояться как бы их не надули. Если замуж впервые выходят за тридцать — да хоть королева! — тут что-то подозрительное. А что он Нике нужен именно как муж,

Леня понимал.

Понадобилось, видимо, все Никино мастерство, чтобы небылицы, которые она плела, звучали для Лени убедительно. Но он желал подтверждений, доказательств, и мы, наша семья, выступили в качестве гарантов.

Объяснять, что от нас требуется, не пришлось. Панибратский тон с моим мужем, которого Ника прежде сторонилось, задачу сразу определил: здесь она абсолютно свой человек, более мудрый, более опытный, в чьем покровительстве нуждаются, советы ценят. Она подсказывает, наставляет и как нам воспитывать свою дочь, и с кем сближаться, кого остерегаться, и где какой достать дефицит, и прочее, прочее… Бывает, своей бестолковостью мы ее раздражаем, вынуждаем к строгости, она досадует, но все же не оставляет нас из чувства долга.

Так, примерно, разыгрывался этот спектакль, пока, наконец, они не поженились.

Завели двух овчарок, свирепых, специально для охраны натасканных. В сравнении с нашими псами, на диванах валявшихся, любого пришельца встречающих с ликованием, скатерть слюнявивших, выложив рядом с тарелкой умильные морды, эти, гладкие, мускулистые, свидетельствовали о другом совсем образе жизни, для Переделкино еще необычном, но внедряемом уже по стране.

После начнут вырубать переделкинский лес, особняки «новых русских» полезут с полян, сминая столетние ели, сохранность которых блюл когда-то Никин отец. Недавно еще шокирующий общественность каменный терем поэта-черносотенца Софронова по сравнению с недавно возведенными дворцами будет смотреться лачугой, сколоченной на медные гроши. Писательские амбиции, склоки за место под солнцем расползутся как мокрый картон. Не издание книг, не литературные премии, а приискивание арендаторов для московских квартир станет главной заботой. Найти иностранца, расплачивающегося валютой — вот верх творческих мечтаний. Убежденные урбанисты, презирающие дачную скуку, эвакуируются за город со всем скарбом и присмиреют. Оттуда бы хоть не выгнали, вон ведь как крушат во все вокруг.

И по другую сторону барьера наступит паника. «Джентльмены удачи» сочтут выгодней, сподручней к месту стройки сбрасывать десант, хлынет рабочая сила из «ближнего зарубежья», местные умельцы не выдержат конкуренции, от невостребованности спиваясь и умирая один за другим.

В один год уйдут осанистый дядя Петя- водопроводчик, Володя-электрик, с лицом падшего ангела, уцелевшие создадут

«клуб по интересам» у прилавка винного отдела поселкового магазина: появление там чужаков в рабочих спецовках, покупающих хлеб, молоко, встречено будет в штыки. Они станут врагами, новых хозяев жизни ненависть не коснется, по причине их недосягаемости. В бронированных «Мерседесах» с затемненными стеклами и лиц-то не разберешь.

Но это еще впереди, а первый архитектурный образчик «новорусского» стиля возник, лепясь к бревенчатому дому лесника. Наращенная после стремительность в возведении подробных замков еще только набирала обороты.

Ника жаловалась на трудности со стройматериалами, брак, халтуру, рвачество, и выглядела изможденной: то, что она возжелала, давалось тяжело.

Хотя бизнес у Лени пошел успешно. Чем он конкретно занимался, по новым правилам не следовало выяснять. Прежде образование, профессия, должность определяли статус, но, как оказалось, это вовсе не самое главное. Леня в шикарной дубленке выглядел крупным начальником. В нем лоск появился, даже импозантность. Мы с мужем встречали их, чинно прогуливавшихся. Как-то мелькнуло: а все-таки Ника утерла всем нос. Но тут же заметила ее угасший взгляд. В теплом платке, повязанном по-старушечьи, она опиралась на Ленину руку не как победительница, а как предельно уставший путник.

К себе они не звали, что объяснялось просто: в тогдашних условиях обычный ремонт мог с ума свести, а тут стройка затеяна такая, что и приблизиться страшно, грузовики, бульдозеры, и, спустя столько месяцев, все еще нет крыши: быть может, небоскреб задуман?

А потом они вовсе куда-то пропали. Дом, наконец отстроен, но казался нежилым. Ходили смутные слухи, что Ника приболела, чем-то редко встречающееся, и- де Леня даже возил ее заграницу, но неизвестно помогли ли там.

Их дом возвышался над всеми, давил своей массой, и болезнь владелицы, к тому же неподтвержденная, сочувствия особого не вызывала. Поселок, как и в целом страна, пытался, учился выживать в обстоятельствах, абсолютно новых, для большинства неожиданных. Обсуждать то, что тебя лично впрямую не касается, уже не казалось интересным. Кладбище переделкинское расползлось настолько, что поговаривали о его закрытии. Родственникам, блуждать приходилось, чтобы найти даже свежую могилу.

При Иване Грозном эта земля принадлежала боярам Колычевым, казненным Малютой Скуратовым. У душегуба имелись предпринимательские задатки: на присвоенной

территории стал выращивать клубнику, сплавлять ее на баржах в столицу по тогда судоходной Сетуни. После она обмельчала до мутного, полузадохшегося ручейка, подпитываемого, тоже уже на последнем издыхании, источником. В повести Катаева он назван «Святым Колодцем», где — повторяю — явлен образ белокурой молочницы. Но в моей жизни она появилась еще раз.

С ней все всегда получалось неожиданно, и тогда застала меня врасплох телефонным звонком: могу ли выйти к ней навстречу минут через двадцать?

Ну, уж чего там: что было, то осталось. Только ее завидев, рванула во все лопатки. Обнялись, и услышала: «Погоди, Надя, я палочку обронила, ой, где же она, ведь иначе до дома не дойду. Ах, вот, ну спасибо. Хочу тебе показать все. Калитку толкай вовнутрь, собачек, не бойся, они заперты в загоне, ну иди же, иди, что же ты…»

Уже не две, а четыре овчарки, размером с телка, кидались на металлическое сетчатое заграждение с воем. Опасливо на них озираясь, я поднялась на крыльцо, прошла тамбур — и оказался в кухне, той самой, давно знакомой, с резным облезлым буфетом, круглым, покрытым клеенкой столом. Это было как сон, как бред. Но Ника, довольная, улыбалась: «Здорово, правда? Это я так придумала, убедила Леню — оставить и этот дом, и тот. Там есть другой вход, но мы обычно пользуемся этим. И холодильник прежний, и плита, и даже занавески, ты ведь помнишь? Давай здесь немножко посидим, как тогда… Я припасла бутылочку, Леня не разрешает, но, если надо, могу его обхитрить.

Шампанское запрятала в валенок! Или, может быть, вначале гостиную тебе показать, биллиардную каминный зал?»

Дверь с кухни вела в огромную комнату с вычурной мебелью, хрустальной огромной люстрой под высоченным стрельчатым потолком — все так, словом, как грезилось, одеялом с головой накрывшись, в детстве, в одиночестве, виня родителей нерасторопных, не пригласивших фей к колыбели с новорожденной. Но ничего, она всего добьется сама. И добилась.

Шампанское, согретое в валенке, хлопнув пробкой, разлилось по сверкающей поверхности стола на львиных лапах, а ля какой-нибудь Луи. У недавно быстро разбогатевших есть общий комплекс или, скажем, вкусовой огрех: они хотят, чтобы старина сияла как новенький пятак, без трещин, пятен, и получают подделку, но — это-то им и важно — дорогостоящую. Мы с Никой кинулись спасать дорогостоящую собственность, оттирая ее рукавами, подолами. И не заметили, как в дверях возник Леня.

«Вы опять тут! — произнес очень тихо, почти шепотом, и я не сразу сообразила, что это „вы“ относится ко мне. — Вам мало, вы

столько лет жену мою унижали, посмешищем сделать хотели, но нет, не удалось! Чтобы больше ноги вашей здесь не было, вон из моего дома!»

Опомнилась я, сидя на крыльце, том самом, перед тамбуром. Меня обступили собаки, с зубами, не вмещающимися в пасть. Одного, с изморосью седины на морде, признала: подкармливала, когда щенком был: ты что ли, Рекс?

Он кивнул. Стая проводила меня до калитки. И я пошла. По одну сторону — лес, где я знала все тропки, а по другую — обжитое людьми: и вот там было страшновато.

© *Copyright Надежда Кожевникова*